

ВЗГЛЯД

Взгляд

Выпуск

3

Критика

Полемика

Публикации

Взгляд

Взгляд

Взгляд

Взгляд

День литературы

Я думаю, что...

Из писательского архива

Возвращение к читателю

Литературные культуры

Взгляд Взгляд Взгляд

Взгляд

Критика
Полемика
Публикации

Выпуск

3

Москва
Советский писатель
1991

ББК 83 ЗР7
В 40

Составители

Оскоцкий В. Д. и Шкловский Е. А.

Художник

Василий Валериус

4608020101—130
В $\frac{\quad}{083(02) - 91}$ 433—90

ISBN 5—265—01495—0

© Издательство «Советский писатель», 1991

От составителей

Итак, очередной — уже третий по счету — выпуск ежегодника «Взгляд». Критика, полемика, публикации... Но если третий, значит справедливо будет сказать, что издание такого типа стало в «Советском писателе» традиционным. А традиция — это всегда преемственность.

Преемственность характера сборника и принципов отбора материала. Преемственность тем и проблем, к которым приковано преимущественное внимание авторов. Преемственность разделов и рубрик, по которым группируются их статьи. Аналитические, погруженные в современный литературный процесс. Историко-литературные, обращенные к опыту минувших лет и десятилетий. Дискуссионные, в соседстве которых выпукло обнаруживается, сколь остры столкновения разных позиций, взглядов, как зачастую противоположны бывают точки зрения критиков на одни и те же литературные явления.

Однако, как ни сильна преемственность, она вовсе не предполагает, будто третий выпуск «Взгляда» задумывался и складывался всего лишь как механическое повто-

рение двух предыдущих. О своеобразной мете его позаботилось время, в которое писались статьи, бурные, стремительные перемены в общественной атмосфере, духовном климате. Движение общества в стране и мире столь динамично, что многое из того, что занимало нас совсем недавно, неизменно вызвало жаркие споры, ныне вытеснено на периферию литературных интересов. И напротив: то, что вчера еще только вызревало, исподволь набирало силу, сегодня пошло в такой буйный рост, что безраздельно завладело современным общественным сознанием, а стало быть, и вниманием литературной критики. Доминирующий характер ее сегодняшних суждений — не столько о конкретных произведениях (хотя, разумеется, речь и о них), сколько об общем контексте их существования, об особенностях нынешней общественной и литературной ситуации. Вот почему мы решили открыть этот сборник статей, в название которой вынесено слово «ситуация». Именно в «ситуационном» ключе, а не в ключе тематических или жанровых обзоров выдержано большинство последующих статей, тяготеющих к остропроблемным, разумеется, дискуссионным раздумьям о многообразных социальных и духовных аспектах нашей жизни, в условиях которой развиваются современная поэзия и проза, публицистика и литературная критика.

Примечательны тематические смещения, переориентация проблематики в сфере собственно литературной. Возвращение произведений, прежде запретных, насильственно отторгнутых, директивно изъятых, стало свершившимся фактом, уже не просто пережитым критикой эмоционально, но осмысленным ею аналитически. Отсюда более пристальный, нежели два-три года назад, и далеко не отрадный, не утешительный взгляд на состояние текущей поэзии и прозы. Отсюда же и движение не только в ширь, но и в глубь историко-литературных «материков».

Например, в глубь такого «материка», как «Несвоевременные мысли» Горького. Примечательно, что посвященная им статья датируется... 1976 годом. Принято было считать, что «Несвоевременных мыслей» в наследии писателя как бы не существует. О том, что они все-таки существуют, многие конечно же знали, даже читали — кто по изданиям зарубежным, кто по перепечаткам с них. Но писать о «Несвоевременных мыслях», анализировать, сопоставлять с другими сопредельными литературными явлениями — на такое, заведомо обреченное, в лучшем случае «в стол», занятие могли отважиться немногие. Автор публикуемой статьи был первым среди этих немногих. И пример его убедительно говорит о том, что «новое мышление» не было декретировано, спущено сверху: потребность в нем

осознавалась под спудом «старого», а прорывы к нему осуществлялись наперекор безвременью. К чести и достоинству литературы публикация «Несвоевременных мыслей» снимает с канонизированного облика Горького нестерпимо хрестоматийный глянец.

Существенно обогащают привычные, устоявшиеся читательские представления о Михаиле Пришвине его дневники, публикуемые в третьем выпуске «Взгляда». На новом исследовательском уровне извлекаются творческие уроки Андрея Платонова и Василия Гроссмана.

«Русское зарубежье» — еще один тематический аспект, определяющийся и содержанием литературно-художественных журналов, и книжной продукцией издательств. Это наконец-то становится явлением повседневным, по отношению к которому в критике также возобладали не эйфория, сопутствовавшая «первым ласточкам», а трезвый анализ, причем, как увидит читатель, сообразно специфике сборника — опять же дискуссионный.

1989 год, когда велась работа над составом выпуска, был объявлен годом Анны Ахматовой. Это обязало составителей включить в ежегодник воспоминания, которые, по нашему мнению, интересны как множеством бытовых подробностей, какие любовно сберегла память мемуариста, так и бережно воспроизведенными, достоверно ахматовскими суждениями о литературе и искусстве, поэтическом творчестве, мастерстве поэта.

1989 год по праву может быть назван также солженицынским, положившим внушительное начало триумфальному возвращению писателя в нашу отечественную словесность. Так сбылись убеждение и предвидение Александра Твардовского, высказанные в письме К. Федину. Полагая, что в литературном деле, «право же, на худой конец лучше ошибиться, *разрешая*, чем избежать (будто бы избежать!) ошибки, *запрещаая*», А. Твардовский называл «замечательный талант» Александра Солженицына «украшением и гордостью нашей литературы», считал, что в скорейшем обнародовании его произведений «мы даже более заинтересованы... чем автор».

Разные подходы к творчеству А. Солженицына, которые проявлены в статьях, включенных в настоящее издание, в полной мере подтвердили и пророческий призыв Твардовского понять, что открытый им автор «Нового мира» «занимает нас уже не просто сам по себе — как бы высоко ни оценивался он сам по себе,— а потому, что, волею многосложных обстоятельств, он находился в *перекрестии* двух противоположных тенденций общественного сознания и нашей литературы, устремленных либо *туда*, назад, либо *сюда*, вперед — и в соответствии с необратимостью

исторического процесса». Конечно, за два с лишним десятилетия лет, истекших со времени, которым датировано письмо, обе тенденции несколько модернизировались, но принципиальное их противостояние сохраняет силу и по сей день.

Нет нужды повторять то, что подчеркивалось в редакционных предисловиях к предыдущим выпускам «Взгляда»: уважая инакомыслие, отстаивая плюрализм мнений, составители и на этот раз крайне далеки от желания закреплять монополию на истину за одними авторами и не признавать права на собственную позицию за другими. Читатели легко убедятся в этом, сопоставляя статьи разных авторов, чье соседство в одном номере иного журнала невообразимо, попросту невозможно. Между тем в сборнике они вполне «уживаются» друг с другом.

Думается, что так конкретно, не на словах, а на деле и должен проявляться в литературе и критике ключевой лозунг дня: «От гласности — к свободе слова!»

А деятельное осуществление этого назревшего лозунга в живой литературно-критической практике — одно из необходимых проявлений более широкого процесса перехода от демократизации к демократии, что оказывается одновременно и условием, и гарантией развития, углубления перестройки.

В какой мере работает на это ежегодник «Взгляд» — судить, разумеется, читателям...

Взгляд

День литературы

Взгляд

Ситуация

Борьба идей в современной литературе

Писать литературные обзоры сейчас затруднительно.

Почему?

Да потому хотя бы, что современная литература так редко появляется на печатных страницах или, вернее сказать, так редко приковывает к себе всеобщее внимание, вызывает споры, эмоционально активное к себе отношение, что кажется, будто ее и вовсе нет.

Не первый уже год молчат едва ли не все наиболее именитые наши писатели. То есть не молчат, конечно, говорят — и порою очень громко, но... их — даже и самые эффектные — статьи, реплики, интервью, парламентские речи и непарламентские высказывания не заменяют отсутствующих, увы, романов, повестей, поэм, рассказов.

Больше ходу стало, конечно, молодым, и тем в особенности, кто числился у нас по ведомству «андеграунда», эстетического подполья, но... читательского, общественного отклика — во всяком случае, такого, на какой, казалось, можно было бы рассчитывать, — пока что не по-

лучили ни долгожданная «Весть» (М., «Книжная палата»), ни бликующие «Зеркала» (М., «Московский рабочий»), ни патетическое «Слово» (М., «Современник»), ни другие альманахи, сборники, книжные и журнальные публикации полузапретных еще совсем недавно прозаиков и поэтов.

Бесперебойно издаются, конечно, всякого рода посредственности (имя им по-прежнему легион), орудуют, конечно, под шумок «юрчайшие» — те, кому все равно что славить, все равно что обличать, — но... кто же читает их теперь, когда не поспеваешь охватить взглядом даже публикации И. Шмелева и А. Ремизова, М. Алданова и Р. Гуля, В. Гроссмана и А. Солженицына, А. Бека и В. Аксенова, С. Кржижановского и Саши Соколова, В. Войновича и Г. Владимова — писателей интереснейших, хотя и по-разному, да вот беда — не имеющих прямого отношения к тому, что принято называть современной советской литературой, той то есть, что создается здесь и сейчас.

Да и критику если взять... Такое впечатление, что она не только ушла в публицистику, стала орудием идеологической агитации и контрагитации, но и напрочь утратила интерес к текстам, заменила внимание к литературе вниманием к «литературной жизни», а часто и к «литературному быту».

Так что хочешь не хочешь, а спросишь вослед и Шукшину, и нынешним газетно-журнальным витиям:

Так что же все-таки с нами происходит?

Еще совсем недавно многим казалось, что ответ на этот вопрос обескураживающе ясен:

перестройка сняла, мол, дисциплинирующие скрепы и ограничения, гласность развязала-де стихию в з а и м н ы х разоблачений и поношений, грубых, часто скандальных перебранок по любому поводу и в любой ситуации. Как говаривали в похожих условиях лет семьдесят назад, «начальство ушло», занялось, вернее, более существенными проблемами, предоставив писателям, деятелям культуры право самим разбираться в своих делах. И... братья-писатели, оставшись без присмотра (а русского писателя оставлять без присмотра нельзя), пустились, мол, во все тяжкие, стали сводить счеты, выказывать амбиции, бороться за популярность и лидерство.

«Молодая гвардия» пошла войной на «Огонек». «Наш современник» схлестнулся с «Юностью». В. Распутин сделал выговор А. Рыбакову и получил соответствующий выговор от В. Куротича. Т. Толстая мазнула В. Белова

словцом «человеконенавистничество» и услышала в ответ, что сама-то она, ополчаясь на «совесть русского народа», пишет прозу жеманную и салонную, заведомо «нерусскую» и заведомо «бессовестную». Шесть знаменитых писателей и С. Бондарчук сообщили в «Правду» о подрывной деятельности «Огонька» и «огоньковцев» — десять не менее знаменитых писателей с гневом отвергли и эти обвинения, и этот — столь знакомый по преданиям — способ решения литературных споров. В. Коротичу припомнили то, что он писал лет десять назад; П. Проскурину — то, что он подписывал лет двадцать назад; В. Солоухину — то, что он произносил лет тридцать назад; В. Максимову — то, что он печатал лет, поди уже, едва ли не сорок тому...

То, что раньше тайлось под спудом, было достоянием кулуарных разговоров и частной переписки, вырвалось на печатные страницы, размножилось в миллионах экземпляров, и верх — над привычными призывами к «консолидации», к «культуре дискуссии» — взяли, не могли не взять то ли не изжитая за десятилетия логика гражданской войны с ее простыми правилами: «Кто не с нами — тот против нас», «Если враг не сдается — его уничтожают», — то ли, что, мне кажется, столь же вероятно, бытовое озлобление, очень даже хорошо знакомое каждому в нашей стране.

Уважение к литературе резко возросло — с публикацией на родине «Реквиема» и «Котлована», «Доктора Живаго» и «Факультета ненужных вещей», «Жизни и судьбы» и «Архипелага ГУЛАГа», иного многого; оказалось, что не вся она сыто подремывала во дни и сталинской «железной зимы», и хрущевской «оттепели», и брежневско-андроповско-черненко-ских «заморозков» и что ей есть что явить, что сказать соотечественникам, чем оправдать свой традиционно высокий в России авторитет власти-тельницы дум.

А вот уважение к писателям, благодаря вакханалии взаимных разоблачений, резко упало — об отдаленных последствиях для нашей культуры этой печатной поножовщины можно лишь с тайным ужасом догадываться. Недаром ведь уже и сейчас гораздо большую симпатию у многих вызывают не те литераторы, что преотважно лезут в драку, а те, что хладнодушно (мудро? трусливо?) отмалчиваются, отходят в сторону: пусть схлынет, мол, смута, пусть иссякнут, выдохнутся дурные страсти...

Так в чем же дело? Почему легализованная известными партийными решениями борьба и дей в современной литературе, их здоровая состязательность тотчас же, как кажется многим, выродилась в борьбу людей, а противостояние позиций — в противостояние амби-

ций, в остервенелую конкуренцию более или менее мощных литературно-политических группировок, кланов, движимых — как опять-таки кажется многим — исключительно корыстными интересами?

Неужто потому, что этих и дей вовсе нет, и действительно «люди гибнут за металл», и действительно нравственно ведут себя лишь те, кто либо попытался встать «над схваткой», либо брезгливо отстранился от нее: «Чума на оба ваши дома»?

Если так, то и в самом деле есть резон в участвовавших за последнее время призывах к властям: да наведите же наконец порядок в писательском стане, да верните же наконец гласность в привычные, обжитые берега, да дайте же наконец укорот наиболее распоясавшимся, забывшим и о приличиях, и о моральной, идеологической, прочей дисциплине? Пусть, мол, экстремисты и «правой» и «левой» стороны очнут, задумаются о своей равной вине, равной ответственности за сложившееся положение...

Равной?

Будем откровенны.

Корыстные соображения действительно дают о себе знать, — например, в хлопотах о том, чтобы на века сохранить статус-кво, то есть прежний, «застойный» порядок распределения тиражей, должностей, почестей и гонораров. Корыстными кое-кому кажутся и раздающиеся со страниц «Известий», «Огонька», «Книжного обозрения», «Юности» требования экспроприировать экспроприаторов, отнять у Ю. Бондарева, М. Алексева, Ан. Иванова, Е. Исаева, С. Михалкова, прочих писателей-«миллионщиков» (термин Т. Ивановой) хотя бы часть бумаги, позиций в издательских планах.

Но зачем отнять-то? Затем, что «можно было бы на этой бумаге издать пятитомник Б. Пастернака, четырехтомники О. Мандельштама, А. Ахматовой, Н. Клюева, трехтомник И. Бабеля...» («Огонек», 1988, № 43).

Так корысть ли это? И стоит ли всех подряд мазать одним дегтем, а заботу о восстановлении литературной справедливости, об интересах культуры и читающего народа уравнивать с заботой об интересах немногих «миллионщиков» и их верных «личард»?

Разные это, что ни говори, интересы, и цена им разная.

То же и с пресловутой этической невоспитанностью наших газетно-журнальных ратоборцев. Пелена ярости действительно часто застит им очи, слова у них срываются с языка действительно самые оскорбительные, и различия в тоне, в накале полемики между, допустим,

Б. Сарновым, П. Карпом или, допустим, А. Казинцевым, А. Байгушевым, случается, нет.

Впрочем, есть, и для того, чтобы увидеть эту разницу, достаточно сравнить, как и что в «Огоньке» пишут о «Молодой гвардии», «Москве», «Нашем современнике», а в этих трех журналах об «Огоньке».

В первом случае предельно резкой, «истребительной» критике подвергаются позиции недружественных изданий, их публикации, политические убеждения, эстетические взгляды и литературное поведение их руководителей. Что же касается биографий, морального облика и даже собственных сочинений Ан. Иванова, М. Алексеева, С. Викулова (теперь уже — С. Куняева), то они, как правило, вне зоны критического обстрела...

Во втором же случае с «Огоньком», с его позицией и его публикациями, конечно, сражаются — и ожесточенно, но еще пуще, еще агрессивнее и непримиримее нападают на самого В. Коротича. Иногда даже кажется, что ярость у антагонистов «Огонька» вызывает не столько сам журнал как таковой, сколько личность его главного редактора, и цель компрометации состоит не столько в том, чтобы переспорить авторов популярного еженедельника, оттолкнуть от него читателей, переманить их к себе, сколько в том, чтобы, переведя разговор из сферы полемики в плоскость «кадровой политики», добиться устранения именно В. Коротича.

Или А. Ананьева — если речь в журналах «тройственного союза» («Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник»)¹ заходит об «Октябре». Или Е. Яковлева и А. Беляева — если под прицелом оказываются «Московские новости» и «Советская культура».

Словом, если в «Огоньке», похоже, все еще верят в способность идей, громко высказанных, стать материальной силой, то в «Молодой гвардии», других изданиях этого рода накрепко усвоили: идеи идеями, но не они, а «кадры решают всё», — и эту «тонкую» разницу между внешне сходными полемическими импульсами не следует, мне кажется, упускать из виду.

Как не следует упускать из виду и то, что в условиях отнюдь не потерявшей силу командно-административной системы «кадровый подход» всенепременно оказывается результативнее всех прочих. Достаточно припомнить, как в год-полтора «тройственный союз», благословляемый руководителями Союза писателей РСФСР,

¹ «Одинокими утесами стоят и принимают на себя валы озлобленной клеветы «Наш современник», «Молодая гвардия» и «Москва». Предвижу злословие остряков и все же не удержусь и сравню их с легендарными тремя богатырями» («Молодая гвардия», 1989, № 8).

прибрал к рукам сначала «Московский литератор» (насадив туда Н. Дорошенко), затем «Литературную Россию» (заменяя М. Колосова Э. Сафоновым) и наконец «В мире книг» (переименованный новым главным редактором А. Ларионовым в «Слово» — не путать ни с телевизионным литературно-художественным видеоканалом «Слово», ни даже с «современниковским» альманахом «Слово»). Достаточно указать на развернутую «защитниками» травлю «Октября», а вернее сказать, А. Ананьева.

Это во-первых. А во-вторых, с какой бы похвальной суровостью ни относились мы к «крайностям», «перехлестам», «экстремизму» враждующих сторон, «гражданская война» в литературе тем не менее идет, накал ее не ослабевает, в междоусобицу втягиваются все новые и новые бойцы, удержаться над схваткой оказывается все труднее, вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» — с «Нашим современником» или «Дружбой народов», с Василием Беловым или Василем Быковым? — все неотступнее возникает даже перед самыми хладнодушными и хладнокровными, так что...

Так что пора бы уж нам — здесь, и только здесь, я охотно соглашусь с М. Любомудровым — признать как неотменяемую, не зависящую от наших оценок данность, что происходящее ныне в литературе, в литературной печати есть никакая не «групповая», а прежде всего и по преимуществу «идейная», общественно-политическая борьба двух сил, не совпадающих и даже противоположных в понимании и в отношении к судьбе России, русского народа, к его культуре, духовным и нравственным ценностям, к его земле и природе, к его будущему, наконец («Наш современник», 1989, № 2; выделено мною. — С. Ч.).

И более того. Я уверен, что литература, литературная печать накалом своих конфронтаций, их «ножевым», предельно бескомпромиссным характером как бы компенсирует нехватку открытости в противостоянии собственно политических сил, группировок, слоев современного советского общества, а коллективы редакционных работников, авторов (и в конечном итоге читателей), собирающихся вокруг того или иного отчетливо выразившего свою позицию издания, исполняют обязанности своего рода «партий» или, если угодно, «фракций», ведущих борьбу за торжество своих представлений о задачах, направлении, ходе, темпе и средствах перестройки нашего социального уклада¹.

¹ Кавычки, в которые взяты слова «партия», «фракция», достаточно, мне думается, указывают на условность этих терминов, ибо

Эта борьба разворачивается, что понятно, отнюдь не в лабораторно чистых условиях.

Во-первых, как это и свойственно обычно историческому процессу в России, решение проблем сегодняшнего и завтрашнего дня заметно осложняется нерешенностью или далеко не полной решенностью проблем дня вчерашнего и даже позавчерашнего.

Так, завершись процесс десталинизации еще в годы хрущевской «оттепели», будь он уже тогда столь же последовательным и всесторонним, как близкий ему по значению и пафосу процесс денацификации в ряде европейских стран, увенчайся он тогда же отчетливыми юридическими, конституционно-правовыми квалификациями и выводами, нам не пришлось бы сейчас снова и снова возвращаться к этой зловещей фигуре, тратить силы в спорах о том, что в условиях демократии не обсуждается, но однозначно оценивается как преступление против мира и человечности и пропаганды чего тем самым недвусмысленно приравнивается — со всеми вытекающими отсюда последствиями — к пропаганде войны, террористического насилия, межнациональной, межгосударственной розни.

И дело даже не в том, что препирательства — и печатные и судебные — с Н. Андреевой и И. Шеховцовым, их открытыми единомышленниками и тайными покровителями грозят (при отсутствии, повторюсь, столь же однозначного правового решения, как приговор Нюрнбергского трибунала) загнать общество в ситуацию «вечного шаха»; а исходом «вечного шаха» может быть, как известно, только ничья, что вполне, кажется, устраивает «сталинистов» и что явно не устраивает их непримиримых противников.

Корень именно сегодняшней проблемы мне видится в ином — не в столкновении «сталинистов» и «антисталинистов», как это было четверть века назад, а в несогласии, в конфликте «антисталинистов» одного толка с «антисталинистами» другого толка.

Говоря так, я отнюдь не хочу преуменьшить давление собственно «сталинистской» оппозиции перестройке — оно, это давление, судя по косвенным и разрозненным данным, весьма значительно и при неблагоприятных для перестройки условиях еще может — не ровён час! — дать мощный выброс на поверхность политической и общественной жизни...

речь, само собой разумеется, и здесь и далее идет не о противоборстве формализованных политических организаций, а о взаимодействии разноориентированных течений общественно-литературной мысли.

Не покидает ощущение, что сосредоточенность некоторых современных критиков преимущественно или даже исключительно на первом десятилетии Советской власти и на том десятилетии, которое вошло в анналы под названием «оттепели», и в самом деле объективно небезвыгодна сталинистам, поскольку в укромной тени остается при этом самый страшный, самый мрачный период в трагедии Отечества, а вместе с ним, следовательно, и фигура главного протагониста этой трагедии. Не хочу, естественно, чохом подозревать всех публицистов «тройственного союза» с примкнувшими к ним публицистами «Слова», «Литературной России», «Московского литератора» в предумышленности подобного смещения акцентов, но так или иначе получается, что, осуждая «казарменный» социализм, особенно сильно они осуждают все-таки не десятилетия воинственного сталинского тоталитаризма, а как раз те считанные годы, когда тоталитаристская тенденция худо-бедно корректировалась ели и не демократией, то, по крайней мере, надеждами на нее.

Благодаря в первую очередь неполноте гласности, невозможности или неумению высказаться с недвусмысленной понятийной отчетливостью, в литературной периодике накопилось предостаточно метафор. И не в том даже беда, что, говоря одно, у нас часто подразумевают, как в старом анекдоте, совсем другое. Беда, многими пока не осознаваемая, прежде всего в том, что за вроде бы едиными для сегодняшних спорщиков эвфемизмами сплошь и рядом прячется совершенно различное содержание.

Так, скажем, резкие суждения о Троцком, Свердлове, Зиновьеве, Кагановиче и т. п. могут — в одних органах печати — быть синонимом критики большевистского руководства как именно большевистского руководства, а в других органах печати означать собою нападки на «инородцев», или, точнее выражаясь, на евреев, захвативших власть в российском революционном движении и будто бы навязавших России и русским враждебную им революцию и чуждые им социальные идеи. В первом случае критиков волнует, как видим, и де л о г и ч е с к а я принадлежность и ответственность названных выше исторических персон, во втором же — их н а ц и о н а л ь н а я принадлежность и ответственность. В одном случае мы имеем дело с идеологическими убеждениями, в другом — с националистическими, а часто и расистскими п р е д у б е ж д е н и я м и и предрассудками, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы, особенно если учесть повсеместно распространенную у нас привычку к экстраполиванию событий и процессов пятидесяти-семидесяти-

летней давности на сегодняшнюю внутривластную и культурную реальность.

Или — еще один пример — очевидно, что апелляция к нравственному, литературному и политическому авторитету А. Солженицына имеет разный смысл, допустим, у В. Оскоцкого и Вяч. Вс. Иванова, с одной стороны, и у Вал. Сидорова и В. Бондаренко — с другой стороны.

Первых, рискну предположить, в таком могучем, многозначном явлении, как автор «Архипелага ГУЛАГа» и «Красного колеса», привлекает прежде всего его беспощадная критичность по отношению к ключевым событиям и фигурам отечественной истории XX века, других — его столь же беспощадная критичность по отношению к современному Западу, к западной «рыхлой» демократии, к западному плюрализму и индивидуализму. При одном освещении А. Солженицын предстает как трибун и глашатай свободы, как бескомпромиссно яростный обличитель всякой тирании, всякого насилия над человеком и обществом; при другом освещении — как идеолог и поэт «авторитарно» («патриархально») сильной власти, подчиняющей интересы личности интересам нации и государства. Одни, словом, — тут опять-таки трудно удержаться от метафоры — полагают, что Солженицын — это «Герцен сегодня», набатным колоколом пробуждающий страну и народ к созидательной деятельности на мировой арене, а другие видят в нем нечто вроде русского «аятоллы», который из заокеанского далека незримо если не возглавляет, то благословляет возвращение нации к устоям «доленинской», а возможно, и «допетровской» самобытности...

К чему я об этом говорю?.. К тому, чтобы предостеречь читателя сразу от двух типичных, на мой взгляд, ошибок.

И от эйфорической готовности, не вдаваясь в «нюансы», не беря в расчет движущие мотивы, видеть своего единомышленника в каждом, кто, допустим, без священного трепета оценивает деятельность Свердлова или Бухарина, в каждом, кто радуется возвращению на родину произведений «вермонтского затворника».

И от ничуть не менее опасной готовности бросаться на защиту Свердлова или Бухарина и, напротив, высказывать свое неодобрение Солженицыну на том лишь основании, что эти оценки взяты на вооружение литераторами враждебной вам «партии».

Примеры и той и другой крайности печать поставляет нам непрерывно. И «рядовой» читатель часто и в толк не возьмет, на что ему идеологически, нравственно, духовно ориентироваться в мире, где М. Лобанов берет под

свою защиту вчерашнего «диссидента» И. Шафаревича от вчерашнего же «диссидента» Р. Медведева. Где сам И. Шафаревич зовет к крестовому походу не только на А. Синявского и напечатавший его «Прогулки с Пушкиным» журнал «Октябрь», но и на все «правозащитное» движение. Где В. Конецкий лихо обличает В. Аксенова и как литератора и как человека. Где Ст. Рассадин почему зря бьется с Б. Сарновым. Где навещающие нас писатели-эмигранты (например, Н. Коржавин) призывают писателей «метрополии» к кротости и гражданскому миру. Где В. Астафьев и В. Белов оказываются в трогательной «заединщине» с Ан. Ивановым и П. Проскуриным. Где А. Латынина — под рукоплескания А. Байгушева — причисляет недавнюю свою, казалось бы, союзницу Н. Иванову к «либеральной жандармерии». Где перепечатка редакционной статьи из журнала «Коммунист» становится поводом к увольнению главного редактора «Литературной России» М. Колосова. Где рафинированнейший Д. Урнов брюзгливо отзывается о «Докторе Живаго», «Одном дне Ивана Денисовича» и не Булгакова, не Платонова, не Шолохова даже, а Гайдара соглашается признать единственным на всю советскую эпоху писателем-классиком...

Где, словом, все переверотилось и только начинает укладываться.

Да и начинается ли?..

«Наши» и «не наши»

Так кто же с кем, кто против кого в этой буче, боевой и кипучей?

Читателю охотно подсказывают: это «народная», то есть «почвенная», интеллигенция сражается с «беспочвенной», то есть либо «иностранной», либо «антинародной» (см., например: В. Бондаренко. Обретение родства. — «В мире книг», 1989, № 7).

Читателю — с каждым днем все прямее, все откровеннее — намекают: это русские — по крови — литераторы враждуют с «русскоязычными» литераторами-евреями и «полукровками» (см.: Н. Кузьмин. «От войны до войны». — «Молодая гвардия», 1989, № 8)...

Не мешкает с подсказками и другая — представленная, например, «Огоньком» — сторона; вся разница лишь в том, что тут на роль разграничивающего критерия берется не национальный, а социально-культурный фактор. Бьются, говорят нам отсюда, «дети Шарикова» — и люди культуры; черносотенцы, «фашиствующие» — и подлинные интернационалисты; литературный

генералитет, бездарные сановники от литературы — и настоящие писатели; консерваторы, реакционеры, поэты отечественной бюрократии — и демократы, либералы и прогрессисты.

Плодотворно ли хоть в какой-то степени подобное перетягивание каната? Эффективно ли оно, по крайней мере, в плане общественно-литературной пропаганды и контрпропаганды?

Не думаю.

Во-первых, перепалка по схеме: «Мы демократы! — Нет, вы лжедемократы! Мы патриоты! — Нет, вы лжепатриоты!» — не несет в себе ни убеждающего, ни переубеждающего смысла. Получается, на мой взгляд, и смешно и грустно: весь пропагандистский заряд обрушивается на тех, кто в агитации заведомо не нуждается, а вот те, кого бы действительно стоило «вербовать» и «перевербовывать», остаются, как и прежде, в стороне, только укрепляясь в совершенно ложной мысли, что перед ними то ли «театр для актеров», то ли нечто вроде спортивного соревнования, «ярмарки тщеславия», где бьются не за истину, а за победу, за барыши, за чемпионские медали и ленты.

И, наконец, важнейшее...

Страна большая, литература необозримая — так что у нас всё, конечно, есть. Есть шовинисты и есть космополиты. Есть антисемиты и есть юдофилы. Есть бездарные литературные генералы и ничуть не менее бездарные «непризнанные гении» от андеграунда. Есть непреклонные догматики и юрчайшие, как говаривал еще Е. Замятин, конъюнктурщики-«перестройщики». Есть либеральная жандармерия и есть террористы от официоза. Есть — знаю таких — доподлинные «дети Шарикова» и есть высокоумные, высокомерные снобы, действительно глухие к народным страданиям...

Друг друга они явно стоят. Это, мне кажется, бесспорно, как бесспорно и то, что некоторых бурно печатающихся сегодня, бурно враждующих между собой авторов (шушеру, правда, шустрых репетированных как от «прогресса», так и от «регресса») как только ни обзови — все правдой будет.

Но шушера, она и есть шушера. А вот, например, Валентин Распутин.

Он сражается с «Огоньком». Он печатается в «Нашем современнике». Он не без сочувствия, кажется, относится к лозунгам национально-патриотического фронта «Память». Он в каждом своем публичном выступлении произносит туманные проклятия неким то ли инациональным, то ли безнациональным силам, которые хотят

погубить Россию, лишить русских исторической памяти и патриотической гордости. Он враждует не только с Анатолием Рыбаковым, но и с Львом Толстым. Он, похоже, консерватор и, может быть, даже не либерал, не демократ, — по крайней мере, в привычном смысле этих понятий.

Всё так, но... рискнет ли кто-нибудь назвать Распутина бездарностью? Или литчиновником, для которого, по хлесткой формуле Т. Ивановой, «главное — не потерять сосиски»? Или, наконец, сталинистом, идеологом и поэтом отечественной бюрократии?

Или Юрий Черниченко. Он печатается в «Огоньке», в «Знамени», в «Московских новостях». Он не скрывает своего отношения ни к «Памяти», ни к журнальному «тройственному союзу». Он рекомендует нашим хозяйственникам идти на выучку к «капиталистам». Он надеется на то, что и у россиян образуется со временем привычка к парламентаризму. Но... рискнет ли кто-нибудь отлучить Ю. Черниченко от «народной интеллигенции», отыскать в его родословной «инородную» примесь, поставить ему в вину элитарность или равнодушие к судьбе русского крестьянства?

Поневоле вспомнишь времена застоя — тогда выбор «наших», «своих» был куда проще и куда комфортнее (в психологическом отношении), чем ныне. Хватало вкуса и элементарной личной порядочности, чтобы отличить стоявших под знаменами официоза от тех, кто находился в более или менее проявленной оппозиции к нему. Торжествовал вот именно что принцип двух культур в рамках одной национальной культуры, причем на одном фланге собиралось (почти без исключений) все чиновное, наглое, бездарное, трусливое и подлое, а на другом (опять-таки почти без исключений) все отмеченное умом, талантом, совестью и честью. Существовала, по крайней мере, иллюзия оппозиционного единства культуры в борьбе с насаждавшимся сверху бескультурьем, в противостоянии бюрократии, казенной идеологии и казенной псевдолитературе.

В те годы — вспомните-ка — можно было одновременно и без урона для своей репутации печататься и в «Дружбе народов», и в «Нашем современнике»; В. Солоухин обращался к А. Вознесенскому с приветственной статьей, а А. Вознесенский отвечал В. Солоухину дружественным стихотворным посланием; В. Распутин не считал для себя зазорным писать предисловие к роману Евг. Евтушенко; Д. Самойлов называл Ю. Кузнецова одним из наиболее многообещающих современных поэтов; В. Кожин поощрительно высказывался о стихах А. Межирова

и прозе А. Битова, а ваш покорный слуга — о стихах С. Куняева и В. Устинова; В. Бондаренко благополучно совмещал свою любовь к В. Маканину с любовью к Д. Жукову и симпатию к Д. Гранину с симпатией к Ю. Бондареву...

Теперь все это и вообразить-то себе невозможно. Распадение культуры надвое сохраняется, но демаркационная линия проходит совсем не там, где раньше, не столько отделяя официоз от оппозиции (да и кто теперь у нас олицетворяет официоз, кто оппозицию?), сколько раскалывая станы вчерашних «подручных партии» и вчерашних «диссидентов», дробя привычные писательские ассоциации (допустим, «деревенщиков» или, допустим, «сорокалетних» с «тридцатилетними»), очерчивая альянсы, которые до сих пор многим кажутся противоестественными.

Например, альянс «заединщиков», где «смешались в кучу» Нина Андреева и Игорь Шафаревич, Виктор Астафьев и Петр Проскурин, Валентин Распутин и Иван Шевцов, Феликс Кузнецов и Михаил Лобанов, Марк Любоумудров и Татьяна Глушкова, Феликс Чуев и Владимир Личутин, Вадим Кожин и Сергей Лыкошин... — то есть, иными словами, настоящие писатели сошлись с патентованными бездарностями, авторы, на взлете поддержанные А. Твардовским и его «Новым миром», с теми, кто карьеру сделал на изничтожении и А. Твардовского и «староновомировского» духа, пламенные сталинисты и столь же пламенные тираноборцы, защитники классической культуры и идеологи социалистического реализма...

Я вижу разницу между ними. Я и отношусь к ним по-разному, ибо одних из только что перечисленных деятелей «тройственного союза» нельзя не уважать, а других уважать нельзя. Я понимаю, что Игорь Шафаревич не отвечает за сталино- и ГУЛАГолубие Нины Андреевой и что, может быть, гордящегося своей академической выучкой Вадима Кожина временами шокирует воинствующее невежество Александра Байгушева...

Но... Куда деваться от ощущения, что вчерашних антагонистов И. Шафаревича и Н. Андрееву ныне большее все-таки объединяет, чем разделяет, или что В. Кожин и А. Байгушев с разной степенью искусности бьют все-таки в одну и ту же точку?

В самом деле, и И. Шафаревич и Н. Андреева даже ради перестройки, даже ради того, чтобы наш многострадальный народ вздохнул наконец свободно и спокойно, не могут, не желают поступиться принципами. Принципы разные? Ну, как сказать... Относительно былого (то есть в оценке Февраля и Октября, Сталина и массовых

репрессий), конечно, разные, и то не во всем. Зато вот во взгляде на настоящее и будущее страны, в выборе объектов для опасений и ненависти совпадение нередко полное.

И он и она предполагают, что в бедах России повинны прежде всего инородцы, а проще сказать, евреи. И он и она с подозрением относятся к интеллигенции, видя в ней что-то вроде «пятой колонны», «малого народа», только и мечтающего о том, чтобы причинить зло «большому народу». И он и она убеждены, что губительная для национального сознания и бытия зараза как шла, так и идет с Запада. И он и она предостерегают от увлечения «буржуазным» плюрализмом, поскольку, по их мнению, «несокрушимое морально-политическое единство» (в одном случае оно называется «соборностью», в другом — «идейной монолитностью») нам, русским, что называется, на роду написано. И он и она хотели бы ужесточить контроль над средствами массовой информации, провести селекционный отбор в современной культуре (и вообще в культуре XX века), пресечь разного рода социальное, эстетическое и прочее экспериментаторство, «подморозить» если не Россию, то хотя бы ее животворящую художественную, литературную жизнь. И он и она встревожены реанимацией задушенного, казалось бы, отечественного либерализма. И он и она выражение «права личности» непременно ставят в уничижительные кавычки. И он и она не сомневаются: то, что для немца, может быть, и здорово (например, материальная обеспеченность, личная независимость, свобода в передвижениях по миру), то для русского, безусловно, смерть. И он и она видят угрозу в самом существовании «третьей волны» русской эмиграции и ее литературы. И он и она думают, что сильная власть для нас полезнее демократии. И ему и ей кажется, что у нас, у России и у русских, нет другого способа спастись, кроме как реставрировать свою самобытность: в одном случае — национальную, в другом — идеологическую...

Словом, повторяя название известной статьи Игоря Шафаревича, перед нами воистину

Две дороги к одному обрыву

Да и две ли это дороги?

Я долго размышлял о том, благодаря чему же глшатая национального возрождения и функционеры коммунистической ортодоксии оказываются в одной «партии», осознают себя «заединщиками»?

И вот к чему я пришел.

Дело не в антисемитизме — при всей очевидности

этого компонента в психологии и идеологии многих «заединщиков» я (до получения неоспоримых доказательств в каждом конкретном случае) отказываюсь тем не менее считать, что все без изъятия «не наши» поражены расистской проказой. Презумпция невинности должна, я уверен, действовать и тут, не говоря уже о том, что вопрос о месте еврейства в российской истории и современности есть, несмотря на его жгучесть, вопрос все же достаточно локальный, частный, производный от более существенных.

И дело даже не в национальном чувстве как таковом: оно само по себе естественно, само по себе присуще каждому человеку, и смешно ведь думать, что, скажем, А. Стреляного или Б. Можяева судьбы Отечества, проблемы восстановления национальных традиций, национального своеобразия русской культуры волнуют меньше, чем, допустим, А. Салуцкого или В. Личутина.

Дело в том совершенно особом окрасе, повороте, векторе развития национального чувства, при которых оно перерождается в самоценную и самоцельную национальную идею, и тогда Россия и русские оказываются в выделенными и из сообщества стран, народов и культур, наша историческая судьба отделенной от судеб мира, а наш путь отъединенным от пути, по которому движется мировая цивилизация.

Иными словами, «не наши» — это те, кто на каждой развилке истории, поглядев окрест себя, уязвившись либо успехами, либо бедами других народов, горделиво провозглашает, что они пойдут другим путем: будут, например, биться за православную, «всеславянскую» теократию, или строить «первое в мире государство рабочих и крестьян», или на руинах нынешней безрыночной, недоиндустриализированной экономики воздвигать, как советует сейчас И. Шафаревич, да и не он один, некую ни на что во всем белом свете не похожую «земледельческую» цивилизацию.

Это те, кто в ответ на призыв войти, вернуться в мировое сообщество, воспользоваться наконец опытом, что за столетия накоплен этим сообществом, говорит либо: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» (Ф. Тютчев); либо: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока» (В. Маяковский); либо, наконец:

«...Мир не любит рутины, он презирает пошлое единообразие. От каждого народа, от каждого государства мир ждет оригинального, своеобразного мышления, в том числе и в культуре, и в государственном строительстве. Подражательство обрекает на отставание даже в экономи-

ке¹. <...> Существуют способы производства, обусловленные национальными традициями, природно-климатическими и другими особенностями» (речь В. Белова на первой сессии Верховного Совета СССР).

Так вот, «не наши» — это те, кто приоритетными во всех без исключения случаях считает не интересы личности, каждого отдельно взятого человека, а интересы некоей надличной силы — будь то интересы церкви, государства, класса, партии, нации, коллектива, те, кто твердил и твердит: «Единица — ноль, единица — вздор...», те, кто самозабвенно доказывал и доказывает, что у нас, мол, вопреки всяким там «буржуазным индивидуалистам» по-прежнему должны быть «общие даже слезы из глаз...».

Это те, кто недоверчиво относится к возможностям правового регулирования, к законам и законности, полагая, что гораздо лучше, нравственнее судить людей либо «по совести», либо руководствуясь «революционным правосознанием».

Это те, кто психологически всегда находится внутри осажденной крепости, кто привык чувствовать себя живущим во враждебном окружении — будь оно иновещеским, империалистическим или, как сейчас, плюралистическим, — кто в конвергенции, в сближении образов жизни, мировоззрений и культур видит синоним позорной капитуляции, нечто вроде Брестского мира, кто всегда готов сражаться с чуждой (и обязательно чужеземного происхождения) идеологией — вплоть до нынешних, казалось бы, деидеологизированных «космополитизма» и «массовой культуры», — кто готов пугать и пугаться — хоть так: «Зорче глаз крестьянина и рабочего, и минуту не будь рассеянней! Будет: под ногами заколеблется почва почище японских землетрясений» (В. Маяковский);

хоть так: «Я чувствую, что кто-то очень страшный. Опять стоит над русской душой...» (Вад. Кузнецов);

или даже вот этак: «Иудейские ханы Не добрее монгольских» (Вал. Сорокин).

Это те, кто, за неимением лучших поводов, готов, как и прежде, хвастаться даже нашей «нетривиальной» экономикой. Те, кто, как К. Раш, «главной, реальной надеждой народа» считает армию, и только армию. Те, кто, как М. Антонов, видит спасение не в технологической

¹ Не удержусь от комментария. Неужто Василий Иванович Белов и впрямь думает, что именно «подражательство» обрекло нашу нынешнюю экономику на отставание от всех на свете — не только уж от Японии, но и от Бразилии, и от Южной Кореи, и от Гонконга, «подражательства», как известно, не страшатся и потому спокойно сопрягающих национальную специфичность с общими параметрами мирового производства?

революции, не в раскрепощении интеллектуального потенциала общества, а в старозаветных артелях и артельности. Те, кто, как И. Шафаревич, не колеблется: «Единственно возможный выход — перейти от развития, основанного на постоянном росте, к стабильному стилю существования», — словно бы позабыв, что «стабильности»-то мы с лихвой нахлебались в недавние десятилетия. Это те, кто, как В. Распутин, полагает, что сытость русскому человеку не по нутру и что материальное благополучие всенепременно лишит нас духовности...

Это те, словом, кому не указ ни пример всего человечества, ни единые, как можно уже, кажется, утверждать, закономерности развития мировой цивилизации, ни даже естественное желание наших соотечественников жить не хуже, чем за морем живут, почувствовать себя наконец-то не «богоносцами», не «авангардом всего прогрессивного человечества», но нормальными людьми в нормальной стране. Это те, кому непохожесть, отчужденность (сначала религиозная, затем идеологическая и теперь вот национально-культурная) нашей страны от всего человечества важнее — простите мне эту патетику — блага народного, то есть, если уйти от патетики, блага каждого конкретного и отдельно и вместе со всеми взятого человека. Это те, кто в ответ на предложение приглядеться все-таки к тому, как и чем во всем мире люди живут, высокомерно отмахиваются:

«Но нам Бог послал другую историю, другую жизнь.

Наш мир — «Восток, Россия и Славянство» (К. Н. Леонтьев).

Мы — другие. Нам незачем излишне «европейничать» или «американничать»...» (А. Фоменко. Служение или суета? — «Литературная Россия», 25 августа 1989 г.).

Я бы назвал их всех — от Анатолия Иванова до Игоря Шафаревича, от Валентина Распутина до Карема Раша — с а м о б ы т н и к а м и, присовокупив к этому, что соблазн российской исключительности, «особости» принес всем нам, я убежден, столько бед, как никакой другой.

Но тут необходимы, пожалуй, два важных уточнения.

Во-первых, что бы по этому поводу ни думали вдохновители «тройственного союза» и его волонтеры, я отнюдь не призываю к национально-культурной обезличке, к рабскому обезьянничанью (Василий Белов называет его чужебесием), к добровольной или помимовольной утрате всего того, что в неповторимые цвета окрашивает и наши предания, и нашу культуру, и наш национальный быт.

Жизнь действительно богата многообразием, щед-

рым цветением оттенков, вариаций, особенностей, и не горе, а счастье человечества в том, что экономика Японии отлична от экономики Бельгии, государственное устройство Швейцарии не похоже на государственное устройство США, а культура Исландии развивается иначе, чем культура Испании. Всё так, но... В чем отличие-то? Вот именно что в оттенках, а не в основе своей, ибо в основе народное хозяйство Японии и Бельгии принадлежит к одному социально-экономическому типу, государственное устройство Швейцарии и США зиждется на одном и том же фундаменте представительной, многопартийной демократии, гарантирует гражданам одни и те же в принципе права и свободы, а культура как Исландии, так и Испании идет от одного и того же исторического корня.

Скажут: так то всё Запад, а мы, мол, «Восток, Россия и Славянство»! Не знаю, не знаю... Традиционное противопоставление Запада и Востока, а вместе с ним и термин «западничество» к последней четверти XX века, похоже, утратили всякий смысл, ибо «Запад» окружает нас ныне со всех сторон света: он и в Стране восходящего солнца, и в Стране утренней свежести, он и в Индии, и в Турции, и в Австралии, и в Египте. То же и с панславизмом, подпитывавшим в XIX веке славянофильские умонастроения: похоже, что сербские, словенские, польские, болгарские, чешские, словацкие братья-славяне все больше тяготеют участью пристяжных в русско-советской упряжке и не в нас, отнюдь не в нас видят сегодня свою надежду и опору... Так что, послушайся мы В. Белова и Ю. Лощица, И. Шафаревича и Д. Балашова, риск остаться в гордом одиночестве, то есть в изоляции, усилится сто-крат.

И второе уточнение.

Я еще раз напоминаю, что описанные выше настроения редко сходятся вместе, в пределах одной личной или групповой позиции, что есть разница — часто немалая — между стремлением в сражении со сталинистами реанимировать понятие «социализма с человеческим лицом» и попытками некоторых нынешних авторов выработать в полемике с оголтелыми националистами концепцию «национализма с человеческим лицом». Милитаризованное, имперское самобытничество, характерное для К. Раща, внешне, в первом, что называется, предъявлении, мало походит на национал-большевизм Ан. Иванова и М. Антонова и уж тем более на рафинированные, отталкивающиеся от «Вех», от русской религиозной философии и от А. Солженицына национал-возрожденческие идеи, допустим, А. Латыниной.

Тут спору нет, и я говорю о самобытничестве

не как об идеологии, не как о некоей определившейся в своих очертаниях мировоззренческой общности, а как об умонастроении, как о тенденции, захватывающей и — поверх субъективных намерений — объединяющей в своем самодвижении даже тех, кто и поныне (своя своих не познаша?) все еще шарахается друг от друга и друг друга едко оспаривает...

Хотя... Коготок увяз — всей птичке пропасть, силы взаимного притяжения с каждым новым днем все отчетливее берут верх над силами размежевания, и...

И вот уже ревнитель всего исконного, всего патриархального и домодельного В. Личутин — вослед безупречному и безоговорочному ортодоксу М. Синельникову — прочувствованной статьей откликается на новый роман трубадура Вооруженных Сил, НТР и атомной энергетики А. Проханова («Москва», 1989, № 4), а молодой теоретик «панславизма» А. Фоменко находит, что А. Проханов «полностью реабилитировал себя», пропев хвалу и славу «воинам-интернационалистам» и их «миссии» в Афганистане («Литературная Россия», 14 апреля 1989 г.).

И вот уже доктор философских наук Э. Володин свои рассуждения о бедах православной церкви, о расказачивании и раскулачивании как о геноциде, имевшем целью истребить именно русский народ, прославляет — вослед Н. Андреевой и Ан. Иванову — предупреждениями о том, что разоблачение культа личности Сталина в современных условиях «антипатриотично» и «антинародно», ибо оно-де перечеркивает «всю тридцатилетнюю трагическую и величественную одновременно историю страны и народа» («Литературная Россия», 25 августа 1989 г.).

И вот уже недавние борцы за чистоту идеологических риз, за устои развитого социализма резво меняют сегодня устаревший «классовый подход» на импонирующий многим «национальный» и — вослед уже не вдохновителю «Краткого курса», а недавнему же диссиденту И. Шафаревичу — обличают своих супротивников не в «антисоветизме» и «антикоммунизме», как бывало, а в «русофобии». (Или и в «антисоветизме» и «русофобии» одновременно, поскольку, как заявил в девятом номере «Военно-исторического журнала» К. Раш, «большевизм русский народ в лице своего же пролетариата принял как национальное дело».)

И вот уже, наконец, сам И. Шафаревич не только идеологически обосновывает бытовой антисемитизм, но и жалеет, что нынешний православный мир не изъявил готовности откликнуться на публикацию «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца (Андрея Синявского) с такой

же воинственной нетерпимостью, с какой «исламский мир» откликнулся на «Сатанинские стихи» Салмана Рушди.

Мы, русские патриоты, горюет И. Шафаревич, все мешкаем и мешкаем, все только собираемся, тогда как на зов аятоллы Хомейни «реальным ответом были грандиозные демонстрации, то, что в столкновениях с полицией сотни людей отдали свои жизни,— и в результате удалось добиться запрета книги во многих странах» («Литературная Россия», 5 сентября 1989 г.).

Что означают, спросим попутно, эти поистине удивительные слова члена-корреспондента АН СССР и лауреата Ленинской премии (так обычно — полным титулом — подписывал свои статьи Игорь Шафаревич)?

Что перед нами?

Немыслимое, кощунственное для христианина (да и для атеиста, воспитанного в гуманистической традиции) представление о ценности человеческой жизни, когда на одну чашу весов бросается р о м а н, каким бы он ни был, а на другую — с о т н и т р у п о в, и эта плата за запрещение романа не кажется чудовищно несообразной?

Конечно.

Призыв перенести дискуссию о том, как можно и как нельзя истолковывать пушкинское наследие, на улицу, решить нравственно-интеллектуальную проблему посредством лозунгов и дубинок, то есть, если называть вещи своими именами, призыв к массовым беспорядкам, к вооруженному столкновению разномыслов, а возможно, и к кровопролитию?

Да, к несчастью, и это тоже, и недвусмысленной угрозой веет от фразы: «...наш-то ответ впереди», которой И. Шафаревич завершает сопоставление историй вокруг книг С. Рушди и А. Синявского. Но мне в данном случае хотелось указать не столько на моральный и правовой аспект высказываний И. Шафаревича, сколько на безобязательность и прямоту, с какими этот автор вводит искания наших «заединщиков» в достойный их международный контекст, благодаря чему разговор о нынешних самобытниках и нынешнем самобытничестве сам собою перерастает в разговор

о фундаментализме и фундаменталистах

Мы действительно не одни в этом мире, и, размышляя о спектре причин, активизировавших «самобытнические» настроения в нашей литературе и в нашем обществе, действительно нельзя не принять во внимание и международный контекст, то, прежде всего, обстоятельство, что,

по оценке культуролога Р. Гальцевой, «целый ряд стран Запада на рубеже 70-х годов вступил в фазу преобладания консервативных тенденций».

Мир — во всяком случае, в соотношении с бурными шестидесятыми — и в самом деле заметно «поправел».

Радикалы, социалисты и социал-демократы почти всюду уступили политическую власть и идеологическое первенство консерваторам и христианским демократам. Молодежные движения, да и вообще любые движения социального протеста, резко пошли на убыль, зато усилился авторитет религий, церкви, разного рода конфессиональных ассоциаций как стабилизирующего духовно-социального фактора. «Р-р-революционный» утопизм во всех его формах потерял остатки какой бы то ни было привлекательности и встречает теперь все более и более осознанное неприятие. Экологические беды, неконтролируемая экспансия научно-технического прогресса вызвали закономерную тревогу в широких общественных кругах. Консервативность — как психологическая установка — стала популярной, вошла, что называется, в моду — и в интеллектуальную, и в поведенческую...

Так в быту:

пережив сексуальную революцию и шок, связанный со СПИДом, западное общество¹ круто развернулось в сторону пуританской морали, вернуло приоритет фундаментальным, то есть традиционным, нравственным ценностям; в почете заново оказалось все то, что и у «нас» и у «них» было принято называть «буржуазными», «мещанскими» добродетелями; любознательность по отношению к разного рода моральной, умственной, поведенческой «экзотике» сменилась устойчивым культом дома, семьи, здравого образа жизни и вообще нормы.

Так и в сфере художественной практики:

буйство авангарда — с его вызывающе экспериментальной этикой и эстетикой — потеснено (хотя и не вытеснено) традиционализмом; на повестку дня в ряде стран встали задачи сбережения «островков» национально-культурной автономии; молодежные, классово-корпоративные субкультуры либо ушли на обочину, либо оказались интегрированными, вобранными в единое тело современного искусства...

Здесь нет ни времени, ни места для сколько-нибудь обстоятельного сопоставления нашего и чуждадельного

¹ Еще раз напомню, что в силу процессов «вестернизации», как это называют социологи, «Запад» теперь почти всюду, и выражения «западное общество», «западная культура» впору воспринимать ныне едва ли не как синоним терминов «мировое сообщество», «современная цивилизация».

опыта. Достаточно сказать, что аналогии тут напрашиваются вроде бы сами собою и что многое в идеях и идеалах, в практике современного консерватизма не может не пробудить живейший эмоциональный отклик у всякого нормального человека.

Тем более у советского человека, не понаслышке знающего и то, как губительны всякого рода эксперименты над обществом и личностью, и то, как близко мы подошли к краю экологической катастрофы, и то, как легко, упустив из виду духовные ориентиры, потерять почву под собою, и то, сколь худосочна и худородна культура, не питаемая живой водой традиции, утратившая чувство исторической преемственности.

Поэтому, если действительно, как предлагает Ст. Куняев, «консерватизмом называть» т о л ь к о «защиту Байкала, наших северных рек, спасение исторических памятников, сохранение духовных, вечно живых традиций русской классики, нравственных традиций народа», то не один Ст. Куняев «со товарищи» (как ему и им кажется), но и все «мы останемся «консерваторами» и даже будем гордиться этим» («Правда», 20 октября 1989 г.). Консервативный импульс, охранительные эмоции, понятия — вослед, например, австрийскому теоретику Э. Бузеку — т о л ь к о как «постоянное напоминание о границах и опасностях прогресса и о существовании вневременных ценностей», разлиты сегодня, что называется, в воздухе, так что акцент т о л ь к о на них не может служить критерием мировоззренческого, конфронтационного разграничения, и проблемы тут никакой нет.

Проблема, как и в случае с национальным самосознанием, состоит в другом — в том особенном окрасе, повороте, векторе развития консервативного ч у в с т в а, при котором оно, гиперконцентрируясь, перерождается в самоценную охранительную и д е ю.

И тогда оказывается, что очень даже привлекательный поначалу разговор о необходимости «снова собирать и созидать семью как единственную нашу надежду» есть на поверку всего лишь отправной пункт для рассуждений о пользительности ничем не ограниченного и никем не контролируемого единоначалия, мудрой «отцовской» власти в государстве («Без отца нет семьи, как нет бригады без бригадира, артели без вожака, корабля без капитана, части без начальника, дома без хозяина, государства без главы. А без уважения к отцу не будет послушания перед командиром, почтения перед начальником, уважения к главе государства» (К. Раш.— «Молодая гвардия», 1989, № 10).

И тогда естественная, оправданная встревожен-

ность демографической ситуацией в России становится поводом для сочувственного рассказа о том, что не зря же, мол, «на некоторых «несанкционированных» митингах употреблялся термин «инородцы» и русских призывали воздерживаться от смешанных браков, заботясь о сохранении своей нации» (И. Шафаревич.— «Знания — народу», 1989, № 8).

И тогда стремление воспламенить соотечественников религиозным чувством, призвать их к духовному преображению (то есть к акту глубоко индивидуальному, сокровенно интимному) влечет за собою проекты один другого диковиннее и один другого, простите, смешнее — вплоть до предложения откупить у государства нынешний бассейн «Москва» и, предварительно освятив, превратить его во всенародную православную купель¹.

И тогда от неприятия иной точки зрения до приглашения к «охоте на ведьм» остается рукой подать. Столкнувшись с малейшим проявлением не то что несогласия, но даже и безразличия к своим лозунгам, «просвещенный консерватизм» (а именно его пропагандировал Ст. Куняев в октябрьском интервью газете «Правда», именно его теоретическим обеспечением заняты сейчас «интеллектуалы-младороссы» — от П. Паламарчука до П. Горелова, от А. Фоменко до И. Дудинского), — так вот в этой ситуации «просвещенный консерватизм» вмиг теряет и респектабельность, и просвещенность.

В ход идут самые оскорбительные для оппонентов выражения и предположения. Голос возвышается до заполошного крика. Что же касается действительности, то она рисуется исключительно апокалипсическими красками. Вот — наудачу — пример из прозы, так сказать, публицистической:

«За последние 70 лет наибольший урон понес русский народ, и это теперь уже никем не оспаривается. Если называть вещи своими именами, то наш народ потерпел историческое поражение и находится теперь на грани генетического, нравственного, а теперь уже и численного вырождения с явными признаками потери государственности и своей территории. Достаточно напомнить о насильственной ликвидации только в последние десятилетия сотен тысяч русских деревень, так что в памяти встает судьба американских индейцев, загнанных в резервации» («Литературная Россия», 9 июня 1989 г.).

¹ Читатель, еще не забывший, как — скопом — загоняли молодых людей, например, в комсомол, легко, я думаю, вообразит себе и эту картину массового — тысячами, должно быть, — крещения. А там, глядишь, дойдет и до того, что дружинники начнут проверять у прохожих наличие нательных крестиков.

А вот и пример из прозы художественной — описание поселковой танцплощадки в рассказе В. Астафьева «Людочка»:

«Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, в проволоке, за решеткой мотали друг друга, висли один на другом, душили в паре себя и партнера, бросаясь на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать» («Новый мир», 1989, № 9).

...Знаю людей, воодушевляющих себя и этими картинками — далекими, с горечью скажу, от намерения пробудить «милость к падшим», — и этими воинственными кличками, и этими фантастическими проектами спасения святой Руси. Наблюдал — обычно на писательских собраниях в Москве, на пленумах и секретариатах правления СП РСФСР — за теми, кто, похоже, испытывает нечто вроде мазохистского экстаза, когда при нем (или на нем) рвут рубаху до пупа, раздирают гноящиеся язвы, когда проклинают и заклинают, стращают нечистой (то есть конечно же «вненациональной», «некорневой», «русофобской») силой...

Но гораздо чаще встречаю тех, кто, не соблазняясь ни кличками, ни проектами сегодняшних заединщиков-консерваторов, все еще надеется найти в их высказываниях здравую и здоровую основу, отделить, как говорится, злаки от плевел. До сих пор нет-нет да и увидишь в печати рассуждения о том, что и «Память», дескать, не так уж однозначна и что надо, мол, не обращая внимания на «отдельные» экстремистские лозунги, и в этом случае поддержать благородный патриотический порыв как таковой. Или — еще один вариант, — что не следует «огульно» перечеркивать все, что связано в нашей жизни с идеологией сталинизма и практикой сталинщины: в них тоже-де при ближайшем рассмотрении можно обнаружить нечто фундаментальное, отвечающее национальным чаяниям великороссов и, значит, заслуживающее воскрешения...

Так вот. Я обращаюсь именно к этим литераторам, к этим читателям, потому что я и сам — из их круга. Возможно, грядущему историку действительно удастся всё расставить по своим местам, отделить «просвещенный» консерватизм от того, какой только прикидывается «просвещенным», воздать должное каждой идее из той суммы, что составляет идеологию «тройственного союза». Мне,

современнику «страшных лет России», это — не удастся, ибо, при всей, казалось бы, эклектичности этой идеологии, перед нами отнюдь не механическое соединение компонентов, не взвесь, где накипь, пену «отдельных» лозунгов, фраз, эмоций легко снять шумовкой.

Перед нами — будем смотреть правде в глаза — химическая (хочется сказать — гремучая) смесь, где все связано со всем, где одно не отделяется от другого, так что, например, призыв крепить семью, заботиться о повышении деторождаемости с непереносимостью — именно в этой системе координат! — влечет за собой призыв воздерживаться от смешанных браков, святое патристическое чувство осознается как проявление «имперской идеи», а мысль о целебности религиозного воспитания и просвещения приходит к читателю в одном «пакете» с мыслью об оздоровлении современной армии: «Путь к возрождению воинского духа, к нравственному совершенствованию и очищению Вооруженных Сил, — соловьем заливается «интеллектуал-консерватор» (так он сам себя называет) Игорь Дудинский, — лежит через сближение с Церковью. Необходимо допустить священнослужителей в части и подразделения, создать институт армейских священников. Если в ближайшем будущем удастся наладить союз Армии с Церковью, создать некий Военно-Церковный Комплекс — Держава обретет подлинное величие».

Так то, скажут, Игорь Дудинский, то Карем Раш, то Игорь Шафаревич!.. Они, похоже, фанатики, экстремисты, а какой же спрос с экстремистов? Не все же ведь сторонники идеи особым, консервативным образом спасти Россию таковы?

Верно, не все, и отношения к себе поэтому заслуживают, безусловно, разного. Но... никуда не денешься от ощущения, что в сегодняшнем контексте различие между разного рода ревнителями исключительности и «особости» — не в уровне «просвещенности», не в разности ориентиров и путей, а в степени, как сейчас выражаются, «продвинутости» по общему для всех них пути. В том, иными словами, что одни додумывают свою заветную мысль до упора, до стадии практических рекомендаций и попытки воплотить эти рекомендации в жизнь, а другие эту же мысль удерживают на полдороге, в рамках либо культуры, либо кабинетного умствования...

И выясняется, если действительно додумывать до конца, что похожесть наших «интеллектуалов-консерваторов» на «западных» — сугубо внешняя, что аналогом здесь может служить не восходящая линия консерватив-

ной тенденции, а линия, ей по сути противостоящая и, мне кажется, нисходящая. Какая же?

И. Шафаревич — своим, если помните, сопоставлением историй с книгами С. Рушди и А. Синявского — отважно подсказывает: и с л а м с к и й ф у н д а м е н т а л и з м, — и эта подсказка и в самом деле не лишена оснований, хотя говорить здесь нужно, конечно, всего лишь о типологической сближенности, о параллелизме и, может быть, внутреннем родстве, но никак не о полном тождестве.

«Куда ж нам плыть?..»

Я далек от предположения, будто все без исключения или пусть даже многие наши, отечественные фундаменталисты (они же «заединщики», они же «самобытники», они же «просвещенные консерваторы») сознательно сориентированы на исламский пример и опыт иранской перестройки, иранского религиозно-государственного, национально-культурного возрождения. Более того, я убежден, что от родства, подсказанного здесь не столько в оценочных, сколько в эвристических, поисковых целях, с негодованием откостят практически все мои оппоненты: одни — по религиозным мотивам, другие — в силу идеологических амбиций, третьи — по соображениям морали.

Видит бог, мне и самому претит эффектность этой аналогии, но дело не в эффектах, а в истине: мы действительно не одни во вселенной, так что...

Так что, боюсь, на особость, на исключительность именно «русского ответа» нам и тут рассчитывать не приходится. Ставя в один гипотетический ряд события, переворотившие жизнь в странах, охваченных исламской революцией, и идеи (пока только идеи!), завладевшие умами публицистов «тройственного союза» и их единомышленников, видишь, что перед нами, конечно, в каждом отдельном случае специфичная, но в основе своей единая для нуждающихся в радикальной перестройке обществ р е а к ц и я как на недавнее (постыдное) прошлое, так и на вероятное (пугающее) будущее.

С недавним прошлым все более или менее ясно, и незачем в полемическом запале преуменьшать усилия многих (хотя, конечно, далеко не всех)¹ нынешних «зае-

¹ И об этом тоже полезно помнить, так как предстоящие (или представляемые) ныне едва ли не «близнецами-братьями» И. Шафаревич и П. Проскурин, М. Лобанов и Ф. Кузнецов еще совсем недавно и вели себя по-разному, и отстаивали разное, и вознаграждались тоже по-разному: одни — хулою, а другие — похвалою, застойным звездопадом почестей, должностей, чиновной ласки.

динщиков» по демонтажу обветшавшей идеологической догматики, по выработке в обществе негативного отношения к теории и практике командно-бюрократического социализма.

Будем справедливы: сформировавшись еще в недрах застоя (вспомним «Письма из Русского музея» и «Черные доски» Вл. Солоухина, статьи В. Чалмаева и М. Лобанова второй половины 1960-х годов, интеллектуальную деятельность Ю. Селезнева и т. д.) как своего рода «неославянофильство» или, может быть, «неопочвенничество» и сформировавшись в оппозиции не только к «левым», но и к официозу, эта группа литераторов славно потрудились, подготавливая умы к новой оценке дореволюционной государственности и культуры. Именно они напомнили о трагедии русского крестьянства и русского мещанства в годы революции, нэпа, принудительной коллективизации. Именно они чаще других твердили о роли православия и церкви в русской истории, о том, что человеку не прожить без духовности и веры. Именно они первыми напомнили о губительности не контролируемого обществом научно-технического прогресса и т. д. и т. п.

Будем опять-таки справедливы: эти бесспорно позитивные по своей сути начала уже и тогда, причем с каждым последующим годом все неразъемнее, увязывались в рамках фундаменталистской оппозиции режиму с тем, что не могло не вызвать — хотя бы у меня, к примеру, да, думаю, и не только у меня — несогласие, недоумение, а часто и протест. Об этом тоже забывать не стоит, но речь пока у нас о другом. О том, что, как к ним сегодня ни относиться, деятели этой ориентации тоже отказывались смириться с существовавшим в стране положением дел, тоже ждали перемен, тоже готовили перестройку.

Они даже громче, может быть, многих прочих били в рельсу: «Горит, горит моя деревня, горит вся родина моя...» — и называть их безо всякого разбора «врагами перестройки», на мой взгляд, нельзя.

Они — еще и еще раз повторю для ясности — за то, чтобы стране и народу жилось лучше.

Они — за необходимость перестройки. Но только... не за ту перестройку, которая разворачивается под знаменами демократизации, гласности, сближения с мировым сообществом.

Наши фундаменталисты — против именно такой перестройки, и все возрастающая взвинченность их тона, все большая аффектированность их оценок ситуации (мы сейчас, мол, чуть ли не под Сталинградом; ни шагу дальше; мы — на грани катастрофы и т. п.), а также все усиливающаяся агрессивность их социальных обещаний и

пророчеств объясняются, я думаю, в первую очередь тем, что именно такая, внутренне им чуждая и мучительно их страшущая перестройка — плохо ли, хорошо ли — все-таки продолжается, и в общественном сознании все глубже, все прочнее укореняются идеи правового государства, рыночной экономики, представительного народовластия, свободы совести и слова, «открытого», «гражданского» общества, плюрализма не только мнений, но и организаций, личной независимости, суверенности и защищенности человека как от произвола «начальства», так и от диктата правящей идеологии или, допустим, правящего вероисповедания...

Естествен вопрос: какою же они, наши фундаменталисты, хотели бы видеть перестройку? Или лучше так сформулируем вопрос: каким рисуется чаемое ими будущее страны и народа?

Ответ найти нелегко, так как идеологи и публицисты «тройственного союза» больше заняты персональными делами супостатов-«перестройщиков», чем изложением сколько-нибудь систематизированной положительной программы. Что же касается лихо выбрасываемых на хоругви и штандарты фраз типа: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» или «Русские всех стран, соединяйтесь!» — то в них особый, то есть различительный, смысл при всем желании не обнаруживается, ибо, простите, не только «заединщикам», но и всем нам нужна великая Россия, ибо, виноват, не только «заединщики», но и все мы горой стоим за воссоединение разбросанных судьбою по белу свету соотечественников...

Словом, приходится собирать ответ буквально по кусочкам, по фразам, да и то в конечном итоге получаешь, скорее, реестр эмоций и намерений, движущих мотивов.

Ну хорошо, пусть так. Но что же это все-таки за намерения? Что движет нашими фундаменталистами — вне зависимости от того, что они держат на груди: партийный билет или православный крестик?

Прежде всего ими движет, конечно, ощущение, что и во всех исторических бедах страны и народа, и в нынешнем плачевном их состоянии повинны либо внешние обстоятельства, либо некая чужеродная и чужекровная России и русским сила. Имя этих обстоятельств, этой силы у разных авторов, само собою, варьируется, но... Хоть режьте, я, ей-богу, не могу усмотреть расхождений по существу между, допустим, рассуждениями борца за идеологическую «самость», публициста Ю. Жукова: «Да, мы жили бы куда лучше, если бы не те беды и трагедии, которые выпали на нашу долю. Восьмой десяток лет живем на отвованной у капитализма земле, но не было еще ни одно-

го года передышки, когда мы могли бы спокойно перевести дух» («Правда», 6 октября 1989 г.) — и, предположим, горестными догадками ревнителя национально-культурной «самости», писателя В. Астафьева: «История России состоит из такой длинной цепи ужасающих трагедий, что невольно задаешься вопросом: не стоит ли за этим чей-то зловещий умысел» (цит. по: «Московские новости», 29 октября 1989 г.).

Равным образом нет, на мой взгляд, принципиальной разницы между намеками на то, что это, мол, евреи и вообще инородцы подвели страну к революции, гражданской войне, массовому террору, то есть помешали нам мирно идти по столыпинскому, скажем, пути, и рассуждениями о том, что русскому человеку и сейчас жилось бы совсем не плохо, кабы он не «позволил, по своему доброму характеру, сесть на свою шею «интернационалистам», а точнее — вырождакам без роду и племени» («Литературная Россия», 27 октября 1989 г.), кабы не вынужден он был содержать за свой счет прибалтийских, закавказских, молдавских и прочих «нахлебников».

И разговоры о кознях западных спецслужб, и анкетирование членов первого Совнаркома «по пятому пункту», и нынешние статистические претензии народам союзных республик — от одного корня. И вывод тоже один: все у нас будет хорошо — если только удастся действительно закрыть границу на замок, законопатить не только «окно в Европу», но и щели, добиться не только социальной, но и национальной однородности российского народонаселения. Высказанное В. Распутиным на Съезде народных депутатов предложение о добровольном выходе Российской Федерации из состава СССР конечно же шутка; но только ли шутка?..

Во всяком случае, ничто, пожалуй, так не тревожит сегодня публицистов «тройственного союза», как призрак (пока действительно всего лишь призрак) грядущей — вместе с перестройкой, вместе с новым мышлением — социально-политической, экономической, правовой, информационной, культурной открытости нашей страны и нашего общества. О чем бы речь ни заходила — о гастролях западных рок-звезд или о совместных предприятиях, о свободе распространения информации или о необходимости придерживаться международных юридических норм, — приговор у наших фундаменталистов всегда один, и только один: закрыть, остановить, пресечь, взять под неусыпный контроль, то есть — в идеале и в перспективе — добровольно отъединиться от окружающего («нечестивого», «погрязшего в скверне и сытости») человечества, уйти в национальную самоизоляция.

И снился мне кондовый сон России,
Что мы живем на острове одни.
Души иной не занесут стихии,
Однообразно пролетают дни.

Качнет потомок буйной головою,
Подымет очи — дерево растет!
Чтоб не мешало, выдернет с горою,
За море кинет — и опять унет.

(Ю. Кузнецов)

Я не знаю, чем мы, граждане, займемся и как жить будем, если изоляционистские идеи возьмут вдруг верх в сегодняшней смуте, — публицисты «тройственного союза», напомню, уклоняются от предъявления чертежей и смет, а беллетристам-футурологам, рисуящим восторжествование фундаменталистской грезы (см., например, готовящийся, кажется, к публикации в СССР роман «Москва 2042» В. Войновича или уже опубликованную в шестом номере журнала «Искусство кино» за прошлый год повесть «Невозвращенец» А. Кабакова), верить все-таки не хочется...

Так вот, я не знаю, какое будущее может быть нам уготовано. Но я вижу, что именно к этой — центральной — идее подтягиваются решительно все эмоции, соображения и предположения отечественных «хомейнистов»:

— и постоянное, болезненное самовозбуждение «имперской мечтой», воспоминаниями о былом, легендарном величии именно своей нации и именно своего государства или, например, утверждениями о том, что прибалтийские народы не вправе надеяться на суверенитет, ибо — слушайте, слушайте! — «Россия не может лишиться своих земель, приобретенных в кровопролитной борьбе в течение почти семисот лет, сначала с Тевтонским орденом и далее в войнах с Ливонией, Швецией и отчасти с всегда враждебной Речью Посполитой за геополитический выход в балтийские воды» («Лит. Россия», 27 октября 1989 г.);

— и убеждение, что от пагубного «европейничанья» и «американничанья» нас может спасти только сильная «вера отцов» (в случае И. Шафаревича — это, безусловно, православие; в случае Н. Андреевой, — вероятно, сталинизм) вкупе с сильной же армией;

— и надежда на то, что можно повернуть время вспять, реставрировать давно ушедшие в предание бытовой и хозяйственный уклады, формы государственного устройства, культурно-психологические стандарты «доленинской», а в идеале и «допетровской» поры;

— и стремление превратить церковь в фактор не столько духовной, сколько государственной, светской жизни;

— и готовность, сопротивляясь власти как бюрократии, так и закона, самозабвенно склониться не перед свободным волеизъявлением народа, а перед властью авторитета, то есть властью аятоллы, харизматического, богоизбранного лидера, «отца» или «отцов» нации;

— и мнение, согласно которому «перестроечный» плюрализм рано или поздно уступит место «неколебимому морально-политическому единству», ибо, как заявляет философ Э. Володин, «политическая дифференциация общества — образование всевозможных союзов, блоков и фронтов — симптом его нездорового положения» («Литературная Россия», 27 октября 1989 г.);

— и неприятие вообще всякой, любой дифференцированности, постоянная возгонка и без того прочно укорененных в массовом сознании «уровнительных» настроений, когда кажется: лучше всех оставить одинаково бедными, одинаково больными или одинаково полуграмотными, чем допустить хоть какое-либо «неравенство»;

— и представление о том, что есть в мире ценности выше общечеловеческих («Имперская идея. Это единственное, что выше всех общечеловеческих ценностей», — задумчиво роняет И. Дудинский; «русский человек — государственный по природе», — солидно подтверждает А. Фоменко), что личная свобода нашим согражданам ни к чему, только во вред она будет и им и миру, ибо, как пишет В. Кожин, «идея свободы являет собой сегодня нечто идиллическое, несовместимое, скажем, с очевидной опасностью глобального экологического катаклизма» («Литературная газета», 1 января 1989 г.)...¹

Ну, и так далее, и так далее, и так далее...

Как видим, всем нам, если говорить суммарно, клин «идеологического первородства» предлагают вышибить клином «национальной самобытности», или, иными словами, предлагают страну из тупика, в который ее уже завел один «особый путь», перевести не на торную дорогу, которой давно уже идет человечество, а на путь иной, опять-таки «особый».

Вот и спросим самих себя: согласуется ли приведенный выше реестр намерений с целями, ориентирами, практическими задачами сегодняшней перестройки? И... удержимся от ответа — хотя бы потому, что вопрос у нас, похоже, получился риторическим...

Спросим лучше о другом. Согласуются ли принципы домодельного «просвещенного консерватизма» с той

¹ Может быть, действительно права русская поговорка и действительно в огороде — бузина, а в Киеве — дядька?

консервативной тенденцией, которая действительно возобладала в современном мире и на родство с которой так любят при случае кивнуть наши «заединщики»?

Сопоставим-ка, поглядим уже под занавес: что охраняют «у них» и что пытаются охранять «у нас».

«Ихние» консерваторы горою стоят, например, за сохранение «открытого», «информационного» общества — «наших» же, похоже, огорчает даже нынешняя гласность, от которой, что греха таить, далековато и до свободы слова в одной, отдельно взятой стране, и тем более до свободного обмена информацией в международном масштабе.

«Ихние» всерьез обдумывают проекты создания общеевропейского правительства, ни за что не откажутся от практики международного разделения труда, от деятельного участия своей страны в общемировом экономическом сотрудничестве — «наши» же явно страшатся даже и слабого намека на возможность такого сотрудничества, видят в нем угрозу державной независимости, запугивают и себя и честной народ жупелом «империализма», который будто бы тут же превратит Советский Союз в свою колонию, в сырьевой придаток то ли Штатов, то ли ЕЭС, то ли Японии.

«Ихний» консерватизм защищает от «левых» принципы свободной инициативы, конкуренции, частного предпринимательства и частной собственности — «наш» ощетиливается даже при виде первых советских кооператоров, рисует раздирающие душу картины того, к чему может привести свободная соревновательность сил, идей, талантов, психологических установок, общественных организаций и производственных коллективов.

«Ихний» консерватизм, произрастая, как отмечают исследователи, из классического либерализма, отводит государству роль своего рода «ночного сторожа», исключает какое-либо нарушение суверенитета личности, какое-либо ее подчинение интересам сословия, класса, нации, государства, веры — «наш» же, произрастая из столь же классического тоталитаризма, напротив, хлопочет об ужесточении контроля над умами и душами, лишь вывески меняя в определении того, кому на этот раз должен служить, чему в данный исторический момент должен подчиниться советский человек...

Эти соотносительные пары можно было бы и дальше выстраивать, но надо ли?.. И без того, надеюсь, уже видна ирония идеологических процессов и пропагандистской терминологии, состоящая в том, что «наши» консерваторы пытаются предохранить, уберечь общество именно от того, без чего «их» консерваторы жизни себе не мыслят. Понятия «правизны» и «левизны», пересекая

государственную границу, меняются, как в контрдансе, местами и ролями, так что действительно трудно не улыбнуться: «Правая, левая где сторона?» — отметив, как тесно смыкаются идеи сегодняшних советских «леваков», «радикалов» и «авангардистов» с идеями «западных» консерваторов и насколько несовместим с ними комплекс лозунгов и настроений сегодняшних советских фундаменталистов.

Это во-первых. А во-вторых...

Доказывая в интервью газете «Правда» (20 октября 1989 г.), что «просвещенный консерватизм — неотъемлемая и необходимая часть всех демократий», Станислав Куняев заявил: «...без просвещенного консерватизма общество будет напоминать автомобиль без тормозов», — и с ним нельзя не согласиться — либо в теории, либо применительно к практике «западных» демократий, где механизмы принятия ответственных, или, как у нас выражаются, судьбоносных, решений настолько отлажены и баланс интересов соблюдается столь строго, что обществу, государству уже не грозит опасность, сделав один неверный или пусть даже просто неосторожный шаг, незаметно для себя соскользнуть в пучину потрясений — хоть социальных, хоть национальных.

Честное слово, я надеюсь, что и мы когда-нибудь увидим небо в алмазах, вздохнем наконец свободно и спокойно: писатели займутся художеством, словотворчеством, читатели — чтением, а политические деятели — выработкой взвешенных, сбалансированных решений в условиях консенсуса, взаимодополняющего, взаимокорректирующего и взаимосогласованного с о т р у д н и ч е с т в а «правых» с «левыми», «консерваторов» с «радикалами», «утопистов» с «прагматиками».

Но это, увы, пока лишь мечта, идеал, к которому должно стремиться.

Есть и реальность.

Та реальность, где ситуация настолько же не походит пока на общемировую, насколько «западный» консерватизм не походит на отечественный и насколько консервативный девиз «кров и почва» отличен от фундаменталистского лозунга «кровь и почва».

Та реальность, где, после некоторого замешательства, будто грибы начали расти «неформальные» организации вроде «Единства», «Отечества», «Возрождения», «Содружества», «Обновления», «Товарищества русских художников», Объединенного совета России и Объединенного фронта трудящихся, где к «правым» (нашим, понятно, «правым»), словно по команде, стали один за другим переходить все новые и новые органы печати...

Та реальность, где, по характеристике заместителя Председателя Совета Министров СССР, академика Л. И. Абалкина, «нарастающие трудности, ностальгия по прошлому» уже «привели к формированию правоконсервативного блока общественных сил» и «этот блок набирает силу и представляет собой весьма серьезную угрозу перестройке» («Аргументы и факты», 14—20 октября 1989 г.).

Та реальность, где действительно, по слову поэта, «и так все держится едва, на ниточке висит, цепляется, вот рухнет...» и где не только осознанная воля большинства народонаселения, но и случайное стечение обстоятельств может определить будущее страны на долгие, долгие годы...

Возможно ли, нравственно ли, патриотично ли, спрошу, в условиях этой реальности прятаться «в красивые уюты», убаюкивать себя словами о «консолидации» и «соборности», высокомерно отворачиваться: «Чума на оба ваши дома!» — или хладнодушно соглашаться с этими и теми, брат что-то «у Шафаревича», что-то «у Сахарова», что-то из листовок «Памяти», что-то из программы межрегиональной депутатской группы?

Время слишком серьезно.

Выбор слишком ответствен — не менее, может быть, ответствен, чем в Октябре семнадцатого, когда судьба России, всего нашего многонационального Отечества решилась едва ли не на столетие.

В обществе идет мучительная, болезненная, трудная, но необходимая всем нам борьба идей.

И спорят не писатели, не публицисты, не парламентарии.

Спорят две России, и каждый — писательский ли, читательский ли — голос в этом споре — не лишний.

Будем же помнить:

Громада двинулась и рассекает волны...

Будем же — и каждый в отдельности, наедине со своей совестью, и все вместе — решать:

Куда ж нам плыть?..

Старая тяжба, или Окно в Россию

1

«Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной из самых острых проблем русской истории». Это было написано в 1926 году русским философом Г. П. Федотовым и, видите, уже тогда как о привычном, хроническом — «становится вновь». Когда бы сейчас еще сохранялись систематические умы, не вовлеченные в нынешнее «броуново движение» домашних идей, то, вероятно, кто-нибудь собрал бы следы этих тяжб в словесности, публицистике, богословии и мы увидели бы, что проблема не так академична, как кажется, и задевает не одну культуру, а через нее всякого русского человека. Во всяком болит. В неустойчивые же дни, когда быт отодвигается агрессивным словом и человек растерянно вслушивается во все голоса сразу, ища опоры, старая эта тема всегда выходит вперед. И дело, конечно, не в собственно городах, а в том духе, который их держит. Не между столицами идет тяжба, а между всегда разрывавшими человека верой и знанием, духом и разумом, чувством и мыслью. Они только в книжных аннотациях легко соседствуют

и ходят парами, а в жизни, увы, всякий на себе скоро узнаёт, что именно неразлучные понятия оказываются соединимы труднее всего.

Да хоть по первым общешкольным представлениям вспомните, как мучил Петербург двух пушкинских Евгениев — бедного героя «Медного всадника», не знавшего, как согласить свои простые чувства и желания с мертвым державным воздухом, где маленькому живому миру нет места, и как источил и разорил этот город вполне будто петербургского Онегина, в какую скуку — хуже тоски — вогнал. А гоголевские несчастливцы (Башмачкины и Копейкины), которым только и спасение в «Выбранных местах»! А больные «мыслители» Достоевского, где Раскольников вполне равен Порфирию Петровичу, а Иван Карамазов — Николаю Ставрогину! Ведь этот мающийся мир никак нельзя назвать реальностью, как ни обставляя; сколько ни зови героев «типичными», а не ходят по улицам повседневно живущих наших городов ни Хлестаковы, ни Шатовы, ни майоры Ковалевы, ни Степаны Верховенские. Им только тут, в выморочном полусвете белых ночей, место, в зеркале именно петербургской прозы. Тут они маются и до сих пор не знают приюта. И случайно ли Пушкин, ожесточась «порочным двором цирцей», находит успокоение в доброй семье капитана Миронова из Белогорской крепости, Гоголь бежит в Москву и «Выбранные места», а Достоевский чаёт спасения миру в отроке Алеше Карамазове, который выйдет в этот мир из русской обители.

Так что Г. П. Федотов знал, о чем писал. Он успел на себе изведать власть Петербурга, его жестокое требование «умереть для счастья, чтобы родиться для творчества» и без восхищения звал город «фабрикой мысли», где в последние годы XIX и в начале XX века «уверенным мастерством заменяют кровь творчества» великие и несчастные «шлифовальщики камней, снобы безукоризненного», которых мы так долго отодвигали в тень русской мысли и литературы, что и сейчас в беспокойном самозащитном удивлении не знаем, куда определить.

Эта статья и вся была порождена досадующим восклицанием моего товарища, ленинградского архитектора, каменщика, публициста и историка А. Семочкина, что в нашей давней войне Севера и Юга, в отличие от войны в Соединенных Американских Штатах, победил Юг, и дворянская культура, все более становящаяся для России собственною культурой, естественно сопоставимой с мировыми культурами, была отодвинута культурой гражданско-народнической (ну, чтобы прояснить «во плоти», скажем в самом грубом приближении, что в диалоге Пуш-

кин — Некрасов, Майков — Полонский, Тарковский — Твардовский победили вторые). Моего собеседника уязвляло, что Россия как бы не находит места для таких своих великих детей, как, скажем, Набоков или Ходасевич. Гумилев или Г. Иванов, и упорно держит их в какой-то аристократической периферии, в почетной-ссылке, в музейной экспозиции, отказывая в прямом деятельном участии в общей культуре.

Все это я, конечно, спрямил. На самом деле положение тоньше и «ветвистее» и все определяется именно этим федотовским словом «тяжба». И «тяжба» для Петербурга не безнадежная, а может быть, как никогда более благоприятная.

2

Может быть, никогда эта страница нашей культуры не была так отчетлива, потому что явилась не в разрозненности лет, а «корпусом», как следом за военными любят выражаться текстологи. И отчетливость эта удвоена тем, что культура пришла вне контекста времени, в беззащитной лабораторной наготе чистого опыта. Текст из живого тела, каким был в пору рождения (с невольным окликанием связей времени и круга единомышленников и оппонентов), стал именно чистым текстом, окрашенным ностальгической нотой и принятым с опережающей любовью в возмещение опоздания.

Один из хороших поэтов рассказывал мне, что в пору, когда судьба привела его в сторожа бывшего кафедрального собора, определенного под галерею, он видел однажды (сон ли? явь? — не это сейчас важно), как о полночь дверь бесшумно и как-то крылато растворилась (он услышал этот распах спиной) и будто молодой вьюгой и свежестью опануло лицо. Когда он обернулся, в храме стояла стена, может быть, только выступивших в поход, в долгую дорогу офицеров и красивых молодых женщин, которые — это было сразу ясно — давно умерли. На немой вопрос моего товарища они успокаивающе кивнули: «Мы пришли проеститься...» — и опять только тонкая свежесть снега или утра.

Вот что-то похожее случилось и сейчас. Они пришли сомкнутым ладным и статным строем: В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Гумилев, Н. Берберова, З. Гиппиус, И. Одоевцева с неизменным табунком второстепенных поэтов, без которых, как без воздуха, высокое искусство не живет, и подлинно повеяло молодым прощанием. Оказалось, мы бы ли замечательно богаты. Есть у А. Ахматовой стихотворение:

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем,—
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

Тогда терять, теперь — запоздало обретать, но с тем же ощущением «великой щедрости Божьей». Вот ведь и А. Ахматову, и М. Цветаеву, и А. Белого, которые, слава Богу, пришли раньше и как будто все эти годы не оставляли нас, мы теперь прочитали в новых контекстах и словно вернули их в живой порядок времени, как будто они были до этого бездомны и неуместны, а теперь — под родным кровом, своя от своих.

В дневниках Л. К. Чуковской я вычитал, как Ахматова, перечисляя своих несводимо различных сверстниц, соединенных только «произволом» времени и одного культурного круга, с умной прозорливостью без досады замечает: «И подумать только, что когда мы все умрем,— историки во всех нас найдут что-то общее, и мы будем называться: «женщины времени...» Похоже, это касается не одних женщин. Все они, тогда бесконечно далекие, сейчас стали одно — «люди времени» (вот только время это однозначно не назовешь: времени перелома, успения России, исхода или надежды — слишком много всего вошло в те первые тридцать лет века, чтобы в одно слово поместить).

При жизни мы можем и пустяки выращивать до неба, и заслоняться друг от друга, не протягивать руки, числиться в разных станах, а в истории все преграды обретают свою настоящую величину и оказываются настолько не видны глазу, что наблюдатель без усилия и без нарочитого желанья примирить отдаленное видит на месте мящущихся современникам противоречий сомкнутое единство — «мы пришли проститься».

Но почему же все-таки невольню вырывается — мы бы ли замечательно богаты? Разве что-то ушло? Ведь вот они стоят теперь на полке плечо к плечу, невольню тяготей друг к другу, минуя алфавиты и классификации. Но нет, прошедшее время просится само собою — бы ли... И все мы отчетливо, еще до анализа знаем это. И причина опять в том, что они пришли «корпусом». То, что с одной стороны кажется благом, с другой — обнаруживает мстительную изнанку. Они пришли не из реального литературного процесса, а уже из истории и литературы, из невозвратно минувшего и, не успев побыть современными (негде уже было их стихам и прозе развернуть свои легкие, нечем дышать в качественно и духовно переменившемся

времени), вернулись в историю. Разве только еще не уложились в далековатый контекст и потому слишком заметны среди до них «расставившихся» современников, остались пока по-прежнему бездомны и только еще ждут более просторного здания истории русской литературы, где и им наконец будет отведена подобающая площадь. А мы позабыли архитектуру их старомодного быта, извели подходящих мастеров и уже не ведаем, каково же должно быть это новое здание, где этим возвращенным изгнанникам было бы хоть по смерти удобно.

3

Но если вот так уверенно «были», то отчего же всплыло федотовское «тяжба» — то есть чувство живое и сильное, соревновательно настойчивое? Осмелюсь предположить, — оттого, что Россия во многом сама стала Петербургом, если вспомнить портрет этого города, набросанный Федотовым: «...небо без солнца, каменные колодцы дворов (теперь типовых кварталов. — В. К.), дома-гробы с перспективой трясины кладбища (под кладбища мы отдаем сейчас земли столь ничтожные, что ни о какой памяти предков нечего и говорить. — В. К.). И закон жизни — считай минуты, секунды, беги, гори, колотись, сердце, пока не замолчишь навсегда!»

Не потому ли и «фабрика мысли» уже не кажется нам укором и мы готовы согласиться с философом, что «эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей». Кажется, рекрутский набор рабочих для этой неостановимой фабрики дошел и до нас. Не случайно мы вглядываемся до рези в глазах в колеблющиеся испарения воспоминаний о тех томительных днях, когда на «башне» Вячеслава Иванова безрадно и патетически славился Аполлон, когда сначала в «доме Мурузи», а потом на заседаниях религиозно-философского общества усилиями Гиппиус и Мережковского, Тернавцева и Философова, Свентицкого и Эрна в согласии с терпеливыми петербургскими епископами искалось «Оно», которое могло бы согласить интеллигенцию и церковь, причем обе стороны шли в противоположный стан с миссионерскими чаяниями и желанием «обратить» оппонентов. Все это было нервно, беспокойно и, на здоровый взгляд с улицы, довольно путано, тем более что поиск шел хоть и в Петербурге, а всё в России, а значит — со всей мгновенно сбегающей накипью случайностей, с неизбежной пестротой домашнего умствования, несчетных ересей, которые разом заводятся в таких местах и притягивают что попало. М. М. При-

швин, числившийся и бывший в те лета знатоком богатого русского сектантства и участвовавший в заседаниях, оставил в дневнике хороший «рисунок с натуры»: «...Карташов возводит очи горе. Мережковский негодует. Вячеслав Иванов настроился на скандал. Чулков говорит об антиномии. Стахович спрашивает, что такое «антиномия». Старухи-теософки, курсистки, профессора, литераторы, баптисты, попы, восточный человек и честнейшие ученые жидаы. Теряю всякую способность наблюдать, думать, разбираться, сберегать услышанное, хаос».

На «фабрику» это, надо сказать, похоже мало. Больше от так любимых на Руси толкучек, на которых ходил и богатый самодельный интеллектуальный товар. Впрочем, надо оставить иронию, потому что нам она еще не по чину (виделась первой накипь, которая всегда виднее, а на глубине жила настоящая мысль) — дай Бог нам сегодня одного-двух мыслителей класса тогдашних участников собраний. Если же плоды оказывались все-таки безжизненны, то виной был Петербург, слишком безбытный, метафизический, сам более умозрительный, чем реальный, так что богословие его и не могло быть ничем иным, как только, по блестящему определению О. Г. Флоровского, «богословием на сваях», которое никак не хотело быть практическим, общерусским.

«В России меня не любили и бранили, — жаловался Н. Бердяеву Д. Мережковский, — за границей меня любили и хвалили, но и здесь и там одинаково не понимали моего. Я испытывал минуты такого одиночества, что становилось жутко; иногда казалось, что или я нем, или все глухи...» (выделено Мережковским. — В. К.). Причины могли быть обе: и он нем (блестяще выражая оболочку, поверхность мучающей мысли и не пробиваясь к существу), и все были глухи (потому что каждый тогда более говорил, чем слушал другого, как это всегда бывает в бегущие неотчетливые времена). Но была, кажется, и главная причина — третья: нельзя «умереть для счастья, чтобы родиться для творчества». Нельзя отлетать от «скуки жизни» слишком далеко, спрашивая с мысли больше, чем она вправе дать.

Это и было «на сваях» — над жизнью. В Москве землю слышали лучше, и в том же письме Бердяеву Мережковский справедливо подозревает, что, например, не смотря на то, что с В. Розановым их связывали «неизменно дружеские отношения», «в области религиозных идей, если бы только он мог или захотел понять то, что я говорю, — он оказался бы моим злейшим врагом». Тут нечаянно сказало больше, чем о личных отношениях, — московские богословы с петербургскими, похоже, и на всех уров-

нях «не дослушивали» друг друга, чтобы не оказаться «злейшими врагами». Мережковский не зря боялся, что, если дело дойдет до крайности, Розанов станет «с историческим христианством против нас». Станет, станет — можно не сомневаться. Как и вся Москва станет с историей и традицией, родом и домом, хотя бы порознь она и осмеяла все эти «мещанские консервативности». Срабатывает самозащитный механизм жизни. Бессознательное чувство отступится от знания не из трусости, а потому что угадкой генетики и крови окажется умнее ума, тогда как в петербургской школе знание устоит из одного гордого беспочвенного упрямства, из самости, ложно понятой самоуверенности, за которую было так страшно заплачено и петербургской и вообще русской мыслью.

4

Однако мы ведь не о тяжбе в религиозно-философской мысли сейчас говорим, а в художественном опыте, хотя они так связаны, а в Петербурге и прямо неотрывны, что отвлечение это было неизбежно. Вернемся к вопросу, почему же все-таки русская культура исподволь отторгает петербургское наследие и не принимает блестящие достижения, вполне признанные миром равно в Набокове или отмеченном Нобелевской премией Бродском. Из одной ли косности, в которой готовы упрекнуть Москву и сегодняшние ленинградцы, замыкаясь в своей литературной жизни в совершенную отдельность (об этом — об остром чувстве изоляции — ревниво и недоуменно писал в «Литературной газете» секретарь Ленинградской писательской организации В. Арро)? Из грубости ли вкуса, не пожелавшего поверить, что Ходасевич «привил-таки классическую розу к советскому дичку»?

Нет, причины, мне кажется, в самой этой петербургской и ленинградской культуре, в том, что происходило с ней и продолжает происходить сейчас. Сразу оговорюсь, что не буду делать никаких обобщений, тем более об уровне целой культуры (к тому же, как уже заметил читатель, я часто помещаю в петербургский ряд и московские фамилии), а выскажу только несколько мыслей со стороны, которые неизбежно поверхностны и оправдываются только тем, что, возможно, дадут повод исследовать предмет более вооруженным специалистам. Пожалуй даже, мне просто хочется ответить своему собеседнику, огорченному за Набокова, но смею думать, что частность ответа таит зерна обобщения.

Я уже не раз цитировал Ахматову (очевидно,

потому, что она — лучший посредник петербургской и ленинградской культур и разделяющих их десятилетий), вспомню еще раз: «Когда человек умирает, Изменяются его портреты...» Я люблю это стихотворение, потому что блеснувшее здесь замечательное наблюдение касается не одних людей, но не в меньшей степени и культур, творимых этими людьми. Таково уж свойство памяти — она торопится перевести отошедшее в слова, в плоскость картотеки — так ей удобнее хранить минувшее.

Половина поминаемых нами художников «консервировали» город поневоле. Изгнанники, они оставляли его, увозя образ, напечатлевшийся в час прощания. По Парижам, Константинополям, Венам, Нью-Йоркам и чужим провинциям они носили его в сердце, пока он не истончался до дагерротипа, графического листа, дневниковой записи. И даже оставаясь в стране и городе, они шли тою же дорогой, потому что ожесточившаяся враждебная реальность, отторгающая все, чем жили они в сильной счастливой юности, принуждала их ограждать дорогие воспоминания, утаивая их, шифруя, защитно консервируя. Уступить — значило предать не одних себя, но и круг современников и товарищей. Оставшиеся были родней уехавшим, потому что те и другие были изгнаны из ддящегося времени. Время отчетливо разделилось на «тогда» и «сейчас», и «тогда» стало стремительно обретать устойчивые формы, отливаясь в символы и понятия. Потянуло сладковатым тленным воздухом книгохранилища или запасника. Им всем и раньше, по слову Пастернака, было свойственно «понимание жизни как жизни поэта» (это перешло к ним от символистов), а в изломе времени это понимание еще обострилось, подчеркнуло житийность биографии, только подкрепило поэтическую отдельность.

Тут как-то все сошлось: и трагический сбой времени, и то, что начало века породило, пожалуй, первую в России вполне петербургскую школу, соизмеримую с судьбой этого метафизически рожденного города. Город, призванный к культурной работе в России, словно специально рожденный Петром для этой работы, впервые обретал поколение деятелей искусства, которые строили культуру как такое же отдельное, не соединенное с жизнью России целое.

Я понимаю, что все тут спорно, что говорю очень невнятно, но давайте вместе доглядим это чувство. Люди блестящего образования, числившие образование не прикладным, а самостоятельным, устремляющим знание к знанию, поставившие мысль, ее тонкую стихию, ее суверенность в основу жизни, они подлинно чтили жизнь только и прежде всего как поэзию, философию, сон искусства.

Об этом, парадоксально зацепившись за петербургский сюжет, в «Новой московской философии» проговорился В. Пьецух. Вернее, только догадался, но, кажется, счел мысль слишком смелой и парадоксальной и не стал додумывать, постеснявшись ее «литературности». Он там в повести устами своего альтера эго говорит, вероятно думая, что шутит: «...жизнь в сравнении со словесностью гораздо пестрее, бестолковее, вариантнее, подробнее и нуднее. Отсюда вытекает одно причудливое предположение: может быть, литература-то и есть жизнь... а так называемая жизнь — набросок...» Так вот, мне кажется, что для петербургской и скоро вслед за нею ленинградской школы первых послереволюционных лет «литература и была жизнь», а жизнь только мешала чистоте ее формы (опять скажу, что при тогдашнем перетекании культур жить ты мог и в Москве, а делать культуру вполне по-петербургски). Воздух культуры был для них подлинно воздухом, кровью, бытом — всем.

Потом такого уже не было. Мы поставили искусство под подозрение, определили в надстройку, в художественную часть, которая только подкрепляет тезисы торжественной. Для них, этих школ, мысль еще была как рождение облаков, гибель «Титаника», война с бурами. Она была событием природы и истории, равной среди равных, одновременной миру, что так слышно в стихах Пастернака:

Море тронул ветерок с Марокко.
 Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
 Плыли свечи. Черновик «Пророка»
 Просыхал, и брезжил день на Ганге.

И если это понимание не укрепилось, то отчасти повинны они же. За ними не чувствовалось здоровой и цельной силы, которая непреложно входила бы в хаос и космос целого. Они скорее умозрительно подверстывали жизнь и историю к поэзии, отодвигали их во вторичные, что неизбежно должно было привести к замкнутости, взаимным обидам жизни и искусства и медленному расхождению. Они были сверстники Шекспира и Гёте, позднего эллинизма и ранней Византии, звали город Петрополисом и с неукоснительной непреложностью закрывали одно окно на улицу за другим.

В этом было предчувствие обреченности, предзнание того, что их тонкой, до готического кружева развившейся мысли и их житийному поэтическому быту скоро не останется места на земле, которая предпочтет заботы быта и насильственного осчастливливания человечества. Набоков в «Других берегах» много думает об этом предчувствии исхода и высказывает печально-справедливое предпо-

ложение: «...сдается мне, что в смысле раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга были одарены восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, надевая их души и тем, что по годам им еще не причиталось».

Тут вот еще в самую десятку — «убрать прелестную декорацию». Уж что-что, а видеть и единственным образом называть главное Набоков умел. Тем же, кто сочтет фразу нечаянной оговоркой, случайным капризом словаря, несколькими страницами позднее придется оставить заблуждение, ибо там Набоков пишет словно в подбор, в строку «декорации»: «...я унаследовал восхитительную фата-моргану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное и мущество — и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь». «Закал», положим, оказался не таким прекрасным, потому что Россия своих детей не оставляет, понуждая иногда и при внешнем благополучии вдруг срываться, как Набоков в стихах «Отвяжись, я тебя умоляю...». Но что имущество было «призрачным» и было «декорацией» — истинно так.

Мне даже кажется, что тут писатель не об одном себе и не об одном своем поколении сказал, а, скорее, ослепляюще верно угадал сущность этого города для наиболее близких ему литераторов. Он был декорация, и в нем хорошо было быть трагическим актером, «выколачивать эффекты даже из самих несчастий» (В. Вейдле), платя при этом живой кровью и реальным страданием. Легко было обмануть себя, что это там, тогда и что новое время принесет новые песни, но сегодняшняя литература не торопится опровергать умозрительной репутации города, и «песни» меняют оттенки, но существо наследуют со старорежимной бережливостью, как истинные дети.

5

Г. Адамович, сверстник и знаток Набокова, с досадой спрашивал: «как могло случиться, что большой русский писатель оказался с русской литературой не в ладу?» Он это спрашивал не здесь, не устами воспитанника Чернышевского и Михайловского, он спрашивал там и будучи сыном того же времени и той же культуры. И сам справедливо отвечал: «Ему как будто ни до чего нет дела. Он сам себя питает, сам к себе обращен». Когда мир — декорация, такой способ существования вполне естествен. Тогда

отечеством становится язык, великая память, вышколенная изгнанием и одиночеством, и прекрасно вооруженное воображение. Тогда сюжетом становится преследование оттенков, охота за последней тайной человека. Тогда слово и герой загоняются до безвыходности, как преследовал, спеленывая в слова, героев «Петербурга» А. Белый, как до нечистых потных пор высматривался Лужин, пока не упал на мостовую под шахматным взглядом горящих в ночи окон. Герои оказывались в странном родстве с авторами, словно те и другие были «лишними людьми» для русской культуры и жизни.

И не тогда только, но и теперь. А. Битов мог оставить Ленинград, но в «Пушкинском доме» он увез его с собою в сюжете и слове, в герое и строе. Под стать вставному Чернышевскому в «Даре», для которого Набоков утрудит себя изучением биографии и жития далекого ему человека, Битов за своимлевой Одоевцевым сходит в «литературоведы» и вставит в книгу остроумный Левин труд «Три пророка», который потом на год смутит своей гипотезой «Вопросы литературы». Мистификация — высшее наслаждение мысли, и она — родная сестра пристальности, этого общего им микроскопического зрения. Предваряя близкую ему духом «Школу для дураков» Саши Соколова, возвращенную недавно в наш литературный обиход, А. Битов дивился в молодом (в пору написания книги) авторе подробности видения и настаивал, что мир не надо подвергать насилию анализа, а надо «прозревать рай в раскрошенном нами мире». Читавшие книгу могли убедиться, что «рай» ее героев достаточно темен и обернут к ним именно «раскрошенной» стороной. Это рай для наблюдателя, для писательского взгляда с его жадной инвентаризацией мира. Они не зря сошлись: Битов писал о «Лолите» и «Школе для дураков» и автор «Лолиты» эту «Школу» для себя отмечал. Это перекличка близких, братская рука талантов, одинаково чтущих игру, зажигающих мысль от мысли, изведавших самостоятельность слова, его открытость и смысловую подвижность во взаимоотношениях с автором.

«Для меня значение писателя, — говорил сам Саша Соколов, — в его языке, мне нужен язык, меня тема мало интересует». Его собеседник смущенно подталкивает писателя в обычную для русской традиции нравственную сторону: «...какой-то моральный пафос литература несет для тебя?» — «Возможно. Хотя подобные категории на ум мне никогда не приходят... Бродский и я независимо друг от друга, но почти в одних и тех же выражениях высказали мысль, что литература вообще не о жизни...

— О чем же, если не о жизни?

— Литература — о некоторых процессах, происходящих в душе художника, она — продукт его сознания и этим сознанием ограничивается...»

С этим тонким, каким-то нарциссически замкнутым представлением о сути творчества бывает не просто найти место в порядке мира. Почему я и говорю о том, что все время тайно приходит при чтении петербургской прозы и поэзии мысль о «лишних людях». Только никак сразу не скажешь, кто же тут самый лишний: герой, писатель, читатель. Книга в samozамкнутости делается суверенным телом и отчетливо дает почувствовать свою независимость. Она не заискивает перед тобою, не ждет внимания, равнодушно прекрасная, как самоцветные камни хорошей огранки.

У И. Бродского есть стихотворение, начинающееся так:

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
К сожалению, трудно...

Потому и трудно, что «время свершений» ждет от слова иного обращения, «возвышенный нрав» как бы все время не совпадает с будничной скукой реальности (а она скучна одинаково и в застойные времена и в зазорные — дело жизни, если оно здорово, вообще не возвышенно). И опять я боюсь быть непонятым и ложно истолкованным — с этою умозрительной культурой только оглядывайся! Я знаю, что Бродский не романтизма ищет и «возвышенный нрав» не цветы собирает, а возвращать. Мы, например, по сборнику «Круг», некогда так нашумевшему, вполне могли убедиться, как темны и нечисты могут быть проявления «возвышенного нрава». И сейчас ленинградская проза жестка и жестока и хорошо помнит уроки Достоевского и Гоголя, умножая выморочные отражения уже нынешних наследников Родиона Раскольникова и Значительного Лица. А все-таки, все-таки отчего-то мне кажется, что она никак не устроится в родимой культуре, все отдельность свою сознает и вызывающе подчеркивает ее. Цитатами это не подтвердишь — мало ли что можно вытащить из контекста, — а слышать слышишь. В поэзии же, где форма тяготеет к формуле и как-то менее защищена, более доверчива и прямодушна, все виднее, отчего я и прибегаю то к Ахматовой, то к Бродскому. Даже и у Набокова вперед выходят стихи. И сразу реальность соскальзывает в умный сон, бумага словно ветшает под пальцами и в шрифтах мнутся утраченные яти и фиты.

Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
Дворцовый распускает сад...

Эти деревья подстрижены, колоннады стройны, статуи обветренны и вечны, только вслушайся:

Каждый камень, каждая былинка,
Что раскачивается едва,
Словно персонажи Метерлинка,
Произносит странные слова...

Вот и петербургская былинка для Г. Иванова не что иное, как неперемutable тогда Метерлинка, произносит, позабыв свои придорожные глаголы. Я это опять не в укор и без иронии говорю, а только все пытаюсь быть услышанным своим собеседником, упрекающим «победившую Москву», что она лишает себя очистительного света северной культуры. Просто там камни говорят другое, еще вполне свое, «бедно-обыкновенное». Легко возразить, что и среди тогдашних москвичей сыщется вдоволь призывателей Леил и слушателей Метерлинка, но кто же от века не передразнивал столиц не в одной Москве, а хоть и в Тамбове. В том-то и дело, что там это было только оглядкой, поспеванием за модой, а не дыханием. А тут именно подлинность поразительна, именно совершенная естественность такого книжного слуха, что, очевидно, и есть свидетельство чистой самозамкнутой культуры, которой искал и вот почти добился Петербург.

О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!

Тут Н. Гумилев почти девизом проговорился, хоть в герб вписывай, — ведь это и есть воздух великолепного Петербурга: пыль библиотек. Когда и как это случилось — еще предмет размышлений усидчивого историка культуры, но при словах «петербургская культура», «дворянская культура» мы еще до реакции сознания слышим в себе «о, пожелтевшие листы!». И как вообще русский человек, даже и в очень далеких краях, носит с собою Россию, как улитка дом, так петербуржец и ленинградец носит в своей мировоззренческой генетике родную Северную Пальмиру. И сколько ни отряхай праха («Я покидаю город, как Тезей свой лабиринт, оставив Минотавра», — как писал Бродский), но лабиринт все не исхожен и никакая ариаднина нить в другую, коренную Россию не выведет. Все будет и вместе и на особицу, воедино и поосторонне, словно родное только умно прочитано и блестяще переведено.

Когда-то в «Литературном обозрении» я напечатал раздражившую ленинградских поэтов статью «Горе

от ума», где полагал причину формальной и эстетической замкнутости в сознательном небрежении скучной хаотической жизнью во имя умной энергии отстоявшейся культуры. Они принялись доказывать очевидное, что мы все теперь дети книг и жизни и неизвестно — чего больше. Разве с этим кто спорит? Теперь в самом деле часто ловишь себя на том, что вместо своих слов отделываешься цитатами, которые исподволь накапливаются в сознании и вылетают с автоматической готовностью на все случаи жизни. Меня смущало тогда очевидное подчеркнутое отчуждение ума, какая-то уютная тонкость даже во внешней неприязни к застоявшейся стране.

Теперь я думаю, что дело было, конечно, не в нарочитом избрании поэтами книжного способа существования, а именно в самом типе культуры, в недрах которой они рождены. «Петербургская культура» — это их Родина, дом, такой же полный для них, как деревенскому человеку — милое село, изба, река за огородами, лес и через них — вся родная Россия.

Этот город удивительно властен над своими детьми. Как для героев «Белых ночей», он остается их любовью, мучением, их благословением и демоном, опять и опять искушающим к цитатам и аллюзиям, культурным окликаниям и смысловым рифмам. Совсем недавно мне попалось стихотворение А. Кушнера двухлетней давности, где он пытался заговорить о насущном, газетно-злободневном, но оказался почти косноязычен в слове и мысли, словно они были с чужого плеча. Город, однако, скоро усмирил эти «беспорядки» и вернул подданного в настоящее его качество, вновь поворачив лицом к себе:

Беды любить его нас научили,
 Да «мироскусники» нам завещали
 Эти брандмауэры и шпили,
 Мокрый канат на дощатом причале,
 Бурные краски и темные были.

Мрачный он, жуткий, прекрасный, огромный,
 Музы поют в нем слышнее, чем птицы,
 Еду ли ночью по улице темной,
 Жизнь свою вспомню — и сердце смутится,
 Словно читаю роман многотомный.

Именно так — «мироскусники», Музы, сами собой слетающие цитаты («еду ли ночью по улице темной» — Некрасов) и все тот же — «роман многотомный».

«Фабрика мысли» не ведает перебоев с сырьем и рабочей силой. «Тязба» длится, и если вызывает тревогу, то тем, что городу словно мало своего материала и он высылает «агентов умозрения» в другие области русской

культуры через своих ли беглых детей или теперь чаще околицей — через Европу и массовое возвращение эмигрантской литературы, завоеывая «новые рынки». Ирония, печоринская повадка, игра подтекстов льстят читателю напропалую уже не в одной ленинградской прозе и поэзии. Интеллектуальная ветвь, привитая к «советскому дичку» раньше Ходасевичевой «классической розы» и часто вместо нее, процвела с особенной щедростью, так что мы вообразили даже, что пришло время включить в обиход джойсовского «Улисса», и теперь, судя по скромному молчанию прессы в ответ на явление этого великого романа XX века, кажется, стыдимся признаться, что эта чрезмерная мистерия еще слишком роскошна для наших пока простых и здоровых потребностей, что мы пока еще при земле и не понимаем наслаждения снова вверх и вниз по библиотечным стеллажам за каждой строкой комментария и толковать все подталкивания ногой под столом. Ну, а уж как будем готовы, то в первую очередь поклонимся «петербургской культуре».

6

Так все время мысль и двоится (что, впрочем, в «тяжбе» и естественно — то один перетянет, то другой, а поле-то игры — сердце человеческое): хочется и уязвить эту ветвь как схоластическую, а как договоришь предложение до конца, то и видишь, что задеваешь родное и стрела возвращается в тебя. Словно материнская культура жалеет сыновнюю и вместе тайно гордится ею. Так деревенская мать немного робеет и стыдится своего городского сына, с которым и говорить не знает о чем, но и радуется перед людьми: вишь какой барин вышел. Хотя вернее-то будет другое уподобление — это питерское дитя связано с родной культурой как с крестьянской кормилицей. Ее можно и мамкой звать, искренне благодарить и в час душевного расположения «меж своими» даже и похвалиться «народной кровью», но на миру жить и общаться с этим миром — все-таки языком тамап и европейских гувернеров.

Но, как во всякой диалектически полной культуре, обе эти ветви: московская, коренная, среднерусская и умозрительно-книжная, петербургская — не просто сродны, а неделимы (сиамские близнецы!). И если уж возникает тяжба и если она делается ощутима, то, значит, равновесие нарушается и умозрение начинает теснить живое чувство, отвлеченная мысль, забывая природу, ищет главенства и вот-вот потеряет из виду землю, без которой

немедленно впадет в лабораторное уродство, в высокомерное изящество искусственного совершенства.

При всех предыдущих тяжбах народного здоровья в конце концов всегда хватало для возвращения к колыбельной земле. Сейчас болезнь длительнее и разрыв больнее, но все кажется, что, как встарь, в крайнюю минуту пробьется подземный родник, выходящий из живых вод русской культуры, и Петербург, простерший свой аскетизм, по слову Г. П. Федотова, до отречения от «народа, России, Бога», вспомнит в себе город «Александра Невского, князя Новгородского» и те остатки «древней народной религиозности (разрядка Федотова.— В. К.)», которые позволили последним прозорливым оптинским старцам послать благословение Петрограду — «самому святому городу во всей Руси».

Начав с Федотова, им и закончим: «Запад, некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния — в вечной борьбе — не бывать и русской культуре».

Подлинно — не бывать. Но органическое умирение старинной тяжбы возможно, только если мы будем думать не о том, в первую очередь, что «Запад должен войти справедливой долей», а что теперь пришло время пошире открыть то окно Петербурга, которое так давно не открывалось и которое выходит в сторону родной России и материнской культуры. И тогда «едва не разложивший нас Запад» сам собою придет для живого сотворчества и общей работы в культурном устройении оказавшейся в опасности простой человеческой жизни.

Псков

Черт шутит

К вопросу о нашем очищении

Это, конечно, немного игровая гипотеза, но чем черт не шутит...

Вяч. Пьецух

Вообще-то, черта лучше не помянуть по имени. Мы это знали.

Мы — что-то вроде пары гладиаторов на арене «Литературной газеты» в очередном «Диалоге недели». Судьба послала мне в противники Олега Михайлова, моего старого университетского однокашника, симпатичного мне человека, разведенного тем не менее со мной по разным литературным группировкам, что и привлекло газету. Мы старались быть на уровне и — при всей личной приязни — вели серьезный спор: о русском национальном сознании, о характере народа, о нашем помутнении-остервенении-затмении, о нашем культурном одичании...

Михайлов говорил о необходимости очищения русской культуры от нанесенного, наносного зла; я —

о том зле, которое коренится в ней самой. Он — о русофобии «иностранцев», я — о нашей собственной культурофобии. Он — о Розе Люксембург, подменившей Богородицу в сознании платоновского героя. Я — о самом этом герое, идущем навстречу соблазну и подмене.

Он напомнил: вот, мол, Солоухин слышит леденящий душу «смех за левым плечом». Я ответил: нечего оглядываться, все — в нас. Он сказал: а помнишь, у Булгакова иностранец благодарит нас за атеизм? Я сказал: опять «иностранец»?! Обложили!.. Он улыбнулся: прости, но главный «иностранец» все-таки Воланд — «ён», как его называла бабушка... Я смутился, ибо дьявола действительно лучше не поминать по имени. И поспешил вернуться на литературную почву.

На литературной почве мой оппонент имел следуюшую позицию: есть настоящие, чистого тона, русские писатели, но они оттерты, а критика выдвигает «разгребателей грязи», мешая нам двинуться к свету и вечным ценностям...

— Кто?! Кто эти «разгребатели грязи», застывшие нам свет? — хотелось мне спросить моего оппонента. Но он и сам их перечислил:

— Петрушевская, Толстая, Пьецух — вот кого нам подсовывают в качестве «настоящей литературы»...

Я огрызнулся: уж конечно, Пьецух с его «Центрально-Ермолаевской войной» дает мне больше, чем твои певцы гармонии, тоскующие о святости и всеохватности...

Пьецуха я назвал с ходу — в горячке спора не было охоты искать соответствующие мотивы у Петрушевской или Татьяны Толстой, хотя они там есть. Можно бы и Кураева назвать, и Попова. Есть в новейшей нашей прозе своеобразный «фронт», противостоящий «чистоте» того романтического сознания, которое в прежние времена бывало укутано в конфессиональные либо социально-мессианские одежды (Пролетариат, освободитель всего человечества, Православное вселенское царство, несущее свет всему миру, Москва — третий Рим и т. д.); теперь, в эпоху национальных чувств, это сознание идентифицирует себя как «чисто русское».

Пьецух — пример противостояния этому новейшему мессианству. Тут интересно разобраться поподробнее. Не с тем, чтобы выдвигать Пьецуха в противовес кому бы то ни было в качестве эталона чистоты. Никакой чистоты я и не ищу ни в нем, ни в ком другом: я в такую чистоту не верю. Драма в другом... Не избежность драмы русского сознания важнее тех форм, которые она принимает. Впрочем, формы тоже любопытные: на страницах Пьецуха действительно побывал тот, кого бабушка

Олега Николаевича Михайлова называла: «ён». Без него не обошлось, и сам Пьецух это отлично знает.

Тем интереснее.

* * *

Теперь уж не припомню, как влетело имя Пьецуха в мои читательские уши, но только произошло это до чтения. Странно-цветное, яркое имя замелькало в печати и разговорах — в контексте «новой прозы», «другой прозы» среди слов «мастерство», «авангард», «прием», «техническая задача», «уровень письма», «качество» и «шибко умные».

Должен сказать, что ни авангард, ни прием, ни технические задачи сами по себе мне не так уж интересны, а отдельно взятое мастерство, несомненно, тронато для меня дьявольщиной — именно потому, что мастерство изъято из существа. Хотя я признаю, что на фоне разливанной серости нашей «средней прозы» все эти вещи имеют свой практический смысл, в устах же поколения, слегка удушенного в эпоху «застоя», а теперь, в эпоху «гласности», заголосившего самозабвенно, — мастерство подобно валюте, прорубающейся на рынок сквозь залежи бумажных рублей: дорогу! мы талантливее вас! мы пишем лучше!

Пьецух тоже не чужд этой агрессивной победоносности, но не в ней же дело! Лучше... хуже... сколько раз все это выворачивалось в истории литературы! Тургенев писал фразы лучше Толстого, так что? Я даже несколько «уворачивался» (читательски) от того напора «качественности», который к концу 80-х годов забил со страниц наших альманахов (где Пьецух был видным участником): планку-то подняли, а что сказали? Что сказалось в их приходе? Первый сборник Пьецуха «мгновенно разошелся» в 1983 году — какой след оставил этот сборник в литературной ситуации? Что-то не припоминалось...

«Центрально-Ермолаевская война», обжегшая меня со страниц «Огонька» в начале 1988 года, поставила все на свои места. Сейчас я процитирую место, разом открывшее мне писателя... нет, не талант как факт, тут рассуждать не о чем, тут уже одна игра слов: «Центрально-Ермолаевская» — пропускает в изящную словесность, а вот существа дела:

«Особенно хорошо у нас сложилось с витанием в облаках. Скажем, человек только что от скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Отечественной войне 1812 года, отходил жену

кухонным полотенцем, но вот он уже сидит у себя на крыльчке, тихо улыбается погожему дню и вдруг говорит:

— Религию новую придумать, что ли?..»

Вы обратили внимание на точность деталей, отобранных для этого апофеоза непредсказуемости? Сарайчик, крыльчко и погожий день, в соотношении, однако, с кухонным полотенцем и следами чтения отечественных общественно-политических журналов, — а в результате портрет, весьма определенный как в социально-психологическом отношении, так и по приметам быта и времени. Хотя задумана как бы мистификация, и исполнена весьма мастерски... однако это не что иное, как вход в реальность.

Вот еще один вход — с совершенно другого боку — в повести «Новая московская философия».

«...То есть, с одной стороны, вроде бы жизни нет от случайных несчастий, мерзавцев и дураков, ан глядь — за стенкой выдумывают теорию всеобщего благоденствия, кто-то последние штаны высылают в район стихийного бедствия, кто-то над стихами сидит и плачет...»

Узнаете контрапункт, разброс пятен, динамику штрихов?

А тему раздумий можете сформулировать?

Ну, давайте с третьей попытки.

«...Ты преподобные особенности российской жизни не хочешь принять в расчет. Вот я завтра решу жениться и на пути к этой цели как раз напьюсь, украду у соседа деньги, поспорю с милиционером, уеду в Астрахань...»

Но если вы думаете, что герой все сделал «наоборот» намерению жениться, то вы ошибаетесь: в Астрахани он как раз неожиданно для себя женится.

То есть наоборот и еще раз наоборот — получается, что кривая вывозит как раз туда. Непредсказуемо и чудесно. Логика выбрыков на сей раз ограничена определением: «особенности российской жизни». Рискну доформулировать: русская дурь. Почва наша. Даже и без сугубой связи с ермолаевскими мужиками, дающими «в рог». Даже и в размосковской городской коммуналке, меж Солянкой и Таганкой. Она, родимая. Основа. Она же безосновность. Вот тема Пьецуха и его поворот.

Два социальных типа, два характера выделяются у него рельефнее других. Во-первых, «мужик», заводной, агрессивный, из тех, что сто лет назад толкнул бы на улице: «Ну, ты!», а теперь может мимоходом дать в морду. Это он, начиная толковище, с ужасной вкрадчивостью спрашивает: «А если я тебе сейчас в рог дам?» — и дает. Во-вторых, смятый в транспорте, сплюснутый в очередях инженерушка, «интеллектуал» с кухни, тихий конформист

духа, в 50-е годы успевший пощеголять в брюках-дудочках и в ботинках на пробковом ходу (и даже пострадать за это от блюстителей нравственности), — потом тридцать лет простоял он в конторе за кульманом, совершенно вписавшись в ситуацию все той же «русской жизни». Первый тип ярче и как-то ближе к «русской загадке», но второй тип, если судить по некоторым обмолвкам, ближе авторской душе, то есть дан именно изнутри.

Хотя если говорить о позиции, то вряд ли Пьецух согласится с тем, что она связана у него с тем или иным человеческим типом. Она именно меж или вне типов: Пьецух вовсе не считает своей сверхзадачей типологию и вообще отражение жизни. Он пишет не типы и не фигуры, а некий струящийся между фигурами воздух, некую духовную сверхреальность, в свете которой типы и фигуры, намеченные иногда со щегольской точностью, а иногда с еще более щегольской небрежностью, кажутся всего лишь тенями, слабыми копиями скрытого от глаз таинственного оригинала. Литература, которая старается отражать жизнь, на самом деле как раз профанирует ее, ибо копирует иллюзию. Глупо передавать красный цвет красной краской. По-настоящему литература должна извлекать из-под красок то таинственное, «наброском», «сколком», дурной «копией» чего внешняя жизнь является. Извлекает же литература этот корень с помощью... таланта. А что же такое талант?.. А вот это уже неопределимо, неуловимо и неисчерпаемо: есть — значит, есть, а нет, так и говорит не о чем.

Я излагаю концепцию Пьецуха вовсе не с целью пропагандировать ее читателю (хотя она того достойна, ибо рискованна и интересна) или опровергать (хотя она уязвима, именно потому, что рискованна и интересна) — я хочу понять в этой апологии тайны ее собственный реальный смысл, видимый «со стороны», то есть с точки зрения критика, для которого философия Пьецуха со всеми ее дьявольскими подменами и подставками есть, в свою очередь, факт действительности, и получился он, при всей неисследимости участвующего в этом деле таланта, все-таки из реальности, которая в талантливых текстах обнажает-таки свой корень.

Давайте подойдем к этой загадке со стороны интонации. Пьецух, как писатель изошренный, прекрасно понимает, что в ней все дело, и он отлично ею пользуется. Любой зачин у него — хитрый разговор с умным читателем, ставящий условность восприятия непрямым требованием. «Начну с того, что утром четвертого февраля я проснулся в состоянии некоторого предчувствия...» —

приступает Пьецух, делая вид, будто мог бы начать и с чего-то другого, и вообще с чего угодно: с конца, с середины, с любой фантазии. Не любо, не слушай? Иногда будет ни о чем. Иногда он делает вид, что забалтывается. Возникает образ застоявшегося рассуждателя, дорвавшегося болтуна, немножко зощенковского гражданина-обывателя, немножко того местечкового мудреца, который сидит под окошком и разглагольствует о мировой политике. И вы этот тон принимаете именно как условие, вы знаете, что автор этого веселого «балабола» выпускает «вместо себя» как раз потому, что жизнь хитра и ее просто так не возьмешь.

Но вот Пьецух пишет «от себя». Вот цикл проникновеннейших «Рассказов о писателях»: о Белинском, об Островском, о Чехове, о Бабеле — с прямым авторским словом, причем восторженным. А вот зачин: «Много лет назад в «умышленном» городе Петербурге жил-был подданный Российской империи Виссарион Григорьевич Белинский, который изо дня в день ходил теми же маршрутами, что и мы, положим, Поцелуевым мостом или мимо Кузнечного рынка, как и мы, говорил общие слова, чихал, тратил деньги и ежился от балтийских ветров, которые слегка пахивают аптекой...»

Опять зощенковский герой?! Чихает, ежится, считает деньги... Да, он. И он же — бесконечно влюбленный в слово Белинского, уязвленный мировой русской миссией, патриотически воодушевленный рассказчик — сам автор, едва ли не впадающий в прямую проповедь. Это как совместить? Между «весело болтающим» повествователем-баешником и патетическим выразителем авторского «я» не то что нет непроницаемой границы, а просто ощутимая общность!

«Известная особенность нашей культурной жизни заключается в том, что писательские биографии имеют у нас серьезное филологическое значение...»

Да, да, идеи те же: литература для нас — реальнее и важнее жизни; жизнь — безумна, фантастична; литература ищет в ней скрытый корень; все так, но рассказчик-то, искатель-то — кто же? Тот самый пересмешник, который готов и попугаем представиться, и потешным летописцем какой-нибудь дикой и бессмысленной деревенской драки, и современным обломовцем, сидящим «у окошка», «глядючи в переулок», — и он же поднимает из праха фигуру Бабеля, и притом с первой фразы не может удержаться, чтобы не подмигнуть нам: «Известная особенность нашей культурной жизни...» — вы узнаете интонацию? А жест чувствуете? Слово герой-рассказчик «в разговоре то и дело попикивает своего собеседника

локтем, как это делают ерники, когда глупо шутят или выдают тайны». Так это автор — ерник?!

Уточним оттенки. Насчет «глупо»: шутит Пьецух много, и шутит умно, но он весьма охотно делает вид, будто шутит глупо. Что же до «тайн», то он весьма охотно делает вид, будто выдает тайны, зная при этом, что главная тайна реальности — «невыдаваема» и неуследима.

И если «реальность», мозолящая наши глаза и уши, на самом деле малореальна, потому что не ведает, сколком с чего является, — то недоверие Пьецуха к этой маловменяемой реальности есть уже художественный принцип. Его веселая издевка над реальностью, прячущей от себя свой смысл (или сверхсмысл), есть, в свою очередь, не что иное, как художественная реализация сверхсмысла. Соединение в одном лице страдающего интеллигента, который действительно окрылен Белинским и действительно скорбит над Бабелем, — и веселенького зощенковского болтунишки — не курьез и не вычур, это основа интонации, и это — черта русской реальности, встающей из развеселых историй Пьецуха.

Русский характер, извлекаемый из его прозы, — это не пара-другая социологических зарисовок (хотя извлечь можно и это), не «слесарь-ремонтник» из поселка Центральный по прозвищу Папа Карло, и не бич по фамилии Божий, и не сторож по фамилии Чинариков, — это у Пьецуха некий общий русский психологический ландшафт, некий коллективный портрет, некий «народец», великая всероссийская коммуналка, выявляемая в буднях какой-нибудь «квартиры № 12 по Петроверигскому переулку».

Этот коллективный портрет — главная тема и главное писательское открытие Вячеслава Пьецуха.

Так что же это такое — «русский характер»?

Непредсказуемая смесь агрессивности и великодушия, злопамятности и самопожертвования, скопидомства и воровства, стяжания и нестяжания. Смесь всего, что только можно вообразить, — и без всякой меры, иной раз без всякого видимого смысла. Причины действий необъяснимы, а поводы пустяжны. И притом — скука, скука, сквозящая в прорехах этой яростной деятельности, пугающая пустота, которая гонит действовать. Человек бурно активен, но зачем — это во тьме.

Ближние задачи бессмысленны по малоосуществимости, зато дальние цели мучительно неотступны. Они ирреальны, дальние цели, их нет, но тоска по ним — есть, и она реальна. Скрытое и явное перепутаны. Странно это сочетание расхристанности и скрытности. Сокровенное

всегда обозначено, и всегда же есть опасность, что на его месте — ничто, пустота, тайна отсутствия.

Человек не знает, где он живет, а где грезит. Он примеряет на себя разные судьбы, он все время в мыслях так и эдак проигрывает свою жизнь, разыгрывает те или иные жутко логичные варианты — именно потому, что в состоявшейся своей жизни он логики не видит и подозревает отсутствие смысла.

Где источник смысла — неясно, и эта неясность — предмет мучительного раздумья. Человек — это то, чем он окружен, то, что его окружает. Сокровение безличности. Власть «мира». Человек — ничто, и одновременно — бунтарь против этого «ничто».

Без бунта — нет русского человека. Он бунтует непрерывно, и, поскольку в его жизни мало логики и много непредсказуемости, он бунтует еще и «по мелочам». Вечный соблазн — сделать гадость. Украсть четвертной. Украсть рубль. Кажется, это от Достоевского (из «Идиота»), но у Пьецуха соблазн доводится до степени мании, это лейтмотив его прозы, кочующий из рассказа в рассказ.

Лейтмотив вообще — гибельно интересная вещь для истолкования. Например, «соленые огурцы». Какая-то старуха, говорят, питается одними солеными огурцами... и т. д. Символ нашего «заквашенного» быта и проект прожития «ни на что». В сущности, вечное желание «стибровать» — такой же проект невесомого прожития. Копить? Это бессмысленно. Скопишь на гарнитур. На автомобиль. Купишь. А потом возьмешь «дрын» и в сердцах сокрушишь, поломаешь все. Что такое «рубль» в координатах нашей душевности?

А вызов. Соблазн: сделать что-то гибельное, запретное, «наоборотное». Выявить поступком абсурд, спрятанный на доньшке жизни, сокрытый от себя самого. Порыв и необъяснимый импульс — корелляты «сидения» и «лени». Лени фундаментальна, она — ответ на невозможность что-либо изменить в этой жизни. Лени добиваться. Лени ограждать себя от чего бы то ни было. Потому что невозможно различить, от чего себя надо ограждать, а от чего не надо. «Какого рода несчастья желательны, а какого нет».

Полное стирание ориентиров. Счастье равно несчастью. И наоборот. Добро и зло обманно смешаны. Правда и ложь все время меняются местами и обликами. Хочется сделать явную гадость, потому что нет сил терпеть вранье в качестве истины и истину в ходе бесконечного вранья. Между прочим, в ходе вранья вполне может выскочить и правда, но смех в том, что она покажется очередным враньем. Между прочим, на самом деле соседи давно

и регулярно подливают керосин в суп друг другу, но это неважно. Речь не об этом. Речь о какой-нибудь навязчивой идее, о смысле жизни, о последней правде, об искоренении склонности людей ко злу с помощью лекарств, — только бы понять, откуда там склонность ко злу. Одним словом, речь о мечтаемой логике. В туманно-безумном бытии вдруг из «случайностей» выстраивается какая-нибудь великолепная логическая цепочка. Пилот третьего класса заштатного аэродрома Клопцов решил угнать самолет. В конце логической цепочки обнаруживается опять-таки абсурд. Угон бессмыслен, потому что Клопцов неспособен жить там, где некому сказать: «Ну, ты даешь!» или «Пошел ты к хренам собачьим!» Но прелесть в том, как все лихо сцепляется на пути к бессмыслице. Надо же: клопцовская любовница уехала на две недели к родственникам и оставила ключ от квартиры своему двоюродному брату; тот устроил пьянку; Клопцов случайно зашел, решил посидеть пять минут, за эти пять минут явилась милиция... протокол... две девицы оказались несовершеннолетними... ничего не оставалось, как взять ТТ и в воздухе заставить напарника повернуть самолет, а потом садиться на какое-то «бесконечное картофельное поле...».

Итак, Саша Клопцов угнал самолет потому, что случайно зашел «на хату» к любовнице и решил посидеть там пять минут.

Мнимые логические цепочки — конек Вячеслава Пьецуха. Контролер ОТК приударил за штамповщицей — авиабомбы вышли с дефектом — немцев под Веной недобомбили — поэтому в Австрии теперь капитализм. «Наоборотная» логика, издевательски выколупываемая из видимого абсурда, всегда ведет к ошеломляющему результату, и вовсе не обязательно плохому: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Это логика ребенка, слушающего волшебную сказку. Сюжет идет своим ходом, и чем нелепее сюжет, тем больше шансов, что ему поверят.

— А знаете, атаман Платов был доктором Оксфордского университета!

А знаете, в каком случае это сообщение оказывается окончательно бредовым? В том случае, если оно соответствует эмпирическим фактам. Ибо дело не в «фактах», дело в общем ландшафте русской жизни и русской души. «Разгадка все-таки в том, что в русской душе есть все, а все в ней есть потому, что она отчего-то совершенно открыта перед природой, в которой есть все...»

Строго говоря, и под это утверждение можно подвести вполне реальный базис, употребив в дело рассуждения на сходную тему историков от Ключевского до Гумилева. Но ведь у Пьецуха это не просто «развитие мысли»,

это еще и «художественный поворот», и даже прежде всего художественный поворот. Это же рассуждает «досужий наблюдатель», потомок Кифы Мокиевича, да еще пропущенный через Зоценко, он же свое рассуждение начинает со слова «следовательно» — вот в чем шарм и прелесть! Нет ничего обаятельнее нашего безумия.

Иногда, ища логических противовесов, Пьецух накладывает на нашу сумятицу и абракадабру что-нибудь из XIX века — систему, так сказать, этических координат, а лучше сказать, образец состоявшейся логики. Скажем, историю пушкинской дуэли. Или сюжет «Преступления и наказания». И чем смешнее совпадают те или иные частности, тем жутче ощущение полной неменяемости той жизни, свидетелем которой, пушкинскими же словами говоря, господь его поставил. Не дай бог, что называется, родиться тут с умом и талантом... впрочем, с талантом — сколько угодно, талант, по Пьецуху, и есть та необъяснимая и вездесущая сила, которая заставляет нашу жизнь бурлить и воспроизводиться, а вот ума — в обрез... и кипит жизнь по-дурацки, и воспроизводится в ней бесконечное безумие. До чего все похоже! Дантес когда-то успел консультировать в Пушкина... сто пятьдесят лет спустя консультант Шлагбаум сказал поэту Строеву: «Давай вали отсюда» — и прежде, чем тот вытащил из кармана гаечный ключ, нанес удар...

...Спасенья нет — от пошлости, от тошнотворности исторических повторов, от необъяснимости нашего «коммунального» житья. Пьецух по первой профессии — учитель истории; фактов у него достаточно; в закономерности он не верит — скорее уж в статистику. Закономерность тут чисто статистическая, как смена погоды, как климат, как природный цикл: каждый раз жизнь сминает, вытесняет из себя, выбрасывает вон из структуры все неординарное, выдающееся, будь то гений, чудак или одержимый работник. И поскольку перед нами не столкновение добра и зла (добро и зло, как мы видели, неразличимы в нашей буче, со временем они уравниваются даже и фармацевтически), поскольку тут особенность «природного цикла», то остается с этой природой смириться.

«Смиряясь», Пьецух язвит и ерничает, пряча грусть и отчаяние. Время от времени он все-таки обращается в XIX век с надеждой: неужели и там так же? Неужели и Чехова, когда он шел по улице, в туфлях, пиджаке и пенсне, могли запросто пихнуть, сказать: «Ну, ты!» — могли... Так что же изменилось с того времени? Да ничего. Окраска. Имена. Раньше был «Дантес», а теперь какой-нибудь «Шлагбаум». Раньше был Раскольников, а теперь...

Бездну оскудения и оскотинивания Пьецух извлекает из имен собственных. Его щегольское мастерство ищет опоры в Достоевском, который, как известно, обладал поразительным чутьем на звучание имен. Кое-кто прямоком перенесен Пьецухом к нам в 80-е; например, гражданин Лужин. А кое-кто пропущен через нашу псивую звукопись. На месте Р-р-раскольникова теперь знаете кто? Фондервякин. Старуху убить Фондервякин, конечно, не может, но может написать донос, может невзначай схлопотать по морде, впрочем, может и дать, тоже невзначай. Да вы вслушайтесь в это месиво из соленых огурцов: товарищ Фон-дер-вя-кин.

А когда Пьецух, вникнув в остзейскую этимологию звука, объясняет нам, что все законно и прадедушка был фон дер Бакен,— от такого железного уточнения наше российское соленье делается еще благоуханнее.

Естественный вопрос, на который мы явно спровоцированы Пьецухом: так он нашу российскую действительность что же — хвалит или ругает? Русских — «любит» или «не любит»?

Читатель, следящий за поворотами нашей текущей литературной мысли, согласится, что именно этот вопрос сводит и разводит сейчас самых боевых критиков словесности. С этим вопросом подступают к литературе авторы «Нашего современника», в этом пункте отвечают им авторы «Огонька»; об этом ведут диалоги Кожин и Сарнов, Ан. Бочаров и Лобанов. Наиболее эффектный прием: предъявить перечень высказываний того или иного писателя о русском народе в подтверждение того, что писатель его «ругает», и отвечать, что на самом деле писатель ругает не народ, а систему (сталинизм, царизм, татарское иго и т. д.), народа же русского — не задевает.

Все это отнюдь не только эквилибристика — за ней стоят и ценности. Есть писатели, по отношению к которым вопрос о целостной оценке пути России не только не противозаконен, но прямо неизбежен. Ни Гроссман, ни Солженицын, ни Белов, ни Распутин непредставимы вне этой темы; можно соглашаться или спорить с их оценками, но оценивают они «то самое»: историю России как целое, русский характер как исторический феномен, русский путь как единый сюжет. Можно танцевать от печки «демократии», можно — от печки «соборности», соответственно поворачивая систему фигур от Филофея до Герцена и гамму красок от красных штанов бабелевского командарма до серых штанов зоценковского управдома, — но надо твердо знать, кто из писателей действительно размышляет об этом, а из кого это (то есть: «хвалит» или «ругает» русских) надо извлекать.

Так вот: Пьецуха интересуется не «это». Другое. Извлечь можно и из него как горечь о России, так и любовь к ней; писатель «заводного» нрава, со склонностью к подначке и ерничеству, да еще с багажом историка, — он конечно же имеет свою точку зрения на историю России, будьте уверены, но... тут я подхожу к главному: но он «не то копает», «не к тому ведет». Он мыслит не о соборных ценностях и не о национальных параметрах (ну, разве что попутно), он упирается на некий «корень» жизни, в элемент, первоэлемент, «нулевой элемент» — в нулевой цикл этого здания. И если он «почвенник», то скорее, так сказать, на биохимическом, чем на агрономическом, уровне, и тем более не на архитектурно-фундаментном. Он реальность исследует на уровне молекулярном. Он ставит вопрос вовсе не о том, какие растения хороши или плохи, какие здания им соответствуют, как выглядит «все поле» или «весь город». Общий вид — это именно ракурс Гроссмана, Солженицына, Пастернака (в «Докторе Живаго»), Белова (в «Ладе»). А тут вопрос другой: как выглядит первоэлемент, из которого «все это» в конечном счете вырастает и воздвигается? Во что уперта, на что опирается система?

Я думаю, что этот подход — удел нового поколения или, во всяком случае, нового направления в нашей прозе. Разумеется, Кураев, Толстая и Пьецух — писатели разного стиля и почерка, они даже разного биографического «разряда», по-моему. Но они схожи в том, что обрели голос на волне 80-х годов и что открыли свой ракурс. Собирая (вслед за А. Бочаровым) эти три имени в «обойму», я менее всего хочу составить из них «поколение», ибо в поколении и «восьмидесятников» есть и другие имена, лежащие в совершенно иной ракурс. Разумеется, и среди них, «сорокалетних», есть писатели, мыслящие глобально и соборно, «восславляющие» и «проклинаящие» Россию. Но те и эти — видят реальность в разном повороте. Вы можете, конечно, сказать, что Михаил Кураев «разоблачает культ личности» и что Татьяна Толстая «противостоит квасному патриотизму», само собой, это так, но ищут-то они не с того конца; они хотят знать исток: понять тот элементарно-психологический вариант личности, на котором заквашивается культ и культивируется квас.

Вот до этого и Пьецуха докапывается, описывая «русскую дурь» боевых ермолаевцев, развернувших войну против соседней деревни, и «русскую бездну» тихих философов с Петроверигского, вынашивающих в своей коммуналке среди банок с солеными огурцами «новую московскую философию».

«Новая московская философия» — это вот что: интеллигенция начинает строить нравственную систему

заново, с нуля, исходя из факта полного кругового одичания соотечественников.

«А старая московская философия — это как?» — угадывает Пьецух наш вопрос. И поясняет:

«Старая — это чаадаевщина, в том смысле, что от России толку не было и не будет...»

Вы дергаетесь... но вовремя соображаете, что дернулись вовсе не от того, что с вами хотят обсудить чаадаевские концепции или вопрос о России, а от того, что вас подталкивают локтем и смотрят при этом веселыми и хитрыми глазами¹.

Хитрость простирается от стилистики фразы до построения целого романа (перекрещенного, кстати, в повесть редакцией «Нового мира» при некотором сопротивлении автора). Роман «Новая московская философия» строится так. Вначале — тезис: жизнь в России — дурной сколок с неведомого оригинала; словесная эйфория русских — попытка к этому оригиналу пробиться сквозь бестолочь реальности; посему жизнь на Руси копирует литературу. Это свидетельствует о силе слова (во что Пьецух свято верит), но также и о качествах реальности (в чем он с горечью убеждается).

Далее дается реальность: дробно, кучно; лиц не запоминаешь: не люди, а гербарий-террарий. Хотя по деталям все очень точно: обычная московская коммуналка, от Булгакова еще, от Зоценко, подпертая и Достоевским в том смысле, что должны извести «старушку», после чего начнется схватка за ее «жилплощадь». На заднем плане мелькает Раскольников, на первом плане смердит Фондervякин, консервирует на черный день овощи-фрукты. Убили старушку, не убили — все это совершенно не важно, и автор, все время искусно запутывающий вас ложными предположениями, знает, что это не важно. Важно другое: что это не жизнь, а чушь. Впрочем, вы и это давно поняли: и что в квартире № 12 живут никчемно, и что схваткой из-за «жилплощади» все страсти будут исчерпаны. Далее вам не за чем следить, потому что перед вами «псевдожизнь» и она стоит на месте. Но автор, кажется, и не претендует, чтобы вы следили за исчезновением старушки и за борьбой вокруг ее комнаты, — он прячет истинный сюжет в ту таинственную тень, где сокрыт утерянный «оригинал бытия», — в сферу умопостигаемую. Пока «здесь» препираются жильцы-квартиросъемщики — «там» витают в облаках мечтатели-философы... то есть не где-то

¹ С. Тароцина в «ЛГ» заставила-таки Пьецуха объясняться насчет Чаадаева. Пьецух признал, что Чаадаев писал и нечто прямо противоположное. За что он Чаадаева любит.

«там», а здесь же, в кухне, и не какие-то особые люди, а отчасти те же: Белоцветов да Чинариков, но витают они, рассуждая как раз о судьбах России, о врожденности зла, о предназначении человека и вообще, как говорил Горький, о Причине Космоса. Я не скажу, что споры эти неинтересны или бессодержательны: Пьецух — человек, мыслящий остро и смело, и вышел он как раз из той интеллигенции, которая в период «застоя» действительно вырабатывала в к у х о н н ы х разговорах новые точки зрения... я говорю о художественном построении романа. Нельзя вполне скомпенсировать стоячую псевдожизнь движением умственного противовеса: противовес вроде бы и работает, но вся конструкция стоит-таки на месте. И это даже во вдвое сокращенном журнальном тексте чувствуется, а что же в полном?

Меньше всего я хотел бы объяснить это тем, что вот-де, мол, в малом жанре писатель преуспел, а до крупных — не «дорос» (повесть... роман... эпопея... кто больше?). Во-первых, это объяснение пошлейшее. Во-вторых, даже если это так — то это проблемы Пьецуха, а не наши с вами: тут нечего обсуждать. А в-третьих, я думаю, это не так. Дело не в том, к какому жанру более склонен писатель и до какой жанровой «высоты» он доработался. Дело в том, какого жанра требует созидаемая им реальность, его в свою очередь созидающая.

Есть закон масштабности в творчестве: степень «миниатюризма» зрения сущностно связана с масштабами и качествами бытия. Чем ближе к «молекулярному» уровню, тем лучше у Пьецуха; чем пристальнее вглядывается он в «элементарность», тем больше видит; это не «установка», а бытийная черта или, если угодно, судьба. Для того чтобы естественно воспарить к эпосу, нужна другая основа: больше наива, больше святого безумия, нужно «плюнуть на все» и полететь: в этом случае в сорок лет заканчивают «Войну и мир», а в двадцать задумывают «Тихий Дон». Но художник, которого судьба тычет как в разгадку — именно в «элементарность», в «молекулярный» застой, в оскудение почвы, — никуда не улетит (разве что чисто умственно), ибо он ненавидит наивность, и безумие для него — не святое, это именно безумие, крах разума, старательно культивируемый идиотизм, профанация божьего замысла и опошление божьего оригинала.

Дело в том, что это поколение не застало ни «проекта», ни «оригинала». Оно как раз поспело к развалу. К молчанию похорон. Оно и не восприняло все происходящее как похороны идеала (я имею в виду крах веры в то, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме). Посему на похоронах эти люди могли даже и улыбаться, даже

и играть: они не воспринимали их как похороны: для них там нечего было хоронить.

Знаете, в ответ на что В. Пьецух сказал про свои идеи: «это игровая гипотеза, но чем черт не шутит»? В ответ на фразу С. Тарошиной о потрясшем ее телеопросе — когда чуть не девять из десяти наших граждан, говоря о смертной казни, согласились лично привести ее в исполнение. Пьецух отреагировал так: врут! Не сдюжат! Кишка у них тонка! Духа не хватит выстрелить в преступника! Он говорил вовсе не о том, что они готовы стать палачами, а о том, что ошибаются, будто готовы. И дальше в таком же духе: видать, их не матери молоком кормили, а чужие тетки... Потом спохватился: это, мол, конечно, игровая гипотеза — про молоко. А про палачей гипотеза не игровая?

Пьецух родился в послевоенный нищий год. Что он мог почерпнуть в первые семь лет жизни, павшие на последние годы «культы»? Веры во всемирное счастье уже и следа не было. Это мы верили, предвоенные дети, это мы веру — теряли. А они разве могли поверить? Во что? Вокруг — воздух ужаса, воздух обмана: «дело врачей», «ленинградское дело»... Выпало отрочество — на хрущевскую Оттепель: поднимало, подмывало, но — непонятно что. Можно было «залезть на дерево от избытка чувств», можно было крикнуть: «Идем!» — и куда-то идти... непонятно куда. Жизнь казалась «вечными именинами», «ежеминутным ожиданием праздника»... но именины-то бывают раз в году, праздники-то кончаются.

Пьецуху было восемнадцать лет, когда упала завеса «застоя», и в воцарившемся молчании надо было искать смысл жизни, которого не было изначально.

Вот они и начали искать, дети пустоты. И увидели на уровне «почвы», на молекулярном уровне то, что не разглядишь с глобальных высот, будь то высоты «либерализма» (вполне естественного, впрочем, для полуевропейской страны) или «соборности» (тоже, впрочем, естественной для страны полуазиатской), — они разглядели тихий нравственный распад обыкновенного человека, исчезновение из быта понятия о достоинстве, пустоту безличия. Они не добрались ни до небес, ни даже до сводов, потому что обнаружили отсутствие кирпичей, из которых возводятся реальные замки. А воздушные им не успели пристыться.

Дальше уже — реакции, пути духовной компенсации, стилистические варианты, грани таланта. Ярость Татьяны Толстой. Горькая ирония Михаила Кураева. Развеселое самообладание Вячеслава Пьецуха: а расскажу-ка я вам ни о чем... Играть так играть. Чем черт не шутит...

Страдание памяти

Покойный писатель-«мовист» эпатировал читающую публику тем, что в своих книгах цитировал поэтическую классику «на память» — а я так помню!.. Как ни странно, именно такое творческое поведение наилучшим образом выражает природу мемуаров (которые за последние два-три года стали одним из основных журнальных жанров). Мемуары «в чистом виде» — это ведь не столько рассказ о событиях, фактах, сколько запечатленный в слове процесс вспоминания минувших событий (когда генерал-мемуарист посылает своего офицера в архивы, это уже другой жанр). Относительная неточность, аберрация памяти являются условием жанра, входят в правила игры; и если самые интересные, ценные мемуары те, в которых автор рассказывает нечто, что только он один и может рассказать, получается, что самые ценные мемуары суть самые недостоверные, ибо с наибольшим трудом поддаются проверке, — такой вот парадокс. А если серьезно, то мемуары всегда свидетельство, если не о событиях, то непременно о человеке (и в любом слу-

чае — о самом мемуаристе). Даже когда автор намеренно или бессознательно искажает истину, он все равно свидетельствует о том, какими он хотел бы сегодня видеть сам и представить другим те или иные обстоятельства своей и общей жизни. Это «теоретическое» введение необходимо потому, что, обращаясь к «лагерным» мемуарным публикациям последних лет («обрамленных» в наших журналах близкими по тематике произведениями прозы, поэзии, публицистики), я заведомо не пытаюсь оспаривать достоверность тех или иных свидетельств. Все они (очень разные) есть своеобразные человеческие и исторические документы, дающие богатую пищу для размышлений о нашем историческом пути, о природе нашего общества и, что немаловажно, о природе самого человека, которая наиболее выразительно проявляется именно в чрезвычайных обстоятельствах, какими и были для каждого из мемуаристов страшные годы ГУЛАГа.

«Что не объяснено...»

«Страдание памяти» — выражение Виталия Семина; в предисловии к своему знаменитому «Нагрудному знаку OST» (книге о пребывании в немецком арбайтлагере) он писал, что «в разряд забытых или забываемых могут... переходить лишь удовлетворительно объясненные события. К тому, что не объяснено, память наша возвращается постоянно... Нет объяснения, которое исчерпывало бы «все» и, следовательно, «окончательно» удовлетворило бы нашу совесть». Казалось бы, какие Семину нужны объяснения, — «враги», «фашисты», чего от них можно ждать! Но нет, мучается память, болит душа («Природа этих событий такова, что, сколько ни объясняй, всегда останется что-то очень тревожное...»); что же говорить о тех, кто столкнулся не с иноземным организованным насилием, а с отечественным... Об этом — почти все мемуары последнего времени (точнее — опубликованные в последнее время). Других вроде бы и не печатают. Все — об этом. И всюду «страдание памяти»; причем (прямо по Семину) не столько от пережитых ужасов, сколько от невозможности хоть как-нибудь, а не то что «окончательно» этот ужас объяснить. Немецкую коммунистку, бежавшую от Гитлера, посадили в советскую тюрьму еще до заключения договора с Германией — в 37-м; она спрашивает Софью Швед (см.: С. Швед. Воспоминания. — «Урал», 1988, № 2): «Мы иностранцы, мы многого не понимаем в вашей стране, но ведь вы-то должны знать, как это произошло?» — и не может поверить, что советские ничего не понимают. «Мно-

го разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления, — признается Евгения Гинзбург («Крутой маршрут». — «Юность», 1988, № 9, полностью — в «Даугаве», 1988, № 7—12; 1989, № 1—6). — Неужели такое мыслимо? Неужели все это всерьез? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?»

Но и мы спрашиваем: что ЭТО было? Сталин? сталинизм? Административная Система? административно-командный механизм? Берия? казарменный коммунизм?.. (Чем больше слов, тем больше обнажается неполнота в с е х объяснений, прикрывающих иррациональную бездну происшедшего...) Расплата за попытку «пролетарской» революции в крестьянской стране? крах попытки построить общество с заранее заданными свойствами? плоды левацкого авантюризма? «бесы»? утверждение власти «нового класса»? гнев Божий? Думаю, что по-настоящему никто не знает, а кто говорит, что знает, вероятно, обманывает себя и других.

«Смерч» и «пирамида»

«Тогда же мне сказали, что лично меня никто ни в чем не обвиняет и по отбытии срока могу писать в анкетах, что судимости не имею» (разрядка здесь и далее везде моя. — А. В.) — так пишет Галина Колдомасова («В те далекие годы». — «Наука и жизнь», 1988, № 3), получившая восемь лет лагерей в административном порядке как «жена»: так начиная с 37-го года называли женщин, чьи мужья были расстреляны за «измену Родине» с конфискацией имущества и заключением в лагеря в с е х членов их семей. «Жены», как правило, были женами партийных, государственных работников, военачальников и потому до ареста принадлежали к советской «элите» разного, конечно, уровня. Критик Михаил Поздняев совершенно точно заметил в предисловии к воспоминаниям Галины Серебряковой («Смерч». — «Подъем», 1988, № 7), что она, скорее всего невольно, показала, «какая пропасть образовалась в начале тридцатых годов между народом и «слугами народа». Сколь велико было это неравенство, свидетельствуют многие мемуаристы, причем как бы между прочим (тем ценнее эти «показания»): тридцатилетний учитель Илья Таратин («Потерянные годы жизни». — «Волга», 1988, № 5) видел на Колыме «много женщин, которые в политике вообще не разбирались, но они были самыми настоящими труженицами, крестьянками и думали, что их (внимание, читатель! — А. В.) привезли

сюда бесплатно работать, выращивать овощи, картофель, сено косить. И здесь они трудились честно, так же, как в своем колхозе, но хлеба досыта не ели». Можно себе представить, как жили эти бедные женщины в колхозе, чтобы они приняли как должное, что их могут просто так сорвать с родных мест и отправить на край земли «бесплатно работать»! Какое убеждение, что «они», «наверху», имеют право делать с человеком что угодно, и какое смирение перед этой судьбой... Сравните: «Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня встречали и провожали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос — быть мне или не быть», — вспоминает Евгения Гинзбург. Здесь — произвол, и там — произвол; те — жертвы, и эти — жертвы; но, читая о машинах татарского представительства, я не могу не думать, что в те же годы некоторым соотечественникам Гинзбург (пусть немногим — как «исключение») было в лагере лучше, чем на «воле», где, по утверждению генсека, был «в основном» построен социализм. Вдова Бухарина, А. Ларина, рассказывает в своих мемуарах («Незабываемое». — «Знамя», 1988, № 10—12) о некой Дине: «Так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не заключение, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней». И это при том, что в лагере Дина... возит телегу вместо лошади!

«Смерч» как бы смешал все сословия, классы, народы, и это смешение было не просто зримо, но и значимо уже в то время; так, в воспоминаниях Льва Разгона («Жена президента». — «Огонек», 1988, № 13) ужасается некий полковник, военврач: «Это не в состоянии вписаться в сознании! Жена Калинина! Жена всесоюзного старосты! Да что бы она ни совершила, какое бы преступление ни сделала, но держать жену Калинина в тюрьме, в общей тюрьме, в общем лагере!..» Чем жена Калинина «лучше» упомянутой Дины, полковник, наверно, объяснить бы не смог и, возможно, не понял бы вопроса, ведь его, заметим, потрясает не столько сам факт осуждения жены «президента» (мало ли какие важные фигуры полетели), но именно «уровниловка», отрицающая устоявшуюся иерархию «справедливого» общества, она оскорбляет его глубоко сословное мышление (что он может и не осознавать). И все-таки самое существенное: смешав все сословия в одном лагерном котле, «смерч» никого на деле не уравнял — равенства в ГУЛАГе не было. Я говорю не о противостоянии уголовников и политических, не об уголов-

ной иерархии эков, но о расслоении в среде «политических» заключенных, отражающем расслоение всего общества. «В большинстве своем это были жены старых большевиков, ответственных партийных работников, ученых и пр., — вспоминает Г. Колдомасова Акмолинский лагерь. — Я жила замкнуто, к «элите» — кружку женщин с известными фамилиями, возглавляемому Евгенией Серебровской, — не принадлежала». Заметим, что «социальная» дифференциация пронизывала всю массу заключенных. Об этой лагерной «пирамиде» рассказывает немецкая коммунистка Труде Рихтер («Долгая ночь колымских лагерей». — «За рубежом», 1988, № 35): наверху счастливицы, благодаря образованию или связям ставшие лагерными врачами, медсестрами или занявшие теплые места в конторе, чуть ниже — руководительницы полевых бригад, элита, освобожденная от физического труда. Более многочисленная группа — женщины, годами работавшие в теплицах, «они жили в чисто выбеленных бараках, постоянно питались по 1-й категории, были аккуратно одеты, порой даже не в лагерную форму, устраивали себе спальные места с перьевыми подушками, пуховыми одеялами, ковриком на стене и по возможности общались лишь друг с другом... Многие из них получали из дома такие богатые посылки, что они могли почти совсем отказаться от лагерной еды в пользу более бедных, которые, естественно, расплачивались какими-либо услугами», а широкое основание «пирамиды» составлял лагерный «пролетариат», заключенные, которых посылали сегодня на одну, завтра на другую работу. Все уравнивающий «смерч» как бы разбивается об эту «пирамиду» и о неистребимый «черный рынок». «Все продавалось, и на все находился свой покупатель».

Опыт ГУЛАГа столь разнообразен, что та же Колыма в воспоминаниях Т. Рихтер и, скажем, Ильи Таратина — разные миры: «...люди замерзали и на работе, и по дороге... у вахты накапливались целые штабеля трупов» (это уже не работа в «теплицах», упоминаемая Рихтер). «Утром мы увидели: в проходе лежит голова бригадира второй бригады. Это было дело рук уголовников... Пришли солдаты из охраны, посмотрели, но никто ничего не видел»; «в побег уходили чаще всего уголовники, большими группами. Старались взять с собою 2—3 человека осужденных по статье 58, то есть «врагов народа» («олений») на мясо. Когда у них кончались продукты, они убивали их и съедали». Колыма, описанная Т. Рихтер, — место, где работают; Колыма Таратина — место, где убивают, убивают много и планомерно: «в палатке надевают наручники и в рот суют кляп, чтобы человек не мог кричать,

зачитывают приговор — решение Колымской тройки НКВД и ведут в «кабинет начальника», специально приспособленный для исполнения приговора. Человек только переступает порог двери, тут же слышен глухой выстрел. Стреляют, видно, неожиданно, в затылок... В ту ночь семьдесят человек попрощались с жизнью», а рассказчик, ждавший своей очереди, спасся чудом — был арестован сам Гаранин, руководивший расстрелами по всей Колыме, с ним в ту же мясорубку попали начальник тюрьмы, несколько сотрудников политуправления, расстрелы прекратились, заключенных погнали на прииски — работать... и умирать.

«Почему они дали себя убить?»

«Сквозные трагедии нашей жизни, — размышлял недавно Виктор Ерофеев о «хронических иллюзиях» шестидесятников XIX и XX веков, — объясняются не столько жутью общественных отношений (но и этим тоже. — А. В.), сколько коллективным согласием терпеть эту жуть и участвовать в ней». Обессиливающую атмосферу массового террора вспоминает Лев Разгон и все равно не понимает («страдание памяти»): почему военные дали себя убить? почему не стреляли, не сопротивлялись? почему просто не пытались бежать? (В посмертно напечатанном романе «Московская улица» Б. Ямпольский отвечает так: мы психологически были не готовы бежать, скрываться в своей стране.) Из всех «легендарных героев» юности Л. Разгона только Гай «малость придушил одного конвойного и выпрыгнул на ходу (из поезда. — А. В.). Конечно, его нашли со сломанной ногой и после быстрых традиционных процедур застрелили. Но все же он погиб как солдат».

«Гибель богов» — так можно назвать эту главу воспоминаний Льва Разгона, «богов», которые не сумели спасти себя и своих близких — не то что «дальних»: а от них как раз ждала если не спасения, то хотя бы попытки сопротивления. А. Ларина (Бухарина) вспоминает о своей реакции на процесс военных: поверить в их связь с Гитлером было невозможно, «они, подумала я, решили убрать Сталина, чтобы прекратить репрессии, и провалились». В связи с реабилитацией военных много писали об их невиновности — заговора не было, — они виноваты (разумеется, не перед своими обвинителями, а перед соотечественниками). В тех же воспоминаниях — о том же — еще резче: ответственный работник НКВД при Ягоде, приговоренный к расстрелу, перестукивается из

соседней камеры с А. Лариной, не зная, чья она жена: «Сволочи мы все, и Ягода, и я, и те, кто нас заменил. Мы стали преступниками, потому что не убили того, кто принудил нас и принуждает тех, кто нас сменил, идти на преступления (то есть Сталина. — А. В.)»; оставим на совести безымянного смертника это «принудил», но направление мысли верное. Возможно, Сталин тоже ждал подобной акции. К. Симонов («Глазами человека моего поколения». — «Знамя», 1988, № 3—5) воспроизводит беседу с адмиралом И. С. Исаковым, тот вспоминал: к залу «от кабинета, где мы заседали, вели довольно длинные переходы с несколькими поворотами. На всех этих переходах, на каждом повороте стояли... дежурные офицеры НКВД... Сталин вдруг сказал: «Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий будет стрелять в лицо...» Это было сразу после убийства Кирова, но за верхним слоем сталинского иезуитства крылся, возможно, подлинный страх.

«Стали переходить речку вброд, — вспоминает Илья Таратин. — Среди нас были бывшие военные, они шептали: «Надо всем сразу захватить винтовки, умереть — так умереть в бою, как на войне». Один сделал два шага в сторону, хотел убежать, но его тут же пристрелили, а нас положили прямо в воду...» Захватили бы винтовки, но стрелять-то в кого? В конвоиров, может быть наименее виновных винтиков репрессивного механизма (хотя и среди них были мерзавцы, садисты — см. у Жигулина). Как можно расстрелять систему? Во многих воспоминаниях, даже при описании конкретных палачей, все равно звучит мотив: мы столкнулись не с личным, а со сверхличным насилием, действующим как бы сквозь исполнителей (хотя и они с лихвой приносили свое «личное»), столкнулись с тоталитарным насилием, превосходящим возможности отдельного злодея. Отсюда во многом и непонимание как мучительное состояние — «страдание памяти». Сознание охватывает только ближайшие к человеку факты унижения и мук, но при попытке охватить «все» пасует от соприкосновения с чем-то по природе своей не человеческим, с превосходящим возможности рассудка Злом. И показательно, что, как только эта система зла чуть-чуть дрогнула (после смерти Сталина), заключенные перестали безропотно мириться с насилем: как вспоминает вдова поэта Даниила Андреева, в 1954—1955 годах в Норильске, Воркуте и Караганде начались восстания и забастовки, люди требовали пересмотра дел и права переписки с родными, «усмирили их страшно. Женский лагерь в Караган-

де танками сровняли с землей. В Воркуте — стреляли...» («Московский комсомолец», 30 ноября 1988 г.).

«Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику,— размышляла Надежда Мандельштам («Юность», 1988, № 8).— Многие из нас поверили в неизбежность, а другие в целесообразность происходящего (последнее может быть понято как бессознательная самозащита психики от настоящего безумия.— А. В.). Всех охватило сознание, что возврата нет... Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье».

Что же говорить о более молодых, кто сразу осознавал себя частью родного и единственно возможного «прекрасного нового мира»! «Я поступила в юридический институт в сорок шестом году. Кто тогда сомневался хоть в чем-нибудь? Был страх, была искренняя вера. Все происходящее воспринималось как должное...— говорит сегодня доктор юридических наук Софья Келина («Московский комсомолец», 25 сентября 1988 г.).— Да что мы знали, кроме «Краткого курса»? XX съезд был как гром среди ясного неба». У нас нет оснований ей не верить, но неужели «все»? Все — минус миллионы «политических» в лагерях и тюрьмах, минус миллионы раскулаченных и депортированных, минус переселенные с родной земли народы, минус бывшие военнопленные, минус семьи репрессированных... Перечень этот можно продолжить, но тогда получится, что все знали, не могли не знать все. Но ведь этого на самом деле не было. Как же так? Может быть, разгадка этого всеобщего «помрачения» была и в том, что каждое частное малое знание отдельного человека или семьи существовало как бы само по себе, вне аналогичных «знаний» соотечественников. Люди мало делились такими горестями — опасно было рассказывать, опасно было слушать. Островки горестного знания не сливались воедино, поэтому — между ними — сознание вполне могло найти и зачастую находило своеобразную психологическую «нишу», в которой можно было (искренне!) не знать, не понимать, не сомневаться.

И все-таки, даже если речь идет только о школьно-студенческой среде, и то — неужели «все»? Вот перед нами автобиографическая повесть поэта Анатолия Жигулина «Черные камни» («Знамя», 1988, № 7—8) о созданной после войны в Воронеже нелегальной Коммунистической партии молодежи, рождение и разгром которой как раз уместились между выходом в свет первой, удостоенной

Сталинской премии редакции «Молодой гвардии» и ее второго, переработанного варианта (интересно, читали эту книгу молодые участники КПМ? а писатель, если бы узнал о КПМ, понял бы, что это значит?). Честность, юный максимализм — по Жигулину, этого было достаточно, чтобы сделать необходимые выводы, а поиски духовной опоры обратили его героев к «первоначальному», а не мистифицированному марксизму-ленинизму (собственно, никакого иного мировоззренческого выбора у них не было). «Все, что сегодня с боем взяли, с большой трибуны нам дано, я слышал в юности когда-то, я смутно знал давным-давно», — писал Жигулин (а он входил в ЦК КПМ) в 60-е годы. Пусть была одна такая организация (говорят, что не одна), 50—60 человек, но уже нельзя говорить «все». Скажут: почти «все», но в нравственном, а не статистическом смысле между «все» и «почти все» лежит пропасть: если «все» — значит, иначе и быть не могло, если «почти все» — значит, можно было иначе (все это я отношу и к нравственному значению правозащитного движения в годы пресловутого «застоя»).

«Возможно, историки еще напишут о новом периоде освободительного движения в России — антисталинском, протянув нить от отважного Рютина до отчаянных создателей КПМ», — пишет критик Вл. Новиков, сочувственно откликаясь на «Черные камни»; но, называя только коммуниста Рютина и молодых марксистов-ленинцев из воронежской организации, он тем самым (я уверен, что непреднамеренно) как бы ограничивает это освободительное движение коммунистическими рамками; но вряд ли следует вычленять антисталинское движение из истории — как бы покоректнее сформулировать — анти тоталитарного сопротивления в нашей стране — причем и до Сталина, и после него; такая история, конечно, будет написана и, думаю, пишется уже.

29-й contra 37-й?

1937 год давно уже стал «знаком» сталинского террора. Неразумно оспаривать то, что уже вошло в язык общества как условный, но необходимый и всем понятный «рабочий термин», но многие мемуаристы говорят о 37-м годе как о реальном, а не символическом рубеже; вот характерная фраза: «То, что пережил, произошло со мной, как и с миллионами ни в чем не повинных людей, начиная с памятного 1937 года, когда преклонение перед личностью Сталина перешло все границы, когда это преклонение вылилось в форму физического уничтожения

масс народа» (Илья Таратин). Несколько иначе, но по сути то же пишет С. Швед: «Массовые аресты начались не в 1937 г., а значительно раньше, постепенно нарастая. 1937 г.— год апогея репрессий и полного беззакония в ведении дел, но уже в (ну, в каком?— А. В.) 1935 г. имели место массовые аресты среди работников идеологического фронта». Она вспоминает, что ее муж И. С. Коган критиковал «практическую работу в деревне», ругался по этому поводу нецензурно с «властями», но связать в одно целое «практическую работу в деревне» с репрессиями среди партийцев она не может даже в 70-е годы.

«Было бы преувеличением, если бы я стала теперь (в середине 60-х.— А. В.), задним числом, приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в нашей (речь идет о 1936 году.— А. В.) трагедии партии и страны. Эти мысли пришли позднее, по мере ознакомления со сталинизмом в действии»,— пишет Евгения Гинзбург. Но если в 36-м трагедия страны еще только назревала, а в 37-м уже разразилась, а между этими датами лежит арест самой Гинзбург, то... Что ж, почти все мемуаристы начинают отсчет всенародной трагедии с собственного ареста, это отчасти — в самой природе человека, в его психологии. Было бы несправедливо и неблагородно укорять мемуаристку в глухоте к страданиям народа; но удивительно, что и сегодня читатели предлагают (на страницах «Литературной газеты») днем траура по жертвам репрессий считать, скажем, 1 декабря, то есть день убийства Кирова, и поясняют это так: «1 декабря было «сигнальным» днем для начала истребления ленинских кадров, за которыми потянулись тысячи и тысячи, из которых потом сложились миллионы погубленных жизней» (В. П. Неверов). Да разве в 34-м все это началось!

К 1934, а тем более к 1937 году каток организованного государственного (повторю — как бы сверхличного) насилия так или иначе затронул едва ли не большую часть советского народа, достаточно вспомнить коллективизацию: «То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел» — это личные впечатления Бориса Пастернака о деревне начала 30-х годов (по воспоминаниям З. Мясленниковой.— «Нева», 1988, № 9—10). Мемуарных свидетельств об этой трагедии мало хотя бы уже потому, что по уровню культуры да и просто грамотности жертвы коллективизации не могли оставить столько подробных, психологически разработанных, литературно

ярких свидетельств происшедшего, как это сделали уцелевшие жертвы из более образованных слоев общества; погибший литератор имел шанс уцелеть в воспоминаниях близких, друзей, других литераторов, а миллионы крестьян или рабочих канули без следа — в бездну, в пустоту, мы не видим их лиц. Тем ценнее то, чем мы располагаем. В журнале «Урал» (1988, № 9—11) напечатаны воспоминания Николая Мурзина; он был ребенком, когда ссыльная учительница рассказывает детям, как плохо было при царе и как хорошо стало сейчас; «по карточкам же получали не все. И не всегда. Если что-то не завезено и продукты не получены, то назавтра их уже не давали: не померли же, прожили. Появились первые покойники — чаще это старики или малые дети...»; «...Я один иду в столовую. «На промысел» — полизать тарелки...»; «...бежим к окну Готовцевых. Оказалось, Васька украл всю месячную норму муки из дома и съел ее. А где остатки — не сознается. Через полатину Готовчиха перепустила веревку. На конце — петля из полотенца. Ваську мать подвела к петле, одела ее ему на шею и тянет за другой конец. Васька висит. Готовчиха отпускает веревку. И так много раз. Но Васька не сознается, где мука. Съел, наверное, всю... (Это гибель для всей семьи.— А. В.). Всё кончилось тем, что Васька уже валялся на полу — встать не мог. Мать его в ужасе тоже падает на пол и воеет как о покойнике...» Весна 34-го, людоедство, вдова Сорокина с тремя детьми, одна девочка умерла (сама или задушили), пустой гробик отнесли на кладбище, а из трубы дома пошел подозрительный дым, нагрянули — и попали на «ужин». Сорокины доедали свою сестру и дочь... И сквозной мотив воспоминаний (как и других мемуаров о раскулачивании, например у И. Т. Твардовского) — отношение властей к крестьянам, особенно ссыльнопоселенцам, как к рабочей скотине, с тем отличием, что скотину все-таки надо кормить, а крестьяне обойдутся: красивый, сытый, аккуратно одетый (так он запомнился Н. Мурзину) комендант: после работы идите пни корчевать, а то дальше сошлем...

Конечно, никакими «перегибами» и «перекосами» генеральной линии тут ничего не объяснить и не оправдать. Что ж удивительного, если С. Куняев бросает такие резкие обвинения советской «элите», ставшей позднее жертвой 37-го года: «Знать не желают арбатские души, как умирают в Нарыме от стужи русский священник и нищий кулак... Счастливо длится арбатское детство... Где-то на Волге идет людоедство. На Соловках расцветает Гулаг...» Правда, ярость застилает ему глаза, он рубит сплеча и не вполне по адресу. Но ярость эта не беспочвенна. Кстати, раз уж мы втягиваем в разговор и стихотворный,

а не только мемуарный материал, стоит процитировать стихотворение Марии Терентьевой, вдовы писателя Ивана Катаева, «Рослый парень» («Новый мир», 1988, № 4); «парень» — это лагерный конвоир.

Снег и ветер в поле чистом.
И идут, ровняя строй,
Жены русских коммунистов,
Как, бывало, шли на бой.

Стихи датированы 1940 годом. Тем они ценнее как психологическое свидетельство: находясь в лагере, Мария Терентьева видела трагедию именно в том, что сажают коммунистов (своих!) и жен коммунистов (как она сама). По сути, именно такая узкопартийная трактовка народной трагедии была официально закреплена XX съездом. К сожалению, в ответ на внедряемую долгое время версию, что «нарушения социалистической законности» в период «культы личности» сводились к неоправданным репрессиям против некоторых партийцев, военачальников, писателей в 37—39-м годах, оппоненты выдвигают не менее уязвимую концепцию, что 37-й год был годом «локальных» (по сравнению с 29—33-м годами) репрессий, сфокусированных только на верхнем слое советского общества, то есть годом своеобразного «возмездия». Крайность порождает крайность, узость — другую узость, одна неправда — другую (подозрительно похожую).

Идея 37-го года как «возмездия» родилась сразу же. Вспомним в мемуарах Льва Разгона колоритную фигуру Рощаковского, бывшего царского контр-адмирала: «Бог надо мной смилостивился, дал мне к концу моей жизни увидеть настоящее счастье (это монолог на тюремных нарах.— А. В.)!.. Я дождался того, что увидел тюрьмы, набитые коммунистами, этими — как их? — коминтерновцами, евреями, всеми политиканами, которые так и не понимают, что с ними происходит... Все думают, дурни, что ошибка какая-то случилась». Такая оценка 37-го года из уст Рощаковского, в общем, естественна и ожидаема, но есть примеры более неожиданные и впечатляющие. М. Чудакова пересказывает свой разговор с вдовой Булгакова, Еленой Сергеевной, о 37-м годе, подчеркивая, впрочем, что свидетельства вдовы следует воспринимать осторожно, делая поправку на аберрацию памяти. Итак:

« — У него (Булгакова.— А. В.) было ощущение возмездия от этих арестов?

— Да, не скрою от вас, было! Он открывал газету и видел там имена своих врагов (Авербах, Киршон и др.— А. В.) <...>

— Но ведь брали и тех, кто был большим писателем... Мандельштама, например.

— Но он же написал такое ужасное (спохватившись, она смягчила негодующую интонацию улыбкой) стихотворение о Сталине! Можно себе представить, в какое бешенство он (Сталин.— А. В.) пришел!..» («Современная драматургия», 1988, № 5).

29-й contra 37-й? Нет, не в этом дело. Для меня после прочтения многих мемуарных книг авторы действительно разделились, но как? На тех, кто воспринимает тюрьму как «свою», и на тех, кому она заведомо «чужая», на тех, для кого их собственный арест воспринимается как частная (пусть даже глубокая) деформация «своей», «хорошей» системы, и на тех, для кого все происходящее — вполне адекватное проявление чуждого им начала. «Мы никогда не спрашивали, услышав про очередной арест: «За что его взяли?» Но таких, как мы, было немного... «За что? — яростно кричала Анна Андреевна (Ахматова.— А. В.), когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос.— Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что...» (Н. Мандельштам). Еще более выразительное свидетельство принадлежит Алле Андреевой, вдове Даниила Андреева. «Меня спрашивали, как я отношусь к Сталину. А я говорила: «Конечно, плохо, потому что он погубил Россию». Нас обвиняли в организации террора. Меня спрашивали: «Вы говорили, что готовы убить Сталина?» Я лезла на рожон: «С удовольствием треснула бы его табуреткой по голове за то, что он сделал с Россией». ...Даниил, оказалось, тоже не скрывал своего отношения к Сталину» («Московский комсомолец», 30 ноября 1988 г.).

В этом смысле очень интересны воспоминания толстовца Бориса Мазурина «Рассказ и раздумья об истории одной толстовской коммуны «Жизнь и труд» («Новый мир», 1988, № 9). По-настоящему волнует попытка толстовцев в условиях все нарастающего государственного насилия выгородить себе «угол», островок для вольного, безгосударственного житья. В отличие от колхозов толстовская коммуна была не только экономическим, но и действительно самоуправляемым, «самодостаточным» сообществом: толстовцы не нуждались ни в местном Совете, ни в райкоме, ни в исполкоме. Коммуна была окончательно разгромлена именно в 37-м (Мазурин приводит целые списки убитых).

Сильное впечатление производят рассказы Мазурина о поведении толстовцев в 30-е годы, об их реакции на репрессии. «Яков Дементьевич Драгуновский придерживался того мнения, что тюрьма ему не нужна и добровольно он в нее заходить не должен. Когда его вызывали или выводили из тюрьмы, он шел, когда же

его приводили вновь к воротам тюрьмы (например, с допроса), он не шел и говорил:

— Мне туда не надо...»

Это еще не 37-й год, но вот и в 37-м то же самое: «Федю нашли в долине Радости. Он отказался идти. Его запихали в матрац, завязали, привязали к хвосту лошади и так выволокли по снегу из долины... Федя не ходил на допросы, его носили на руках на третий этаж, а оттуда тащили с лестницы за ноги, он на каждой ступеньке стучался головой и молчал».

Полезно сопоставить эти свидетельства с мемуарами Гинзбург, которая, по ее же признанию, только в тюрьме в первые в жизни столкнулась с необходимостью «самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения» (можно сказать: не она жила, а ее «вели» — партия, окружение, система...); а толстовцы сделали свой выбор задолго до испытаний и в тюрьме укрепились в своих убеждениях, в начале войны некоторые из них заплатили жизнью за свой отказ брать в руки оружие (хотя этот их выбор вызывает у большинства из нас смешанные чувства). Но вернемся к мемуарам Гинзбург: старший партиец Гарей Сагидуллин, страстно ненавидящий Сталина, простучал ей сквозь стену камеры: «Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называй как можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арестуют. А если будут тысячи таких протоколов, то возникнет мысль (у кого? — А. В.) о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет надежда на «его» свержение...» Неудивительно, что призыв посадить возможно большее число партийцев и членов их семей (мыслит Сагидуллин вполне по-сталински) не находит отклика у Евгении Гинзбург, тут все понятно — нормальная человеческая реакция. Интереснее другое: «хотя я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара (только в партии? — А. В.) является именно Сталин, но заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью». Воистину: «свои» сажают «своих»...

«Свои» и «чужие»

У многих мемуаристов или у изображенных ими людей ясно просматривается это деление на «своих» и «чужих», убеждение, что хотя они сами, их друзья, родные и соратники арестованы совершенно невиновными, но в принципе есть в обществе и настоящие враги (и много врагов), которых сажать, расстреливать, ссылать и можно и

нужно. «Как должен вести себя коммунист в «своей» тюрьме?» — этот вопрос в той или иной формулировке встает перед многими мемуаристами. Даже общая камера не соединяет «чужих». Снова читаем у Гинзбург:

«...Свои горести после допросов Аня-маленькая поверяет только мне, как партиец партийному. Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки.

— Понимаешь, Женя, ведь по сути она — настоящий классовый враг. Меньшевики и эсеры. Правда, по учебникам я их иначе представляла. Такая, в общем, славная и несчастная старуха. Но жалости нельзя поддаваться... И материалов против партии нашей им нельзя давать».

Однако жалость вызывает скорее сама Аня с ее искалеченным (похоже, неизлечимо) «партийным» сознанием, а не «старуха» Дерковская, сидевшая с 1907-го по 1917-й, а с 1921-го — в ссылке, с 37-го — снова в тюрьме. Но и она, страдающая без папирос, принципиально не берет их у Гинзбург, как коммунистки, которая тем более не участвовала в «оппозиции». «Лично мне вас жаль, — говорит она Гинзбург. — Но вообще-то не скрою, рада, что коммунисты наконец почувствовали на себе многое, о чем мы им давно говорили...»

Ощущение, что «враги народа», конечно, были и вредили, остается у некоторых авторов на всю жизнь. С. Швед уже в 70-е годы продолжает утверждать, что «враги из буржуазной технической интеллигенции... нарочно создавали диспропорции между взаимосвязанными предприятиями, между отдельными цехами...». Она же: «Я никогда не зарекалась от того, чтобы передать органам правосудия настоящих, заведомых, активных врагов (из буржуазной технической интеллигенции? — А. В.), но быть соглядатаем среди невинно пострадавших женщин?» Она же: «Помните... Потому что никто не может дать вам гарантии, что безумие 37-го года (а других лет? — А. В.) никогда не повторится... Многие вообще ничего не знают или не верят рассказам о репрессиях, преследованиях честных коммунистов...»

О «честных коммунистах» в «своем» лагере Яков Шестопал записал со слов бывшей заключенной такую «быль» («ЧП» в лагере). — «Неделя», 1988, № 25): в одном из северных лагерей лютой зимой «жены» репрессированных партработников, объединившиеся в подпольную партячейку, решились от отчаяния на протест — их гонят почти босыми на лесоповал; им уже ничего не страшно, потому что то — смерть и это — смерть. Одна из заключенных, Анна Сергеевна, подбрасывает вверх шапку («нечто похо-

жее на ушанку», запомним это), и, «как последнее «ура» в смертельной атаке, сто двадцать женщин одновременно закричали:

— Не пойдем на работу, пока не получим обуви!».

Затем следует такая необычайно выразительная и поистине символическая сцена:

«Через полчаса перед ними предстал начальник лагеря. Черный полубок на нем был расстегнут. (...) Рванув с себя, как Анна Сергеевна, теплую меховую шапку, он негромко, но так, чтобы слышали все, отчаянно проговорил:

— Фашисты на Волге... Бои под Сталинградом. Стране нужен лес! А вы... вы... дерьмо, а не коммунисты!

Две шеренги почти босых женщин, по шестьдесят в каждой, безо всякой команды повернулись правым плечом вперед и зашагали к воротам лагеря (на лесоповал.— А. В.)».

Вдумаемся: устами этого мерзавца говорит сама система, допустившая немцев на Волгу и именно этим фактом (враг в сердце страны) оправдывающая свои изуверства и призывающая свои жертвы «идейно» отнестись к своим страданиям. И самое главное: жертвы эту дьявольскую логику принимают. Как же нужно было искалечить их сознание еще на «воле», как глубоко должна была проникнуть система в их душу, чтобы по первому, точно угаданному начальником сигналу, повинувшись социальному «условному рефлексу», бедные женщины сразу исчерпали весь запас, казалось бы, отчаянно-решительного сопротивления!

Но, с другой-то стороны, как они еще могли поступить? Жизнь слишком часто и не обязательно в чрезвычайных обстоятельствах ставит перед нами задачи без возможности однозначно-позитивного решения; ситуация ГУЛАГа, вероятно, была именно такой задачей без положительного ответа — любое из решений «хуже». Не случайно Варлам Шаламов настаивал на том, что лагерь — это лишь «отрицательный» опыт. Несостоявшийся бунт женщин еще только более наглядно выявляет безвыходность их ситуации, невозможность активной борьбы против системы в рамках системы.

Понимал ли автор, что он описал, понимала ли рассказчица, о чем она поведала писателю?..

Скажут: человек исполняет свой служебный долг, мог бы и не апеллировать к идеям, просто убить; некоторые заключенные и в тюрьме не сразу могли освободиться от такого «образа» своих мучителей. У Гинзбург заключенные в камере смеются (конечно, за глаза) над бестолковым надзирателем.

« — Замолчите!..

Юлия Анненкова с искаженным, побледневшим лицом подняла руку движением боярыни Морозовой:

— Вы не смеете издеваться над ним. Он здесь представляет Советскую власть. Он исполняет свои обязанности. Вы не смеете, вы не смеете!»

Это не случайность, не казус, но потом приходило прозрение: «только первые недели я продолжал считать надзирателей, следователей такими же людьми, как я, ну, ошибающимися или же негодяями, но все же людьми. Потом у меня это прошло... С этими нельзя вступать в человеческие отношения, нельзя к ним относиться, как к людям, они людьми только притворяются, и к ним нужно тоже относиться, притворяясь, что считаешь их за людей» — убийц и мародеров. «Некоторые из них получали готовые квартиры, со всем, что в них было: мебелью, книгами, бельем, одеждой, всем, включая зубные щетки и засохшие куски мыла в умывальнике (так нацисты въезжали в «освободившиеся» еврейские дома. — А. В.). А другие на каких-то базах, куда свозили все это добро, выбирали себе по вкусу. И, конечно, по чинам... Прошло почти полвека, но наследники грабителей, а может, и еще сами грабители и убийцы живут среди этих картин и ковров, едят с этой посуды...» (Лев Разгон). И живы еще уцелевшие жертвы репрессий, их родные и близкие, что были не только сломаны, изувечены, лишены свободы, но и ограблены системой в самом вульгарном смысле слова (безотнositельно, куда и кому пошло их имущество), даже чисто материальный долг системы своим жертвам поистине беспределен, и отдавать этот долг она, похоже, не собирается¹.

Надежда Мандельштам видела в этой системе абсолютное зло, а, скажем, Галина Колдомасова и ее подруги по Акмолинскому лагерю «всегда оставались теми же советскими женщинами, какими были, и винули во всем лишь одного человека» — Сталина; между этими «полосами» простирается область прозревающих. И в этом смысле уникальны воспоминания заведующего отделом НКВД Евгения Гнедина «Себя не потерять» («Новый мир», 1988, № 7; рукопись известна под названием «Катастрофа и второе рождение»). После отставки Литвинова,

¹ Когда статья уже была написана, появились сообщения о том, что Совет Министров Литовской ССР отменил постановления 1949-го и 1951 годов о депортациях «кулаков и их семей», предусмотрена материальная компенсация пострадавшим. Чуть позже ЦК КПСС постановил внести на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР предложение — отменить внесудебные решения, вынесенные «тройками» и «особыми совещаниями», возместить пострадавшим материальный ущерб.

когда подчистую выгребались его бывшие сотрудники, Гнедин прошел самые страшные тюрьмы (как Сухановская), и не сдался, и вместо неизбежного расстрела получил лагеря. Преданный функционер сталинского государства, отринутый (воистину преданный) своими хозяевами, ввергнутый в ад «своей» государственной машины, он сумел взглянуть на себя и на мир совершенно новыми глазами, полностью сменить свою нравственно-политическую ориентацию. Под пытками палачей он учился заново отличать добро от зла. Духовное освобождение Гнедина не было чудесным озарением свыше, это была долгая духовная работа, путь через полное отчаяние и фантастический оптимизм к трезвому стоическому знанию. «В 1939 году в тюрьме, хоть я уже непосредственно познакомился с обликом Берию, Кобулова, их подручных (они его лично пытали. — А. В.), я все же не мог даже вообразить, что они станут сотрудничать с берндтами, розенбергами и прочими фашистскими злодеями. Берндты были в моих глазах воплощением гитлеровского режима, а кобуловы — не только вырожденками, но и уродливыми исключениями в том обществе, к которому принадлежал и я сам. Так думал не только я один. Так рассуждают и сейчас многие». Последние фразы мемуариста говорят о том, что сам он не сразу переменял свою точку зрения на кобуловых как на исключение, неадекватное системе.

Кстати, прямое сопоставление сталинизма и гитлеризма вряд ли должно нас смущать. Оно проходит через многие «лагерные» мемуары. «Вот так, наверное, там, в Германии, привыкли и к газовым печам, и к виселицам. Ко всему привыкаешь...» — размышляла о ГУЛАГе Е. Гинзбург; она же — из тюремных разговоров: «Немки, побывавшие в гестапо, уверяют, что тут не обошлось без освоения опыта. Чувствуется единый стиль. В командировку заграничную посылали их, что ли?» (Кстати, кого — куда? — А. В.)

Очевидные «психологические совпадения тоталитаризма сталинизма с тоталитаризмом фашизма» отмечает сегодня доктор философских наук М. Капустин («Книжное обозрение», 1988, № 38), а Яан Каплинский на страницах таллиннской «Радуги» (1988, № 7) утверждает, что Гитлер обладал по сравнению со Сталиным какой-то цинической откровенностью: он не объяснялся в любви к евреям и славянам и не требовал славословий от тех, кого собирался уничтожить.

Впрочем, стоит прислушаться и к мнению немецкой писательницы Кристи Вольф, возражающей против уравнивания сталинизма и нацизма; у последнего, по ее мнению, не было никаких внутренних резервов для демо-

кратической эволюции (то есть и «ХХ съезд», и «перестройка» в национал-социалистическом варианте были бы заведомо невозможны).

«...— причины наших бед»?

Вшами она посыпала мою голову, приговаривая: «Всем поровну, всем поровну, к коммунизму идем».

А. Ларина (Бухарина)

«Пришел конец жесткой силе, Которой слепо мы служили, Когда по молодости лет Еще глаза незрячи были. За это дали мы ответ. А он, причина наших бед, Лежит в торжественной могиле. И скорбный марш звучит нам сегидильей» — так откликнулся в свое время на смерть Сталина бывший разведчик, ставший в ГУЛАГе поэтом, Юлиан Тарновский («Даугава», 1988, № 9). В самом ли деле И. В. Джугашвили (Сталин) — «причина наших бед»? Спор о нем не завтра закончится, но все-таки полемика идет уже не о том, гений Сталин или преступник (преступник!), а о том, как соотносятся Сталин и система: кто кого породил. Пожалуй, самый яркий пример — полемика в газете «Московские новости» (1988, № 24) в связи с известной статьей В. Кожина «Правда и истина». Суть полемики иронически точно сформулировала А. Латынина: «...христианин Игорь Шафаревич напоминает нам (...) о том, что наивно объяснять национальную катастрофу зловещей ролью одного человека, а марксист Рой Медведев упрямо настаивает на том, что историческая закономерность склонилась перед одной криминальной личностью». Опасаются, что упоминание каких-то исторических закономерностей есть стыдливая выдача индульгенции Сталину, но говорим же мы об исторических корнях национал-социалистического режима в Германии, и никто не воспринимает это как нравственное оправдание Гитлера.

Нет, не принимает душа идею такого суда, когда на скамье подсудимых (незримо) сидит один убийца, а другие, скажем Зиновьев (незримо), проходят свидетелями обвинения только потому, что в конце концов стали жертвами подсудимого¹. Из мемуаров: «Когда Юденич

¹ Не знаю, возможен ли вообще (земной, а не Божий) суд над системой в рамках системы? Тот, на котором свидетелями обвинения должны пройти и умершие от голода крестьянские дети, и Алеша Романов, и Гарик Ягода, написавший (см. у А. Лариной) из детского дома бабушке — в лагерь: «Дорогая бабушка! ОПЯТЬ Я НЕ УМЕР. ЭТО НЕ В ТОТ РАЗ, ПРО КОТОРЫЙ Я ТЕБЕ ПИСАЛ. Я УМИРАЮ МНОГО РАЗ...»

стоял уже под самым городом, <...> Зиновьев <...> требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда <...> ему было чего бояться: перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся согласно приказу... А также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться» (Лев Разгон). Кровавая каша заварилась задолго до 37-го, и хватит наконец противопоставлять невинную ЧК «переродившемуся» НКВД, что делал Бухарин в своем известном заявлении. Многие из тех партийцев, чекистов, идеологов, что были безвинно (с точки зрения официально предъявленных обвинений) репрессированы в 30-е годы, заслужили кару за то, что они сделали со страной и народом за предшествующие два десятилетия (конечно, только они сами, а не их жены и дети); об этом нужно говорить именно после того, как публично признано, что они не виновны в приписываемых им преступлениях, нужно говорить о том, в чем и перед кем они на самом деле виновны. Безнравственно оправдывать поджигателей тем, что и они сами сгнули в пламени раздутого ими пожара, — об этом справедливо напоминает, нет, не Кожин, а экономист Гавриил Попов (запишем и его в сталинисты?).

«Он долго не понимал, что делают с ними, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти» (Варлам Шаламов.— «Новый мир», 1988, № 6); увы, те, кто понял, в большинстве своем уже никому не расскажут, что открылось им в аду ГУЛАГа, их мемуаров мы, за редкими исключениями, не прочтем; а те, кто выжил, зачастую (неловко об этом говорить) мало что поняли и ничему не научились. «...В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда», — пишет Евгения Гинзбург уже в начале 60-х (впрочем, это похоже на заговаривание «страдания памяти»). Снова царит¹. Труде Рихтер вспоминает Колыму: «...золотые рудники и прииски, на которых заключенные тяжелым трудом добывали драгоценный металл, помогавший финансировать строительство социализма. Добыча велась примитивным способом, и все же все вместе взятое (?) было значительным достижением второй пятилетки». Скажут, что я по своему жизненному опыту не имею права их судить. Безусловно, так. Потому и не сужу. Констатирую факт. Иногда кажется,

¹ Уже после того, как работа над статьей была в основном завершена, я познакомился с воспоминаниями Л. Копелева и Р. Орловой «Евгения Гинзбург в конце крутого маршрута» («Даугава», 1989, № 6), в которых рассказывается о глубокой мировоззренческой эволюции Е. Гинзбург («Ненавижу левых. Всех левых ненавижу...»; «Все революции преступны»).

что страшный опыт утекает бесследно, как свет в «черную дыру», но показания все-таки даются, и никто не смеет сказать, что он ничего не слышал. Между тем то, что появляется на страницах нашей печати, не отвечает ни на один из наших сегодняшних вопросов. Напротив, эти публикации (и мемуарные в том числе) возбуждают все новые и новые вопросы. И это, наверно, хорошо. Не мной замечено, что для того, чтобы получить правильный ответ, надо как минимум «правильно» задать вопрос. И если мы по мере знакомства с запечатленным в мемуарах опытом ГУЛАГа начинаем понимать, что раньше «не о том» спрашивали, что сами вопросы должны быть иными, — это тоже, вероятно, приближение к истине о нас самих и мире, в котором мы живем.

* * *

«Так наз[ываемая] лагерная тема — это очень большая тема, где разместятся сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно», — писал Варлам Шаламов. Лагерная тема действительно огромна и в трагизме своем всечеловечна, никто не исчерпает ее до конца. И все-таки Солженицын у нас один, положение его уникально; столь же уникален его «Архипелаг» в контексте всей литературы о ГУЛАГе. Так уж получилось, что этот его труд приходит к нам чуть позже¹ мемуаров О. Адамовой-Слиозберг («Дружба народов», 1989, № 7), «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург, «Колымских рассказов» Шаламова, а на них прямо ссылается Солженицын, использовавший (среди множества прочих) и эти свидетельства для своего трагического исследования; но (это самое примечательное) солженицынское исследование не «отменяет» эти книги, оно само нуждается в них, как и они нуждаются в нем. Даже там, где мы встречаем у Солженицына уже знакомые по мемуарам факты, сцены, ситуации, они читаются иначе, ибо включены в целое, которое задает совершенно иной, несравнимый с мемуарами уровень осмысления, постижения зла, иррациональность которого так угнетает многих мемуаристов. Не утешая нас тем, что ЭТО зло может быть легко отброшено, изжито, преодолено, Солженицын потрясает, но не парализует нашу мысль, и если не освобождает ее, то указывает путь освобождения.

¹ Эту статью я писал как раз в промежутке между выплеснувшей на страницы журналов мемуарной волной и публикацией «Архипелага ГУЛАГ» в «Новом мире» (1989, № 8—11), открывшей произведениям Солженицына дорогу на родину.

На перекрестке мнений

Стержневая словесность

Меня всегда поражала прежде всего неслучайность его судьбы. Я мог бы поспорить с утверждением самого Александра Исаевича Солженицына: «Страшно подумать, что бы я стал за писатель (а стал бы), если бы меня не посадили».

Предполагаю, что в любом случае — заверши он нормально войну, закончи любой институт — Солженицын вошел бы в русскую литературу не с помпезного входа, не как автор радужных миражей. Уверен, мы бы вместе с некрасовскими «Окопами Сталинграда», с более поздними повестями и романами В. Астафьева, К. Воробьева, В. Быкова, Ю. Бондарева получили бы горько-правдивую мужественную прозу о войне Александра Солженицына. Уверен, мы бы вели отсчет нашей «деревенской» прозе не только от «Вологодской свадьбы» А. Яшина, «Вокруг да около» Ф. Абрамова, «Привычного дела» В. Белова, произведений С. Залыгина, В. Шукшина, В. Распутина и не только от одного лишь рассказа Александра Солженицына «Матренин двор», на мой взгляд, давно вошедшего в рус-

скую классику XX века, но и от других его произведений, посвященных трагедии русской деревни...

Думаю, в любом случае в творчестве Александра Исаевича Солженицына возобладал бы его собственный девиз: «Жить не по лжи!»

И все-таки не случайно судьба выбрала именно его в летописцы лагерного архипелага. Не случаен его отказ от работы в привилегированной лагерной «шарашке», где можно было уберечься от лесоповала и золотых приисков, угольных шахт и «бамовских» дорожных работ — от судьбы народа.

Главное в творчестве А. Солженицына — глубоко национальная русская проза. Именно такой народный писатель оказался исторически необходим для рассказа о всенародном трагическом лагерном лихолетье. О чем бы он ни писал, он пишет о главном в судьбе народа. Он пишет чуть ли не документальные очерки (и у Матрены, и у Ивана Денисовича есть реальные прототипы), но уровень его художественного обобщения и выбор героя таковы, что мы читаем правду о самом народе. Правда отдельного заключенного, какой бы страшной она ни была, легко подводится под исключение, под трагическую случайность. Нам показывают *трагическую закономерность*.

Так что если говорить о неслучайности судьбы Солженицына (не в смысле предначертанности испытаний, без коих он не стал бы писателем), то именно такому большому таланту и грузу ответственности перед народом выпал тяжелейший. Именно он со своим аналитическим даром, умением видеть главное должен был объяснить нам самим и потомкам нашим, как мы жили и почему мы выжили.

Его правда — это правда русского художника о своем народе.

Сегодня поражает еще и то, что его проза всегда вселяет надежду. Рассказывая о самом трагическом, он не дает нам потерять веру в жизнь. Его герои умеют радоваться обыкновенным земным мелочам, даже находясь в кругу страданий. «Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Подешевело молоко на базаре — радость! Оранжево-розово-багряно-багровый закат — наслаждение!» — эти чувства ссыльных врачей в «Раковом корпусе» не осуждаются, не высмеиваются, а сопереживаются автором. Он в человеке всегда радуется человеческому. Ему не интересны позы героизма, мученичества, лагерного избранничества. Путь одиночек он оставляет другим писателям.

Солженицына всегда тянет к себе судьба обыкновенного человека. Нет, не опрощение пропагандирует он,

не примитивный обряд жизни, а состояние внутренней свободы, состояние органичности человека везде.

Героям Александра Солженицына характерно чувство органичной слиянности со своим народом. Он дает меткие характеристики — иногда сочувственные, иногда скептические — избранникам, одиночкам, но всегда ему интереснее народные типы: Матрена, Иван Денисович, Костоглотов. Даже Русанов ему важен как тип. Увы, народный тип, достаточно характерный и для наших дней.

Вообще русская литература XX века (при крайней обедненности по сравнению с веком XIX — в целом) дала новое качество народности — наибольшее сближение с народом на трагических его изломах. В. Белов, К. Воробьев, А. Солженицын... Не главная ли, не главнейшая ли правда о народе заключена в таких небольших по объему произведениях — «Один день Ивана Денисовича», «Это мы, Господи!..» и «Привычное дело»... А все остальное при всех подробностях лишь дополнение к главной правде?!

Это — наша стержневая словесность, и стержень ее — ненадуманная образность, вырастающая из самого народного быта. «К такому уровню... во внутреннем изображении крестьянства... стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что — они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами...» — так о прозе В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина пишет Солженицын.

Осмелюсь отнести эту характеристику и к творчеству самого Солженицына. Внутренний мир его Матрены и Ивана Денисовича с такой психологической глубиной невозможно было бы передать, не будучи самому духовно близким им.

Родился Александр Исаевич в декабре 1918 года в Кисловодске. Отец и мать происходили из крестьян.

«Деды мои, — рассказывает сам писатель, — были не казаки, и тот и другой — мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I... А прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустующих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне... Большая семья, и работали все своими руками».

Перед войной Александр Солженицын с отличием закончил физико-математический факультет Ростовского университета. Два последних года параллельно учился на заочном отделении филологического факультета Москов-

ского института истории, философии и литературы. С 18 октября 1941 года в армии. Окончил артиллерийское училище. С 1942 года до самого ареста в феврале 1945 года сражался на фронтах. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям. Арестован за критические высказывания о Сталине, содержащиеся в письмах к товарищу. Осужден на восемь лет. Из них три года провел в так называемой «научной шарашке» — тюремном НИИ, а последние четыре — на общих работах в политическом Особлаге. Это свое изгнание из привилегированной «шарашки» Солженицын тоже определяет «неслучайным». Можно и в лагерях всю жизнь отсидеть, не узнать народ, не понять его и даже стать враждебным ему, защищая свои «придурочные» привилегии. Воспоминаниями лагерных «придурков», так и не познавших ни дня «общих работ», сегодня переполнены наши журналы. А настоящую правду о лагерном архипелаге мы узнаем, знакомясь с жизнью Ивана Денисовича.

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» в одиннадцатом номере «Нового мира» за 1962 год, на мой взгляд, стала вехой в истории русской литературы XX века. Уровень правды в нем такой, считал Александр Твардовский, что после этого писать, будто «Ивана Денисовича» не было, — невозможно.

Кроме «Одного дня Ивана Денисовича» в 60-х годах в «Новом мире» были опубликованы рассказы «Случай на станции Кречетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела», «Захар-Калита». Еще несколько «крохоток» в «Семье и школе» и статья о засорении русского языка в «Литературной газете». Набирался в «Новом мире» и «Раковый корпус», но... верстка была рассыпана. Все остальное увидело свет за рубежом.

В 1970 году Александр Солженицын был удостоен Нобелевской премии по литературе. В 1974 году в связи с выходом «Архипелага ГУЛАГ» был выслан за границу. Живет в США, в штате Вермонт, природа которого напоминает Солженицыну российскую среднюю полосу.

Возвращение творчества Александра Солженицына на Родину было неизбежно, но то, что это происходит при жизни писателя, — вдвойне радостно для всех. И, безусловно, это тоже относится к тем земным радостям, которыми одаривал прозаик своих героев.

Думаю, начинать знакомство читателю необходимо с таких произведений, как «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Раковый корпус».

Художественно — это, несомненно, из вершинных произведений автора, наибольшая степень художественной свободы. Думаю, при всей трагичности многих

страниц писал Александр Солженицын эти произведения в охотку, радостно, раскрепощенно. Работа над «Архипелагом ГУЛАГ» — это исполнение долга перед народом. Это как раз та традиция русской литературы, когда отодвигается в сторону изящная словесность и появляются «Выбранные места...» Н. Гоголя, «Не могу молчать» Л. Толстого, «Дневник писателя» Ф. Достоевского, «Остров Сахалин» А. Чехова, «Лад» В. Белова...

«Я не то что отбросил малую форму, — писал А. Солженицын, — я с удовольствием бы иногда отдыхал на малой форме, для художественного удовольствия — но не могу. Несчастливым образом наша история сложилась так, что прошло 60 лет от тех событий, а настоящего связного большого рассказа о них в художественной литературе, да и в документальной, нет... Я думаю, что последняя возможность моему поколению написать...»

Я бы позволил себе поспорить с таким распространенным в русской литературе мнением, что если пишется легко, «для художественного удовольствия», то писатель не оправдывает своего предназначения, своего гражданского долга. Один лишь пример: «История Пугачева» и «Капитанская дочка» — что важнее для нас, что важнее для нравственности народной?!

Не для того задаю я этот вопрос, чтобы хоть как-то принизить всемирное значение «Архипелага ГУЛАГ», — для того, чтобы не умалить, а возвысить эти «для художественного удовольствия» написанные, небольшие по объему, но глобальные по значению в нашей литературе — «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус»...

Эти произведения в каком-то смысле автобиографичны. В них прослеживается жизненный путь автора, его судьба. «Образ Ивана Денисовича, — указывал автор, — сложился из солдата Шухова, воевавшего вместе с автором в советско-германскую войну», общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере.

Прообразом главного героя «Ракового корпуса» Олега Костоглотова снова становится сам автор, бывший фронтовик, ныне ссыльный, приехавший в онкологический диспансер умирать, но — выживший...

После Особого лагеря Солженицын попадает в ссылку в Казахстан; где и обнаруживается у него рак.

«Это был, — отмечал он, — страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор... Однако я не умер (при моей безнадежно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я иначе не пони-

мал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель!»).

После освобождения писатель едет в полюбившуюся ему среднюю Россию работать школьным учителем. Там и встречается Солженицын с русской крестьянкой Матреной, судьба которой и легла в основу рассказа «Не стоит село без праведника», позднее переименованного в «Матренин двор».

«Рассказ, — свидетельствует снова автор, — полностью автобиографичен и достоверен. Жизнь Матрены Васильевны Захаровой и смерть ее воспроизведены как были. Истинное название деревни — Мильцево, Курловского района, Владимирской области... При напечатании по требованию редакции год действия 1956-й подменялся 1953-м, то есть дохрущевским временем».

Герои Александра Солженицына не замечаются многими авторами новой лагерной прозы. В избранничестве своем, в своем мученичестве они — герои А. Рыбакова и В. Гроссмана — общаются только с себе подобными, лишь изредка, по необходимости, обращаясь к Иванам Денисовичам и Матренам. Потому и ответил Александр Солженицын на вопрос, почему он пишет о простых людях, что интеллигенты и сами о себе пишут, а кто скажет правду о самом народе?

Это и есть, по-солженицынски, отобранный круг произведений. Если хотите — его первый круг. Где герой — один и тот же: русский народ.

Солженицын не прилагал усилий укрыться в научной «шарашке». Он увидел, что за «темнотой» Иванов и Спиридонов таится инстинктивно независимое поведение, направленное на торжество жизни, на обретение внутренней нравственной свободы. Мы и сегодня раскрыв рот с надеждой смотрим на академиков и публицистов, на смелых директоров заводов и независимых председателей колхозов. Нам по-прежнему невдомек, что судьбы перестройки зависят от того, как будет вести себя Иван Денисович, что будет делать на своем дворе Матрена. Мы и сейчас отмахиваемся от этих героев, прорываясь на лекции «прорабов перестройки». Мы презираем «полуживое существование» людей, не замечаемых обществом, их повседневные заботы, их ковыряние в земле. Лишь в исключительных условиях — на войне или за колючей проволокой — многие интеллигенты обнаруживают, что нравственной стойкости, человеческой гордости у не замечаемых ими гораздо больше. Как пишет Александр Солженицын, в лагере оказалось, что ему самому не учить этих простых людей, а учиться во многом у них пришлось обыкновенному человеческому мужеству. Власть этих людей в обществе —

сокрытая, добро, ими совершаемое, — не на виду. Но любые перемены в обществе зависят от того, что будут делать эти «незаметные» частички народа, эти распространители добра и света.

Вот и давайте посмотрим на наших героев, которые с виду не отличаются от своих соседей. Что героического в том же Иване Денисовиче? То ли дело кавторанг Буйновский — не побоялся схватиться с Волковым, заработал десять суток карцера. Герой несомненный, но заботы о таких героях берут на себя Иваны Денисовичи. И заботы — от лишней миски каши до доброго совета, как обезопаситься новичку. Это как бы сам народ опекает своих героев, даже смиряет их до времени, когда геройство необходимо будет на самом деле.

Буйновский ощущает себя как личность и ведет себя как личность. Его личное право — выжить в этом лагере или героически погибнуть. Он не чувствует в себе ответственности перед народом, ответственности выжить. Иван Денисович и Матрена — личности соборные. Знают они о том или даже не подозревают, осознанно они поступают или подсознательно, но они отвечают на вызов нечеловеческой системы власти. Система поставила их за чертой милосердия, обрекла их на уничтожение. Уже не конкретно Ивана Денисовича лишь или одну Матрену, а весь народ. И соборные люди, каждый по себе личность не меньшая, чем кавторанг Буйновский или Цезарь Маркович, ответили на этот вызов наиболее надежной системой выживания. Они — и Матрена, и Иван Денисович — стержень народа, его коренники, они несут на себе ответственность не личностную, как Буйновский, который при личном унижении восстает и погибнуть готов, а ответственность соборную, всенародную. Они ответственны перед Богом за сохранение русского народа. Во имя этой ответственности они готовы идти и претерпевать неимоверно многое, в том числе и личные унижения — не унижаясь душой при этом.

Мы читаем о том, как пробовали в нашей стране сломить, уничтожить, растоптать, видоизменить огромный народ. Интеллигенция в силу повышенной личностной гордости погибла первой, а кто не погиб, тот надломился, видоизменился — произошла мутация того дореволюционного понятия русской интеллигенции.

Народ благодаря таким, как Иван Денисович и Матрена, выжил. Иван Денисович понимал, что он должен сделать все, чтобы и в лагере оставаться человеком, но при этом — обязательно выжить. Ибо если такие, как он, не сумеют уцелеть, значит, пришел всему конец.

Василий Теркин, Иван Денисович, Иван Африка-

нович — это самые яркие примеры того, как проходил русский народ через самые тяжкие испытания XX века. Ярчайшие примеры личного героического поведения не объясняют поведение народа в ту или иную трагическую эпоху. Всегда были и будут мученики и герои, изменники и палачи — в каждом народе, в каждое время. Пропоем же песнь героям, проклянем палачей и постараемся понять, а чем жили и почему все-таки выжили.

Тверская страница в истории освобождения Руси от татарского ига — воистину героическая. Но Михаил Тверской с сыновьями были уничтожены. Тверь, погибла, а Москва выжила и вышла на поле Куликово.

И поэтому так важен нам для понимания всего происходившего не только рассказ о судьбе маршала Тухачевского, о судьбе писателя Мандельштама, но — прежде всего, важнее всего — о судьбе Ивана Денисовича. За ним — окончательная победа или окончательное поражение.

«Как это родилось? — пишет Александр Солженицын. — Просто был такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днем. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне все собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И — будет все».

В повести «Раковый корпус» мы встречаем уже разные варианты народного развития. Если «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича» даны нам с позиции человека отстаивающего, с позиции незаметного, неистребимого мужицкого мужества, то в «Раковом корпусе» наряду с бывшим фронтовым сержантом, ныне ссыльным, Олегом Костоглотовым писатель демонстрирует и иной народный тип — Павла Николаевича Русанова. Он ведь тоже крестьянского рода, и фамилия подчеркнута русская — Русанов. Даже такое говорится про него: «Русановы любили народ — свой народ, свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ».

Потому и уделяет Александр Солженицын особое внимание Павлу Русанову, что понимает главную опасность таких. С внешними врагами, как-то поднатужившись, справиться можно, но если в самом народе верх в борьбе за выживание возьмут Русановы, тогда шансов на выздоровление нации не останется никаких.

Уходит из больницы излеченный Костоглотов, уезжает с надеждой призрачной на выздоровление Русанов. Время менялось. Куда оно менялось, никто еще не знал, но

всем хотелось лучшего. Да возможно ли объединить Русанова и Костоглотова в борьбе за лучшее?

Возможно ли переиначить, ежели Русановых за полвека появилось много множество? Лишенных жалости, сострадания, любви к ближнему своему.

Сила прозы Александра Солженицына не в информативности. хотя он самым первым попытался открыть своим соотечественникам глаза на нашу же страшную жизнь. Но сейчас журналы, обгоняя друг друга, спешат поразить читателей шокирующими подробностями. И после всего узнанного, увиденного, услышанного — станут ли интересны рассуждения о «нравственном социализме Шулубина»? После истерических проклятий в адрес лагерей, потока «мученической прозы» — чуть ли не оправданием их покажутся попытки Ивана Денисовича или бригадира Тюрина обрести какое-то подобие жизни, со своими радостями, даже гордостью за хорошо сделанную работу — в лагерных-то условиях.

Это чисто русское: всюду жизнь — кажется иным любителям прогресса чуть ли не доказательством рабского духа. Когда-то их предшественники с порога отрицали саму возможность нормальной жизни в царских условиях. Разрушили дотла, построили новую, чтобы и в ней тотально разочароваться.

Сила прозы Александра Солженицына — не в разрушительности. Его герои и обмануть-то как следует не умеют, и в тюремный лазарет приходят, когда уже все списки давно поданы. Они устраивают свою жизнь трудом, честностью, надежностью. Они уверены — станешь ловчить, сам же и сломаешься.

Сила прозы Александра Солженицына — во внутреннем изображении жизни народа. В том глубинном чувстве языка, образного, народного, обогащающего все более скудеющую речь нашу. Александр Солженицын возвращает нам нашу народную речь, закрепляет употребление полузабытых слов. То, что сегодня делают *заменители Солженицына* всем скопом, может быть, и необходимо для большего узнавания. Но когда истощится поток информации, когда люди утолят информационный голод, столь естественный после долгого плена свободного слова и свободной мысли, для того чтобы внукам нашим понять, что же происходило в те далекие годы, чем люди жили, как они выжили, мы будем давать уже не переполненные кошмарами воспоминания героев-одиночек, мыслителей-одиночек, жертв-одиночек (из них ничего в целом нельзя будет понять), а художественные произведения стержневой русской словесности, такие, как «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус». Небольшие по

объему — они и дадут читателям главные ответы на их главные вопросы.

Вспомним, чем заканчивается рассказ «Матренин двор»:

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

Этим огнем народной правды и сильна проза Александра Солженицына. Он верит своим героям, радуется и печалится вместе с ними.

Проза Александра Солженицына нужна сегодня прежде всего нам самим. Чтобы не потерять веру в самих себя. Веру в человека. Веру в свой народ.

Кто с Солженицыным?

Задача осмысления Солженицына как целостного явления стоит перед нашей критикой. Но, листая страницы нынешней периодики и следуя за этапами литературной борьбы, невольно задаешься вопросами: способны ли мы ответить этому напряженному общественному ожиданию? сможем ли оказаться на высоте духовных и культурных задач, поставленных художником, или же будем продолжать барахтаться в мелких спорах, все более разбредаясь по противостоящим друг другу лагерям, каждый из которых поражает своей эфемерной идейной общностью, обилием подспудных противоречий и опасной тенденцией превратиться из течения общественной мысли в новую идеологию со своими догматами?

Приведет ли возвращение Солженицына к расширению границ свободы слова, к разговору напрямую, без обиняков, к более высокому уровню споров, к перегруппировке литературных сил — или позиция культуры будет по-прежнему подвергаться атаке из двух враждующих лагерей, как позиция беспринципная?

Наша нынешняя критика обнаружила уже готовность использовать имя Солженицына в сегодняшней литературной борьбе, и вопрос: «С кем Солженицын?» — становится одним из наиболее дискуссионных вопросов нашего времени.

Но, вникая в ограниченный круг идей, вырвавшихся наружу в наших литературных полемиках в сопоставлении с солженицынской возвышающей широтой взгляда, отчетливо видишь, что ни одно из нынешних отчетливо оформившихся литературных направлений не может претендовать на Солженицына, и вопрос «С кем Солженицын», как явно некорректный, должен, по-видимому, быть заменен иным: «Кто с Солженицыным».

В начале перестройки казалось, что общество возвращается к идеям 60-х годов. Было сформулировано кредо детей XX съезда: антисталинизм, вера в социализм, в революционные идеалы. Нахлынула пора литературных полемик. И среди первых подлежащих выяснению вопросов стал вопрос о судьбе «Нового мира» Твардовского. Однако в этих полемиках обойдено имя Солженицына, а без его упоминания картина литературной борьбы оказывается искаженной.

Нет сомнения, что судьба «Нового мира» была тесно связана с судьбой Солженицына. Возможно, бросив вызов властям, отторгнутый режимом, Солженицын увлек в эту реакцию отторжения за собой и «Новый мир», превративший, как тогда казалось многим, писателя в знамя своего направления. Но, глядя сегодня на раскрытие идей Солженицына в его творчестве и на судьбу идей, выдвинутых в эпоху оттепели «Новым миром», отчетливо видишь, что союз этот был временным, а разрыв — неслучайным.

Вспоминая недавно об обстоятельствах борьбы «Нового мира» за Ленинскую премию для Солженицына, Лакшин пишет: «Получи тогда Солженицын премию, говорил не раз впоследствии Твардовский, и, возможно, вся судьба его сложилась бы иначе...» Сомневаюсь. Судьба Солженицына в эти годы больше зависела от факта написания «Архипелага».

В пору, когда «Новый мир» хлопотал о Ленинской премии для Солженицына, «Архипелаг» уже был написан; Твардовский его не читал — может, этим и объясняются его надежды удержать Солженицына от конфронтации с властью. Но нам сегодня, после «Архипелага», после книг Солженицына, в которых так ощутимо сознание своего долга, предзнаменности, неловко думать, что писатель мог бы пренебречь этим долгом, умиротворенный премией. Судьба Солженицына была предрешена его писательской позицией, его отвержение брежневским режимом

было неизбежным (хотя формы, конечно, могли быть разными, и высылка на Запад могла быть заменена ссылкой куда-нибудь на восток).

В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын рассказал историю этого отвержения. Писавшаяся по горячим следам событий, она хранит живое ощущение боя и мгновенных оценок, которые, однако, всегда — если не вполне справедливы — корректируются. Солженицын и «Новый мир» — одна из главных тем книги. Взгляд этот — урок нашим литературным полемикам, где только «за» или «против», а если не «за» и не «против», так это «беспринципное сидение меж двух стульев».

Упреки «Новому миру» и признание его заслуг, сострадание к затравленному журналу и разочарование его компромиссными решениями, ощущение признательности тем, кто поддерживает его, защищает, и тягостное чувство зависимости от журнала, который стесняет свободу движений, действий, поступков. И главным фоном — глубина не тактических, но идейных расхождений.

Размышления о «Новом мире» неотделимы от размышлений о его редакторе. Портрет Твардовского, созданный Солженицыным, — величественная, трагическая фигура — резко отличается от парадных портретов нашей мемуаристики. Он выполнен с огромной симпатией, но и резким наложением теней. История их отношений — история сближений, не ставших, однако, дружбой, история расхождений, обид: «Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведет их по разным путям».

После издания «Теленка» с резкими возражениями Солженицыну выступил Владимир Лакшин. Сейчас приходится слышать и читать, и чем дальше, очевидно, тем чаще, злые упреки Лакшину по поводу мотивов его полемики с Солженицыным (сделал карьеру сначала на том, что хвалил Солженицына, потом на том, что его ругал, — иронизирует, к примеру, один критик). Не думаю, чтобы ответ Лакшина Солженицыну был написан для советской карьеры. Зная обстановку 1977 года, легко можно понять, что, публикуя неподцензурную статью в лондонском альманахе «Двадцатый век» (издатель Ж. Медведев), хотя бы и марксистском, статью, осуждающую политику властей по отношению к «Новому миру», резко оценивающую поведение литературных чиновников и партийных идеологов, Лакшин имел немало шансов получить выволочку от ревнителей идеологической чистоты.

С протестом по поводу книги Солженицына выступила также семья Твардовского. Что можно сказать по этому поводу? Было бы бесчеловечно отрицать за близкими право желать такого портрета, который удовлетворяет их пристрастный взор. Тут извечное противоречие между правами любви и правами истины, правами семьи и правами искусства. Сам Солженицын, отвечая на упреки, что он-де «оболгал Твардовского в «Теленке», заметил, что писал его портрет «с чистым сердцем», не предполагая, что это может быть «воспринято как бы дурно о нем», и подытожил: «Он и был великан, из тех немногих, кто перенес русское национальное сознание через коммунистическую пустыню. Но его перепутало и смолололо жестокое проклятое советское сорокалетие, все силы его ушли туда». Добавлю также: многие беспристрастные судьи находят, что Твардовский не только не умален этим портретом, но — наоборот. Так, французский славист Жорж Нива пишет: «Этот портрет... занимает центральное место в композиции книги — в нем столько трагической объемности, что Твардовский остается навсегда возвышенным, возвеличенным».

Ответ Лакшина вызвал, в свою очередь, ответ Солженицына, краткий, но емкий, указывающий на уязвимые стороны статьи: недобросовестное цитирование, искажение мыслей оппонента, приписывание ему идей, никогда и нигде не высказанных. Подробный анализ выступления Лакшина увел бы нас, однако, далеко в сторону и невольно заставил бы повторить контраргументы Солженицына. Трудно было бы удержаться, например, от замечания, что писатель никогда не предлагал американцам отказаться от продажи зерна в СССР, не призывал — «пусть не будет хлеба, пусть голод и война», но Солженицын и сам иронически попросил Лакшина указать в скобочках странички, откуда извлечена цитата. Трудно было бы не обратить внимание на сам тон полемики, обилие бранных эпитетов, заменяющих аргументы: «бесплодное самоупоеание», «ненависть и гордыня», «фанатическая нетерпимость», «смешное безумие», «злой бес разрушения», «гений зла», «мародер»; но Солженицын с куда большей тщательностью выписал эти выражения, беспощадно заметив: «Вряд ли эта работа станет украшением томика избранных статей Лакшина».

Поэтому сосредоточимся на ответе Солженицына. Признав справедливость упреков Лакшина в поверхностном знании обстановки «Нового мира», признав, что давал простор «нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя, что не имел права требовать от журнала «высшего уровня смелости» в дни разгона, подчеркнув высокий уровень и такт ведения «Нового мира», Солже-

ницын касается главного — причин расхождений. Однако в этой статье у Лакшина проступает и истинный его уровень, и искренние убеждения — и они не веселят, — замечает Солженицын. — Странный вопрос задает критик писателю: какова его цель? — вот и с напечатанием «Архипелага». Восстановить память народа в ее ужасных провалах — это, оказывается, не цель литературы, критик требует от меня «позитивной политической программы».

Но «самое ужасное», как пишет Солженицын, — это как раз высказывания Лакшина, которые можно считать политической программой.

«Всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике, — утверждает Лакшин. — Виной ли тому «дурная природа» людей, генетическая незрелость их как рода, неподготовленность нравственного сознания... или скверная изгаженная почва предшествующих социальных влияний и традиций... А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически...»

Солженицын отвергает подобный ход мыслей. Идея, результат, цель для него не существуют сами по себе, они проверяются средствами. И если для осуществления идеи потребовались дурные средства, значит, сама идея дурна. «Вот эти «вершинные» суждения Лакшина, — резюмирует Солженицын, — и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание — ни в последние годы «Нового мира», ни вот, через 8 лет».

Надо полагать, понимание невозможно и сегодня, о чем свидетельствуют новейшие статьи того же критика.

Через весь «Архипелаг» проходит мысль, что как ни преступен Сталин, как ни много мерзостей он совершил, но явление Сталина — закономерность (не случайно во всех странах, куда было экспортировано Передовое учение, явился свой тиран), а желание приписать лишь одной личности все пороки системы и учения — близоруко и наивно.

У Лакшина мысль, что «Сталин — прямое и непосредственное порождение революции и 1937 год... естественное продолжение революции, а не ее деформация, искажение, узурпация», вызывает возмущение. Это для него — исторический фатализм и даже — свидетельство недостаточной любви к народу.

Не меньшее возмущение вызывает и другая, по сути центральная, мысль «Архипелага» — вести счет жертвам с 1918 года. Для Солженицына равны расстрелянные тамбовские крестьяне, поток раскулаченных и поток послевоенный — все жертвы. Не то для Лакшина: «Или не народ, а кто-то другой совершил революцию и вел

за нее три года кровопролитную гражданскую войну?»

Считая гражданскую войну национальной катастрофой, Солженицын решительно пересматривает установившуюся в советское время версию российской истории, согласно которой Россия была деспотией, тюрьмой народов и единственным желанным историческим выходом оказывалась революция. Странник эволюции и реформ, Солженицын настаивает на том, что медленный, упорный эволюционный путь желательнее для страны и что революционное нетерпение, террор в конечном счете привели к режиму куда более страшному, чем монархия. Через весь «ГУЛАГ», через роман «В круге первом» проходит постоянный мотив — сравнение законов царской России и советских законов, условий содержания в царских тюрьмах политических, когда им и передачи, и книги, и письма, и общественное сочувствие, и рукописи работ, в тюрьме написанных, посылаются на свободу, публикуются (!), и условий в тюрьмах советских, число жертв политических процессов в России (по пальцам перечесть) и массовых репрессий в наше время (счет на миллионы).

Для Лакшина сам факт сравнения пятидесяти шести политических казней, «будто бы совершенных в старой России за 175 лет», и массовых репрессий после 1917 года — «кошунство», и он напоминает о «забитых палками и плетью, засеченных шпицрутенами... расстрелянных в крестьянских мятежах».

Но самое интересное — итог. Оказывается, понимание террора как следствия революции, понимание сталинизма как ее порождения, сравнение репрессивных механизмов двух систем — есть... оправдание сталинщины. Можно было бы счесть подобное утверждение демагогическим ходом, рассчитанным полемическим приемом, если бы тезис: те, кто осуждает красный террор, оправдывают Сталина — не распространился бы столь широко в нашей прессе, что стал опознавательным знаком направления, имя которому не так просто сыскать.

Пора уточнить: спорит Лакшин здесь не с Солженицыным, но с Кожинным (речь идет о статье «В кильватере». — «Огонек», 1988, № 26), но нападает он на круг идей, развиваемых Солженицыным. Что, впрочем, еще не означает идейной близости Кожинова и Солженицына, но об этом ниже.

Во всяком случае, нужно полностью не принять мысль «Архипелага», чтобы видеть в Сталине главного виновника всех бед, а критику идейных основ революции квалифицировать как защиту Сталина. И, однако ж, этот ход мысли типичен для целого ряда критиков и публицистов. Попытка поставить под сомнение исключительную

прозорливость Ленина ими пресекается, сомнения в результатах революции объявляются реакционными, скепсис по отношению к идеям III Интернационала именуется шовинистическим, критика Передового учения отвергается без аргументов: ведь известно, что оно верно, потому что всеильно (или всеильно, потому что верно? Не помню).

Как назвать их? «Детьми XX съезда»? Но многие дети, получив идейный заряд антисталинизма в 60-х, не остановились в своем развитии. Детям полагается расти — они и выросли.

В статье, о которой идет речь, Лакшин отрицает суждение о либеральности «Нового мира», с презрением говоря об «интеллигентском либерализме»: «Не либеральное, а демократическое направление было характерно для «Нового мира» и его редактора — народного поэта Твардовского. Так же как за социалистическую демократию, а не за интеллигентский либерализм борются те, кого противники перестройки в полемическом азарте называют либералами».

Нелишне заметить, что и раньше, в полемике с Солженицыным, требуя от писателя позитивной политической программы, в качестве собственной критик выставляет социалистическую демократию.

Что ж, нас учили, что социалистическая демократия — высшая форма демократии. Преимущества социалистической демократии перед буржуазной доказывали всевозможные учебники, но в последние годы иные обществоведы, оглядевшись, стали высказываться в том духе, что подобные преимущества лишь чисто теоретические, на практике же произошло не движение вперед, а движение назад.

Вот, к примеру, Михаил Капустин в статье «Камо грядеши» («Октябрь», 1989, № 8), проанализировав выкладки нашего обществоведения, приходит к выводу, что «объявленные миру «преимущества» социализма — вовсе не исторические, то есть реальные, а лишь чисто теоретические, идеальные, предполагаемые. Это — мираж в пустыне. Говоря еще определеннее — идеологический мираж в социально-экономической и правовой пустыне». «Социалистический демократизм» же, как остроумно объясняет Капустин, — инвалюция, то есть обратное развитие в сравнении даже с несовершенной буржуазной демократией, а никак не высшая ее форма.

Не будем же отождествлять с идеями борцов за «высшую форму демократии» весь спектр нынешних реформистских настроений.

И та часть интеллигенции, которая не желает

больше оправдывать средства высокой целью, имеющей к тому же свойство миража, мыслить в терминах гражданской войны и вести свою родословную с 1917 года, та часть интеллигенции, которая хочет для человека личной и экономической свободы, неминуемо обнаружит, что круг солженицынских идей для нее более продуктивен, чем идеи неутомимых сторонников продолжения провалившегося социального эксперимента.

* * *

Предвижу вопрос: так, значит, ближе всех к Солженицыну Кожин (и ассоциирующееся с его именем направление), коль скоро он развивает ряд солженицынских идей?

Отвечу отрицательно, хотя в понимании природы сталинизма как продолжения ленинизма, в понимании революции как национальной трагедии, в представлении о России не как о тюрьме народов, чередой деспотий, которую — только разрушить, в предпочтении органического развития насилию Кожин многое берет у Солженицына (или — совпадает с ним, черпая из общего источника). Но все же правильнее всего сказать, что ряд мыслей подхвачен, но искажен.

И первое, что имеет решающее значение в напряженной обстановке сегодняшнего дня, проблема, которую можно обозначить так: поиски виновного или сознание вины.

Солженицын никогда не унижается до отвратительной процедуры поисков виновных (составляющей пафос многих кожиновских статей). Для него источник катастрофы — ложная идея, и вырваться из пут ее — всеобщая задача, достижимая на путях раскаяния.

Существует целый веер других различий помимо этого нравственного посыла, обнажая всю глубину расхождений по важнейшим пунктам: историческая концепция, отношение к Западу, к реформам, к имперским амбициям страны. Но чтобы обозначить их — необходимо вновь обратиться к одной полемике конца 60-х годов, которой было уделено, казалось бы, непропорционально много места в дискуссиях последних лет.

Я имею в виду статью А. Дементьева («Новый мир», 1969, № 4), полемизировавшего с молодогвардейскими статьями В. Чалмаева, и связанную с этой полемикой историю разгона «Нового мира».

В нынешних спорах вокруг этих статей то и дело предлагалось поляризоваться: либо ты с патриотом Чал-

маевым, либо с интернационалистом и антисталинистом Дементьевым.

Не мешало бы сегодня вспомнить о позиции Солженицына, не умещающейся ни в одну из принятых у нас схем.

Можно ли назвать Солженицына сторонником статей В. Чалмаева? Нет, конечно. Писатель оценивает их жестко и довольно иронично: «Беспорядочно нахватавшиеся по материалу», «малограмотные по уровню», «со смехотворными претензиями». Однако несколько пунктов в этих статьях вызывают симпатии Солженицына, и он соглашается, к примеру, с нравственным предпочтением «пустынножителей», «духовных ратоборцев» перед революционными демократами, соглашается с мыслью, что в дискуссиях «Современника» мельчали культурные ценности, что 10-е годы XX века вовсе не «позорное десятилетие», как сказал Горький, а шаг вперед в художественном развитии человечества, что «народ хочет быть не только сытым, но и вечным».

Словом, «мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее», «духовным ценностям», прорвавшееся после многих лет вытаптывания этих ценностей, привлекает Солженицына, не закрывающего, впрочем, глаза на то, что идея эта «казенно вывернута», «разряжена в ком.-патриотический лоскутный наряд», что автор то и дело «повторял коммунистическую присягу, лбом стучал перед идеологией, кровавую революцию прославлял как «красивое праздничное деяние» и тем самым вступал в уничтожающее противоречие».

Однако статьи эти, по мнению Солженицына, чужеродны духу Передового учения, что и ухватила официальная пресса, «лупанув» по ним.

Решение «Нового мира» влиться в общее «ату!» Солженицын называет «несчастливым», хотя эмоциональный толчок к нему оправдывает: тут и соображения новмирцев, что «эта банда» кликушески поносит Запад... как псевдоним всякого свободного веяния в нашей стране», и стремление «расплатиться за свою вечную загнанность: «изо всех собак, постоянно кусающих «Новый мир», одна провинилась, отбилась, — и свои же кусают ее». Однако, напоминает он русскую пословицу, «волка на собак в помощь не зови».

Статья же Дементьева — вся вопреки этой половице. «Начиная с давней истории, — иронизирует Солженицын, — не может критик без тряски слышать о каких-то пустынножителях или допустить похвалу 10-м годам, раз они сурово осуждены т. Лениным и т. Горьким; уже по разгону, по привычке... дважды охаять «Вехи»: «энцикло-

педия ренегатства», «позорный сборник». Разбирая тезис за тезисом Дементьева, выписывая унылые штампы: «свершилась великая революция!», «моральный потенциал русского народа воплотился в большевиках», обнажая унылый догматизм статьи, ее затасканный пафос, Солженицын неумолимо подводит читателя к тому, что (так получается!) составляет главную заботу автора: «Угроза? Есть, конечно, но вот какая: «проникновение идеалистических» (тут же и с другого локтя, чтоб запутать) и «вульгарно-материалистических... «ревизионистских» и (для баланса) «догматических... извращений марксизма-ленинизма!»

«Вот что нам угрожает! — Не национальный дух в опасности, не природа наша, не душа, не нравственность, а марксизм-ленинизм в опасности, вот как считает наш передовой журнал!» И это газетное пойло, резюмирует Солженицын, это холодное бессердечное убожество неужели предлагает нам не «Правда», а наш любимый «Новый мир», единственный светоч, — и притом как свою программу?

В недавних полемиках вокруг обстоятельств разгона «Нового мира» стороны поляризовались и вокруг письма одиннадцати литераторов, напечатанного в «Огоньке». А что же Солженицын? По логике тех, кто считает порицание статьи Дементьева одобрением письма одиннадцати, Солженицын должен высказать поддержку этому письму. Не могу удержаться, чтобы не процитировать слова «одобрения»: «...а тут подхватились самые поворотливые трупеды, — «Огонек» — и дали по «Новому миру» двухмиллионный залп — «письмо одиннадцати» писателей, которых и не знает никто... последние следы спора утопляя в политическом визге, в самых пошлых доносных обвинениях: провокационная тактика наведения мостов! чехословацкая диверсия! космополитическая интеграция! капитулянтство! не случайно Синявский — автор «Н. мира»!.. Да ведь как аукнется, — безжалостно итожит Солженицын. — Ведь и Дементьев пишет: в опасности — марксизм-ленинизм, не что-нибудь иное. Волка на собак в помощь не зови».

В дискуссиях последних лет вокруг этих проблем точка зрения Солженицына, как нетрудно убедиться, не была заявлена, меж тем как она является наиболее продуктивной и равно противостоящей как догматизму «борцов за высшую форму демократии», так и идеологии «компатриотства», которой вызвано письмо одиннадцати. Солженицын не только не близок ей (как порой нас сегодня пытаются уверить новые «компатриоты»), но характеризует эту идеологию самым уничтожающим образом.

В 1974 году, вскоре после изгнания Солженицына из СССР, вышел сборник «Из-под глыб», подготовленный еще в Москве, в котором кроме Солженицына участвовали М. С. Агурский, А. В. Барабанов, В. М. Борисов, А. Ф. Корсаков и И. Р. Шафаревич, ознаменовавший раскол движения, дотоле казавшегося общим, «диссидентским», на две ветви. И та и другая, безусловно, отрицали сталинизм, тоталитаризм, подавление личной свободы, и та и другая находились в резкой оппозиции к брежневскому режиму, но если одна — представленная крупнее всего Сахаровым — наследовала русской революционно-демократической традиции, не была чужда идеям марксизма и «социализма с человеческим лицом», то авторы сборника «Из-под глыб», обратившие свои взоры в сторону духовного, национального и культурного возрождения России, опирались на наследие Толстого и Достоевского — в литературе, на идеи, выраженные представителями русской религиозно-философской мысли, и в значительной степени продолжали традицию знаменитого сборника «Вехи», авторы которого подвергли резкой критике духовные основы русской интеллигенции, ее узкую революционистскую ориентацию, ее слепоту.

«Вехи» вызвали резкие нападки со стороны революционной демократии. Однако в исторической перспективе видно, что предостережения авторов «Вех» оказались пророческими: не свободу, а неслыханное подавление свободы обрела русская революционно-демократическая интеллигенция на подготовленном ею пути общественного развития.

В статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» Солженицын требует перенести на общество и нацию категории индивидуальной этики. Не партийное и национальное ожесточение, «но только раскаяние, поиск собственных ошибок и грехов. Перестать винить всех других — соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя».

Это этическое требование явно неприемлемо для идеологии, которую Солженицын характеризует с убийственной иронией, «обнаженно, но не искаженно»: «...Русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чем-либо ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; с окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня; ленинско-сталинское

решение идеально, коммунизм даже не мыслим без патриотизма, перспективы России — СССР сияющие, принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью... писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой... Все это вместе у них называется русская идея. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)».

В этом уничтожающем портрете идеи, выполненном в момент ее становления, поразительно угадано дальнейшее ее развитие, хотя в ту пору вряд ли можно было предположить, что иные писатели, с большой силой оплакавшие гибель русской деревни, слом национального хребта, уничтожение крестьянства, составят единый фронт с теми, кто исповедует идеологию, приведшую к национальной трагедии, научатся писать с большой буквы если не слово «правительство», так уж во всяком случае слово «держава» и во имя державности возвысят голос и против реформ, и против прав других народов, называя это «патриотизмом».

«А мы понимаем патриотизм,— пишет Солженицын,— как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливим, не поддержкою несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и раскаяния за них».

Такое понимание требует и национального раскаяния, а если «ошибиться в раскаянии,— как замечает Солженицын,— то верней — в сторону большую, в пользу других. Принять заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны».

Мы наблюдаем сегодня мощный взрыв национально-демократических движений в республиках, в Прибалтике, как привыкли писать мы, или в Балтии — как поправляют нас эстонцы, латыши и литовцы.

Движение, ставящее цели русского духовного и культурного возрождения, не воспримет национально-демократические движения враждебной себе силой, руководствуясь нравственной максимой Солженицына: «...по отношению ко всем окраинным народам, родам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу».

Направленное навстречу национально-демократическим движениям в республиках, подобное движение, возможно, смогло бы смягчить националистические перехлесты, враждебность к русским, которую, конечно, только подогревают деятели Интерфронта, помогло бы достичь разумного компромисса. Это, кстати, понимают иные в прибалтийских республиках. Взять хоть опубликованную

«Советской культурой» беседу с секретарем ЦК компартии Эстонии Макком Таммом (15 августа 1989 г.).

Говоря о росте национального самосознания в прибалтийских республиках, в Армении, Грузии, Макк Тамм считает, что оно непременно будет и в России, и сожалеет, что сегодня «мало активных выразителей идей демократического возрождения русской национальной культуры». Практически «национальный вопрос в России узурпирован «Памятью» и ей подобными образованиями. Реакционным воззрениям нет здоровой альтернативы», — сетует Тамм, считая «здоровой альтернативой» вовсе не интернационалистское движение.

Такая здоровая альтернатива и явлена нам в воззрениях Солженицына.

Пора резко разграничить русское культурно-национальное движение, направленное на соби́рание нации как духовного организма, которое возможно только на пути отказа от давления на другие нации, отказа от имперских притязаний, на пути раскаяния, от советского шовинизма, который прекрасно уживается с лозунгами Интернационала (не интернационалистами ли именовали афганских солдат?).

Солженицын выступает за пробуждение национального самосознания, а отнюдь не за имперские притязания.

Многие недоуменно замечают, что в то время как национальные движения в республиках, как правило, поддерживают реформы, направленные на демонтаж тоталитарной структуры, те, кто претендует быть выразителями русского национального самосознания, выступают преимущественно в роли охранителей отжившей системы.

Это часто порождает негативную реакцию по отношению ко всяким разговорам о русском культурном возрождении. К сожалению, не все сегодня понимают, что подлинная альтернатива «Памяти» и близким ей по духу образованиям — вовсе не национальный нигилизм, но идеи духовного и культурного возрождения, сочетающиеся с защитой либерально-демократических общественных преобразований.

Взять хоть такой вопрос, как уравнивание всех форм собственности. Казалось бы, приветствовать нынешним радетелям народа прекращение затянувшегося социального эксперимента, поддержать предложения экономистов отдать крестьянам землю. Но тут особого рода логика, согласно которой предлагаемые экономические реформы — «прямое и непосредственное продолжение того, что делалось в сельском хозяйстве, начиная хотя бы с 1929 года» (В. Кожин).

Что-то непонятно: почему же насильственная кровавая коллективизация, квалифицировавшаяся Сталиным как революция (да и была ею!), приравнена к реформам, никого не насилующим, ничего не предписывающим, ничего не запрещающим, а только разрешающим?

Что же касается Солженицына, то через всю его прозу и публицистику проходит мысль, что без права собственности нет свободного человека («...исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку и нужны для личной свободы его»). Отсюда — такое пристальное внимание к реформам Столыпина. В «Красном колесе» крестьянин села Каменка Арсений Благодарев, поднявшийся своей смекалкой, энергией, трудом, рассуждая об общине, говорит: «...спасибо, Столыпин вызволил... Так враз — его убили. Нашу жизнь он поднял, а помещиков лишил дешевой силы — вот и убили». В глазах крестьянина Столыпин — освободитель от тяжелой зависимости общины. В глазах Солженицына Столыпин — умный реформатор, целенаправленно действовавший, чтобы создать экономически независимый средний класс, опору стабильности, предоставить простор для деятельности всем энергичным и предприимчивым людям, создать сильное местное самоуправление, залог экономического процветания страны.

В духе Столыпина сегодня действуют не те, кто атакует реформы, боясь, как бы идейно не оскоромиться, введя равенство всех форм собственности и создав имущественное неравенство, а те, кто понимает: реформа — способ преодолеть кризис ненасильственным путем.

Современным сторонникам централизованной экономики и распределения трудно опереться на Солженицына, подчеркивающего, что «исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку и нужны для личной свободы его». Однако ж — опираются.

Пример тому — хоть статья В. Бондаренко «Стержневая словесность».

Возьмем лишь рассуждение Бондаренко о героях «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матренина двора». «Буйновский ощущает себя как личность и ведет себя как личность. Его личное право — выжить в этом лагере или погибнуть героически. Он не чувствует в себе ответственности перед народом, ответственности — выжить. Иван Денисович и Матрена — личности соборные... Они... несут на себе ответственность не личностную, как Буйновский, который при личном унижении восстает и погибнуть готов, а ответственность соборную, всенародную. Они ответственны перед Богом за сохранение русского народа. Во

имя этой ответственности они готовы идти и претерпевать неизмеримо многое, в том числе и личные унижения — не унижаясь душой при этом».

Читая подобные рассуждения о личности и соборности, думаешь о странной манипуляции понятиями, произведенными критиком. Под псевдонимом соборности нам предлагается идея обезличивания, идея коллективизма — именно та идея, против которой направлен пафос многих вещей Солженицына.

Вдумаемся хотя бы — почему дал Солженицын своей повести название «Щ-854» и почему это название показалось совершенно неприемлемым с точки зрения цензурных условий? «...Не допуская возражений, сказал Твардовский, что с названием «Щ-854» повесть никогда не сможет быть напечатана», — вспоминает Солженицын.

Название — действительно диковатое для русской литературы. Нельзя помыслить, чтобы такое могло быть у Пушкина, Тургенева, Толстого: там все имена собственные — Евгений Онегин, Рудин, Анна Каренина, — а уж от героев, от личности идет восхождение к типу. Но русская литература не сталкивалась не только с лагерями — она не сталкивалась прежде всего с такой патетической волей к уничтожению личности, какая явлена была в идеологии и литературе строителей нового общества.

«Хочу позабыть свое имя и званье, на номер, на литер, на кличку сменять!» — с пафосом восклицал поэт (В. Луговской). Это желание и было уважено. Тенденцию обезличивания человека, превращения людей в «нумера» прекрасно уловил Замятин, экстраполировавший в своей антиутопии идеологию власти коллектива над личностью. Но случилось не совсем по Замятину: «нумера», которые он предполагал видеть на узниках тоталитаризма, получивших взамен свободы обильную чечевичную похлебку, оказались на узниках ГУЛАГа, лишенных свободы и похлебки.

В финале романа «В круге первом» есть сцена: арестантов «шарашки» отправляют на этап. Конец 40-х годов. Прошло время «черных воронов», пугавших прохожих по ночам, — чистенький благообразный фургон с надписью «мясо» везет узников, которым вскоре прищиплят на грудь «литер и номер». Лагерное мясо ГУЛАГа.

Как тут не вспомнить, что социалисты, агитировавшие за выход России из первой мировой войны, требовавшие превращения войны империалистической в гражданскую и бросившие лозунг *п о р а ж е н и я*, негодовали на то, что народ превращен в «пушечное мясо»? Быть мясом лагерным — лучшая ли участь?

По-видимому, ГУЛАГ — это и есть та идеальная

модель общества, где имя меняют сразу на «литер и номер». Вряд ли случаен и «литер» Ивана Денисовича, одна из последних и наименее благозвучных букв в русском алфавите (с нее же, кстати, начинался лагерный номер самого Солженицына — Ш-282).

И не случайно в «ГУЛАГе», в главе о кенгирском восстании, рассказано, что одно из первых требований восставших узников — снять номера.

Уже одним названием своей повести Солженицын заставлял мысль читателя двигаться в направлении, обратном коллективистскому пафосу обезличивания. Но атакуется этот пафос постоянно. «У нас и народники в социализм идти хотели — через общину, и марксисты через коллектив», — иронизирует Солженицын над расхожим газетным лозунгом, прославляющим коллективный труд. «Так в лагере ничего, кроме труда, и нет, и только в коллективе! Значит, ИТЛ — и есть высшая цель человечества?»

Но вот выступает Бондаренко и, толкуя Солженицына, объясняет, что личностью быть несколько предосудительно и что любимые герои Солженицына вовсе не личности, а «личности соборные».

Не знаю, может, в недрах той мичуринской идеологии, которая занимается выведением противоестественного гибрида русской религиозной философии и имперско-коммунистического сознания, и родилось такое понимание соборности, которое ничем не отличается от коллективизма, но с христианской традицией оно не имеет ничего общего. Соборность не отменяет личности, это — единение личностей в Боге, и не отменяет личной ответственности, в отличие от коллективизма, заменяющего ее целью и волей коллектива. Герои же Солженицына, любимые им, безусловно — личности, и цель их — не выжить любой ценой (подобную цель Солженицын в «Архипелаге» с презрением отвергает), но сохранить свою душу, не оскверняя ее насилем, предательством и прочими мерзостями.

Национальное чувство в «пеленах кумача», как иронизирует Солженицын, заклинания о нераскрытых потенциях социализма и вечные хлопоты о Державе — все это чрезвычайно далеко от круга идей Солженицына.

Ну как, например, с точки зрения подобной идеологии отнестись к решению героя «Круга» Иннокентия Володина предупредить американцев о том, что советский агент должен получить в определенный день важную часть технологии производства атомной бомбы?

Я намеренно устранилась от оценки этого сюжетного поворота с точки зрения господствующих представлений о патриотизме. Но для Солженицына поступок Ин-

нокентия продиктован страстной любовью к родине, ненавистью к сталинскому режиму и пониманием того, что этот режим представляет смертельную угрозу всему миру, человеческой цивилизации. Нельзя давать бомбу в руки сумасшедшему режиму, рассуждает Иннокентий, вслед за Герценом задающий себе вопрос: где границы патриотизма? Должны ли мы распространять его на всякое правительство?

По Бондаренко же — границы патриотизма четко совпадают с границами державы. Иначе никак нельзя понять ни нападок на роман Гранина (а чем занимался Тимофеев-Ресовский в Германии? А почему не хотел вернуться и сесть в советскую тюрьму?), ни тот счет, который предъявлен герою фильма Германа, надевшему немецкую форму. Нелишне напомнить также, что именно судьбе этих русских солдат, напяливших немецкую форму, посвятил Солженицын несколько прекрасных страниц «Архипелага», явившихся в свое время козырем в бешеной газетной кампании: он-де оправдывает власовцев, прославляет предателей. Прославления нет, но есть желание понять: как это случилось, что столетиями стоит русская земля — а вот не было такого количества предателей, откуда ж этот феномен?

Но, казалось бы, что за беда: хотя бы иные компатриоты выводили свою родословную от Солженицына — пусть, само творчество писателя отвергнет нелепые приязания.

Беда была бы невелика, но наша общественная ситуация внушает тревогу.

В «Круге первом» Иннокентий Володин, добравшийся после многих лет, когда его кормили манной кашей идеологии, до разноголосицы мнений и суждений, хлынувших на него со страниц материнской библиотеки, невольно подчиняется каждому мнению. «Трудней всего было научиться, отложивши книгу, размыслить самому», — усмехается автор. В статье «На возврате дыхания и сознания» («Из-под глыб») Солженицын предрекает, что переход от молчания к свободной речи, ожидающий нашу страну, окажется труден, и долог, и мучителен «тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зйнет между соотечественниками...».

Это и происходит сейчас — непонимание, накладывающееся на неумение «размыслить самому», которое наглядно проступает в наших полемиках и читательской реакции на них, показывает, что вслед за опасностью принудительного единомыслия возникает опасность манипулирования общественным мнением.

«Обо мне лгут, как о мертвом», — произнес Солже-

ницын, оценивая разноголосицу средств массовой информации Запада, вздорные выдумки критиков и журналистов, приписывающих ему взгляды, нигде не высказанные, фразы, никогда не произнесенные. Но люди, выросшие в условиях многопартийной системы и свободной печати, привыкают и к тому, что печать эта частенько лжет. У нас — пока не привыкли.

Ушли в прошлое обвинения Солженицына в измене родине, ушли статьи, клеймящие «антипатриота», «сиониста», «власовца», но, кажется, наступает время других статей, в которых нынешнего Солженицына объявят националистом и антисемитом. Б. Сарнов уже сделал это в интервью, переданном радиостанцией «Свобода», приводя в доказательство сцену убийства Столыпина эсером Богровым из «Августа четырнадцатого». «У Солженицына, — утверждает Сарнов, — Богров убивает Столыпина не как агент охраны, не как психопат, а как еврей, обуреваемый еврейскими чувствами». И это, по мнению Сарнова, роднит Солженицына с теми в нашей стране, кто «ищет образ врага и находит его в евреях».

Любопытно, что при этом Сарнов не упускает случая сказать, что «Август» настолько скучная книга, что он не мог ее прочесть, только эту сцену и прочел. Почему бы, однако, критику не прочесть иную сцену, ну, скажем, ту, где один из безусловно симпатичных писателю героев, инженер Илья Исакович Архангородский, спорит со своими революционно настроенными детьми? Они целиком за революцию, им опостылела монархия, они жаждут справедливости, они готовы взорвать этот мир ко всем чертям, а Архангородский увещевает: надо не разрушать, а строить. «Я вот поставил на юге России двести мельниц, а если сильнее грянет буря — сколько из них останутся молоть?.. И что жевать будем?»

Дети Архангородского ненавидят «Союз русского народа», но инженер, разделяя эти чувства, советует им видеть в России не только «Союз русского народа», но и — подсказывает его друг Ободовский — «Союз русских инженеров», например. Однако для молодых революционных энтузиастов важна только черная сотня — и Архангородский срывается: «С этой стороны — черная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посередине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя! — Раздвинул и схлопнул ладони. — Раздавят! Революция!»

В свое время за высказывания в пользу Израиля, за далекие от стандартов нашей прессы мысли о природе сионизма, возникшего как движение за национальное самосохранение, Солженицына клеймили в официальной

печати именем сиониста. Нетрудно и сегодня представить, как какой-нибудь сторонник «десионизации» России, прочтя «Август», воскликнет: а почему это «Союз русских инженеров» представляет еврей Архангородский?

Ну, а если говорить всерьез, то сцены убийства Столыпина, давно уже замусоленной эмигрантской критикой, недостаточно для столь ответственных, точнее — столь безответственных суждений. Кстати, если уж Сарнов опирается на мнение далеко не корректных авторов, то я позволю себе опереться на мнение добросовестной исследовательницы Солженицына Доры Штурман, полагающей, что Богров изображен как типичный революционный террорист того времени, мотивы действия которого направляет «идеологическое поле». А уж в этом поле пересекаются разные составляющие, взаимодействуют все побуждения — социальные, национальные, религиозные, личные.

Можно заметить еще, что вздорность популярных этих обвинений опровергается и всем творчеством Солженицына, и его лаконичными и брезгливыми ответами на вопросы разных корреспондентов: «Настоящий писатель не может быть антисемитом».

Но невольно хочется повторить вопрос самого Солженицына: «Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима. Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью все это громко вызвездит режиму в лоб,— эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?»

В самом деле, почему это произошло? Начнем с того, что суровый моральный критерий, предъявляемый Солженицыным к самому факту эмиграции, нравственное предпочтение оставшимся, которым, в свою очередь, в качестве этического императива рекомендовано «жить не по лжи» (что неминуемо привело бы к конфронтации с режимом), создали психологические предпосылки для расхождения Солженицына с той частью эмиграции, которая, покидая страну, склонна была (что психологически тоже вполне понятно) к самым пессимистическим выводам в отношении ее прошлого и будущего.

Страна рабов, страна господ, и никакие перемены в ней невозможны — с таким настроением легче покидать страну, с которой связан рождением, культурой, языком, но это настроение не способствует ни объективному взгляду на историю России, ни конструктивной деятельности, направленной на изменение ситуации внутри.

Дора Штурман в своем обширном исследовании публицистики Солженицына («Городу и миру». Париж —

Нью-Йорк, 1988) предлагает, в частности, такую версию причин грубого извращения взглядов Солженицына: после письма к IV съезду писателей в 1967 году многие ждали, что он будет «выразителем мнений, преобладающих в кругах существенно космополитизированной подсоветской интеллигенции с ее неизжитыми демосоциалистическими сантиментами. А он в «Образованщине» предъявил счет интеллигенции, дал ей презрительную кличку, повернулся к «Вехам», проявил почвеннические симпатии, ретроспективные интересы...». Существенна и другая причина: «Вокруг просвещенного либерального почвенничества лежит в СССР агрессивная и весьма обширная область ксенофобийного национализма, достаточно страшно о себе заявившего и заявляющего в XX веке во многих странах. На Солженицына стали распространять идеологию и психологию этой области — тем более что ее идеологи порой спекулируют его именем, а их направление мысли и деятельности отнюдь не лишено будущего в раздираемой непримиримыми или трудно примиримыми противоречиями стране».

Ситуация, сложившаяся в эмиграции, грозит повториться в нашей стране — если «ксенофобийный национализм» будет претендовать на Солженицына, а интеллигенция, не изжившая «демосоциалистических сантиментов», отвергать писателя, составляющего гордость русской литературы, не давая себе труда вникнуть в широкий смысл творчества и заикливаясь на вырванных из контекста фразах или лишенных ауры общего мыслях (среди которых могут быть и не самые удачные).

Однако все же предстоящая широкая публикация Солженицына создает новую ситуацию, которую нелегко будет переломить.

«Да ведь вот мой десяток томов... критикуйте, разносите! раздолье!» — негодовал Солженицын на подлую манеру спора, когда вместо осмысления книги вырывают цитату, искажают фразу, отсекают контекст, а то и вовсе приписывают чужое.

Мы прочтем эти десять или сколько там у нас получится томов. В отличие от Запада, соскучившегося читать про историю России, мы не соскучимся: речь о нашей судьбе, не только о прошлой, но и о будущей. Круг подлинных идей Солженицына, явленных в его книгах, неминуемо будет получать все большее распространение. Иные опасаются сегодня, что эти идеи могут укрепить экстремистские тенденции. Напрасно. Именно голос Солженицына, трезвый, примиряющий голос, предлагающий задуматься над мирными выходами для страны, над бесплодием всякой национальной ненависти, над продуктив-

ностью пути медленных и терпеливых реформ, может сыграть благотворную роль в нашем раздираемом социальными и национальными противоречиями обществе.

Но будем помнить все же, что Солженицын не политический лидер, а художник и мыслитель и круг его идей — вовсе не новый катехизис, цитаты из которого должно прилагать к оценке политической ситуации. Противник всякого рода идеологий, он менее всего годится на роль основателя новой идеологии, закрепощающей волю и мысль человека. Пребывание в русле идей Солженицына никого не порабощает духовно.

Но нам сегодня во всех общественных начинаниях не худо бы попытаться, как предлагает Солженицын, применить к общественной жизни категории индивидуальной этики. «Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда... — пишет Солженицын. — Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно — применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, не справедливо... И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка великих экономических законов».

«Теперь тебе не до стихов...»

За последние два-три года много напечатано стихов. И каких! А каких? Помним ли?

Имена, безусловно. Кто и где первым напечатан. Названия помним; то, что ахматовский «Реквием» и поэма «По праву памяти» Твардовского появились сразу в двух журналах, — такое не забывается. А сами стихи? Хотя бы отдельные строчки? С этим хуже.

Ведь ждали, хотели узнать — и вот дождались. Как будто нам сейчас не до них, не до того, чтобы спорить о стихах. Конечно, поэзию можно любить по-разному и знать тоже по-разному, как иностранный язык: читаю, но не говорю. Владею пассивно. И зависит это не только от каждого из нас в отдельности, а от среды: есть ли она, поэтическая среда? Или только читаем — каждый для себя, не для обсуждения?

Обсуждаем сейчас другое. Яростно обсуждаем, непримиримо — публицистику, прозу. В прозе всегда что-то происходит, что-то отражается. До стихов ли, когда спорим о Сталине!

А почему бы и нет? «Реквием» — один из самых потрясающих и по-человечески убедительных аргументов в этом споре. Поэт — свидетель времени, чуткий и не умеющий молчать. Ахматовой же в связи с «Реквиемом» сказано: «А на что они рассчитывали? Что я буду видеть все это и молчать?»

Однако мы редко обращаемся к поэзии за историческими аргументами. Не ее в том вина, и Б. Слуцкий тщетно останавливает проходящих мимо:

Расспросите меня про Сталина —
Я его современником был.

Поэта почтительно не спрашивают, оберегая от исторического сора его высокое искусство. Прозу и ту сейчас предостерегают от публицистической поспешности. Что же говорить о поэзии! Ведь ее мы не упрекнем (как привычно упрекаем критику) за то, что она «отстает». Поэзия, полагаем, и должна отставать, ибо она не от мира сего и потому всегда не ко времени: дел много, а за делами до стихов ли?

Поэтому о стихах сейчас и не говорим. Я не хочу сказать, что поэзия обижена, обделена в прессе. Все, что должно быть исполнено, исполняется аккуратно. К публикациям возрождаемых поэтов пишем биографические врезки, превращаем их в статьи. На наших современников откликаемся рецензиями и портретами. Все острее чувствуем необходимость обзоров, поскольку всего так много, что требуется хозяйский взгляд: не забыть бы, чем уже владеем.

Эта будничная работа делается, но слишком дежурно, по обязанности. Поэзией занимается особая критика — критика поэзии, ибо поэзия — ото всего отделенная, заповедная зона, защищенная от суеты. Здесь нельзя спешить, говорим мы, а потом, читая в журналах стихи, удивляемся датам под ними, — оказывается, что именно поэты поспешили, еще десять, двадцать лет назад, написав стихи в стол, без надежды на публикацию, но как будто специально к сегодняшнему дню:

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Это Борис Чичибабин — один из долго молчавших, в свое время исключенный из Союза писателей. Стихотворе-

ние появилось в октябрьском номере «Нового мира» за 1987 год; в том самом номере, где О. Мандельштам — «Стихи о неизвестном солдате», где одна из многочисленных и не повторяющих друг друга публикаций Бориса Слуцкого, поэта, узнаваемого заново. Такого рода встречи под одной обложкой сейчас не редкость. Все, что возвращается — из давнего и из недавнего, — для нас пока что один ряд. Это естественно, хотя и не надолго. Мы и сейчас уже пытаемся различать, ценя в одном головокружительную поэтическую высоту, в другом — прежде всего правдивое слово. Но и то и другое — настоящее, и то и другое — поэзия.

У нее, у поэзии, в разное время — разные возможности отстоять свое достоинство. Бывают эпохи великих свершений, когда она невероятно раздвигает свои границы, простираясь далеко в будущее. Бывают другие эпохи, когда она уходит в себя, начинает страшиться резких жестов и громких слов; она делается неразговорчивой, прозаичной, более всего опасаясь неискренности, неправды.

Обычно такие периоды не считаются великими, но в такие периоды поэзия сохраняет что-то необычайно важное. Что-то уничтожаемое, вытаптываемое и выживающее в поэтическом слове.

Тогда достоинство поэзии неотделимо от достоинства человеческого — тех людей, кем она создается. Не о святости, не о нравственной безупречности поэта говорю я, но об искренности всепроникающего и никого не щадящего слова:

Лакирую действительность —
исправляю стихи.
Перечесь — удивительно —
и смирны и тихи.

И не только покорны
всем законам страны —
соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
их пустили в печать,
мне за правдой охоту
поручили начать.

Чтоб дорога прямая
привела их к рублю,
я им руки ломаю,
я им ноги рублю,
выдаю с головою,
лакирую и лгу...

И все-таки Слуцкий позволяет себе закончить обещанием-надеждой:

Я еще без поправок
эту книгу издам.

Так надеялись, наверное, многие: наступит время... Надеялись на книги без поправок, а оказалось, что их просто быть не может, таких книг, поскольку все содержание написанного — в поправках. Чтобы надежда оправдалась, нужно было писать иные книги, как это и сделал Слуцкий в последние годы своего подвижнического отшельничества. Его книги — без поправок — начали приходиться к нам после его смерти. Сначала маленькие: книга в журнале — в «Знамени», потом в библиотечке «Огонька», в библиотечке «Крокодила»...

Работалось тем, кто отходил в сторону. Это были годы, в которые, по словам Д. Самойлова (уехавшего из Москвы в Пярну), сделался понятнее «поэт Мартынов Леонид», значительный своим талантом и своим положением — вне литературной среды стоявшего поэта (напоминавшего о том, что некогда это слово писалось с большой буквы).

Преувеличением было бы считать, что сохранили себя только те, кто отошли от литературных дел или были от них отстранены. Так считать — давать повод для огульного обвинения тех, кто участвовал (получается — соучаствовал) в литературе. Также преувеличение полагать, что все, кого не печатали тогда, должны напечататься сейчас. В любом издательстве вам скажут, что графоманы оживились: двадцать лет страдаю за правду...

Но что безусловно — мы ценим сейчас образ поэта, не удостоенного, не награжденного, не напечатанного. Доверие вызывают негромкие стихи и негромкие имена:

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.

.....

Сотня строчек обветшалых —
разве дело, разве радость?
Бог назначил — я вещал их,
дальше — сами разбирайтесь!

Шутка поэта, ибо звуковая шутка: интонация из бунинского перевода «Песни о Гайавате», подсказанная странным — будто индейским! — звуковым строем фамилии Чи-чи-бабин.

Шутка о поэзии, а потому серьезная шутка: разве поэзия это серьезно, «разве дело»? Провоцирующий вопрос — а разве нет? Если стихи сегодня и не ко времени, то ведь поэзия — это не только стихи, далеко не только. Она искусство слова, и к ней относится все из области умения сказать и услышать сказанное.

Одно из свидетельств порчи языка — словесный гиперболизм. Наша речь им поражена: футбольная баталия, битва за хлеб... Отсюда же и любовь к лозунгу. В одном из телефильмов о перестройке, где речь шла о том, как трудно приживается новое, прозвучала фраза: «У нас лучшие в мире лозунги». Это печальная правда.

Проезжаешь мимо крупнейшего в стране шинного завода, а на нем буквами в человеческий рост: «Долговечные шины Родине». Лозунг вполне обычный, заурядный. И обычный для поэтики лозунга — гиперболизм.

А что поэт? Казалось бы, кому, как не ему, вдохновляться и вдохновлять, заражаться восторгом, подыскивать эпитеты. Некоторые так и понимают свое дело. Но истинный художник слова — поэт ли, прозаик ли — острее других чувствует, когда слово устремляется вверх не потому, что высока его цель, а потому, что оно стало легким от бессмысленности:

«Если вы отдадите механику чинить свой велосипед или газовую плиту, то потребуйте от него не любви к человечеству или веры в величие Германии, а толковой работы, по ней вы будете судить о нем и обо всех прочих — и правильно сделаете. Почему для людей умственного труда должно быть иначе?»

Это сказано Германом Гессе, и им же: «...когда почитают священными отечество, церковь или партию, но плохо и неряшливо исполняют ежедневную работу — тогда начинается коррупция».

Не оттого ли, что мы на собственном опыте проверили истину этого убеждения, сегодня мы боимся высоких слов:

Вы о родине? Дай бог успеха!
О России? Тем более, дай!
А во мне — еле слышное эхо.
А во мне — еле видная даль.
Не отставя себя, не отчисля,
вместе с ней и сильна и срамна,
не шепчу даже в мыслях «отчизна»,
говорю деловито «страна»...

Это стихотворение Майи Борисовой, опубликованное в новогоднем номере ленинградской «Смены», я прочел как слово, сказанное в нужный момент и в единственно возможном тоне. Только так — без пафоса, без «радиокрика»

и даже без лирического признания, на которое мы так скоры:

Вдруг обрыв по-над самой рекою:
домик, ель, одинокий зарод.
Тут и молвить бы что-то такое...
Но тяжелой и теплой рукою
зажимает мне родина рот.

В жизни народа бывают моменты, когда каждый должен знать конечную цель и значение своего труда, когда важно помнить, что шина, гвоздь и буханка хлеба — для родины. Но исключительные моменты не могут быть повседневностью и длиться вечно. Нельзя требовать, чтобы каждый день становился подвигом, как бессмысленна и другая крайность: «Трудовые будни — праздники для нас». Эта фраза обречена на то, чтобы рано или поздно сделаться комически двусмысленной.

Работа есть работа. Шины делаются не для родины, а для автомобиля, и если ты их делаешь, то они должны быть долговечными — это подразумевается без дополнительных обещаний.

Один деятель американской культуры, посетивший нашу страну лет двадцать тому назад, а потом издавший книгу в основном своих театральных впечатлений, уже по дороге из аэропорта был удивлен обилием цифр на попадающихся транспарантах и плакатах. Ему объяснили, в преддверии каких юбилеев в том году мы жили и трудились. Пораженный американец откликнулся фразой: «Вы, русские, великие вспоминатели». Или, пожалуй, точнее передать смысл сказанного другим неологизмом — «отмечатели дат», ибо отмечать событие и помнить о нем — далеко не одно и то же.

Мы долго предпочитали отделяться от прошлого юбилеями и монументами; от настоящего — лозунгами и обязательствами. Пообещать и не сделать. Отметиться и забыть. Воспеть и более не вспоминать. Ставили памятники и писали о них стихотворения. Юбилеи сделались повседневностью, жили от одного до другого, так что они проходили, уже не задевая сознания.

И в жизни и в искусстве развился монументально-мемориальный стиль. Чтобы как-то оживить его, на постаменты начали возносить подлинные предметы: танки и пушки как напоминание о военном подвиге, паровозы и трактора в честь подвига трудового. Ими и по сей день заставлены площади, ими заслонено сознание:

Добротной выработки трактор,
поставленный на пьедестал,
первоцелинников характер
показывать не перестал.

И памятник и стихотворение — героям целины. Кто автор стихотворения (он поэт достаточно известный), в данном случае неважно, ибо важен стиль, пытающийся совладать с жизнью, отлившейся в мемориально-готовые формы. Поэзия эпохи заученных слов, выступлений по бумажкам, лозунгов, тщетно пытающихся убедить в долговечности шин и добротности тракторов: зачем уверять в том, что должно быть само собой разумеющимся?

Косноязычие, происходящее от того, что нет чувства ответственности. Все кажется дозволенным, в том числе и в языке. О тракторе можно сказать, что он добротной выработки, словно кусок материи, и о нем же, что он показывает характер первоцелинников своей добротностью. Каждый пишущий полагает безграничным свое право на язык, сочетать в нем что угодно с чем угодно, строить любые метафорические ходы, не замечая, что не умеет из них выбраться. Самая наивная метафора превращается в сложный лабиринт.

Поэзия немало потрудились над тем, чтобы повседневное и обычное возвести на пьедестал. В поте лица каждый пытался ухватить кусок действительности поуверсестее и затащить повыше. Даже если чисто технически это и удавалось, добротной выработки трактора и на поэтических постаментах не смотрелись великой скульптурой.

Штампованность речи оживлялась косноязычием, выдаваемым за разговорную свободу. Разошедшееся с действительностью слово выпадало и из языка. Только привычка не вдумываться и не вслушиваться в сказанное позволяла не замечать этой цепи комических несоответствий. Вдумываться и тем более иронизировать не рекомендовалось. В поэзии от иронии спасались тем, что придумали для нее отдельную рубрику — «ироническая поэзия». Здесь можно, а далее ни-ни. Как уголок юмора, — уголок иронии.

Тех, кого поставили в этот уголок, старались не замечать за его пределами, чтобы не портили общей радостной панорамы. Так мало замеченным и прошел свой путь Николай Глазков; почти не замечен Леонид Завальнюк, любящий и умеющий слышать странные вещи и делать из услышанного еще более странные выводы. Почему мы говорим — мочка уха?

Неужели изготовление моченых ушей?!
 А потом засмеюсь. Все вспомню. И сердце так радо.
 Господи, сколько знаний у меня в голове!
 Я знаю, что такое дерево,
 бедность,
 радиус,

Чувырла,
 черемуха,
 заработок,
 соловей.
 Я знаю, что такое слегка архаичные «обрели», «утратили». Что такое золотая Мстера и синяя Гжель.
 Из важных вещей не знаю только одного: что такое полная ограниченная демократия.
 По-моему, это и есть изготовление моченых ушей.

Это, разумеется, недавние стихи («Новый мир», 1988, № 6). Но если нечто подобное и могло бы появиться раньше, то оставалось как бы за пределами поэтической иерархии.

Многие оставались за пределами... Например, вся та певшаяся под гитару поэзия, которую позже назовут «авторской песней». Галич и Высоцкий, Окуджава и Ким... Они представляли поэтическое слово для миллионов, но в поэзии их как бы не было (Окуджава составлял некоторое исключение). Теперь о них пишут, их тексты печатают, и в этом — своя опасность. С одной стороны, фактом напечатания удостоверены литературные права; но с другой стороны, будучи напечатанными, песенные тексты несут потери.

Существует расхожая критическая метафора — поэтический голос; хотя она и расхожа, в ней есть смысл. Ею подразумевается узнаваемость — на слух, по звуку — поэтической индивидуальности. Голос поэта запрограммирован в слове. У поющего поэта «голос» озвучивает текст, неотделим от физического голоса, от облика, от исполнения. Это не худшая поэзия. Это просто другая поэзия и даже другой род искусства, где слово слито с игрой, с интонацией.

Интонация, может быть, — самое важное. Ее едва ли не более всего опасались: уж кажется, и тема и текст — все совершенно невинно, а тем не менее официального одобрения не вызывает. Что-то в интонации — неудобное, непозволительное, вольнодумное и личное. Ведь и согласное мнение звучит крамолой, если своего мнения вовсе иметь не рекомендуется.

К тому же мнение поэта, как правило, оказывалось несогласным, подчеркнуто неофициальным, опровергающим стиль монументально-мемориальной торжественности. Символично, что одной из первых популярных песен В. Высоцкого стали «Братские могилы» — о тех, кто уходит вместе, не оставив имени, не заслужив памятника:

На братских могилах не ставят крестов,
 Но разве от этого легче?

Словесно это была поэзия, рождавшаяся в разломе штампа, лозунга: «Ведь бокс — не драка, это спорт отважных» и т. д.; «Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин»; «Теперь дозвоьте пару слов без протокола, //Чему нас учит семья и школа?»

Выписывать можно бесконечно, ибо это — стиль. Стиль, приглашающий отойти от привычного и послушать себя, приглашающий мыслить без формул, жить без наград и умирать без памятника: «Я, напротив, ушел всенародно // Из гранита...» Так хотел уйти Высоцкий, но это ему не удалось: он не избежал памятника, распродажи фотографий, портрета на холщовых сумках... Правда, он за них не в ответе, это было после него.

Это случилось после того, как авторская песня сменила искреннюю популярность на запоздало-дозволенную славу. И она не стала от этого лучше. Упало прежде всего литературное, собственно поэтическое, значение песни. Об этом хорошо говорил Б. Окуджава («Советская культура», 28 апреля 1987 г.): заорганизованность, влияние эстрады...

Можно добавить и еще кое-что, а можно, суммируя, сказать: испытание гласностью. Ему сейчас подвергнуты все виды словесного искусства и вообще все, что выражает себя в слове. Со слова спал груз недозволенности, говорить стало легче, но при этом многое, прежде казавшееся значительным, теперь выглядит легковесным. Как будто слово, привыкшее встречать внешнюю преграду, находило в ней и обоснование собственного бытия, и опору для себя.

Освобождение обернулось трудностью. Все потаенное само по себе гипнотизирует; недосказанность отзывалась головокружительной глубиной подтекста, в котором можно было подразумевать скрытыми бог знает сколько замечательных мыслей, осужденных на немощу. Каждый оброненный намек в нашем воображении расцветал сладостью запретного плода. Палец к губам — и беспомощно разведенные руки: хочу, но не могу,— образ поэта трагический и многозначительный.

Раньше можно было кивнуть в сторону письменного стола: мол, там такое, что и подумать страшно. Как выясняется, там кое-что было, но меньше, чем мы предполагали. Меньше не только из-за недостатка желания или смелости сказать, что думаешь. Сдерживал и внутренний редактор, который поселяется в сознание профессионального литератора... И к тому же часто приходится слышать от писателя признание: пока не напечатаю, не могу освободиться и начать что-то новое.

Как же трудно тогда тому, кто многие годы ощу-

щает себя профессионалом, ибо поэзия — его дело, его труд, плодов которого он так и не видел в печати! И тем тяжелее, если это судьба не отдельного поэта, а целого поэтического поколения, вовремя не появившегося, не замеченного, ибо не опубликованного. Без него-то и задержалось обновление нашей поэзии.

Число непечатаемых накапливалось постепенно. Сначала среди них оказался целый ряд шестидесятников, которых сочли идеологически не совсем выдержанными или склонными к формальному изыску. Вслед им пошли более молодые, уже не заставшие «оттепели», да и не склонные удовлетвориться тем, что при ней считалось допустимым.

Началось существование многоярусной литературной иерархии, нижние этажи которой составляло «подполье» — те, кого как бы не было в литературе. Но они писали, написанное начитывали или напевали на магнитофонную ленту, составляли самодельные сборники, которых особенно много было в Ленинграде. Этот поэтический пласт еще будет изучен и описан, что-то и опубликовано. Много ли?

Литературное движение почти всегда начинается с малого — с группы единомышленников, с кружка, но ненормально, если кружковая замкнутость становится условием существования на годы, на десятилетия. Накопление без выхода, а по сути — склад причудливых, подчас хитроумных, но ненужных, невостребованных вещей. Этой невостребованностью все уравнивается: высокая культура, талант и графомания, дилетантизм. От этого уравнивающего соседства страдают лучшие.

Вырабатывается свой язык-жаргон. Складывается привычка говорить на восприятие, поддержанное общим для всех единомыслием, взаимностью, и если вдруг возникает возможность выйти за пределы своего круга, то слово, лишенное привычного резонатора, обескураживающе глохнет.

Нечто подобное происходит сейчас с частью (может быть, наиболее интересной частью) условно молодого — от тридцати до сорока — поколения в нашей поэзии. Не называю имен — сознательно. Они слишком часто назывались, сбились в привычную, в общем мало что говорящую читателю обойму, ибо если подсчитать, сколько раз упомянуто то или иное имя и сколько стихотворных слов, подписанных этим именем, опубликовано, то число упоминаний будет гораздо более значительным.

Это те, кого объявили сложными (элитарными) поэтами, метафористами; кого долго вовсе не печатали, сейчас постепенно начали, предпочитая коллективные под-

борки, «испытательные стенды»... Прекрасно, но сколько можно испытывать тех, кому едва ли не на пятый десяток: мы самих себя гипнотизируем словами о «молодом поколении». Пора уже получить право и доказать свою способность — на самостоятельность каждого по отдельности.

Так вот, что касается права... О них заговорили, их поманили возможностью — войти в литературу; они приняли приглашение, но воспользоваться им оказалось не так-то просто. То ли инерция срывает — боязнь непривычного, то ли длинные очереди в наших издательствах. Обидно простоять всю молодость по очередям. Молодые начали настаивать, показались дерзкими, тратящими непомерно много сил на устраивание своих литературных дел.

Но как быть, если иначе эти дела вовсе не делаются? Либо писать стихи, либо их печатать — и на то и на другое времени не хватает. Момент же был очень важный: первые выступления обратили на себя внимание — необычностью — и породили ожидание. Казалось, вот-вот прозвучит какое-то значительное и новое слово. Оно заставляло себя ждать. Только ли потому, что не напечатали?

Думаю, что, напечатав в достаточном объеме, мы бы обсуждали сейчас несколько иную проблему: как трудно прервать затянувшуюся молодость, выйти за пределы кружковой замкнутости, утвердить себя вне своей непосредственной среды. Ведь время для этого поколения все равно было упущено: три-четыре года назад о сколько-нибудь представительном печатании этого рода поэзии не было речи.

Целый пласт молодежной или, как они сами говорят, «новой культуры» за ее пределами почти не был известен. Сейчас мы его видим — на выставках живописного авангарда; еще чаще слышим, ибо после долгих нравственно-идеологических опасений решительнее всего в этой «новой культуре» восторжествовала ее наиболее массовая, коммерческая струя — рок-музыка.

На нее в поисках выхода для себя попытались опереться мало печатаемые поэмы. Они начали выступать в концертах и потерпели неудачу. Рок-музыканты были готовы признать свое родство с метафорической поэзией, поднимавшей их собственный культурный престиж. Им дорожат. Не случайно на разного рода «рингах» на вопрос о традиции (тоже традиционный) любят скромно признаться, что все мировое культурное наследие в наших руках — вот в этих самых, крутящих микрофон и сжимающих гитару. Однако с чрезмерной для них долей мировой

культуры не захотели мириться слушатели. Зал привык откликаться на ритм и звук, на непосредственно эмоциональные, чувственные раздражители, соглашаясь лишь на минимум интеллектуальной подсветки в слове.

Поэзия же погружена в слово. Поэзия затеяла воскрешение слова: пробить его окаменевшую поверхность, проложить метафорические ходы на глубину смысла, обнаружить в нем пространство, погребенное обвалом пустопорожней обывденной болтовни. В этой работе лишь первый ее этап может быть представлен как эстрадно-ироническое сбивание штампа, проверка слуха и слова, в какой мере выдерживающего нагрузку предметной реальностью:

Пахнет дело мое керосином,
керосинкой, сторонкой родной,
пахнет «Шипром», как бритый мужчина,
и, как женщина, — «Красной Москвой»

(той, на крышечке с кисточкой), мылом,
банным мылом да банным листом,
общепитской подливой, гарниром,
пахнет булочной там, за углом...

Тимур Кибиров — «Вступление», еще добрый десяток строф, повествующих о том — чем пахнет жизнь наша:

Пахнет танцами в клубе совхозном
(ох, напрасно пришли мы сюда!),
клейкой клятвой листвы, туберозной
пахнет горечью, и никогда,

навсегда — канифолью и пухом,
шубой, Шубертом... Ну, забодал!
Пиром духа, пацан, пиром духа,
как Некрасов В. П. написал!

На том же «испытательном стенде» журнала «Юность» (1988, № 9) есть и совсем другое — то самое, пресловуто сложное:

Не забывал он, что бывают сны. И в каждом теле
вьют гнезда, словно птицы в осокорях,
птенцов выводят,
те кричат надсадно, —
так помнилось. Вернее, забывалось.
И остров памяти блаженно обтекаемая
песками светлыми
мерцающего тела,
он вишни ел...

Аркадий Драгомощенко — «Возвращение Григория Сквороды».

Не очень сложно? Конечно. Это из того, что ото-

брано для массового миллионного журнала. Здесь еще преобладает внешнее — простые линии, скупые жесты, изобразительная ясность тона. Сознание лишь приоткрывается, обещая погружение в слово.

Но сложно ли, просто ли, а по-моему, это хорошо. Рядом с настоящим, на том же «стенде», как всегда и везде, встретишь вымученное — такие стихи, по отношению к которым (переиначивая фразу, в свое время обращенную к Дж. Джойсу) можно сказать: эти стихи интереснее придумывать, чем читать. Их еще, быть может, увлекательно интерпретировать. Такого рода поэзия всегда вызывает к жизни глубокомысленных спутников-толкователей. Они составляют манифесты, по счету именуют свою паству от мала до велика, мешая рассмотреть — кто действительно поэт.

В чем метафорическая поэзия сходна с любой другой, так в том, что она может быть талантливой и бездарной. Это банально и все-таки требует повторения, поскольку слишком часто принимают и не принимают список — за склад мышления. Говорят, что сложное — для немногих и уже потому дурно, ибо недемократично, не-народно.

Недемократично, по-моему, совсем другое — отказывать в слове меньшинству. В искусстве это особенно опасно. Существование поэзии для немногих — необходимость, чтобы не падал уровень всей поэзии, рассчитанной на большого читателя. Когда же поэзия уходит на глубину, возможно, не каждый последует за ней. Чем ближе к центру поэтической области, тем плотнее слово. Туда пойдет не каждый, но дело, которое там делается, — для всех, для языка, для культуры.

От поэта прежде всего мы узнаем о состоянии нашего языка, о весомости слова, о том, легко ли оно дается сегодня:

Вы прошли такие испытанья...
немоты удел был так велик...
что теперь,
когда просвет возник,
речи говорить уж нет желанья,
да к тому ж окостенел язык.

Нет слов — какими говорить.
Нет воздуха — в каком парить.

Мария Аввакумова — «Дар речи» («Новый мир», 1987, № 7). Стихотворная подборка поэтессы, автора нескольких книг, но именно этими стихами заново открывающей свое имя. Многими было расслышано это признание в трудности слова — именно сейчас, когда можно. Можно и так

трудно сказать: отвыкли, учимся заново и не хотим ни поспешного, ни косноязычного слова. Чтобы не заболтать его — по привычке.

Так до стихов ли тут?

Тютчевские строчки кажутся к месту:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!

Но, припомнив их, думаешь о том, что время, как будто не располагающее к стихам, учит дорожить словом, слышать слово. Когда не до стихов, не тогда ли начинается поэзия?

Несрочная весна

Диалог с внутренним голосом

...Где я наследую несрочную весну...

Евгений Баратынский

Размышлять о поэзии? Сегодня? Когда, по общему признанию, искусство политизировано, когда в журналах в первую очередь читают «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына и «Антисексус» Андрея Платонова, «Окаянные дни» И. Бунина и «Дневники» М. Пришвина и только в четвертую или пятую — произведения современного автора — и что если не всегда стихотворца?

Никуда не деться от этого внутреннего голоса, сомневающегося и колеблющегося, не то что в старые «добрые» времена, когда критик «садился» за статью о современной поэзии исполненный внутреннего достоинства, уверенности и спокойствия.

Но, может быть, и не нужно исключать этот внутренний голос сомнения, оставить его живым и незащищенным и, не рассчитывая на чистоту жанра (монологическая статья), на внимание читателя и успех у широкой чита-

тельской публики, ввести его в органичное движение духа, в ход мысли, ведь «всякая антиномия требует духовного усилия» (П. Флоренский). Обозначив как незримого собеседника инициалов «В. Г.» (внутренний голос).

В. Г. Место поэзии — в сегодняшних борениях духа, в жизни общества — не самое заметное. Она — не на виду. Что это за ситуация — ее потеснили (кто, что?) или она сама добровольно отказалась от того, чтобы быть «властительницей дум», как это всегда бывало в истории отечественной литературы?

И. Р. Действительно, поэзия и ее проблемы находятся сегодня по ту сторону споров, общественных, социальных, экономических, связанных с острым моментом развития нашей страны, вне политического накала страстей, бушующих на страницах журналов.

Впрочем, если быть точными, к примерам из поэзии, к использованию ее в качестве иллюстративного материала охотно прибегают современные публицисты в самых острых своих идеологических построениях, касающихся прошлого и настоящего моментов истории, нами переживаемых.

Так, *И. Шафаревич*, автор статьи «Две дороги — к одному обрыву» («Новый мир», 1989, № 7), говоря о том, какая идеология противостояла крестьянской цивилизации в 20—30-е годы, «двигала тот водопад ненависти, который тогда обрушился на деревню», в качестве свидетельств приводит показания «машинных» поэтов — *В. Александровского*, *М. Герасимова*, *А. Гастева*. Они отлично иллюстрируют его тезис о том, что «катаклизм, сотрясший деревню на грани 20—30-х годов, был не только экономической или политической акцией, но столкновением двух цивилизаций, не совместимых по своему духу, отношению к миру».

Главка же, где приведены эти примеры, называется «О командной системе» и заканчивается тревожным вопросом-раздумьем, обращенным в сегодняшний день: «Можно надеяться (при достаточном оптимизме), что из тисков командной системы мы вырвемся. Но главная, судьбоносная проблема — как жить дальше? — еще ждет нас. Удается ли вновь основать жизнь на космоцентрическом, а не техноцентрическом восприятии мира?»

В. Г. Но ведь ответ на этот вопрос напрямую будет зависеть от того, какое место в обществе займет поэзия, какую она даст человеку концепцию природы и красоты, жизни и смерти, научит ли этому «космоцентрическому»,

то есть человечному, восприятию мира. Как воспитает нас, как утолит нашу жажду духовную...

И. Р. Между тем к поэзии в таком понимании ее роли в жизни общества даже не апеллируют. Или это — слишком высокая инстанция, ближе к небу, чем к грешной земле, и апелляции сюда не доходят, или же, наоборот, слишком неавторитетная, чтоб ее можно было принимать в расчет. Во всяком случае, это — та реальная ситуация, та «позиция», в которой оказалась поэзия на «шахматной доске» конца 80-х годов. Она, на мой взгляд, нуждается в анализе и осмыслении не в меньшей степени, чем пустые прилавки, ибо

В. Г. Не хлебом единым жив человек...

И. Р. Да. Так было всегда у нас, в России, это — та наша традиция, которая оказывалась жизнестойкой во все времена, и лишиться ее было бы равносильно смерти духовной...

В. Г. Тем более есть основания для тревоги...

И. Р. Да, есть. Читаю в том же седьмом новомировском номере (за 1989 г.) повесть неизвестного мне автора Валерии Алфеевой «Джвари». Искреннее размышление героини о том, почему не уменьшается земное расстояние между миром и церковью, между людьми, попавшими в монастырь на время, как она с сыном, и теми, кто несет здесь свой сознательный добровольный пожизненный крест. Ее анамнез современной жизни точен и безжалостен: «Неспособность к бытию — может быть, так можно назвать эту главную болезнь нашего больного времени. Вседозволенность — и неспособность к бытию...»

Антитезой для человека, потерявшего себя, свою сущность в этом ускользающем, бессмысленном, обольщающем соблазнами, но никогда не насыщающем душу и сердце мире, по убеждению автора повести, является мир, совершаемый в таинстве церкви, мир, который вводит в жизнь понятие священног о.

Опять-таки примечательно: о значении и роли искусства в высшем смысле даже не вспоминается, ему, увы, нет места между двумя глубоко разведенными полюсами жизни — с Богом и без Бога. Между тем что, как не искусство, и в частности искусство поэзии, может подвинуть человека на путь духовности, вытащить его из эмпирики жизни, сделать способным не к быту, а к Бытию...

В. Г. Но согласись, то, что значение поэзии падает в современной публицистике и журналистике, — это еще не показатель истинного положения дел с ней. Выводы здесь преждевременны и опасны. Поэзия может делать свое дело, не обращая внимания на то, «престижно» ли ее положение в сознании общества или нет.

И. Р. Давай посмотрим на проблему с той стороны, с какой это сделал художник с мировым именем, недавно ушедший от нас Герберт Кароян. Размышляя о предмете своего искусства (музыке), которому он служил всю жизнь, добываясь высшего художественного совершенства, он сказал в одной из своих статей: «Музыку создают люди и для людей. Значит, она должна существовать ради их духовного обогащения и давать им то, что они утратили в других сферах» («За рубежом», 1989, № 32).

Сказано с ошеломляющей простотой и ясностью, но банальные истины нередко заключают в себе великий непреложный смысл. Их следует время от времени напоминать, ибо вокруг вопроса о цели и назначении искусства накручиваются горы бумажных завихрений, сложностей мнимых и подлинных, отвлеченностей, уводящих от сути...

Обратимся к поэзии. Разве ее так же, как и музыку, не создают люди и для людей, а назначение не заключается в том, что она должна существовать ради их духовного обогащения?..

В. Г. Сегодня все говорят о том, что происходит резкое падение нравов, человеческая доброта убывает, а — увы! — возрастают жестокость, агрессивность, потребительство, массированная атака неразвитых вкусов, которые тем не менее претендуют на самоценность, исключительность и даже монополию.

И. Р. Эти вещи не только открыто произносятся вслух, называются своими именами — в статьях, газетах, выступлениях с трибуны, но — от частого употребления, как это нередко бывает, стирается, обесцвечивается страшный смысл того, что заключает в себе названные явления: бездуховность человека.

«Вина», как правило, возлагается на «систему», на «застойные времена», на бюрократию и чиновничество, на мафию и т. д. — ищется только вовне. Духовность рассматривается всего лишь как придаток к материальному и социальному. «Поймите, товарищи: и станки, и колготки не пригодятся, коли будут разрушены культуры и нравственность. Друг друга съедим — косточек не останется», — уже бьют тревогу по этому поводу, взывая к общественному сознанию, читатели газет (В. Прохоров. — «Лит. газета», 23 августа 1989 г.). Тем самым напоминая о том, что духовность, нравственность, мораль — это проблемы первостепенной важности, что процесс выхода «из себя вовне, упразднение внутреннего человека» (подмеченный философом С. Н. Булгаковым еще в начале века) чреват многими тяжкими последствиями, плоды которых мы пожинаем поныне...

В. Г. Существует много определений духовности,

однако каждый вкладывает в это понятие свой личный сокровенный смысл...

И. Р. Мне близко то определение духовности, которое дал в одной из телепередач Леонид Максимович Леонов и развил, уточнив его, в беседе со мною. Цитирую по тексту этой беседы («Лит. газета», 8 июля 1987 г.):

«— Это какой-то высший слой творчества. Это такой тонкий слой, страшно тонкий и страшно хрупкий, как озон, который очень легко разрушить и который очень сильно сегодня нарушен в искусствах. Понимаете, в литературе пропадает сюжет, мышление, в живописи пропадает рисунок и композиция, в музыке пропадает мелодия...

— А в человеке?

— В человеке — душевное здоровье, душевный покой, что в первую очередь испрашивается молитвой.

Помолчав, Леонид Максимович произносит:

— Сейчас экологически запущена душа, она низведена до низшего ранга, экологически перегружена политикой. Все пропитано ею, от нас требуют наслаждаться красотой, которая подсвечивается политикой. Это все делается в ущерб большой человечности. А этого природа не терпит и не простит...»

Так вот, думая об экологически запущенной душе современного человека, о бездуховности и пытаюсь понять непростую взаимосвязь этих явлений с искусством, хочу поделиться следующей мыслью.

Если можно было бы сделать срез и взять на пробу кусочек этого «очень тонкого и страшно хрупкого слоя», то мы наверняка бы обнаружили присутствие в нем в незначительном количестве таких «малых величин», как душевная деликатность, отзывчивость, жалость, сострадание, терпимость, великодушие, смирение, нежность... Исчезновение этих «малых» душевных величин, как исчезновение какого-нибудь редкостного вида в природе — растений, бабочек или рыбок, — нарушает равновесие в экологии духа. Но она для меня и бесспорный показатель того, что где-то — в каких-то тончайших звеньях — утрачена связь человека с поэзией. Читателя — со стихотворением.

В. Г. Вот примерно такого рода связь (оговорка «примерно» — сознательна: то, что рождает в нас поэзия, менее всего поддается классификации и точному измерению), просветляющую зрение, очищающую чувство от переходящего, мелочного, суетного, злого и настраивающую на ощущение вечного, рождающую певучий отклик на все в мире, восстанавливает стихотворение Александра Кочеткова:

* * *

И снежинки, влетевшие
в столб чужого огня,
К человеческой нежности
возвращают меня.

И в ручье, вечно плещущем
непостижно куда,
Человеческой нежности
раскололась звезда.

И в туман убегающим
молодым голосам
С человеческой нежностью
откликаюсь я сам.

Не мечту ль, уходящую
с каждым смеркнувшим днем,
Человеческой нежностью
безрассудно зовем?

Почти неизвестный современному читателю поэт и переводчик, современник и друг Вячеслава Иванова, Анны Ахматовой, Сергея Шервинского, Владимира Державина, Марии Петровых, он остался в списках забытых, неизвестных, пропавших без вести (только в 1985 году, спустя 32 года после смерти, вышла его первая книга стихотворений и поэм «С любимыми не расставайтесь!», составленная Львом Озеровым).

Скажу точнее — остался невостребованным не «в том числе», а и — читателем.

И. Р. Я думаю, что ситуация с «невостребованной поэзией», сложившаяся в обществе за последние десятилетия (я имею в виду только русскую поэзию), говорит об утрате нами «шестого чувства». Заставляет нас вновь — с обостренной силой — ощутить сквозной холодок тревоги в мучительном вопросе, заданном еще в начале века Н. Гумилевым: «Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами?»

В самом деле, что делать современному потребителю с бессмертными стихами? Поставить на полку, подобрать под цвет обоев, похвастаться перед друзьями новым «приобретением» — Гумилевым и Ходасевичем в большой серии «Библиотеки поэта»? Согласись, следующие за вопросом строки Гумилева, констатирующие никчемность стихов с житейской точки зрения, воспринимаются в контексте сегодняшней современности с ироническим оттенком. Наполняются символическим смыслом: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...»

Вправе ли мы закрыть глаза на то, что такой праг-

матический, утилитарный, филистерский подход к стихам породил и своего бездуховного читателя, на долгие годы оказавшегося в стороне от искусства поэзии и от искусства жить внутренней жизнью?

В. Г. Ты считаешь, что вина за ситуацию с поэзией целиком ложится на читателя, но мне кажется, проблема не столь однозначна...

И. Р. Безусловно. Для этого достаточно вспомнить М. Бахтина, его известную формулу — на редкость диалектическую и справедливую — о том, что жизнь и искусство должны понести не только взаимную ответственность, но и вину друг за друга. Применительно к поэту и к читателю она выражается следующим образом: «Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность жизненных вопросов» («Искусство и ответственность»).

И когда «человек жизни» самокритично пишет в газету: «Повсюду бесшабашный практицизм, обогащение, стремление пожить с шиком. И чем ближе к расчетливой цели — тем дальше от поэзии», то он не снимает с себя вины, понимая, что и в его потребительском отношении к жизни «зарыта собака», как он выражается, «падения культуры», «духовного разгильдяйства», «снижения интереса к поэзии» («Правда», 8 октября 1989 г.).

В. Г. А как современные поэты? Есть ли у них личная вина перед читателем?

И. Р. Н. Коржавин в содержательной статье «Анна Ахматова и «серебряный век» («Новый мир», 1989, № 7) отсылает нас к ситуации со стихами и читателем, сложившейся в поэзии начала века, и убедительно комментирует позицию Блока в этом вопросе.

Читателя было принято тогда презирать. Бытовала схема, заметим, очень устойчивая и в наши дни, согласно которой во всех неудачах художника виноват один читатель, не до конца преодолевший свое «мещанство». Блок, безусловно, это знал и шёл вразрез с общепринятым в тогдашней литературной среде представлением. Он писал: «Мне возразят, что мнение большой публики, так же как слава, — „дым“. И парировал неожиданным: «Но дыму без огня не бывает...»

«Другими словами, — комментирует эти блоковские слова Н. Коржавин, — не всегда читатель отходит от литературы по своей вине, иногда это происходит и в ответ на то, что литература отходит от него. Блок считает, что причин этому много, но называет только одну из них: «Эта причина — разветвление потока русской литературы на мелкие рукава, все растущая специализация

(разрядка Н. Коржавина), в частности — разлучение поэзии и прозы...» Под прозой здесь понимается не только жанр, а и связанный с ним некий «нормальный» интерес к «прозе жизни», к другим людям. Разрыв с прозой как с жанром означает для Блока, видимо, и разрыв со всем этим, с почвой, даже со здравым смыслом.

Никакой специализации интереса к культуре Блок не признает. Это идет дальше отношений поэзии и прозы: «Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры».

В. Г. К сожалению, не могу припомнить (может быть, пропустила?) ни одного выступления известного современного поэта, где была бы предпринята попытка — в русле традиции Блока — назвать причины, в силу которых и сегодня, в конце века, читатель отходит от литературы, и в частности — от поэзии (тем самым сказав и о личной вине художника перед временем и читателем). А они, безусловно, есть.

И. Р. Попытаюсь — на свой страх и риск — обозначить некоторые из них — так, как они видятся с точки зрения критика и критического сознания.

Но в начале несколько слов о специализации интереса к культуре, о которой с тревогой говорил Блок, и как разновидности его — специализации поэзии. Это явление сохраняется и в наши дни. Поэзия отсекается от единого мощного потока национальной культуры, становясь вещью самой в себе, отгораживаясь от читателя своей «спецификой», якобы понятной только посвященным. Во многом способствует этому греху самоизоляции, герметичности искусства неизжитая литературная практика разводить поэзию и прозу, поэзию и философию, поэзию и религию, поэзию и живопись, поэзию и музыку и т. д. по отдельным, не соединяющимся друг с другом «отсекам» — рассматривать в критических обзорах, статьях проблемы поэзии отдельно от проблем бытия, человека, назначения человека в философском смысле этого слова.

Думается, начавшийся процесс возвращения и осмысления русского философского наследия начала века, «русской мысли» (Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, П. Флоренский, С. Булгаков, Л. Карсавин, Г. Федотов, С. Франк и др.), последствия которого для нашей культуры в целом еще впереди, позволит уже сегодня по-новому ощутить сам мыслеобразующий характер поэзии, «образ мира, в слове явленный» (Пастернак). Вернуть нас к миро-

воззрению, к миропознанию, содержательности поэзии — категориям, о которых мы изрядно подзабыли. Ведь сегодня, если идет разговор о современной поэзии, то это практически разговор о «приемах» — о специальных технических средствах. Это почти исключительно разговор о поэтике.

Вся глубинная, сложная, социально — и философски — неоднородная проблематика современной поэзии — отношение человека ко времени и пространству, к истории, к человеку, включая традиционные, вечные проблемы жизни и смерти, добра и зла, вины и совести, красоты и безобразия, — остается как бы вынесенной за скобки, не востребованной — потому что не осмысленной — обществом. Оттого и «драгоценная ноша национальной культуры» — без всего смыслового объема поэзии — выглядит облегченной, обесцененной, примитивной...

В. Г. А под силу ли современной поэзии вообще поднять эту ношу национальной культуры? Глубоко сомневаюсь...

И. Р. Я говорю о причинах, в силу которых читатель отходит сегодня от поэзии, специально избрав для этой цели несколько отстраненный, объективный, «со стороны» тон, чтобы без помех — личных пристрастий — спокойно посмотреть на «искусство при свете совести». Эта интонация вообще мне свойственна как критику: я не люблю «ячества». Но сегодня, когда так часто манипулируют образом читателя, читателя вообще, вкладывая в его уста какие угодно, только не его собственные мысли, наверное, будет честнее говорить от своего имени: ведь критик — это в первую очередь читатель (об этом мы подчас забываем). Опираясь в своих суждениях — на свой личный опыт, личные наблюдения и ощущения, хотя я вижу их «пересечения» с опытом и наблюдениями других критиков; то, что они «совпадают», вселяет надежду, что истина где-то поблизости...

Итак, первая причина, — а скорее всего, это следствие целой совокупности сложных причин, — недостаточная духовная наполненность современной поэзии. Можем ли мы припомнить стихи авторов 80-х, где, говоря словами Н. Гумилева, «кричит наш дух»? Боюсь, что при всем желании это будет сделать затруднительно...

...Вспоминаю свою беседу с Леонидом Максимовичем Леоновым в Переделкине летом 1989 года у него на даче.

Не скажу точно, в связи с чем — мысль Мастера всегда прихотлива, непредсказуема, движется ассоциативными кругами — зашел разговор о пушкинском «Пророке».

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,—
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

По мнению Леонида Максимовича, «труп» — слово не литературное. «Живой труп» у Толстого — это непонятно, неудачно... У Пушкина же гениально найденное слово влачился подготавливает «как труп в пустыне я лежал». «Холодок бежит по коже от этого трупа», — роняет писатель. Точно так же как словосочетание «духовной жаждою». Автор «Пророка» мог бы написать «полдневной жаждою» или какой-нибудь другой, но насколько же сильнее слово — духовной — применительно к пророку. «Это должно сотни раз обкатываться в душе, чтобы получился голыш», — замечает Леонов.

Но мне подумалось тогда не о слове «духовный» — кто сегодня не «обкатывает» его в речах, — а о праве поэта на слово «духовный», заработанном ценой страдания, муки, очищения, катарсиса. Этой цены, оплаченной личными, а не чужими страданиями, этой моей, а не чьей-нибудь другой вины «за пошлую прозу жизни» как раз и не чувствуется в произведениях современных стихотворцев.

В. Г. Откуда у сегодняшних эта личная безвинность, эти самоуверенность и тщеславие «пророка» среди обманутых, униженных и оскорбленных?

И. Р. Очень точно выразил, на мой взгляд, ощущение читателя 80-х годов от современной поэзии в целом Валерий Лысенко в ответе на анкету «Дня поэзии — 1988»: «И крепким, умело сделанным, и выразительным, даже щемящим может быть стихотворение — а не превышает меня и не заставляет идти к высоте, к новой, более пронизательной мысли о мире и обо мне самом, строящемся и растущем, к новому, к ясновидящему чувству, к обнажению оболочки души и страху коснуться ее».

«Не превышает меня» — вот в чем секрет, вот где «зарыта собака».

Почему? И здесь я перехожу ко второй причине, отчасти дающей ответ на этот вопрос. Речь идет о нехватке непреднамеренности у автора.

Хорхе Луис Борхес пронизательно подметил, что в наши дни наблюдается тенденция жить «исторически». Человек, разумеется, всегда был вовлечен в историю, но происходило это непреднамеренно, тогда как сегодня каждый знает, что он — действующее лицо истории, знает, чего от него ждут. Отсюда, по его мнению, немало авторов, которые пишут, думая о литературе меньше, чем об истории литературы и о своем месте в ней.

А поскольку история литературы XX века открыта для обзора и много «белых» пятен стало видно, то они рассуждают примерно так. Я, поэт, пишу в 80-е (уже 90-е) годы, после двух мировых войн, после трагического периода, связанного с культом личности Сталина, с хрущевской «оттепелью», с брежневским «застоем», в наши дни «перестройки и гласности» я должен отразить и то, и другое, и третье, я должен показаться читателю и скорбно-трагическим, и непримиримым обличителем недавнего прошлого, и трубадуром нового подхода к проблемам современности...

Так — в результате брака по расчету с сознанием — возникают в поэзии сегодняшние новейшие штампы, «общие места», трафареты, замещающие сокровенную жизнь духа, ощущение себя в истории, а не подстраивание и встраивание себя в историю, музу Клио, которую разрешено сегодня видеть без «румян».

Примеры? Откроем страницу любого из столичных журналов — и найдем их в избытке. В «Дне поэзии — 1988» мне попала саркастическая реплика Новеллы Матвеевой на сей счет:

Журнальный «перестройщик» ворошить
Боль прошлого нам хочет разрешить.
Нам?! Ах, не нам... Всем?! Ах, не всем! Но тем лишь,
Кто гласность-то и встарь умел душить.

И уж совсем комичное впечатление производят попытки некоторых современников интерпретировать явление классики, всеми силами «подтягивая» его к нынешним временам. Так, к примеру, известная поэтесса пишет о «ясновидце» Лермонтове и его классическом стихотворении «Дума» следующее: «Сталинская ли зима, хрущевская ли оттепель, брежневский ли знойный застой — ко всему подходят строки «Думы» («Лит. газета», 11 октября 1989 г.).

Признаюсь: от такого «безразмерного» Лермонтова становится как-то не по себе...

В. Г. С оценками классической и в особенности современной поэзии вообще происходит какая-то чехарда...

И. Р. Она — такова, что не задевает самого существа поэзии. Оценка поэтического высказывания критикой и писателями, как правило, производится не по его эстетической значимости, а по созвучности с публицистикой, с теми смелыми мыслями и новациями, которые преобладают в текущей периодике. Поощряется, одобряется, ставится в заслугу момент узнаваемости, схожести поэтических реалий с господствующими представлениями газетного толка. Спрос рождает предложение

ние — и вот уже километрами пишутся строки вроде: «Ты помнишь, гроза надвигалась, // Нет, нет, — это в смысле прямом, // А в сталинском и переносном тогда миновала уже».

В. Г. А душа поэта? А ситуация созидания нравственности, свободного личного постулата?

И. Р. Современными философами подмечена основная беда нашей нравственной жизни в целом, не обошедшая и поэтов. Это ее идеологизация и нарастающий в последние десятилетия новый феномен — морализирование.

Морализирование, считает советский философ В. Библер, «поспешное, неорганичное, не укорененное в культуре расщепление нравственных перипетий, только-только начинающих формироваться, их — на корню — высыхание в однозначные, не в моем сознании рожденные (разрядка моя.— И. Р.), заимствованные моральные предписания». По мысли В. Библиера, «в том сопряжении исторически различных нравственных перипетий (античность, средние века, новое время, Запад — Восток...) в одном культурном объеме, что так характерно для XX в., индивид легко прилепляется к внешним моральным постулатам, — лишь бы поскорее избавиться от собственных, непереносимых нравственных перипетий. Эти «чужие» постулаты мы воспринимаем неорганично, плоско. То, что возникало и имело (имеет) нравственный опыт в контексте реальных этических перипетий и их современного сопряжения, то, в пафосе морализирования, принимается как нечто готовое, внешнее, внекультурное, внедуховное, — принимается освобождая от собственной ответственности, покорно и холодно, при всей возможной звинченной экзальтации.

Морализирование, действуя совокупно с идеологизацией, <...> расщепляет нравственные перипетии, не позволяет нам замкнуться «на себя», на образ личности, способной к свободному поступку, <...> ставит водораздел между нравственностью и поэтикой, препятствуя формированию эстетически осмысленного, неповторимого образа нравственной перипетии...» (в сборнике «Этическая мысль. Научно-публицистические чтения», 1988, с. 375—376).

Если попытаться обратить это наблюдение ученого на жизнь художественного сознания, то мы получим ситуацию, когда на поверхности искусства сплошь и рядом оказываются литераторы, подпирающие словом любую актуальную идеологическую установку. Когда в общей социально-культурной и нравственной атмосфере отечественной литературы преуспевает, а зачастую и задает тон «система замещения художественного». То есть

комплекс околослитературных приемов и средств, выработанных в сфере массового спроса...

В. Г. Но есть же, наверное, современные поэты — подлинные таланты, которые не поддались соблазнам массовой культуры, а поддерживают высокие художественные и нравственные критерии в искусстве...

И. Р. Подлинные таланты — всегда «вестники другого дня». Они ведут читателя «не по горизонтали общественных преобразований, а по вертикали глубин и высот духовности: они раскрывали пространства внутреннего мира и в них указывали на неизбежную вертикальную ось» (Даниил Андреев).

В то время, когда процветала официально признанная и хорошо подкормленная «секретарская» литература, в то время, как развивались диссидентские судьбы — судьбы писателей, получавших признание за рубежом, существовали и продолжают существовать судьбы подлинных, никуда не примкнувших поэтов, оставшихся «вне поколений», известности, признания.

Когда Андрей Синявский в статье «Диссидентство как личный опыт», опубликованной у нас в журнале «Юность» (1989, № 5), пишет о том, что для него всегда было искусство выше действительности, то на это можно резонно возразить, что в России в это же время (60-е годы) были люди, которые оставались и с искусством, и с действительностью, и «процесс самостоятельного и бесстрашного думания», который Синявский закрепляет только за диссидентами, они пережили, не расставшись ни с родиной, ни с душой, ни с искусством. Создавая подлинные художественные ценности. И не получая при этом признания, «силы и славы» ни у себя на родине, ни за рубежом...

В. Г. Но ведь если я — писатель, то, как считал Короленко, я — человек, стремящийся к тому, чтобы мои мысли стали известны. Что такое тогда «безвестность поэта»?

И. Р. «Безвестность поэта» — это тревожный симптом: нарушено чувство социальной и эстетической справедливости, критерии в иерархии ценностей; цена ошибок, как мы теперь себе отчетливо представляем по недавнему прошлому, принимая в наше время, как беженцев, «возвращенных», репрессированных, забытых, неизвестных и т. д., оплачена по самому трагическому счету...

В. Г. Кого из таких незаслуженно не замеченных в наши дни поэтов яркой индивидуальности можно вспомнить в первую очередь?

И. Р. Георгия Оболдуева (1898—1954), Александра Кочеткова (1900—1953), стихотворение которого я про-

цитировала ранее, Владимира Державина (1908—1975), которого можно представить одним образом: «Соленых солнц круги на бочке золотой» из поэмы «Первоначальное накопление».

Наследие этих самобытных русских поэтов, заслуга которых в деле перевода значительна и общеизвестна (это касается в первую очередь А. Кочеткова и Вл. Державина), не только не собрано, как того заслуживает, но даже сами имена не значатся в аннотированном указателе имен в Литературном энциклопедическом словаре выпуска 1987 года (под общей редакцией В. М. Коженикова и П. А. Николаева). Хотя в нем нашлось место и угандийским, и мозамбикским, и парагвайским писателям...

Воистину, как пророчески написал один из них, — «А дальше все темней, все непонятнее времен идущих голос. Как будто мир сгорел и небо расколосось» (Вл. Державин).

Из ныне живущих «незамеченных» поэтов, трудно живущих, как всегда жили настоящие поэты, хотелось бы назвать имя Олега Чухно. Оно неизвестно читателю и критике, так как поэту удалось напечатать всего лишь несколько подборок в центральной печати — в журнале «Литературная Армения» (1968, № 5), под псевдонимом Олег Ямов, в альманахе «Поэзия», в «Дне поэзии — 1983». Конечно, и по этим подборкам можно сказать о безусловной талантливости автора, но... мы ленивы и нелюбопытны; кроме того, цельное представление о поэте может дать все же только книга. Кажется, издательство «Современник» удалось заинтересовать этим автором, и оно готово в ближайшие годы издать книгу Олега Чухно. Но с грустью думаешь, что время, силы, здоровье человека безвозвратно ушли...

В. Г. Почему же поэт из «поколения 40-летних» (нынешних 50-летних), которого ценили Паруйр Севак и Павел Антокольский, остался «за бортом» не то чтобы признания, нет, элементарного издания, печатания... Почему Юрий Кузнецов, с которым они вместе начинали в литературе, «жестокий талант», привлек внимание общественности и критики, а поэт, рожденный той же почвой (оба — из Краснодара), той же трагической реальностью 60-х годов, обладая не менее сильным и своеобразным видением мира, широтой и дерзостью, но — «добрый талант» — остался в тени?

И. Р. Сошлюсь еще раз на Н. Коржавина: «Задача поэзии — прорваться к вечности сквозь толщу выстрадавшей современности» («Вопросы литературы», 1989, № 7). Но кто ставил ее так в «период безвременья»?

Катастрофа

Был голос ночи вдавлен в снег.
Был паровоз, как конь, неловок.
Запутался тяжелый бег
В железе скомканных постромок.

И вывихнуты наугад,
Вагоны лезли друг на друга...
И медленно пронзала гарь
Судьбы — конвульсии подпруга.

И плач прорезал тишину.
И кровью чистою и душевной
Огонь под небо саданул.
В нем бледные теснились души.

Старик себя не узнавал,
Мать целовала головешку.
И — мальчик полз в пустой провал,
Всё повторяя — ты не мешкай...

...То, что осталось от людей,
Брело на мертвый полустанок.
И засыпала мир метель
И лица черные крестьянок.

Похоже ли это стихотворение Чухно, созданное в 1968 году, на то, что создавалось тогда, в застойные времена? Среди победных литавр и оптимистических фанфар, издаваемых поэзией официоза, оно было вестником другого дня, предчувствием назревавших трагедий — сегодняшних катастроф.

Здесь есть над чем задуматься, и в частности над тем, не образовался ли дефицит милосердия в обществе отчасти и оттого, что поэты, наделенные даром предвидения, ощущения трагических подземных толчков бытия, даром сочувствия человеку, оказались обществу ненужными — а критика ведь выразитель общественного сознания. Случайно ли, что А. Макаров и В. Кожин — влиятельные критики — единодушно постарались «не заметить» поэта, когда он обратился к ним с рукописью стихов? Вот одно из них — «Тоска»:

У базара, в центре Краснодара
Умирает муха от удара.
Грузная. Величиной с быка.
Тягостно вздымаются бока.
И стоят, размазывая слезы,
Нищий жук и три слепых березы.

В. Г. Но ведь эта трагическая картина с природы отражена «в зеркале абсолютного сочувствия» (Бахтин) поэта всему живому — униженному и оскорбленному — читатель это чувствует безошибочно... И если искать тре-

тью причину, по которой он, читатель, отошел от поэзии, то это, видимо, будет как раз недостатка понимания подлинно поэтической сущности человеческого отношения к человеку, свойственная официальной поэзии и «поэтической критике»...

И. Р. Да, после «Прохожего», «Некрасивой девочки», «Это было давно...» Н. Заболоцкого трудно припомнить стихотворения, где бы «оболочка души» поэта была отражена в зеркале столь абсолютного сочувствия другому человеку:

Это было давно.
И теперь он, известный поэт,
Хоть не всеми любимый,
И понятый также не всеми,—
Как бы снова живет
Обаянием прожитых лет
В этой грустной своей
И возвышенно чистой поэме.

И седая крестьянка,..
Как добрая старая мать,
Обнимает его...
И бросая перо, в кабинете
Всё он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

Но есть, на мой взгляд, обнадеживающая тенденция понимания современными поэтами их личной вины, «нарастающего долга» перед народом, отчетливо выраженная, к примеру, в стихотворении Владимира Леоновича «Обидища»: «Теперь опомнись и благослови народную работу и пойми обиду...» В его заключительных строках звучит неподдельная боль: «При всем при том меня гнетет — неделанное дело, преследует — несказанное слово. Я чувствую огромную усталость от жизни — той, непрожитой! — и смерть приму от нарастающего долга».

В. Г. Но разве недостатки и «вины», которые здесь перечислены, относятся только ко «взрослой» поэзии? Не страдает ли этой разрушительной болезнью — эгоцентризмом и эгоизмом — в большей части и молодая поэзия?

И. Р. Я не сторонник деления поэзии на взрослую и молодую, разведения их по разным углам, из которых они ведут свой собственный диалог с миром. Перед лицом Поэзии, перед первоисточником Жизни и Духа, и начинающие, и зрелые поэты испытывают один священный трепет. У них общие цели, общие задачи и общие беды. Но есть и специфические проблемы — о них уместнее всего говорить в присутствии именно молодой поэзии.

Одна из них, самая серьезная, на мой взгляд, — это проблема двойственности эстетики.

Еще в начале века в статье «О театре» Блок открыто заговорил об эстетической ценности двойственных переживаний и о тех сложных, антагонистических отношениях, в которых находятся эстетика и жизнь; если первая может оправдывать, возвеличивать, поэтизировать небезупречные с этической точки зрения поступки творца, то вторая — беспощадно судит, карает, наказывает... «И может быть, вся наша борьба есть борьба за цельность жизни, против двойственности эстетики», — считал Блок...

В. Г. XX век придал этой проблеме неожиданную остроту, втянув в арену борьбы слово. Оказалось, что Словом можно опозитивировать не только мертвые вещи, технический инвентарь природы, бывшие в употреблении цитаты классиков и неклассиков, но и не бывшие чувства, дурные, с точки зрения высокой нравственности, поступки, пошлые истины. Оказалось, можно — в стихах быть одним, в жизни — другим, в мыслях — третьим и извлекать из этого — уже не раздвоения, а растроения — дополнительные эстетические соблазны. «Пишу как живу» — эта формула творческого поведения поэта, принятая для себя М. Цветаевой, оказалась для ее эпигонов уязвимой, неосуществимой и попросту неудобной. Отсюда — переизбыток мертвых слов, то есть не просто слов «вторичных», но слов, не обеспеченных в жизни поступками, подлинностью чувств и переживаний, движением души в сторону добра.

«Он так хотел, он так велел словами мертвыми и злыми...», «...и дурно пахнут мертвые слова» — и Ахматова, и Гумилев не предчувствовали ли с тревогой последствия этого «мусорного ветра»?

И. Р. Мне уже приходилось писать о том, что к концу века образовалось действительно новое явление — «вторичная поэзия», эпигоны — не столько даже В. Хлебникова, обзериутов, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Н. Заболоцкого, сколько их учеников и подражателей (см.: «День поэзии — 1988»).

Сегодняшние молодые поэты, наследуя «несрочную весну» (Е. Баратынский) поэзии XX века — ситуацию открытости «подвалов памяти», настезь распахнутых запасников истории, крутятся на «испытательных стендах» дозволенных экспериментов авангарда, складывая, подобно андерсеновскому Каю, из хрупких льдин слово «Вечность», подчас забывают, что оправдание поэзии — в конечном итоге — идет по линии оправдания традиции, истины, красоты, оправдания добра.

«Без чистоты добра, без возможности во всяком практическом вопросе различить добро от зла безусловно

и во всяком единичном случае сказать *да* или *нет* жизнь была бы вовсе лишена нравственного характера и достоинства; без полноты добра, без возможности связать с ним все действительные отношения, во всех оправдать добро и все добром исправить жизнь была бы одностороннею и скудною; наконец, без силы добра, без возможности его окончательного торжества над всем, до «последнего врага» — смерти — включительно, жизнь была бы бесплодна».

В этой формуле Владимира Соловьева, которую многим из молодых поэтов еще предстоит открыть в своей жизни, заключено спасение от разрушительных болезней «вечно зацветающего, но вечно бесплодного духа» (Блок).

В. Г. Как — в такой ситуации — должна повести себя «поэтическая критика»?

И. Р. Не быть в рабской зависимости от общепринятых литературных суждений, трафаретов, инерции мысли. Иметь «лирическую дерзость» увидеть в неизвестном поэте Поэта и своевременно сказать об этом, невзирая на авторитеты; объяснить ему — себя, показать вектор творческой индивидуальности — так, как это сделал молодой критик Н. Недоброво в отношении молодой Ахматовой, которая, высоко ценя его значение в своей творческой судьбе, впоследствии скажет: может быть, он и сделал Ахматову...

Любить не только поэзию, личность поэта, судьбу, но и создание поэта, живущее собственной самостоятельной жизнью. Стихотворение. «Стихотворение — свет, а не то, что видно при свете. Стихотворение — свет, при котором читатель может обозревать все участки опыта, ему доступные» (Роберт Пенн Уоррен).

Что же касается методологии критика, работающего в труднейшей области поэтической критики... Рискую быть обвиненной в пристрастии к цитате, к чужому мнению, все же позволю себе привести следующее высказывание того же Роберта Пенна Уоррена, которое полностью разделяю (в его книге «Как работает поэт. Статьи. Интервью», выпущенной у нас издательством «Радуга» в 1988 г.):

«Критики редко хранят верность своим ярлыкам и своей методологии. Как правило, любой критик признает, что ни один из методов — будь то психологический, этический, формалистический или исторический, — никакая их комбинация не может вполне обеспечить «победы» над конкретным поэтическим произведением, которое подобно чудовищу Орилло из поэмы Боярдо «Влюбленный Роланд». Часть этого чудовища, отсекаемая мечом, мгновенно вновь срастается с телом, и чудовище предстает столь

же грозным, как и прежде. С поэтическим произведением, однако, справиться еще труднее, чем с Орилло, ибо противник его в конце концов побеждает при помощи своей поразительной ловкости: ударом меча он отсекает чудовищу обе руки и мгновенно топит их в реку. Тот критик, кто тщеславно навязывает свой метод в качестве инструмента исчерпывающего анализа конкретного поэтического произведения, пытается уподобиться герою-рыцарю в ловкости: он полагает, что одержит победу, выбросив в реку отсеченные конечности. Однако этот метод обречен на неудачу. Ни огонь, ни вода не могут воспрепятствовать искаленным частям поэтического произведения срастись с чудовищным туловищем. Лишь один способ есть победить это чудовище: вы должны проглотить его — кости, кровь, кожу, шкуру и хрящи. Но даже в этом случае чудовище не умирает, так как оно срастается с вами, живет в вас и вы сами становитесь другим, с ужасом сознавая себя его частью.

Таким образом, победа всегда за чудовищем, и критик это знает. Отсюда его нежелание победить. Он знает, что ему уготована вечная роль партнера-марионетки. Он не хочет ничего иного, нежели предоставить возможность чудовищу — поэтическому произведению — показать свою волшебную силу — «силу поэзии».

На перекрестке мнений

Возвращение смысла¹

1

Трудно сегодня литературе — ее повсюду теснит публицистика. И не только на страницах журналов, но и в нашем сознании, в читательских наших потребностях и в писательских планах. Что мы выберем не глядя, статью или повесть, рассказ или очерк (написать ли, прочесть, неважно)? Ответ очевиден. Намолчались, понятное дело, теперь торопимся: сказать и услышать по возможности больше, по возможности все, и лучше немедленно...

«Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за...» Галич прав и не прав. Молчали не только ведь те, кто вышел в начальники. О российской интеллигенции, питавшейся песнями Галича, он бы мог сказать как раз наоборот: мы молчали по-разному, но не за, а против, только против, и никак иначе. Против всей совокупной мощи державы и против каждого ее проявления; против мирных ее начинаний и военных успехов;

160

¹ Некоторые фрагменты этой статьи вошли в статью того же автора «В поисках уничтоженного времени» (журнал «Искусство кино», 1989, № 4).

против шахматных, театральных и музыкальных побед, против бокса, хоккея, балета, ракет и спутников, против самолетов, урожаяев, удоев, природного газа и походов на полюс. Потому что каждый такой успех был не просто успехом и не просто победой — но демонстрацией преимущества. А мы были готовы есть, что едим, и носить, что носим, мы готовы были не иметь и этого — только бы оставаться при убеждении, что у лжи и несвободы нет преимуществ перед свободой и правдой. В этом была единственная наша надежда. И она оправдалась. Она оправдалась, что бы с нами ни случилось дальше...

Я часто думаю, что ведь это большое везение. Что ведь мог бы мир быть устроен иначе. Да он и бывал в другие периоды иначе устроен. Когда рабство было экономически выгодным, давало яркий, отовсюду заметный эффект. Это именно к нам Господь оказался милостив и придумал, я уверен, специально для нас — на у ч н о т е х н и ч е с к у ю р е в о л ю ц и ю.

Беломорканал и Комсомольск-на-Амуре еще вполне могли возводить изможденные ээки, копать котлованы тупыми лопатами, засыпать землей деревянные стенки шлюзов, сотнями тысяч умирать от болезней и голода, молча уступая место другим таким же. Для лучших в мире самолетов и танков эти условия уже не годились, нужна была, по меньшей мере, шарашка — с кабинетом, лабораторией, теплой спальней, техинформацией и общением с коллегами. По меньшей, но и по большей мере, как раз и хватило. Но уже кибернетика и космонавтика оказались не под силу никакой шарашке. Последовало дальнейшее послабление: принудительный, тысячу раз засекреченный, срочный, сверхсрочный, какой прикажут, — а все-таки не тюремный, не лагерный труд. И вот новый виток спирали, и оказывается — Господи, какая удача! — что это именно тот самый момент, когда доступность в с е й информации, и свобода мнений, и свобода действий, и свобода общения с кем захочешь и где захочешь — становятся уже не просто желательным, но важнейшим, но необходимым условием.

Восславим же, братья!

Восславим прогресс науки и техники, их скорую, умную эволюцию, их долгожданную революцию, потребовавшую от косной, жестокой и жесткой структуры — личной свободы для каждого, и немедленно! Бунт машин обернулся восстанием за права человека — кому бы это могло выдуматься, какому Гофману, какому Чапеку? И уж кстати — протянем руку футуристам, извинимся за былые наши нападки. Ничего они, конечно, не могли такого предвидеть, да и не нуждались в такой гипотезе, им хватало

их конструктивных фантазий, видений удобств и комфорта. Но в самом их чувстве восхищения техникой, в детской преданности идее прогресса содержалась большая и важная правда. Не та, что они ожидали, другая — ну что ж, тем более...

Восславим великую экспоненту: неуклонное, неостановимое развитие науки и техники. Как прекрасно все же, что человеческий разум, в самом чистом и сухом, казалось бы, виде, лишенный вроде бы всяких моральных оценок, обнаруживает вдруг в конце концов теснейшую связь с добром, необходимость добра!

Все издержки — побоку. Бомбы и ракеты — побоку! Нет, не сами ракеты, они-то как раз и важны, но только как плод технической мысли, отдельно от всякой возможности страшного действия. Орудием смерти может быть все что угодно, и кулак, и топор, и столовый нож. Не говоря об исходных силах природы, прекрасно делающих свое черное дело, невзирая ни на какую технику, так же жестоко и равнодушно, как пятьсот и тысячу лет назад.

Нет, конечно, ни труд не дает свободы, ни сама по себе наука и техника. Но труд в условиях нынешней науки и техники требует для себя свободы, а иначе становится холостым и бессмысленным. Эпоха рабства пошла на спад и теперь кончается. Кончается, уж позвольте мне в это поверить, и символы ее конца — рукотворны. Персональный компьютер, подключенный к сети информации, телевизионная антенна, направленная на спутник, копировальная машина «ксерокс»... Да что там: простой коротковолновый приемник, телефон, магнитофон и пишущая машинка... И пожалуй, это самые лучшие доводы против апологетов патриархальной России, тоскующих по лаптям и онучам. В условиях современного, компактного мира, при наличии реальной, а не выдуманной всеобщей ей истории их идеал, их страна Муравия означала бы не что иное, как вечное рабство. Уж наверное крепостные крестьяне плели бы лапти и мотали онучи искусней, чем вольные...

— Ну и что же, — скажут патриархальные, — ну и рабство. А ваша свобода — разве не рабство? Ваша технизация-химизация, ваши ритмы, шмотки и культ вещей — это разве лучше?

Да, скажу я, представьте себе, неизмеримо лучше. Потому что даже дурной выбор — это все-таки выбор. Так скажу я от имени тех, кто знает, что значит жить под непрерывным просветом, каждым словом своим и каждым поступком пополняя досье на самого себя; от имени тех, кому доводилось в глухом кабинете из уст чиновника выслушивать интимные подробности собственной жизни;

от имени тех, кто долгие годы провел в ежедневном ожидании случая: звонка в дверь, железной хватки на локте — и пусть подтвердят мою правоту те, кто дождался...

Нет уж, с каким бы уважением и доверием ни относились мы к образной речи, признаем, что переносный смысл слова слабее прямого. Рабство вещизма — все же не рабство, и плен технизации — все же не плен, и несвобода от тягот и сложностей жизни — это именно, это и есть свобода! И как Бог-Создатель неповинен в совершаемых Его именем зверствах, так и Наука, дающая людям свободу, неповинна в использовании ее не по адресу.

Все эти дурацкие повороты рек, все бредовые проекты дамб, и каналов, и атомных станций среди полей и лесов и сброс всякой гадости в моря и озера — ведь это же все не наука придумала, а, скажем по-детски, неумные и недобрые люди. Я думаю, доски и гвозди Голгофы мало чем отличались от тех досок и гвоздей, с какими работал мирный плотник Иосиф; а топор Раскольникова без Раскольникова только бы и делал сто лет, что колот дрова. И как раз сегодня, и именно здесь, у нас в России, — грех обвинять науку, в ней лишь спасение.

Что же такое у нас происходит, здесь, сейчас, в данный момент? Происходит ли что-либо? Да, конечно. У нас происходит пир публицистики.

Публицистика превзошла самое себя, публицистика разгулялась на всю катушку, машет по чем попало, направо, налево, не оглядываясь и почти ничего не боясь. Газетные полосы, страницы журналов вот-вот загорятся взаправдашним синим пламенем. Экономисты с различными степенями, писатели, пристально изучавшие жизнь, блистательные очеркисты и умные юристы — все они в умных статьях и блистательных очерках доказывают справедливость тех нескольких истин, которые вот уже двадцать лет очевидны любому интеллигенту в России:

что всегда и везде обо всем врал и всё скрывали;
что ничто нигде никуда не годится и все везде нужно менять;

что людям необходима полная правда, полуправда страшнее всякой лжи;

что хозяйству нужен живой хозяин, а не абстрактный государственный собственник;

и последнее: даешь свободу печати, настоящие, а не пародийные выборы, реальное право все знать и на все влиять!

Но полно, уместна ли здесь ирония? Плохо ли, что этот пусть очевидный, но безусловно запретный кодекс перешел на легальное положение, стал звучать повседневно-

но и с телеэкранов? Кто мог об этом мечтать пять лет назад? Нет, не плохо, а замечательно. Нет, не мечтали. И не в том беда, что все эти истины очевидны для русского интеллигента, а в том, что это далеко не все и, может быть, даже не главные истины, которые для него очевидны. Потому что русский интеллигент, читатель, зритель и слушатель, знает доподлинно (о том позаботилась благословенная техника), что все, о чем с таким вожделием мечтают самые безоглядные, самые смелые публицисты, все ведь это уже существует в реальности. И надо лишь сесть в самолет в Шереметьеве, чтоб часа через три реальность эту увидеть, а если из Пулкова — то и раньше.

Всё там есть: и свобода печати и слова, и живая рыночная экономика, и избыток товаров любых мастей, и избыток продуктов любых названий, и нормальные выборы, и свободный выезд, и равенство сторон в судебных прениях, и тюрьмы без издевательств и пыток, а, напротив, с телевизорами и спортплощадками. И остается только, приехав туда, выяснить, чего же там нет, если все там есть. Чего там нет для того, чтобы все там было? А для этого вовсе не надо ехать, а и так известно, с помощью той же техники, что нет там пары пустяков, как сказал бы Бабель: там нет нерушимой однопартийной системы и там нет господствующей идеологии. И даже, пожалуй, не надо техники, а достаточно наших центральных газет, чтоб понять, к примеру, что если бы финский фермер или эфэргэшный предприниматель обнаружил, что наличие партбюро хоть на долю процента повышает производительность или как-нибудь там еще улучшает жизнь, он бы, в безоглядной погоне за прибылью, непременно эту русскую штуку завел. Но нет, не заводит...

И вот наши лучшие публицисты и просвещенные экономисты, прекрасно все это осознающие, искусно делают вид, что будто не знают. И, сотни раз справедливо заметив, что нельзя подменять причину следствием, что воздействовать надо на нее, на причину, каждый раз, будто впадая в столбняк, останавливаются на середине пути и причиной назначают очередное следствие...

Тут читатель меня остановит и скажет: политика! Ты забыл, ты не в курсе, политика — сложная штука! Даже если ты прав, все равно торопиться не следует. Надо умно, надо умело, надо ориентироваться в обстоятельствах, поминутно оценивать соотношение сил...

Я на сто процентов согласен: о да, политика! Но ведь я не о политике, о публицистике. И быть может, и впрямь я слишком наивен, но здесь-то, мне кажется, все несравнимо проще: как думаешь, как говоришь с друзьями-

ми — так и пиши... И надеюсь, именно к этому придет публицистика, а иначе — для чего бы ей теснить литературу, отводить ей роль иллюстрации и приложения?

2

Что же происходит в этом приложении, в этой пристройке к главному корпусу?

Прежде всего — перестановка сил, перераспределение общественных ролей. Деревенская проза, долгие годы стойко занимавшая передний край художественной и социальной правды, явно уступает ведущее место городской литературе. Уступает, и приходит пора признать, что то исключительное положение, которое в нашей литературе занимала до недавнего времени деревенская проза, объясняется не исключительной важностью деревенской темы (хотя, конечно, эта тема важна не меньше других) и не исключительной одаренностью деревенских писателей (хотя среди них, безусловно, есть одаренные), а теми исключительными условиями, которые им были искусственно созданы в обстановке всеобщего зажима-запрета. Начальство рассудило чрезвычайно просто и мудро. В герметичной атмосфере нашей сельской жизни, где все источники информации — телепередачи по первой программе, местный радиозузел и газета «Сельская жизнь», никакие рассказы о повседневных тяготах и трагизме судьбы отдельных героев, и целых семей, и даже поселков не вели к опасным обобщениям и крамольным выводам. То есть читатель, конечно, мог эти выводы сделать, но для этого конкретное произведение давало ему не больше оснований, чем любые факты наблюдаемой жизни. И выводы эти мог сделать читатель — но никогда и никак не герой. Что же касается личной позиции авторов, выражаемой, допустим, в авторском тексте, или в особой расстановке акцентов, или другими какими-то средствами, то и здесь опасность была минимальной. Потому что каждый из деревенских писателей, сначала только от своего имени, а затем и от имени всего направления, заявлял в качестве главной позиции безусловный патриотизм на всех географических уровнях, от имперских границ до родного двора. Нет, риск здесь был невелик. При всех обличениях-разоблачениях потенциал крамольности был минимален, несравним с тем непредсказуемо опасным зарядом, который копился и культивировался всей городской, интеллигентской жизнью и мог выплеснуться в любой момент в городской литературе, если бы и ей, по чьей-то оплошности, позволили такую же степень свободы...

И вот три или четыре автора, в разной степени умных и одаренных, объединенных сочувствием к деревенскому труженику и почвенно-ностальгическим пафосом, — эти авторы, поддержанные восторженной критикой, государственными премиями и орденами, миллионными тиражами «Роман-газеты», телевечерами и загранпоездками, громогласно объявленные цветом культуры и совестью нации, очень быстро превращаются в брюзжащих резонеров, в изрекателей заскоружлых прописей, в скучных обличителей новомодных пороков — а то и в ненавистников и злобных гонителей всего непривычного и чужеродного. Не удовольствовавшись своим естественным, скромным, но вполне достойным местом в литературе, они захотели чего-то иного, как им показалось, большего, и, в полном соответствии с замыслом свобододателей, взялись играть совершенно иную роль: учителей жизни, просветителей общества. А на эту роль они рассчитаны не были. И вышло так, что как раз свобода, даже та, сегодняшняя, минимальная, и даже вчерашняя, еще более скромная, — губительна для всего направления в целом. Оказалось, что главную правду о жизни в стране сказали совсем не они, а другие писатели, не претендовавшие на нравственное учительство. Им же сегодня осталось обличение нравов, развращенных городским укладом и западной музыкой, воспитание молодежи в военно-патриотическом и физически-трудовом направлении, да еще — экология, борьба против порчи природы, что, конечно, безумно важно, кто станет спорить, но ведь ясно и то, что порча природы — только часть и следствие тотального социального бедствия, заполняющего каждый момент нашей жизни и всю ее в целом.

Как понять, что общественники, и воспитатели, и ревнители правды, и обличители зла не ввязались ни разу ни в одно мало-мальски опасное общественное мероприятие, не вступились ни за одного осужденного, не за еврея, конечно, упаси Бог, и не за прибалта или татарина, но хотя бы за активного православного деятеля? Не пытались рассказать о лагерях и тюрьмах, о средневековой изощренной жестокости по отношению к сотням тысяч людей — не политических, ладно, но прочих граждан, в том числе, конечно, и деревенских жителей? Или о системе унижений в армии — вот уж, кажется, прямая деревенская тема? Нет, ни одной из этих сторон не касалось гневное перо учителей народа, проповедников нравственности и морали. И даже об ужасах коллективизации написали впервые не они, а другие — Василий Гроссман, Владимир Макси-

мов, Александр Солженицын... Но зато они однозначно высказались: против коварных и богатых инородцев, против безродных интеллигентов, против горожан вообще и москвичей в особенности, против лживых зарубежных радиоголосов, против отъездов на постоянное жительство, против диссидентов и сионистов, и так далее, и так далее, весь пошлый набор черносотенных пугал, уже отчасти отработанный ранее Шевцовым, Кочетовым и другими из той же компании¹.

Да, конечно, лучшие из этих авторов в свое время, достаточно уже далекое, сказали важную и нужную правду и сделали это на хорошем уровне. Но нет произведения вне контекста и нет писателя вне позиции. Сегодняшняя позиция деревенщиков — это не столько защита природы и охрана культуры, сколько поиск врагов того и другого, а вернее, тех, кто по ряду параметров должен быть зачислен в число врагов.

Все их дозволенные обличения были хороши лишь в те времена, когда никому другому ничего дозволено не было. Теперь же не то чтобы свет свободы, но даже крохотный робкий лучик высветил их с совершенно иной стороны. Именно в этот переходный период признанные мастера деревенской прозы написали каждый по откровенному, откровенно слабому литературно, но зато программному произведению. Один — роман о растленном влиянии Запада, а также о черной сионистской мафии, которая спаивает русских парней, отнимает у них их любимых жен и увозит любимых детей все туда же, на Запад, алчущий новых и новых жертв; другой — пронизанную подлинной болью («неподдельной», как любят у нас говорить) подборку рассказов — о жирных и наглых обиралах-грузинах, а также о назойливых москвичах, внедренных

¹ Я позволяю себе говорить обобщенно «они» — потому что в каждом очередном выступлении любой представитель деревенской литературы приводит один и тот же список с небольшими расхождениями, кого-то пропустит, кого-то добавит... Причем любопытная какая деталь: городской литератор, прозаик и критик, обязательно включит в подобный список деревенских писателей, хотя бы одного или двух, самых значительных; деревенский же — только своих, деревенских, а если даже и назовет одного, который пишет не о деревне, то это будет не иначе как Юрий Бондарев. Их партийность очевидна и неприкрыта. Их журналы, кроме трех-четырех писателей, публикуют непрерывный поток халтуры в стихах и прозе, проб пера, наивных и детски беспомощных, но всегда безукоризненных с точки зрения групповой идеологии. И все же, чтоб избежать разночтений: В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, В. Кругин (все на «В» — только сейчас заметил) и другие (и непременно другие!). Привожу этот список еще и затем, чтобы отметить одно важное для меня исключение, подтверждающее или, скажем, оттеняющее правило: Борис Можаев, автор бессмертного Кузькина, спокойно и достойно стоящий особняком и занятый своим, сугубо литературным делом.

в простодушную народную массу, и, конечно, все о том же растленном влиянии; а третий, самый одаренный и умный, — протокольно-скучный очерк-отчет о борьбе честных советских граждан за спасение социалистической собственности во враждебном окружении расхитителей, и бездельников, и бродяг, не имеющих постоянной прописки...

Я, конечно, не думаю, что впредь о деревне не напишут правдивых и умных книг. Или что авторы этих книг, коль скоро они все-таки будут написаны, не могут быть выходцами из деревни. Могут, конечно. Но при этом, в отличие от своих предшественников, они, я уверен, будут стоять на других позициях. На каких угодно, но только не на деревенщических — с их нелепой, вывернутой элитарностью, с их претензией на особую духовность и нравственность, с их упорной ограниченностью и ксенофобией.

3

Деревенская проза теряет — уже потеряла — ведущее положение в современной литературе, но городская не торопится его занять. Главные сегодняшние наши события — перепечатка книг умерших авторов (так и тянет сказать «незаслуженно умерших»), а также кое-кого из живых — из доступных узкому кругу зарубежных изданий в доступные широкому кругу советские журналы. Процесс, безусловно, очень важный, создающий атмосферу и прецедент и, однако, отдающий такой горечью, что она подчас перекрывает всякую радость.

Что же до текущей литературы, то в ней, как всегда в переходный период, главную роль играют детские книги, которые сегодня читаются как взрослые, но в скором будущем, потеряв новизну сообщенных фактов, оставшись при своих литературных качествах, займут подобающее место в подобающем жанре.

Я думаю, все радостные и благодарные чувства по отношению к этим произведениям происходят не оттого, что они нам что-то открыли или, скажем, каким-то, пусть известным, явлениям нашли новое и точное имя, но оттого, что провозгласили публично некоторые из давно известных истин, пребывавшие до сих пор в оппозиции, в привычном и даже уютном подполье. Эти, еще недавно крамольные, истины, зафиксированные в официальных органах, в государственном кинотеатре, в столичном журнале, таким образом переводятся из субъективного ранга в

ранг объективный. Им, бесправным, даются права гражданства и официальный статус жизненной правды. Хорошо ли это, важно ли это? Что говорить! Здесь не только сам факт смещения задубелых границ, но еще и возможность любых дальнейших смещений. И еще здесь, конечно, — чувство облегчения, освобождения от бремени вечно-го ликбеза, от метания бисера.

Массе, привыкшей верить массовым органам, не какие-то очкарики-интеллигенты, а сами эти массовые органы сообщают, что верить было не надо. Вопрос, поверит ли масса теперь, но уж это дело ее, массы. Мы твердили, шептали, орали, вы нас не слушали: мы были отщепенцы, мы были чужие. Теперь государственные газеты-журналы, телекиноэкраны и репродукторы повторяют некоторые из наших суждений, по частям, приноравливая словарь, но зато настолько громко, что слышно каждому. Добро! Наконец-то мы можем заняться другими делами... Наша радость — это не радость открытия, это радость освобождения от тяжкой повинности утверждать и доказывать очевидное.

И здесь мы подходим к чрезвычайно важной, горячо обсуждаемой сегодня теме, а вернее, даже не обсуждаемой, а уже обсужденной и утвержденной: чем были двадцать предыдущих лет в культурно-литературной жизни России?

«Давайте после драки помашем кулаками: не только пиво-раки мы ели и лакали, нет, назначались сроки, готовились бои, готовились в пророки товарищи мои».

Этими стихами Бориса Слуцкого и сегодня, как и в годы первой оттепели, можно выразить пафос защиты времени, а вернее, защиты людей от времени, защиты личности от мутного, слепого потока...

«Товарищи мои...» Тут все расхождения — в списке. Каждый апологет культуры застойной эпохи приводит свои, близкие ему имена. Один — фронтовиков, другой — деревенщиков, третий — горожан во главе с Юрием Трифоновым. Да, конечно, тем, и другим, и третьим удавалось высказать какую-то правду о жизни. Но, никак не умаляя их очевидных заслуг, их усилий по поддержанию литературного огня под напором как бы стихийных бедствий, я все же в доказательство живучести правды, в подтверждение мужества и свободы личности привел бы совсем иной список товарищей. Потому что самые талантливые и честные из тех, что сейчас у нас на слуху, на языке у критиков и рецензентов, раскрывали рот ровно настолько, насколько им позволяли его раскрыть, и не надо

делать вид, что это не так. Да, и здесь, конечно, уравниловки не было, и разным направлениям и разным писателям устанавливался различный предел, но перейти его было немислимо. И если порой все же казалось, что тот или иной писатель его перешел, то это означало всего лишь то, что предел передвинули. Разумеется, если такое случалось, в этом была и заслуга автора: его не устраивали прежние рамки, других устраивали, а его нет, и он бился в них головой, стучал кулаком, и в конце концов иногда удавалось, смещал на полсантиметра вперед. Но рамки все-таки не исчезали, и наличие их очевидно в любом произведении, хоть как-то задевающим социальную сферу. Хороший советский писатель — это ум и талант плюс умение укладываться в пределы дозволенного так искусно, чтоб этих пределов как бы и не было. И как раз творчество Юрия Трифонова здесь, быть может, самый наглядный пример.

Один из лучших наших прозаиков (в этом пункте никаких возражений нет) ухитрился подряд, одну за другой, писать повести о московских интеллигентах (правдивые, по общему убеждению!) со всеми подробностями ежедневного быта, со всеми деталями социального фона, со всеми кухонными разговорами — аккуратно и как бы даже естественно избегая всех тех неперемных тем, на которых в реальной жизни эти разговоры держались. Хороший ли писатель Юрий Трифонов? Я отвечу вполне определенно: хороший! Правдивы ли книги Юрия Трифонова? Я отвечу уклончиво. Представьте себе интеллигентский дом Москвы семидесятых годов, где бы никогда, ни при каких обстоятельствах ни словом не обмолвился ни один человек, ни гость, ни хозяин: ни о диссидентах, ни о евреях, ни об арестах и ни об обысках, ни о демагогии партийных вождей, ни об уехавших за океан знакомых, ни о передачах Би-би-си — «Свободы», ни, наконец, о попавшем в руки журнале или ксерокопии там и з д а т с к о й к н и г и. Умному достаточно.

Но попутно произнесены ключевые слова, и на них я хотел бы остановиться.

4

Если наша сегодняшняя робкая гласность превратится когда-нибудь в свободу слова, я уверен, мы будем отмечать как праздник, как день Гуттенберга и Ивана Федорова, день выхода первой после сталинской эры русской книги, написанной здесь и изданной там. И как бы ни относились мы к «Доктору Живаго», восхищались,

отвергали, принимали снисходительно, мы не можем оспорить великого значения его как явления. Тридцать лет назад наш первый поэт совершил поступок исключительной важности, сделал шаг, беспрецедентный по мужеству и простоте. Он вдруг продемонстрировал всем и каждому, тем, кто хотел понять и кто не хотел, что мир един, что Земля одна, что граница — дурацкое изобретение, что цензура — затея нелепая, глупая, и сколько бы она ни изгалялась, ни корчилась, ее дело бессмысленно, а дни сочтены.

Я помню тогдашнее свое потрясение от этой книги. Не от чтения ее, она мне не слишком понравилась, но от держания в руках непривычно компактного, плотного томика, от ощупывания тонкой глянцевого бумаги, от разглядывания мелкого, но удивительно ясного шрифта, от чужого, латинскими буквами, названия издательства на титуле этой, такой нашей, такой сугубо российской книги... Нет, вру, конечно, и от чтения тоже. То была первая книга о нашем времени, написанная с захватывающей дух свободой, без учета каких бы то ни было пределов и рамок. И это чувствовалось непрерывно, от первого до последнего слова.

Ну, а дальше... Дальше пошло, поехало. Тридцать лет, и особенно последние двадцать, и особенно десять последних лет. Что бы мы ни говорили о гражданском мужестве и правдивости подцензурных авторов, но когда ваш приятель у вас в гостях в то самое время спрашивал, нет ли чего почитать, вы знали, что он имел в виду, и последний номер «Нового мира» ему не совали, а вели его к особой, отдельной полочке, где стояли рядком, обернутые крепкой, перфорированной компьютерной лентой-бумагой младшие сестры той Первой Книги — с вопиюще нерусской белизной страниц, с неуклюжей латинской транскрипцией имен и названий, с экзотически далекими адресами издательств — но kloкочущие бурной стихией российской речи, нашей прорвавшейся страсти и нашей боли. Электронная наборная машина «композер» с русским шрифтом, безразличная к шрифту английская машина «ксерокс»... Тридцать лет — от романа Бориса Пастернака, через книги Солженицына, Шаламова, Синявского, Владимова, Войновича, Платонова, Гроссмана и вплоть до последних сборников Бориса Хазанова — это великая эпоха в нашей культуре, эпоха рискованного, полного опасностей, но и удивительно плодотворного синтеза наших порывов и их возможностей, не смертельный бой, но бессмертный союз «стальных машин, где дышит интеграл, с монгольской дикою ордою»!

Можно ли сказать, что все, что издавалось там,

было заведомо умней и талантливей, наполнено бóльшим смыслом и чувством? Господи, ну конечно же нет! Было много глупости, и много пошлости, и наивного эпатажа, и порочной расхлябанности, от которой, как это ни горько признать, здесь, внутри, спасает как раз редаKTура, многослойная система педантичных проверок на разных уровнях. Но, во-первых, те книги, что до нас доезжали, проходили все-таки читательский строгий отбор: было бы ради чего рисковать! Во-вторых, хорошая книга есть хорошая книга, а лучше ли она, чем другая хорошая, этого нам никогда не решить. И, наконец, в-третьих, и самое главное: говоря о хороших, и только хороших книгах, мы сейчас имеем в виду лишь один критерий: свободу мысли, свободу духа, свободу слова.

Тридцать лет Тамиздата сформировали нашу свободу, нашу внутреннюю независимость от всей активной окружающей жи. Нет, ни честные деревенские повести о тяжелых буднях крестьянских семей, ни добротные рассказы о московских филологах, перманентно страдающих дурным настроением, не сыграли той освободительной роли, какую им сегодня приписывают, не готовили сегодняшних перемен. Потому что вместе с той частью правды, которую они несли читателю, они несли и ущербность части, чувство ограниченности и предела, и в конечном счете — чувство несвободы как естественного, уже ставшего привычным свойства любой опубликованной мысли. Никогда, даже, думаю, в 30-е годы, не была еще так велика дистанция между публичным, письменным словом — и повседневным, разговорным, устным. Вся былая наша хваленая правда перешла из письменной речи в устную, резко сместив центр тяжести культурной жизни России¹. Подлинными выразителями социальной правды стали не писатели, как было когда-то, а певцы и сказители во главе с Александром Галичем...

172

Во главе — это, конечно, условно. Ничего никогда он не возглавлял, смешно и подумать, в том ряду, где каждый — талант и себе голова. Но отвага его поразительна даже сегодня, и мороз продирает, как только представишь, что эти песни — публично, открыто — исполнялись тогда!

Чем были для нас великие наши барды, почти одновременно, с дистанцией в несколько лет, заполнив-

¹ Недаром у нас почти не велись исследования по устной разговорной речи: крамольность ее очевидна. Причем принципиальная, исходная крамольность, не зависящая от смысла разговора и настроения собеседников.

шие нашу повседневность? Они были всем. Всем, что нам требовалось от искусства. Окуджава — лекарством и утешением, Высоцкий — разрядкой и облегчением, Галич — хлебом насущным и оправданием жизни.

Все у нас было в достатке — и появился Жванецкий, и оказалось, что именно его-то как раз не хватало, и настало остро, что прежняя наша жизнь стала порой представляться пустотой и сиротством.

Жванецкий! Первый устный прозаик, постигший трагический характер юмора — подлинного, а не просто игры в слова. Первый настоящий интеллигент на эстраде, не опустившийся до уровня аудитории, но поднявший ее до себя, первый артист, обратившийся с эстрады не к публике, а к собеседнику, человеку близкому, человеку равному, которому не надо ничего объяснять — он и так все знает.

И отсюда — совершенно новая поэтика, держащаяся на точном, единственном слове, на пропуске очевидного, на отсутствии связей, на тонких и легких поворотах смысла — и на постоянном, никогда не исчезающем чувстве страшной серьезности жизни, ее трагизма.

Поле, им излучаемое, так велико, что сегодня любой юморист в стране талантлив и точен лишь в той мере, в какой приближается к Жванецкому, — и здесь его гибель, потому что, приблизившись, он втягивается весь и эпигонство становится уже очевидным...

Выход сможет найти лишь мастер такой же силы, который не втянется и не уйдет, а преодолеет и двинется дальше. Но вряд ли это случится так скоро: гении редки...

5

Но сюда же, к свободной разговорной речи, к устной литературе, примыкают и книги тамиздатских авторов, живущих здесь и живущих там. Их усилиями — авторов и издательств — репутация письменного слова была спасена. И неважно, сколько в общем потоке оказалось настоящих шедевров, больше ли, меньше ли — да хоть бы и вовсе не было, дело не в этом. Тамиздат был той атмосферой, в которой мы жили, тем свежим воздухом, которым спасались и в конце концов спаслись от удушья, той средой, в которой обитали все наши надежды.

Вся система надзора за культурной жизнью вынуждена была в конце концов перестроиться, потому что старая, неперестроенная оказалась беспомощной и бессмысленной. Все прежние, такие простые средства, все запретные мероприятия почти полностью перестали рабо-

тать. Непечатание и всякого рода замалчивание стало выглядеть просто анекдотично, ибо то, что раньше было вопросом жизни и смерти произведения, обернулось теперь вопросом о выборе издателя. (Я намеренно игнорирую сейчас все опасности, лишение милостей, обыски и даже аресты. К чести свободных русских писателей, они на это на все пошли, и было их достаточно много, на удивление много!) Доступность же книги, число читателей оказались теперь лишь вопросом времени, и порой очень и очень короткого.

Трудно перечислить и переоценить заслуги Тамиздата в жизни России. Что ни назовешь, все будет в строку. Тут и огромная культурная роль, и пример и урок свободы и правды, и источник информации, порой единственный, — но и подготовка того, что сейчас, с трудом, со скрипом, едва-едва, начинает вроде бы происходить. Потому что читали не только мы с вами, но и те, другие, от кого зависит. Читали, привыкали помимо воли к тому, что с к а з а н о, что в о з м о ж н о и что это читают в данный момент не только они, от кого зависит, но и другие, и мы с вами. Да и степень открытости всего здешнего неизбежно — и авторами, и издателями — соразмерялась с полной открытостью тамошней. Не ссылались, не упоминали, вблизи не видели — а все-таки знали, и видели, и имели в виду...

И теперь, когда мы, встречаясь в метро, передаем друг другу действительно те журналы, о которых договаривались по телефону, и в каждом из них не скажу много, но каждый раз хоть что-то бывает, именно теперь я хотел бы возвысить свой голос в благодарность русскому Тамиздату. Всем писателям, уехавшим или оставшимся, отсидевшим свое или избежавшим; тем, кто публиковался там, оставаясь здесь, и тем, кто писал и копил, дожидаясь отъезда; христианам, мусульманам, иудеям, атеистам, агностикам и кто там еще бывает; радикалам, либералам и консерваторам; тем, кого мы любим, к кому равнодушны и кем возмущаемся; коммерсантам, удачливым и богатым, и бескорыстным энтузиастам — всем спасибо, все делали общее дело. И пока его значение не будет публично и громко признано, не получим мы права клясться свободой, не избудем прошлого, будет прежняя гниль разъедать нутро нашей датской державы. Да, верно, сегодня таких «пока» великое множество, но это — одно из самых важных и самых наглядных.

Существует некоторое если не отрицательное, то снисходительное отношение к эмиграции, даже у свободных и непредвзятых людей. Между тем нам всем пора бы понять, что те, кто совершил «роковой шаг», больше всего,

быть может, и сделали для того, чтобы этот самый шаг перестал быть роковым, перестал быть шагом.

Нет уж, чем бы ни была эмиграция для отдельных людей, для России в целом она обернулась огромной удачей¹. Всем спасибо, как говорят режиссеры, но не будем забывать, что пьеса еще не окончена. И еще никому, никому не известно, как тут у нас обернется.

Ведь пока единственное, что мы сделали, — торжественно провозгласили г л а с н о с т ь. Мы клянемся гласностью, требуем гласности, обещаем гласность, объявляем гласность — и это означает все что угодно, и много, и мало, и вообще ничего.

6

Гласность! Прекрасное русское слово, полузабытое, полузапретное, наконец-то оно в чести и в почете. Но, увы, печальна судьба слова, попавшего в ласковые объятия многоопытной пропагандистской машины. Его восстановят во всех правах, в тех особенно, в которых оно не нуждается, наградят и оденут в парадный мундир и посадят молчать в почетный президиум, отогнав подальше всех бывлых друзей и соседей.

Что значит г л а с н о с т ь для литературы, для конкретного, вот этого, любого писателя? Ничего! Это слово ничего не значит. Вы скажете: как же, а возможность печатать все, что напишешь? А возможность печатать все, что напишешь, никакого особого слова не требует, пусть и прекрасного-распрекрасного, а так и называется просто — свобода печати. Но нет у нас свободы печати, а есть г л а с н о с т ь, то есть в данном случае — р а з р е ш е н и е печатать многое из того, что раньше было никак нельзя. Р а з р е ш е н и е же всегда граничит с з а п р е т о м, и не всякий раз отличишь одно от другого. Я бы даже сказал, что с точки зрения настоящей свободы разрешение — это и есть запрещение, только снабженное оговоркой. Оно ненадежно, оно двусмысленно — оно унизительно...

Наши журналисты-международники любят с патриотическим умилением подчеркивать принципиальную непереваемость наших ключевых и символических

¹ Какое несчастье, что так и не смог уехать, хотя бы на время, наш первый отказник — поэт Александр Пушкин! Глядишь, может, и пережил бы свой тридцать седьмой... Нет! — так и застрял, как герой Сэлинджера, — на Парижско-Китайской границе...

слов. Потому, мол, и приходится несчастным иностранцам писать их по-русски в латинской транскрипции. Perestroika and Glasnost. Вот так, господа! Нет аналогов? Нет! Ну, хоть тут-то мы вас обогнали... В действительности механизм заимствований, конечно, иной. Их предпочитают прямому переводу как термины, специфические для России, несущие следы ее особой экзотики, не дающие забыть об адресе, о географии. Конечно, стопроцентных аналогов вообще не бывает, и, однако же, в главном те слова европейских языков, что означают открытость, нескретность, публичность, вполне передают значение русской гласности. Но ведь все эти качества или, скажем, требования могут относиться к государству, к чиновнику, к работе ведомства и аппарата — но никак не к отдельным гражданам, а тем более к писателям. Я бы даже сказал, что в этом случае слово «гласность» выглядит вполне курьезно и не только не означает личной свободы, но скорее нечто противоположное. В каком-нибудь замятинском сверхгосударстве можно было бы требовать от каждого гласности — то есть, скажем, открытости личной жизни и нескретности мыслей.

«Предать гласности!» Это может звучать угрожающе...

Гласности требуют — от другого, свободы требуют — для себя и других.

Нет, не надо нам делать из этого слова загадочное русское заклинание, означающее нечто такое, небесночудесное, что никак не постичь заземленным европейским умам. Мы готовы поступиться своей исключительностью, люди не гордые, и оставить за этим магическим словом лишь общепонятные его значения: открытость, доступность, нескретность, публичность... И все это — в применении к государственной жизни. Для себя же — пусть нас простят за назойливость — потребуем самой обыкновенной свободы, заурядной, будничной, не экзотической, легко переводимой на все языки.

Вы скажете: да разве дело в словах? Я отвечу: в словах! В том, какое значение им придается, какой их круг назначается к действию, какой смысл приглушается, какой запрещается.

Мы с вами живем в революционный период. Я, не дрогнув, повторяю эту пышную формулу, потому что она, в отличие от многих других, действительно соответствует положению дел в стране. Авторы невзрачных парадных речей, может быть, сами не вполне понимают, насколько серьезно то, что им выпало высказать.

Но всякая революция, прежде всего, выдвигает новую лексику и упраздняет старую. И не надо думать, что этот процесс — нечто лишь внешнее, декоративное, второстепенное по отношению к сути дела. Нет, это даже не отражение сути, но ее выражение, но самая суть.

Смена лексики может идти по трем направлениям. Первое — образование новых слов путем кáлек, заимствований, аббревиатур и сложений. Второе — придание старым словам новых, не свойственных им ранее смыслов. И третье — возврат к забытым ранее, исконным словам выражений и слов. Вот это, я думаю, я надеюсь, нам теперь как раз предстоит.

Двадцать лет, или, может быть, тридцать лет, или, может быть, несколько десятилетий между разговорной, интеллигентской, кухонной — и публичной, газетно-журнальной, государственной лексикой существовала не просто большая дистанция, как между литературой устной и письменной, — но зияла непреодолимая пропасть. Там и тут чуть не все ключевые слова употреблялись во взаимно-обратных смыслах. То, что в устах государства звучало ругательством, для нас было чаще всего похвалой, предметом сочувствия, уважения или даже порой восхищения.

В 1979 году я случайно попал на прием, организованный американскими издателями в честь русских писателей. В разгар приветственных речей и тостов по рукам пошла небольшая листовка, отпечатанная по-английски фабричным способом. В ней выражалось искреннее недоумение и такое же искреннее возмущение советской общественности тем, что уважаемыми американцами приглашен, среди прочих, и Анатолий Марченко — известный уголовный преступник-рецидивист... Я прочел — и кинулся его искать. Он стоял отдельно от всех, у стены, под руку с женой Ларисой Богораз — два удивительных, прекрасных лица среди общего шума, мельканья и звона... Он тогда отсидел уже, кажется, лет тринадцать, написал потрясающую книгу о лагерях — не о тех, сталинских, а о наших, теперешних, — и ждал следующего срока, который оказался для него последним: он был замучен в Чистопольской тюрьме, на самом разбеге перестройки и гласности...

Я тогда подошел, но не стал представляться, просто сказал ему спасибо за все: за его жизнь, за его книгу, за то, что такие, как он, вообще существуют. Он что-то ответил, тихо и тоже просто, не о себе и не о книге даже, а о тех, кто тогда продолжал сидеть: что с каждым днем там становится хуже, надо спасать, надо спешить...

И эти несколько минут разговора с великим человеком нашего времени — потому что если не он великий,

то кто же тогда, черт подери? — навсегда останутся в моей памяти как подарок судьбы — и пресс-службы ГБ: что бы я делал, когда бы не их листовка?..

Может, это и не самый удачный пример, если говорить сугубо о лексике. Преступник вообще-то бывает преступником и даже подлинным рецидивистом. Здесь, наоборот, был бы уместнее другой ряд: диссидент, внутренний эмигрант, клеветник, отщепенец, щещславный выскочка, сочинитель антисоветских пасквилей, ну и так далее. Все это к Марченко прилагалось не раз и, конечно, служило в наших глазах высоким отличием. Но мне все же как-то по-особому дорог тот именно случай. Вот так прочесть, не сходя с места: «уголовный преступник, рецидивист» — и увидеть светлый лик Анатолия Марченко...

Так было с государственными ругательствами. Еще длиннее похвальный список — государственных ласк и почетных эпитетов, наград и рангов, титулов, идиолов, также имевших в нашем сознании, в повседневном обиходе, в любом разговоре стойкий противоположный знак.

Еще в сороковые — пятидесятые мы воспринимали на полном серьезе гордые слова Алексея Мересьева из романа века Бориса Полевого. На все трудности и невозможности он отвечал только одно: «Но я же — советский человек!» — и было достаточно. Значит — справится, значит — выдюжит...

А уже в семидесятые — восьмидесятые этим словом назывался прямолинейный сухарь, склонный к начальственной демагогии или бездумному подчинению, человек с ограниченным кругозором, не знающий или нежелающий знать...

Есть такие стихи у Константина Симонова, обращенные к американскому журналисту: «Ну, а в общедомо дело скверно, успокаивать вас не буду: коммунизм победит повсюду, вы тревожьтесь, это вы верно...» Мне нравилось в прежние времена дурачить этими стихами друзей: вот, мол, и Симонов тоже — понимал и боялся... Но стихи и на самом деле звучали страшновато, и мы всерьез обсуждали: а вдруг он прав? А вдруг и верно, повсюду когда-нибудь будет так, как у нас?!..

Милостив Бог, нам повезло, а вместе с нами и всему остальному миру. Появилась надежда, что нет, такого не будет. Что, может быть, даже наоборот, и у нас еще будет со временем как у людей...

Велика инерция простого слова, которому назначено — сначала лидерами, а затем и целыми поколениями — нести особый, сакральный смысл. Такие слова — как

наши правители: они добровольно с постов не уходят, ни по профнепригодности, ни по дряхлости, ни по соучастию в преступлении.

Вот и спорят экономисты и публицисты, не противоречит ли социализму то или иное грозящее нам преобразование. Потребности общества, польза дела и даже смертельная необходимость — все это как бы не само по себе, а по-прежнему плавают в мощном поле идеологического фантома.

Но это уже проходит, и это пройдет. Пройдет еще раньше, чем канут в прошлое все наши запрещения-разрешения, уступив место всеобщим, нормальным законам.

Конечно, по-прежнему все наши социальные браки совершаются на политических небесах. «Раскрасьте сами» — но рисунок для всех отпечатан и выдано только два цветных карандаша.

И по-прежнему главная наша надежда — на свободолюбие науки и техники, на нетерпимость прогресса к рабству и тупости. А поэтому для нас сейчас главное — сохранить свободу внутри себя, не поддаться, не опуститься до уровня дозволенной гласности, то есть тех чуть не ежедневных разрешений-запретов, которые называются этим достойным словом. А тогда и она, эта самая гласность, эта наша дозволенность-запрещенность, побуждаемая объективной необходимостью, по чуть-чуть, понемногу, шагком, ползком, — как знать, может, и дорастет до настоящей свободы.

Метаморфозы культуры

Время, которое переживает сейчас общество, можно определить — и определяют — по-разному. Но одно из несомненных определений: это время переоценки. Переоценки всего, что происходило со страной за последние семь десятилетий. Этого слова, самого понятия «переоценка» многие все еще пугаются. Они не без оснований опасаются за свои привычные святыни. Но святыни эти уже обнаружили полную несостоятельность и умерли. И именно в переоценке состоит сейчас во многом и смысл происходящего, и одна из главных задач.

Чтобы вернуться к норме, надо понять, оценить, как далеко мы от нее отошли за семьдесят с лишним лет — в производственных отношениях, социально-политическом устройстве, общественной и личной морали. И в культуре. О метаморфозах культуры — на примере художественной литературы — и пойдет речь.

У нас долгое время не только содержание художественного творчества, но и сами законы искусства прямо выводили из социально-исторических условий.

Между тем искусство существует и движется по своим собственным, эстетическим законам. Оно есть самостоятельная область освоения мира человеком и может полноценно развиваться только независимо от других сфер общественного бытия и общественного сознания — экономической, политической, идеологической, религиозной и т. д. Вместе с тем литература всегда существует в конкретной социальной среде, неизбежно воздействующей на нее. Степень этого воздействия, соотношение между необходимой творчеству свободой и силовым полем окружающего общества — первостепенный фактор. Это одно из жизненно важных условий самого существования искусства, во многом определяющее его уровень, состояние, художественные результаты в каждую данную эпоху. Опыт русской литературы после 1917 года особенно остро и наглядно это демонстрирует.

Ни один социальный уклад не воздействовал на литературу так прямо и всеобъемлюще, как общество, созданное Октябрьской революцией. Лишь в первое послеоктябрьское десятилетие сосуществовали (и боролись) две противоположные тенденции: с одной стороны — остаточная свобода творчества, открытое соревнование различных направлений в искусстве, с другой — тенденция к регламентации творчества, к нормативной эстетике. С конца 20-х годов решительно и весомо возобладала вторая. Художественному плюрализму и свободе творчества был положен конец. Задача перевоспитать художников, уже сама по себе сомнительная, была заменена задачей прямо подчинить их партии и государству, прямо руководить искусством. Утвердилось представление о творчестве, нуждающемся в постоянной опеке, контроле, указаниях. Сами художники как естественную принадлежность творческой работы приняли опеку над собой, следование указаниям и обязательным нормативам. Создание Союза советских писателей как единого для всех ведомства и внедрение социалистического реализма как единой для всех программы творчества на десятилетия превратили советскую литературу в управляемую структуру.

Последствия не замедлили сказаться. Литература начала расслаиваться, раздваиваться. Художественную и историческую правду продолжали нести произведения тех немногих, кто не отказался от творческой независимости, не уступил ни внутренне, ни внешне регламентации и диктату — и кто был именно за это вытеснен с переднего плана литературы. Большинство же, принявшее зависимость как норму творчества, пошло иным путем. В создаваемой художественной модели мира писатели, составившие это большинство, исходили из мифа об осуществляе-

мом будто бы социализме. Рос разрыв между тем, что изображала литература, и тем, что в действительности происходило в жизни народа и в жизни личности.

Все это еще предстоит осознать и оценить. На словах, в теоретических установках у нас декларируется преемственная связь с предшествующей культурой, с выработанным человечеством духовным и эстетическим опытом. На деле эта преемственность уже на протяжении 20-х и 30-х годов была грубо и зримо оборвана. Действительные носители и продолжатели общечеловеческого опыта были устранены из идейной и художественной жизни либо решительно ограничены в ней, и новая культура создавалась, минуя этот опыт, в принципиальном разрыве с ним. Высокие и вечные ценности — гуманизм, нравственность, десять заповедей, свобода духа, права личности — стремительно забывались, уходили из круга зрения. В поле культуры и духовного творчества вступали людские силы, их никогда не знавшие или больше знать не желавшие.

Так складывалась культура действительно нового, еще небывалого типа. За десятилетия она разрослась, заполнила собой все пространство художественной жизни общества. Выросли поколения, не подозревавшие, что возможно что-то иное. Эта культура создала свою классику — от А. Фадеева, Ф. Гладкова, Н. Тихонова до Ю. Бондарева, М. Алексеева, М. Дудина. Она стала достаточно многослойным явлением — к ней относятся такие неоднородные фигуры, как А. Толстой или Л. Леонов. Было бы и неточным, и несправедливым назвать ее псевдокультурой или полукulturой и вообще относиться к ней уничижительно. Она достаточно хорошо выполняла свою роль в обществе и создавалась отнюдь не бесталанными мастерами. Кроме названных, у ее начала стоит такое могучее дарование, как Маяковский, силу таланта которого отрицать невозможно при любом к нему отношении. И все же новой культурой во всей полноте этого понятия ее назвать вряд ли правильно. В своих статьях, опубликованных осенью 1988 года, я предложил как рабочий термин определение «врио-культура». Аббревиатура «врио» означает, как известно, «временно исполняющий обязанности». Культура названного типа именно временно выполняет функции духовного творчества в стране.

Здесь я позволю себе отступление. Предложенное мною понятие не получило пока поддержки в литературной печати. Наоборот, статья, в которой оно обосновывалось («Бедствие среднего вкуса». — «Юность», 1988, № 11), встретила энергичные возражения. Расхождение взглядов — вещь вполне нормальная, и хотя возражения не показались мне убедительными, отвечать на них я не

собирался. Однако полгода спустя по поводу статьи высказался отдел критики журнала «Литературное обозрение» — в публикации под заголовком «Нельзя ли без списков?» («ЛО», 1989, № 4). Авторам этой публикации я хотел бы сказать несколько слов. При этом я не себя хочу защитить.

В преамбуле своей статьи авторы «ЛО» соглашались, казалось бы, с тем, что мною сказано «о грехе нашей словесности — «причастности, пусть косвенной, к худшим деяниям сталинизма». Но это на словах, на деле же весь смысл их выступления в том, чтобы отвергнуть эту ясную мысль, подменить ее рассуждениями о «моральной и художественной доброкачественности многих и многих книг». Главная цель авторов «ЛО» — доказать, что в нашем литературном прошлом все были более или менее одинаковы: и Пастернак, Булгаков, Платонов запятнали себя попытками компромисса или покаяния, и у А. Толстого с В. Катаевым есть «лучшие страницы», которые можно «поставить в тот же ряд», что и книги Булгакова и Платонова. «Не скоро станет нам по-настоящему ясно, — утверждает «ЛО», — кто был кем, как и почему». Это не так. «Кто был кем, как и почему» — ясно было, в общем, всегда. Вот сказать об этом без обиняков стало возможно лишь теперь. И упускать эту возможность непросительно.

Судя по всему, отдел критики «ЛО» хотел бы продолжать жить в комфортной атмосфере литературных комплиментов, никого не задевающих оценок — в атмосфере, как говорится в журнале, «интеллигентной тональности высказываний». Compliments в адрес ныне здравствующих корифеев находятся сейчас уже за гранью приличия. Видимо, поэтому авторы «ЛО» заменяют их комплиментами тому недавнему прошлому, наследниками которого нынешние корифеи себя не без основания числят. По счастью, такого сорта комфорт все меньше привлекает критику. Призывы подождать, пока «станет по-настоящему ясно», — скорее голос из вчерашнего дня. Тем не менее я хочу предостеречь коллег: опасно следовать этому призыву «Литературного обозрения». Если начнем ждать, ясности вообще не станет: есть кому постараться, чтобы наше литературное прошлое снова заволочло — туманом ли «взвешенных» оценок, мглой ли «национальных идей» или просто завесой возвратившихся директив.

То, что я называю врио-культурой, было, да во многом и остается реальностью нашей художественной и духовной жизни, заполняющей, как уже сказано, все ее пространство. Однако самое главное в том, что она не отме-

нила, не смогла устранить глубинных начал культуры подлинной, общечеловеческой. Они продолжали незримо, но неустранимо присутствовать в литературно-художественном процессе. Уже, казалось бы, несуществующие и почти никем не осознаваемые, эти начала продолжали составлять тот воздух творчества, который невидим, но без которого не обойтись, оставались «генами» духовного и эстетического развития. Любое сколько-нибудь подлинное художественное явление, даже рождаясь в границах вриокультуры и оставаясь в них, каким-то необъяснимым образом оказывалось связано с утраченными, казалось бы, ценностями веков. Чем истиннее и значительней был дар любого художника, тем сильнее он тяготел к нормам общечеловеческого сознания, даже если не подозревал настоящего об их существовании и сам подчас не понимал, к чему его влечет. Полный внутреннего драматизма путь М. Шолохова, А. Твардовского, В. Шукшина, В. Астафьева служит тому подтверждением. Именно с такими генетическими свойствами культуры, неиссякающим потенциалом человеческого духа связаны и все основные достижения советской литературы за семь ее десятилетий, и сами перспективы ее развития.

Литература существует в лицах; все ее тенденции и процессы выступают именно в личном проявлении — в индивидуальной творческой судьбе писателей, в индивидуальном художественном мире каждого. При всем разнообразии таких индивидуальных судеб, в условиях послеоктябрьской действительности были возможны, по видимому, несколько основных типов отношений художника с обществом. Немалое число писателей (как бы в полном соответствии с догматами социалистического реализма) действительно прямо выражали устремления и интересы созданного революцией строя; их творчество определялось требованиями социально-политической среды, усвоенными как собственное убеждение. Нормативная эстетика вошла в их художественную плоть и кровь. Самый ясный пример здесь — Маяковский. Тот же тип отношений с обществом представляют Фадеев или Вс. Вишневский, в более близкие к нам времена — К. Симонов. (Еще более близкий пример назвать трудно, ибо сами социалистические идеалы выветриваются и сколько-нибудь состоятельного художественного выражения не получают. Невозможно считать, скажем, П. Проскурина или Ю. Бондарева выразителями каких-либо идеалов.)

Другой тип отношений с революционным обществом — это приспособление к нему, когда требования

социально-политической среды, нормативная эстетика принимаются вынужденно, без настоящего внутреннего убеждения (хотя, видимо, согласие с социальным заказом становится уже как бы собственной природой таких художников, заменяя им убеждения, свой взгляд на мир). Здесь не найти лучшего примера, чем А. Толстой, однако рядом с ним можно назвать и Л. Леонова, и К. Федина, и Н. Тихонова, и В. Катаева, и Вс. Иванова, и И. Сельвинского, и еще многих.

Однако отношения художника с послеоктябрьским обществом могли быть и противостоянием ему. В этом случае писатель творил вопреки требованиям и установкам общества, во внутреннем, а иногда и явном, открытом разладе с ним. Сама художническая позиция состояла в сопротивлении социальному и идеологическому давлению извне. Если в первых двух случаях художники отказывались от свободы творчества, добровольно или вынужденно «становясь на горло собственной песне», то здесь писатель отстаивал именно эту свободу. К чести русской литературы почти все ее лучшие имена находятся в этом ряду: М. Булгаков, Анна Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак, А. Солженицын.

Но, может быть, важнее всего для судеб и перспектив художественного творчества в нашей стране еще один, уже четвертый тип отношений литературы с обществом: художественное — именно художественное — преодоление его социального и идеологического диктата. Оставаясь, казалось бы, в пределах сложившейся в стране эстетической системы, художники этого типа фактически изнутри преобразуют ее, возвращаясь в своей художественной практике к творческой свободе, художественной правде, к общечеловеческим эстетическим и этическим критериям и нормам. Такое преодоление системы обнаружило себя еще в «Тихом Доне». Этот роман о трагедии, которую несет человеческой личности и народному бытию революционное насилие, конечно, далеко выходил за пределы предписанной тогда системы ценностей. Чем ближе к нашему времени, тем более заметную роль в литературном процессе играл такой художественный, эстетический выход за дозволенные идеологические пределы. Именно в нем более всего выразились родовые свойства и возможности искусства, его органическая способность одолевать гнет обстоятельств, выживать «у времени в плену».

Конечно, более всего отвечает интересам искусства независимость от общества, и самым перспективным отношением художника к социальной среде может пока-

заться противостояние ей. Однако разлад с обществом, со своим временем не может быть постоянной позицией для творчества: оно по природе своей обращено к окружающей действительности, к современникам и соотечественникам (и лишь через них к вечности); оно не способно долго оставаться в изоляции от них. Анна Ахматова говорила о своих стихах: «...в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны». Ахматова не из тех, кто мог бы произнести эти слова просто в силу обстоятельств. В них выразилась органическая неспособность настоящего художника творчески существовать вне ритмов исторической реальности, вне жизни соотечественников, какой бы она ни была.

Вот почему взаимное непонимание с современным им обществом было тяжелой драмой и для Булгакова, и для Мандельштама, и для Бабеля. Вот почему искусство ищет иных отношений с социальной средой — таких, при которых оно оставалось бы в живом контакте с нею, однако не ценой конформистского отказа от творческой свободы. И оно нашло путь к этому — путь художественного преодоления социального диктата, путь преодоления нормативной эстетики изнутри. Писательская биография Ю. Трифонова, например, отчетливо демонстрирует это движение художника к преодолению заданных условий творчества, к «тайной свободе». Первый роман Ю. Трифонова «Студенты» был написан по всем канонам нормативной эстетики. Действительность представляла не такой, какой была, а какой ее предписано было видеть. Медленно, но верно Ю. Трифонов уходил от этого к художественной правде, к изображению жизни, какова она есть, к безыллюзорному реализму, опровергающему мифы. Одновременно это был путь от социологической поверхности жизни к глубинам человеческого бытия. Об этом говорит последний (из законченных) роман Ю. Трифонова «Время и место» и его рассказы последних лет.

Тот же путь — каждый по-своему — проделали и другие современники Ю. Трифонова — такие, как В. Шукшин, А. Вампилов, Ф. Искандер. Нельзя только принимать этот опыт за некую универсальную модель. Попытка преодолеть систему могла обернуться и оборачивалась тяжелым конфликтом с обществом. Такова драматическая судьба Василия Гроссмана. С другой стороны, внутреннее преодоление системы не всем оказывается под силу. Скажем, эволюция Василия Белова и Валентина Распутина показывает, как падает энергия художественного сопротивления среде: как вместо диктата официальной

идеологии художники уступают другому — диктату националистического мифа, пресловутой «русской идеи», — а вслед за тем приходят к компромиссу и с официальными инстанциями. Достаточно вспомнить, как В. Распутин на Первом съезде народных депутатов взял «под защиту» секретарей ЦК партии. Перед нами скорее эволюция в обратном направлении — прочь от художественной независимости. (Так что индивидуальный опыт писателей шире любой типологии. И в этом смысле предложенная мною типология тоже условна, не абсолютна. Не только путь В. Белова или В. Распутина, но и отношения с обществом М. Горького, Зощенко, Андрея Платонова, а из наших современников — В. Астафьева трудно без оговорок отнести к одному из четырех названных типов. Но это к слову...)

С процессом художественного преодоления эстетической системы изнутри в последние десятилетия совпал, соединился еще один, не менее замечательный — прорыв к творческой свободе в овне. Я имею в виду возникновение Самиздата и распространение Тамиздата. Литература открыла возможность выходить к людям, к читателям, минуя подцензурные издания и издательства, минуя контроль, надзор, диктат. Борис Пастернак и Андрей Синявский с Юлием Даниэлем проторили дорогу, по которой пошли затем многие. Тамиздат же не дал пропасть «Собачьему сердцу» М. Булгакова, «Котловану» и «Чевенгуру» А. Платонова, «Воронежским тетрадам» О. Мандельштама и «Реквиему» Анны Ахматовой, «Архипелагу ГУЛАГ» А. Солженицына и «Колымским рассказам» В. Шаламова, «Жизни и судьбе» В. Гроссмана. Я думаю, что эти два процесса — художественное преодоление социального диктата изнутри и тамиздатское преодоление его же извне — неотделимы друг от друга, связаны, как сообщающиеся сосуды. Ведь главные произведения Тамиздата в большинстве своем создавались в стране, предназначались для бытования в ее условиях, в ее контексте, адресовались соотечественникам — и лишь потом уходили на экспорт. А Георгий Владимов, Василий Аксенов, Владимир Войнович ступили на путь, ведущий к творческой свободе, так сказать, внутри советской литературы и на Западе лишь продолжили его. Нет непреходимых границ между книгами Тамиздата и литературным процессом внутри страны.

Тут я вынужден вступить в спор с человеком, с которым мне спорить не хотелось бы, ибо во многом я его единомышленник. Однако не во всем. Это Юрий Карабчиевский, одно из самых заметных лиц в нашей неофици-

альной, если не сказать нелегальной, критике, получающей, впрочем, сейчас легальный статус. В № 4 журнала «Искусство кино» за 1989 год появилась его статья «В поисках уничтоженного времени»; в более полном виде она опубликована в независимом журнале «Гласность» (выпуск 28). Ю. Карабчиевский решительно отделяет литературу Тамиздата, тамиздатскую книгу от книг тех авторов, которые издавались в Советском Союзе. И книгам авторов, издававшихся в стране, столь же решительно отказывает в настоящей полноценности, в полноте художественной правды. «Каждый... приводит свои, близкие ему имена, — пишет он. — Один — фронтовиков, другой — деревенщиков, третий — горожан во главе с Юрием Трифоновым. Да, конечно, тем, и другим, и третьим удавалось высказать какую-то правду о жизни. Но, никак не умаляя их очевидных заслуг, их усилий по поддержанию литературного огня под напором как бы стихийных бедствий, я все же в доказательство живучести правды, в подтверждение мужества и свободы личности привел бы совсем иной список товарищей»¹.

Это список издававшихся не здесь, а там. Тамиздат предстает у Ю. Карабчиевского самодовлеющим, самим по себе существующим феноменом, которому принадлежала и принадлежит решающая, абсолютная роль в духовной жизни отечества, да и в самой его истории последних десятилетий. «Тридцать лет Тамиздата сформировали нашу свободу, нашу полную внутреннюю независимость от всей активной окружающей лжи... Тамиздат был той атмосферой, в которой мы жили, тем свежим воздухом, в котором спасались и в конце концов спаслись от удушья, той средой, в которой обитали все наши надежды», — утверждает Ю. Карабчиевский.

Думаю, он заблуждается. Позволю себе сослаться на собственный опыт. Немалую часть жизни я провел в советской провинции. Тамиздат туда не проникал. Тем не менее я жил среди людей, внутренне независимых «от всей активной окружающей лжи». Не стану утверждать, что их было много. Их были единицы. Но они стали такими без всякого Тамиздата; они о нем в лучшем случае знали понаслышке.

Разумеется, я и слова не скажу против Тамиздата и Самиздата, против всех его авторов, согласен я с ними или нет. Эти страницы никогда не изгладятся из нашей социальной, духовной, литературной истории. Тамиздат

¹ Эти суждения Ю. Карабчиевского о литературе, вышедшей у нас в стране и в Тамиздате, вошли и в его статью, включенную в данный выпуск «Взгляда».

сыграл неповторимую роль для осознания духовной и творческой свободы, для ее укрепления в писательских и читательских умах. Но ф о р м и р о в а л эту свободу не он. Она сохранялась вопреки всему в недрах самого отечественного бытия, самого духовного и художественного сознания России. Тамиздат-то и возник именно потому, что в самой стране, в среде ее, казалось бы, обреченных художников не иссякал ток свободного творчества, вечная жизнь человеческого духа. Это они находили выход в Тамиздате. И они же побуждали к художественному преодолению системы, побуждали и помогали изнутри преодолевать социальный и идеологический диктат. Вот почему из сочинителя «Студентов» вырос автор «Времени и места», а из автора «Степана Кольчугина» — создатель «Жизни и судьбы».

Есть, однако, смысл уяснить, отчего же Ю. Карабчиевский отказал Ю. Трифонову и подобным ему художникам в полноценности их художественной правды, почему приводит «совсем иной список товарищей». И мы обнаружим, что его побудительные мотивы исходят из весьма непривлекательной отечественной традиции. Вот как он сам это объясняет: «Хороший советский писатель — это ум и талант плюс умение укладываться в пределы дозволенного так искусно, чтобы этих пределов как бы и не было. И как раз творчество Юрия Трифонова здесь, быть может, самый наглядный пример. Один из лучших наших прозаиков (в этом пункте никаких возражений нет) ухитрился подряд, одну за другой, писать повести о московских интеллигентах (правдивые, по общему убеждению!) со всеми подробностями ежедневного быта, со всеми деталями социального фона, со всеми кухонными разговорами, аккуратно и даже как бы естественно избегая всех тех непременных тем, на которых в реальной жизни эти разговоры держались. Правдивы ли книги Юрия Трифонова? Я отвечаю уклончиво. Представьте себе интеллигентский дом Москвы семидесятых годов, где бы никогда, ни при каких обстоятельствах, ни словом не обмолвился ни один человек, ни гость, ни хозяин: ни о диссидентах, ни о евреях, ни об арестах и ни об обысках, ни о демагогии партийных вождей, ни о передачах Би-би-си... Умному достаточно».

«Умному достаточно», — заключает свой пассаж Ю. Карабчиевский. Он и в этом заблуждается. Умному-то как раз этих доводов недостаточно. По сути, Ю. Карабчиевский упрекает Ю. Трифонова за то, что тот не стал еще дольше задерживаться на поверхности общественного бытия, не стал дополнять «всех деталей социального фо-

на» еще и «всеми теми непременными темами», которые действительно наполняли разговоры текущего дня. Уж наверняка Вадим Глебов что-то говорил «о диссидентах, о евреях... о передачах Би-би-си» и т. п. Но Ю. Трифонову не интересно, что именно он об этом говорил. Такие разговоры — отнюдь не главное в Вадиме-«Батоне», и в Дмитриеве, и в Антипове, и Ю. Трифонов чутьем настоящего художника это уловил. Для него правда — под поверхностью общественного бытия, в глубинах человеческих отношений. В этом его отличие от Ю. Карабчиевского, для которого полнота художественной правды как бы непременно связана с открытым политическим высказыванием, прямым социальным контекстом.

Возразить Ю. Карабчиевскому нетрудно. Сделаю это как раз словами Ю. Трифонова: тому уже приходилось выслушивать претензии, весьма похожие на те, которые предъявил сегодня Ю. Карабчиевский. Писатель вспоминал, как в «Новом мире» в свое время осудили его рассказы: «Какие-то вечные темы!..» Ю. Трифонов соглашался, что в его прозе действительно «не было ничего из того, что особенно ценилось журналом «Новый мир» и ставилось во главу угла: из так называемого социального». Но тут же добавлял: «Хотя, на мой взгляд, социальное в глубинном, высшем его понимании — изображении общества как сплетения характеров — должно существовать и существует во всякой истинной литературе, какой бы далекой от социологизации она ни казалась». И действительно, настоящая литература «задевает» (пользуясь формулой Ю. Карабчиевского) «социальную сферу» именно тем, что изображает ее как сплетение характеров и судеб, не стараясь специально, чтобы «непременные темы» текущего дня обязательно попали в поле изображения. Не имеет решающего значения, отдает ли она им дань или «избегает» их. Все это настолько тривиальные истины, что Карабчиевский не может их не знать. Но императив пристрастного, предвзятого подхода ведет его мимо очевидных истин.

Конечно, пристрастие Ю. Карабчиевского к Тамиздату, с которым прямо связана его литературная биография, где он обрел свое имя, — вполне объяснимо. И о нем, может быть, не стоило бы и говорить, если бы не серьезное «но»: если бы суждения Ю. Карабчиевского с неожиданной стороны не возвращали нас к тому состоянию, в котором отечественное искусство барахталось шесть десятилетий, — к приоритету социального содержания, приоритету непременных тем дня. Надо надеяться, Ю. Карабчиевский вовсе не к этому стремился, но логика предвзятости сильнее желаний и намерений. По существу, он де-

монстрирует здесь такой же подход, что и те, с кем он давно и яростно спорит, — от В. Маяковского до А. Жданова, — чисто идеологизированный. Художественная материя исчезает в его суждениях — остается лишь политическое сознание.

Ю. Трифонов в тех же воспоминаниях, которые я уже цитировал, писал: «Один мой приятель, литератор, в конце пятидесятих годов всегда спрашивал, когда речь заходила о каком-нибудь романе, о рассказе или повести: «Против чего?»... Все лучшие новомирские произведения, напечатанные за последние годы, очень четко отвечали на этот вопрос». Что до «Нового мира» 60-х годов, то в нем, слава Богу, дело обстояло сложнее: выше всего журнал и его редактор ценили все же художественную правду как таковую, даже если она не была однозначно ориентирована «против чего». Но вот Ю. Карабчиевский явно сохраняет такое «против чего» как первый критерий для явления искусства. Критерий, увы, внехудожественный, и живая жизнь современной русской литературы показывает, какой ущерб он ей наносит.

Это вполне реальный ущерб. Даже такая, казалось бы, мощная личность, как А. Солженицын, не устояла. На 1990 год в нескольких журналах и издательствах объявлена публикация его романов-«узлов» из цикла «Красное колесо» — вслед за «Архипелагом ГУЛАГ». Это станет выдающимся событием не только, может быть, не столько литературной, но прежде всего общественной жизни, общественной истории страны: писатель, первым бросивший вызов господствующему строю, открыто, в лицо обвинивший его в преступлениях, — этот писатель наконец предстанет перед широким отечественным читателем со всеми своими достоинствами и слабостями. Да, и слабостями; это тоже обнажит публикация. Многие убедятся в движении художественного творчества А. Солженицына по нисходящей: от литой, упругой, дышащей живым словом прозы «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матренина двора» к тяжеловесному и маловыразительному повествованию в «узлах» «Красного колеса». На мой взгляд, романы этого солженицынского цикла эстетически мало чем отличаются от привычных для советской литературы безнадежно девальвированных квазиэпопей.

И дело не только в том, что у А. Солженицына как писателя оказалось короткое дыхание, которого явно не хватает на роман. Дело еще и в том, что идеология на наших глазах съела, поглотила художника. Именно ее хозяйничанье в художественном повествовании иссушает романы. Мы обычно относим это к идеологии по-сталински,

по-ждановски, по-сусловски, однако и вмешательство идеологии с обратным, казалось бы, знаком не менее вредно. Из-за нее мы, по существу, потеряли в сегодняшнем Солженицыне, сочинителе «Красного колеса», беспримерного прозаика, положившего начало даже не течению, а целой эпохе в отечественной литературе.

Вытолкнутые за рубеж — или уехавшие туда в поисках свободы, или «просто» отославшие на Запад свои произведения, — авторы Тамиздата доставили туда и все обычаи и беды нашего искусства, в том числе готовность обрести руководящую идеологию, идеологизированность, политизированность писательского мышления. (Свобода, с которой на Западе можно выбирать и выражать любую идеологическую и политическую позицию, часто лишь поощряла такую политизацию взглядов и творчества, интоксикацию идеологией.) Способность к художественному преодолению их отнюдь не в первую очередь зависела от того, где — на Западе или в нашей стране — выходили книги автора. Конечно, в первом случае это было сделать проще, но далеко не все воспользовались такой возможностью. Тут в первую очередь играли роль личные художнические свойства писателя. «Жизнь и судьба», вышедшая на Западе, и «Время и место», изданные в СССР, — совершенно разные произведения. Но возьмусь утверждать, что оба они одинаково свободны от подчиненности идеологии, от политизированности авторского взгляда.

Так что противопоставлять художественную правду Тамиздата художественной правде таких издававшихся в стране писателей, как Ю. Трифонов, или В. Шукшин, или Б. Окуджава, или А. Вампилов, или Ф. Искандер, или В. Астафьев и В. Распутин (какими они были до начала 80-х годов), — напрасная затея. Это были два равноценных пути к творческой свободе. Со своими преимуществами и своими трудностями каждый. Еще раз оговорюсь, что первый все же вернее приводил к цели. Но художественные результаты второго были, по меньшей мере, не хуже.

Сейчас оба потока, оба процесса слились. То, что было достоянием Тамиздата, вышло на страницы советских литературных изданий. И дело не просто во вновь забрезжившей свободе творчества: само движение жизни возвращает в советское общество ценности той культуры, с которой оно погребло более полувека назад и без которой все-таки не смогло обойтись. Общечеловеческий опыт, гуманистическое мышление вновь участвуют в нашем духовном и художественном развитии. Конечно, обольщаться не следует. Наше возрождение пока почти не выходит за пре-

дела печатного листа, кинотелеэкрана, сценических подмостков. И все же происходящее здесь — это знак общего стремления отечественной действительности вернуться к норме, к тем естественным и вечным началам человеческого бытия, которые в жесткой проверке доказали свою неустрашимость.

В этом, по-моему, главный урок нашей новейшей истории: человеческая культура, как и сама человеческая природа, не уступила давлению социально-политических обстоятельств. Как ни тяжел был понесенный урон, она сохранила свои гены, свой неизвестно откуда берущийся, но неизменный потенциал. И потому есть надежда, что перемены в нашем отечестве действительно произойдут.

Новая мифология

Первый вопрос, который я себе задаю, когда кто-то... на Западе говорит о России,— это: «а любит ли он Россию?» Или же снова Россия окажется местом политико-интеллектуальных игр, где западная интеллигенция будет выкладывать свои козыри.

Бернар Футрийе

Когда-нибудь придется возвратиться.
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
Двуострого меча...

Иосиф Бродский

«Синявского просто раздирают по листочку»,— лопается от восторга газетная строка. «Сейчас в «Юности» наконец выходит «Чонкин» Войновича»,— наперебой сообщают Игорь Виноградов и Игорь Золотусский, критики, которые еще недавно ревностно блюли реноме и

не позволяли себе участвовать в суетне вокруг сиюминутных «шедевров». В прессе — панегирики создателям «Чонкина» и «Прогулок с Пушкиным», а также режиссерам, актерам, художникам, скульпторам, танцовщицам, джазменам, мимам, статистам без слов, без лиц, без определенных занятий, объединенных одной судьбой. Отъездом за рубеж.

Уезжали — авторитетно сообщают — в знак протеста. Разумеется, против застоя. Или из-за тягот быта («жить здесь стало невозможно», — подсказывает тот же И. Виноградов). И конечно, отъезд был трагедией — нет, не для уехавших (ибо они обрели «свободный статус граждан мира» — из того же источника), а для искусства нашей страны.

Имена парижских и нью-йоркских героев борьбы с застоєм сыплются на головы читателей, как звезды с августовского небосвода. Кажется, мы присутствуем при впечатляющем событии — рождении новой мифологии. Новых богов и пророков. Сюжетов, которым суждено стать легендарными. Поистине: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые».

Два пути

И правда — многое нужно переосмыслить. Отказаться от слепой враждебности, от схематичного деления на два лагеря. Прежним организаторам литпроцесса хватало двух красок — белой и черной. Из-под черной пелены все явственнее проступают лица, книги, журнальные публикации.

Прекрасно!

Но та же новая социальная оптика, позволяющая нам пристальнее взглядеться в лица вчера еще непримиримых врагов, побуждает быть внимательнее к тем, кто не покинул родную землю в беде. Да что оптика — элементарная жажда справедливости.

Вглядитесь внимательнее — увидите, что по крайней мере два пути уводили от застойного догматизма.

Первый — о нем сейчас постоянно напоминают — вел на Запад. Уточним — только один писатель прошел по нему (вернее, был проведен) против собственной воли. Другие, будем честны, уезжали в той или иной мере добровольно. Конечно, кому-то грозили преследования. Но ведь были и те, кто остался, несмотря на это. Конечно, кто-то выезжал на год — для чтения лекций. Но ведь, собираясь в дорогу, уже знал: не вернуться. А многие с восторгом и нетерпе-

нием устремлялись навстречу изобильной жизни «свободного мира». Прислушаемся к свидетельству человека, наблюдавшего с Запада за этим «исходом». «Подавляющая часть просто поехала устраивать свою жизнь, к покинутой стране равнодушна», — писал Александр Солженицын.

О другом пути сейчас дружно, как будто по уговору, забыли. Он вел не за границу, а в глубь страны. Это путь, удививший Олега Куваева на край отчей земли — на продукты ветрами доисторические плато севернее Магадана. Путь, манивший Василия Шукшина в родные Сростки на Алтае (он говорил, что, сняв «Разина», уедет на родину, писать, уже не отвлекаясь на кино). А «крутой маршрут» Виктора Астафьева: из Сибири на европейский Север — в Вологду — и снова в Сибирь? Ведь и тени мысли спуститься пониже, «зацепиться» за Москву не возникало у писателя. А петрозаводское, теперь — новгородское, «сидение» Дмитрия Балашова, как в обороняемой крепости (вспомните «смоленское сидение»)? А Валентин Распутин, не оставивший Иркутск, хотя было много самых лестных предложений? Василий Белов, не покинувший Вологду? Напомню и о страстном стремлении Константина Воробьева уехать из Вильнюса с его почти по-европейски налаженным бытом на скудную родную Курщину — к Евгению Носову, который не покидал родного дома.

О прекрасном писателе Викторе Лихоносове я здесь не упоминаю. Скажут — он, мол, нежился под южным солнышком в Краснодаре. Честному русскому художнику нежиться вообще-то ни в одном краю не приходится. И все-таки о живущих на юге не будем говорить. А вот о выбравших Сибирь скажу подробнее.

Сравним ли быт за Уралом, «для веселия не очень оборудованный», с тем, закордонным? Минимальная — даже по сравнению с общесоюзным скудным пайком — обеспеченность продовольствием. Да и глубинка Европейской России немногим краше. У читателей на памяти приметы вейской жизни, воссозданные в «Печальном детективе».

Разве этот путь — за тысячи верст от Москвы, гранитной столицы, стольких сманившей слепящими лучами государственной славы, — не был результатом выбора? Обрекавшего художника на бытовые мытарства, но сохранявшего «душу живую». И не только собственную — душу его земли, его героев. Тех самых Байкаловых, Иванов Африкановичей, Настен, Анн, которые были бы обречены сгинуть со света без следа и прощального слова, если бы писатели бросили их на произвол судьбы. На произвол чиновников, загубивших Матёру, тысячи Матёр, пока не добрались и до Волги. На произвол архаровцев, все жестче

устанавливающих законы волчьей стаи в разрушенных деревнях и городках.

Это был мужественный выбор. И абсолютно бескорыстный! В отличие от трансевропейского — выводящего на чужие хлеба, к чужим микрофонам...¹

Перечитайте хотя бы романы рано умершего Олега Куваева (им, жизнью заплатившим за избранный путь, — Куваеву, Шукшину, Воробьеву — я доверяю больше, чем кому-либо).

«...Ненависть к респектабельным. Ненависть к живым трупам. Где респектабельность — там догматизм и сытая ложь. Ложь! Он бежит, чтобы не видеть их гладких рож, пустых глаз и чтобы его не стеснял регламент. Он бежит от лжи сильных. От ищет пустое место, куда они еще не добирались». Последний роман «Правила бегства» Куваев закончил его вчерне за несколько дней до смерти. Март 1975 года. Расцвет пышной ряски, опутавший всю нашу жизнь. То, что мы именуем «застоем».

Процитированный отрывок — об истории заселения Сибири. Но — не только об истории. В сущности это исповедь любого куваевского героя. Но и шире оглянем духовное пространство. В то время почти такие же слова говорит Шукшин о казаках Яика. Писатели уходили от догматизма и лжи. Второй путь вел их к родному истоку (для вятича Олега Куваева север Сибири тоже был родным; его предки столетиями шли к этим землям, осваивали их).

В конце романа Куваев формулирует правило, определившее жизнь его героев и его собственную жизнь: «Убегая, остановись». Остановись у истока. Оглянись. Прислушайся к завораживающему движению жизни. Это движение, этот торжественный, ликующий ледоход, взламывающий застойный сон, Куваев умел передать, наверное, как никто из современников. Его произведения полны «гулом жизни». «Бакланов непосредственно ощущал течение жизни. Жизнь текла медленно, плавно и грозно, как большая река». Это из «Территории». А вот — «Правила бегства»: «Дремавшая в Рулеве буйная сила тянула его к жизни нерегламентированной, где новое решение надо принимать каждый момент и где есть свобода выбора... Он понял, что история пишется прихотливо и странно, что она течет в границах, продиктованных объективными законами, но границы эти широки, и внутри их история мечется бешеной, странной рекой».

¹ Пусть не обижаются на меня писатели-москвичи. У лучших из них был свой путь — в глубь исторической памяти, в глубь души народной. На свет обнаженной совести.

Как видим, образ буйной реки жизни оказывается достаточно емким, чтобы вместить не только непосредственные впечатления, но и «историсофские» размышления писателя. А это снова — природное, почти звериным чутьем уловленное бурление весны: «Бог Огня шел на берег бухты, смотрел на белую гладь, широкие ноздри вздрагивали. Он слышал запах талого снега, запах земли и влажного льда» («Территория»).

Может показаться, что Куваев слишком экзотичен. Что он слишком далеко ушел от реальности и тем самым облегчил себе задачу. Вольно ему любоваться на Бога Огня, нам-то приходится глядеть на «гладкие рожи». Да еще улыбаться, еще и кланяться им! Правда, Бог Огня — всего лишь северный житель, потомок шаманов, работающий на базе Северторга. Но для убоявшихся близости быта эта деталь общей картины не меняет.

Внимательно читаемся в произведения Куваева. Особенно в последний — самый сложный (то есть наиболее полно и реалистично передающий противоречия жизни), самый горький его роман. Здесь есть все столь популярные сегодня реалии. Брат, отказавшийся от брата в годину репрессий. Отец — высокопоставленный сталинский чиновник, своим догматизмом надламывающий жизнь сына (молодого Рулева, того самого, который бросится в Заполярье и будет рассуждать о первопроходцах, бежавших от догматизма и лжи): «Была трехкомнатная квартира, обставленная с тяжелым стандартным вкусом официального учреждения. Портрет вождя на стене, и в книжном шкафу ничего, кроме строго идеологически выдержанных собраний сочинений. Квартира жила под тяжелой дланью отца...»

Есть в романе и совсем свежие, 70-х годов, приметы. «Всю эту твою христианскую чепуху (размышления о человеческой душе.— А. К.) растопчут в два счета,— говорит постаревшему Рулеву рассказчик.— Приедет румяный деятель с инструкцией, посмотрит анкеты твоих кадров и выметет всех за милую душу. И тебя за компанию. Или пришлет идеологически выдержанного зама. Он тут лекции начнет, собрания, доклады, обязательства, и кадры твои завянут, как ландыши на морозе».

От этого не скроешься и в Заполярье! Какое уж бегство от реальности... Вот тут-то куваевский герой, верно, и шепнул себе: «Остановись». И он готов стоять на смерть, утверждая свою точку зрения на мир и на человека. Рулев говорит в том памятном, центральном в романе, споре: «Знаешь, я думаю... большое состоит из малого. Так? Так! Знаешь, как в этой старой байке: «Если каждый вырастит одно дерево...» Если каждый для начала возь-

мется за себя лично. Ну, и когда маленько себя от шелухи очистит, от суеты этой, от пошлости, от жадности, эгоизма нашего, тогда пусть пошарит глазами вокруг, поищет заблудшего. Это не каждому по силам, я понимаю. Но ведь заблудших-то в принципе мизер по сравнению с нормальными. Значит, если на каждого бича да не найдется умного, сильного человека — грош цена человечеству. Но человечеству все же цена не грош...»

Не слишком оригинально? Но ценность этого «Верую!» в том, что человек готов стоять за него насмерть. Впрочем, взять эту беззащитную, в сущности, жизнь не так уж сложно. И герою Куваева выпадет сначала потерпеть крах как хозяйственнику, а потом умереть.

Но сохранился и другой вариант окончания романа: «Дальнейшие судьбы героев автору не известны, так как жизнь продолжается и до финала (кто его знает?) еще далеко». Бунтующий поток жизни как бы ворвался на страницы и перечеркнул трагический финал.

Но чем бы ни завершался роман — трагедией или надеждой на возрождение, куда важнее его суть. Она в утверждении жизни. В работе — не обезличенной, не лишеной смысла. В возможности самостоятельно принимать решения и платить за них. В том ощущении, которое прекрасно выражено Куваевым: «...Я вдруг кожей, кровью, своими смертными клетками смертного организма почувствовал, что я живу».

Утверждение жизни — и в обращении к народному слову, к национальному нашему характеру. Это уже не только об Олеге Куваеве — о всех писателях, выбравших второй путь. Спасенное ими наследное богатство — исторические предания, народные обычаи, вековые духовные ценности — животворно. Оно помогло этим замечательным писателям утвердиться в любви и вере в жизнь, несмотря на засилье лжи. А вместе с ними — и миллионам их читателей.

Кому предписано каяться?

И вот — расплата. Много ли пишут сегодня об Олеге Куваеве? Крикуны на нашем литературном Парнасе делают вид, что такого писателя вообще не было. И ведь выходит по-ихнему — роману «Правила бегства» не нашлось места ни в одном столичном журнале, о вышедшем в 1988 году двухтомнике Олега Куваева — ни одного слова.

Распоряжающиеся на Парнасе предпочитают молчать и о Василии Шукшине. А тех, кто остался в живых

(из выбравших второй путь), шельмуют в каком-то ритуальном упоении. Это о них — Астафьеве, Распутине, Белове, Бондареве — Игорь Виноградов говорит: «...видимо, не обладают достаточной гуманистической культурой, не получили достаточно питательной духовной почвы...» (интервью газете «Московский комсомолец» — 09.02.89). Конечно, нельзя предположить, что критик не читал «Кануны», «Царь-рыбу», «Последний срок», «Живи и помни». Он не может не знать, что именно благодаря таким произведениям общество сохранило традиционные человеческие ценности, несмотря на колоссальное давление сверхпрагматической эпохи. О недостатке «гуманистической культуры» — это явно со зла сказано. И ничем не подтвержденное обвинение в высокомерии, брошенное Юрию Бондареву, — тоже со зла. А злит как раз неразрывная связь замечательных писателей с питательной духовной почвой, ибо где же и обрести ее, как не в народе, еще не утратившем национальной памяти.

Все, что связано с этой памятью, буквально бесит И. Виноградова (да и только ли его?). Не случайно он призывает «отобрать знамя русской национальной культуры из рук «Нашего современника» и «Молодой гвардии», которые якобы «запачкали его националистическими и юдофобскими настроениями». Разумеется, обвинения не подкреплены ни одним доказательством.

Но слепая ярость сослужила ему плохую службу. В запальчивости он выдал то, что многие его коллеги хотели бы замолчать, — сказал, в чьих руках знамя русской культуры!

Читаешь Виноградова — и будто слышишь многоязыкий гул. Вот некий Борис Гройс в западногерманской «Франкфуртер альгемайне» (22.05.87) озабочен тем же — как вырвать знамя «русского национального возрождения» из рук Астафьева, Белова и других русских писателей. И он страшает аудиторию их «национализмом»: «Истоки всех пороков они видят во влиянии Запада, индивидуализме и рационализме, а также в недостаточно быстром исключении из культурной жизни евреев, грузин и прочих нерусских (сказано так, что европейский читатель будет убежден — процесс «исключения» в СССР идет, но «недостаточно быстро», с точки зрения Белова и Астафьева.— А. К.)». Советолог Лев Поляков во французской «Фигаро» опять о том же — призывает бороться с русским «национализмом», который-де является носителем расизма, шовинизма и антисемитизма, самого тяжелого греха из всех грехов.

Клубится та «всеевропейская желтая пыль», о

которой с презрением писал А. Блок. На многих языках выходят газеты. У ненависти один язык...

Какой дискомфорт вызывает у Виноградова и его интервьюера само упоминание о русской культуре. Критик счел необходимым предупредить, чтобы не вызвать шок, — «не пугайтесь того, что я сейчас скажу», — и уж потом выговорил: «Знамя русской национальной культуры». Помните, у Маяковского: «Берет, как бомбу, берет, как ежа, как бритву обоюдоострую...» Где уж с таким отношением «отобрать», когда не то что прикоснуться к знамени боятся, само слово произносят через силу¹.

Виноградов не может простить нравственной стойкости в служении народу ни лучшим нашим писателям, ни журналам, которые в самые трудные времена предоставляли им свои страницы. Он и народу не может простить... Чего? Да, пожалуй, той же стойкости в сохранении своих духовных начал. Много, очень много, конечно, утрачено, разрушено, затоптано в грязь, в том числе — это наша боль! — и самим народом, вдохновленным — не забудем и этого — лефами и пролеткультами. Но какие сокровища духа сохранены!

И вот кружат и кружат критик и его интервьюер, вновь и вновь возвращаясь к теме народа. Чтобы и с той и с другой стороны уязвить его. «Недавно в «Литературной газете» философ Юрий Давыдов, споря с Михаилом Эпштейном о «Чевенгуре» Андрея Платонова, утверждал, что русский народ — вернее, крестьянство — не имеет отношения к жестокостям и насилиям нашей недавней истории, которыми мы обязаны люмпен-интеллигентам и оторвавшимся от народа мастерам вроде Александра Дванова. Но как же так? Ведь Платонов как раз не выделяет этих людей из народа», — это интервьюер П. Спивак.

В ответ — полное согласие: «Я согласен с Вами. Вообще есть много опасных спекуляций вокруг этих понятий — народ, нация. Ну допустим, что корневая часть русской нации — крестьянство — хранит черты, с которыми не согласуется насилие. Но простите — а как быть с пушкинским: «русский бунт, бессмысленный и беспощадный»?»

Передергивать так передергивать! Или Виноградов знает Пушкина только по расхожим цитатам? Приведу окончание фразы, чтобы прояснить, кого Пушкин предупреждал об ответственности за беспощадность «русского бунта»: «Те, которые замышляют у нас невозмож-

¹ Впрочем, и такое отношение лучше прорвавшегося у С. Чупринина: «Чем потом у нас будут усмирять джинна национального? Танками» («ЛГ», 1989, № 14).

ные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

Впрочем, спорить с Виноградовым утомительно — газетная полоса, чуть ли не сплошь набранная мельчайшим шрифтом (больше, больше сказать!), напичкана нападками на русский народ. Да и неприятно, признаюсь, хотя бы заочно вступать в диалог с человеком, позволяющим себе писать ну хоть такое: «...когда нечем гордиться, то начинаются поиски «кровавого» национального начала». Заметили — не «кровного», как требует русский язык, а «кровавого». Зачем переиначивать? А чтобы противнее было.

Но об одном все же еще придется сказать. По мнению И. Виноградова, виноватый народ должен публично каяться. «...Есть потребность... во всеобщем народном покаянии (что за стиль — правители «Чевенгура» так бы и начали очередной декрет! — А. К.). Мы как народ, как страна виноваты, и должна быть символическая минута покаяния, когда вся страна встанет и помолчит».

До такого, пожалуй, еще никто не договаривался. Старая мифология, с которой мы сегодня без сожаления расстаемся, до тонкостей разработала ритуал аплодисментов. Кажется, расписано было, какой ладонью по какой... Но ведь ритуальное молчание — это еще полхлестче!

Так-таки все будут стоять и молчать? Выясняется — не все. Сам Виноградов не уверен, что ему следует подниматься вместе со всеми. В собственной виновности он сомневается: «Может быть (разрядка моя. — А. К.), есть и моя доля вины».

Но есть, по Виноградову, и те, кому каяться вообще ни к чему. Это уехавшие из страны. Им — полное оправдание: «Большинство эмигрантов уехало, потому что жить здесь стало невозможно...» Прекрасная логика! Тот, кто оставил народ в беде, — не виноват. А оставшиеся, на горбу тащившие страну, — кайтесь. И это не все: «Андрей, вы бы решились вернуться?» — пересказывает один из своих парижских диалогов Виноградов и воспроизводит ответ А. Синявского: «Наверное, нет. Но я бы хотел иметь свободный статус гражданина мира, как в нормальном цивилизованном обществе (!), и быть русским писателем, живущим у себя на родине, но не обязательно имеющим там прописку». Иными словами, наезжать в Россию, чтобы созерцать ее красоты из окна интуристовского отеля. Оно и понятно — быть с теми, кто «пашет и сеет», но страдает от нехватки товаров, мается в очередях, с теми,

кому еще предстоит, надсаживаясь, поднимать страну, — некомфортно.

А теперь на миг представим себе безумный ритуал публичного покаяния. На сцене, размером в одну шестую планетной суши, в молчании поднимаются миллионы и миллионы. Сомневающийся в своей личной вине Виноградов наполовину приподнялся в кресле, да так и завис. А на краю сцены, там, где-то у Ленинграда, — множество интуристовских «Икарусов». «Граждане мира» прикатили на свою бывшую родину поглазеть на невиданное зрелище!

Смешно? Нелепо? Чудовищно? Но разве небуквальное осуществление ритуала покаяния менее чудовищно?

Они «возвращаются»

А «граждане мира» уже возвращаются. Нет, не сами на постоянное жительство. Сказано же нам — прописка на этой земле им не нужна. Они возвращаются к читателю. Их произведение — в самых многотиражных изданиях. Их интервью — повсюду. Их берут в советчики и даже в судьи. «...Как вы думаете, почему случилась у нас сталинщина?.. А в том, что происходит сегодня, вы тоже видите проявление крайностей?» — это лишь часть вопросов, заданных корреспондентом «Книжного обозрения» Андрею Синявскому. Впрочем, почти те же вопросы задают десятку других, как будто с Синая спустившихся к нам пророков.

И они поучают — цитирую А. Синявского, — что «Россия — страна крайностей», что «любой писатель... это диссидент, это инакомыслящий», что опасность сегодня — это «общество «Память» с его неприкрытым национализмом» («Книжное обозрение», 1989, № 2). А почему бы и не поучать, если корреспонденты убеждены, что именно от туда видится яснее и наша история, и сегодняшний баланс общественных сил. И впрямь — мы до сих пор не знаем программы «Памяти», не знаем даже, сколько их, одноименных обществ, после расколов, преобразований и пр., а вот Синявский знает. Откуда? Он этого не раскрывает, да его и не спрашивают. Видимо, достаточно того, что приехал из-за границы.

Корреспондент услужливо подхватывает мысль о «национализме» и по мере сил раздувает ее. «А не может ли случиться, — беспокоится он, — что при публикации трудов этих философов (русских мыслителей начала XX века. — А. К.) будут в первую очередь подхвачены их националистические идеи?» И уточняет: «Ведь в трудах

В. Розанова они очень сильны, а у Н. Бердяева есть даже работа «Русская идея»¹.

Представляют, так и называется «Русская идея». Какой кошмар! Бедный корреспондент, ему бы чуть больше эрудиции, он бы не так еще перепугался. Работы с похожими названиями есть и у В. Розанова, и у В. Соловьева, и у С. Франка, и у Н. Лосского. Да ведь это естественно, что русские философы задумывались над русской идеей! Но нехватка знаний оберегает корреспондента «КО» от излишних волнений. А если кто-то его и просветит, так на этот случай есть пророк, сошедший пусть не с Синая — с парижской кафедры. Приедет в очередной раз из Франции и разберется, как быть с нашей идеей.

Думаю, здесь пора оставить на время писателей-эмигрантов и задаться общим вопросом: так ли уж уместны иностранные визитеры в роли пророков? Ну ладно Синявский, он почти свой, житель «русского Парижа». Но ведь мы и судьбу собственной экономики норовим узнать от американского экономиста («Известия», 16.09.88). И как быть с той же «Памятью», вызнаем у московского корреспондента австрийских средств массовой информации («Московские новости», 1988, № 7).

Порыв понятен — мы протянули миру руку дружбы и склонны видеть во всех друзьях, которые помогут и выручат. Одна беда — нас-то друзьями далеко не все считают. Любопытны данные опроса общественного мнения, проведенного совместно Институтом социологии АН СССР и американской фирмой в советских и американских городах. Девять процентов москвичей охарактеризовали советско-американские отношения как «союзнические». Американцев, считающих нас «союзниками», в два раза меньше («ЛГ», 1989, № 5)².

Красноречивы и другие данные. От 67 до 79 процентов американцев «очень горды» своим гражданством. У нас своим паспортом дорожат лишь 39 процентов. А что думают остальные 61 процент? И пожелают ли они защищать достоинство, а — случись нужда — и независимость (или, скажем, целостность) страны, причастностью к которой не гордятся?

¹ Вспомним, А. Дементьев в новомировской статье, спровоцировавшей письмо одиннадцати, обвинял «Молодую гвардию» в пропаганде идей В. Розанова и других русских философов. Сколько лет прошло, сколько догматов обветшало, все, казалось бы, разрешено. Ан нет, жив курилка, помолодел изрядно, но бдит по-прежнему неусыпно и, чуть что, начинает вопить: «Караул, возрождается русская идея!»

² По данным другого опроса, один процент москвичей считает отношения между странами «враждебными»: американцев, считающих так, в 10—13 раз больше («Труд», 15.03.89).

Да задумайтесь наконец над этими цифрами! Довольно хихикать, слушая тех, кто обеспокоен ситуацией. Не закрывайте глаза на объективные факторы (прежде всего хронический дефицит теперь уже, кажется, всех товаров). Но и о субъективных помните. Пора говорить об ответственности журналистов за манипулирование общественным мнением по собственному произволу. Прекрасно рвение, с которым пресса разрушает «образ врага», но разумно ли с не меньшим рвением разрушать и образ защитника, образ хозяина дома. Напомню слова Ф. Достоевского: «В недоверии к себе мы доходили в эти годы до болезненных крайностей... до незаслуженного презрения к себе».

Правда, переключка с Достоевским хотя бы немного ободряет: значит, бывало подобное на Руси — и ничего, живем, говорим на русском языке. Достоевского читаем... Но тут же вспоминаешь о других параллелях. Читателю, наверное, памятливы отвратительные строки Д. Алтаузена о Минине и Пожарском: «Подумаешь, они спасли Расею. А может, лучше было б не спасать». Так вот я неожиданно обнаружил в редакционных материалах такую запись диалога деда и внука. Внук после показа очередного разоблачительного сюжета по телевидению спрашивает у ветерана войны: «Дед, а что же вы таких козлов защищали...»

Впрочем, обо всем этом лучше думать наедине с собственной совестью. Все равно в статье не дашь рецепт, как вернуть чувство национального достоинства многим и многим твоим согражданам...

Вернемся к прерванному разговору о тех, кто, убегая, не пожелал остановиться. Сейчас им... нелегко. Нелегко устоять перед восторгами корреспондентов, перед соблазном попробовать себя в роли пророка. И они все чаще сдаются — милостиво позволяют поклоняться себе. Да и сами с живостью записываются в предтечи.

«Оказавшись на Западе, — доверительно заявляет Владимир Войнович «нашему» Бенедикту Сарнову, — я много раз говорил публично, что после ухода с исторической сцены Брежнева и его команды в Советском Союзе неизбежно наступят серьезные перемены». Не правда ли, исключительно смелое пророчество? После этого можно по праву рассматривать происходящее в стране как результат собственного предвидения. Войнович эффектно бросает: «И вот они (напророченные перемены. — А. К.) наступили».

Но этого мало! Оказывается, Войнович кровно свя-

зан с перестройкой. Он сообщает, что, живя на Западе, написал сатирический роман «Москва 2042» — «роман-предупреждение о том, что будет, если нынешняя перестройка не удастся». Правда, с милым простодушием Хлестакова, еще только приравливающегося к роли режиссера, Войнович тут же роняет: «Впрочем, начал я его писать, когда никакой перестройкой еще даже и не пахло...» Так о чем же тогда роман? — волею спросить читатель, не потерявший способности анализировать. Ведь этак, пожалуй, и наследники А. Аверченко могли бы объявить его «прорабом перестройки»... Но ни Войновича, ни интервьюера, ни редколлегию «Юности» очевидная хронологическая накладка нимало не смущает.

И вот уже новоявленный предтеча поучает нас: «Сторонники перестройки не должны сидеть сложа руки» (можно было бы добавить — в Мюнхене, под боком радио «Свобода»). И с уверенностью Хлестакова, убедившегося уже, что любое, самое фантастическое его заявление встречается ликованием, провозглашает: «Может быть, это не очень скромно, но я уверен, что мои книги могут и должны способствовать этому процессу».

Вообще интервью с Войновичем в «Юности» — материал, способный изумить даже ко многому привыкшего читателя. В беседе с Б. Сарновым писатель утверждает: «В 1968 году я попал в черный список так называемых «подписантов»... Всех «подписантов» по крайней мере на некоторое время перестали печатать. А против меня почему-то были приняты еще более суровые меры. Меня не только не печатали, но прежние, уже напечатанные мои вещи... изымались из библиотек».

Дальше, как явствует из интервью, события развивались по нарастающей вплоть до отъезда за границу в 1980-м. Интервью было опубликовано в октябрьском номере «Юности» за 1988 год, и у меня, как, наверное, и у всех читателей, не возникло тени сомнения в истинности жуткой картины тоталитарных преследований. Но вот в январе 1989 года «КО» напечатало разворот, посвященный Войновичу. Здесь и его статья о Гроссмане, и статья Б. Сарнова о самом Войновиче, и библиография его книг, изданных в СССР. Читаем: «Повести.— М.: Сов. писатель, 1972; Степень доверия: Повесть о Вере Фигнер.— М.: Политиздат, 1972.— (Пламенные революционеры)». Официозные издательства, обеспечивающие наибольшие тиражи и гонорары! Вот тебе и не печатали, изымали книги...

В том же «КО» Б. Сарнов пересказывает — со слов Войновича — его разговор с В. Ильиным, бывшим секретарем Московской писательской организации и, как

сообщает газета, бывшим генерал-лейтенантом КГБ. Ильин уговаривал Войновича прийти на заседание секретариата СП. Тот отказался: «Выговоров ваших я больше не признаю. Я сам объявляю вам выговор». И что же? Грозный чиновник с генеральскими погонами под пиджаком смиренно отвечал: «Вот очень хорошо... Приходите. Вы нас покритикуете, мы вас покритикуем...» («КО», 1989, № 4). Как тут не вспомнить недавнее патетическое заявление И. Золотусского в «ЛГ» (1989, № 3) — речь шла и о Войновиче: «Я говорю как раз о тех писателях, перед которыми была поставлена альтернатива: или за колючую проволоку (в лучшем случае — полное молчание), или на Запад...»

Разумеется, я далек от мысли оправдывать политическое давление на ряд писателей в 70-е годы. Я не могу принять распространенную в то время практику публичных проработок, заканчивавшихся строгими выговорами, а то и исключением из союза по мотивам, далеким от творческих. Но справедливость требует различать *enfant-terrible* СП (который мог и на секретарей накричать, и книгу в Политиздате опубликовать) и подлинных страдальцев. Они, как правило, и в союз вступить не могли (членство — тоже мера поощрения). И кстати, будучи поставленными перед выбором — эмиграция или лагерь, они, как Анатолий Марченко, выбирали лагерь. Это не в укор Войновичу — для справки И. Золотусскому.

Вспоминаю и о замечательных критиках — Михаиле Лобанове и покойном Юрии Селезневе. В 1989 году Ю. Селезневу исполнилось бы пятьдесят. А умер он в сорок четыре года — вскоре после сокрушительной проработки в Союзе писателей. Ни Ю. Селезнев, ни М. Лобанов не были диссидентами, не передавали рукописи за границу. В советских журналах отстаивали достоинство литературы правды, горькой народной правды, достоинство родной культуры, ее всечеловеческое значение. И вот их-то никто не уговаривал прийти на секретариат проформы ради, никто не говорил: мы вас покритикуем, вы нас покритикуете. Их травил жестоко, беспощадно. Вытесняли из литературы. М. Лобанов после официального осуждения статьи «Освобождение» в 1982 году долгое время не имел возможности печататься (какой горькой иронией звучало название статьи, раз за разом повторяемое в публикациях громивших его критиков). А кампанию травли Ю. Селезнева не могла остановить даже его смерть. Чуть ли не в день похорон «Московский комсомолец» опубликовал гнусный фельетон — кощунствуя, автор рассказывал о злключениях «некоего» Селезнева.

Почему секретари-генералы и генералы-секретари

лебезили перед дерзкими «инфантами» и смело втапывали в грязь патриотов, это еще предстоит выяснить. Но если уж говорить о «мучительном выборе» (И. Золотусский), то надо честно сказать о том, кому приходилось труднее. И каяться нужно никак не М. Лобанову — только потому, что он остался на родине, не В. Распутину, не В. Белову, не В. Астафьеву, не Е. Носову, не тем, кто умер здесь, пока блистательные «инфанты» ревелись на радио «Свобода»...

Представляю, какое негодование вызовут у «приобщившихся» критиков и интервьюеров трезвые, суровые слова: «Добровольный отъезд сильно уменьшает право уехавшего судить и влиять на судьбу покинутой страны. Уехал — так и сам себя отрезал! Освободил себя от ответственности... так и от права». Однако от них не отмахнуться. Это слова А. Солженицына.

Что в багаже?

Не случайно И. Виноградов и И. Золотусский наперебой сообщали о появлении в «Юности» романа В. Войновича. Это первое крупное произведение писателя-диссидента, напечатанное в СССР. Не путать с русскими эмигрантами 20-х годов, чьи произведения, нередко уже успевшие стать классическими, публиковались в последние три года.

«Когда я читал роман В. Войновича, — повествует И. Золотусский, — то смеялся без удержу». Что же так насмешило маститого критика? «Войнович смеется над тем, что до сих пор еще оплакивается, окрашивается в тона трагедий». Подготовив читателя, Золотусский переходит к главному. Он восхищен м у ж е с т в о м автора, осмеявшего эпоху Сталина, «не страшась выставить под лучи смеха одно из самых трагических событий эпохи: войну...».

Войнович рассказывает о лете 1941 года. Начинает с первых дней июня. Советская Армия в его изображении до ужаса похожа на царскую, какой ее представляли в 20—30-е годы борцы с наследием «проклятого прошлого». Это загон для идиотов, злобных и подлых. В 20-е годы у пишущих был «мощный» довод — разоблачались порядки «старорежимной» военщины. Пропагандисты «Чонкина» тоже, видимо, вооружились неотразимым аргументом — автор изобличает сталинскую военщину. А в сущности тем и другим важно иное — унижить, вывалить в грязи защитников Отечества (недаром и само слово Отечество вызывает у них в лучшем случае иронию).

Тем, кого Войнович представил в образе обита-

телей зверинца, в реальной жизни пришлось первыми встать на пути германских дивизий. Добрые и злые, умные и глупые, вчерашние крестьянские дети и кадровые офицеры — они почти поголовно полегли летом 1941 года. Или ушли, вырываясь из коварных «мешков», на восток, чтобы вгрызаться в мерзлую землю под Москвой. Или попали в плен и умерли на лагерных нарах от голода, болезней, побоев. Константин Воробьев рассказал о них в недавно дошедшей до читателя повести «Это мы, Господи!».

«Чонкин» — не на армию памфлет. На мучеников. Так почему же и не посмеяться над ними, как предлагает хохочущий «без удержу» И. Золотусский?

А разве не смешны деревенские герои Войновича? Уморительно ревнующие своих баб к хрякам («Кабы у тебя с Борькой не было ничего, ты бы за него держаться не стала. Ему уж в обед сто лет, давно на сало пора, а ты его все бережешь»); потешно тузящие друг друга из-за соли, мыла и спичек — сразу после того, как узнали о начале войны. Эту сцену Войнович выписывает со вкусом, не скупясь на детали: «...сбившись в один клубок, представляя собой многорукую и многоногую гидру, которая гудела, дышала и шевелила всеми своими головами и конечностями, как бы пытаясь вырвать что-то из собственного нутра. Отдельные люди были заметны частично и лишь в перепутанном виде. У председателя колыхнулись на голове редкие волосы, когда он увидел у вылезавшего из кучи Степана Фролова женские груди, которые при дальнейшем рассмотрении оказались принадлежащими Тайке Горшковой. Две разведенные в стороны ноги» и т. п. еще на половину журнального столбца («Юность», 1989, № 1).

Осмеяние эпохи Сталина, разоблачение машины принуждения? Полноте! Об этом в «Чонкине» не так уж и много сказано. Главный объект осмеяния здесь иной — русский человек. Русский народ. На него, как тяжкая ноша, повешена вся эта длинная цепь сочленяющихся анекдотов (анекдот-монстр на три журнальных номера!).

Сцена, о которой я говорил, заставила дрогнуть даже восторженное перо рецензентки эмигрантского журнала, писавшей о «Чонкине» сразу после его публикации на Западе: «Было в эти дни и огромное народное горе, прощанье матерей и жен с уходившими на войну сыновьями и мужами; были тысячи добровольцев, готовых встать на защиту родной земли... Но в романе Войновича, претендующего на значение своеобразной сатирической эпопеи, ни единым штрихом не помянуты ни эти добровольцы, ни звучащий по ночам в деревне вой матерей, при-

читавших и оплакивавших своих забритых в солдаты ребяташек» («Вестник РХД», 1975, № 115).

На далекой земле помнят о великой народной беде. Неужели на нашей забыли?

Что же мне подсовывают сентиментальную историю о благородном писателе, которого выжили с родной земли брежневские бюрократы? Бюрократы, конечно, не сахар, но ведь в данном случае это только внешний повод для эмиграции. Да при таком отношении к народу автору, должно быть, нестерпимо было встречаться на улице со всеми этими дикарями.

Зачем на бюрократов кивать, когда впору, по древнему обычаю, отряхнуть сандалии на границе этой земли. Эмиграция тут закономерна. Удивительно было бы возвращение. Впрочем, Войнович и не говорит, что собирается назад. Он лишь снисходительно позволяет нам читать свои книги и смеяться «без удержу». Над теми, кто родил нас. Над теми, кто нас защищал.

Характерно это стремление подменить трагедию анекдотом, привычка корчиться и гримасничать, говоря о России... Таких вот корчащихся раньше выводили из храма, полагая, что это помраченный дух беснуется при виде святынь. Не тот ли симптом обнаруживается и у наших пересмешников, говорящих о народных святынях?

В 1989 году журнал «Октябрь» познакомил нас с еще одним анекдотом (опубликовав далеко не самый выразительный фрагмент) под названием «Прогулки с Пушкиным». Автор — Андрей Синявский. Как и предыдущие свои работы, он подписал «Прогулки» псевдонимом Абрам Терц. Не буду пересказывать скабрзности и гнусности, марзаматические словообразования от имени Пушкина, на кои столь щедр автор. Для того и старался, чтобы их, возмущаясь, повторяли. Повторишь — и запачкаешь язык, и душу, как в дерьме, вываляешь.

Зачем написан этот пасквиль? Казалось бы, само имя Пушкина способно объединить в едином духовном порыве признательности и любви представителей всех направлений русской литературы. Абрам Терц проговаривается: «Да так ли уж велик ваш (разрядка моя.— А. К.) Пушкин, и чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?»

Паясничанье, конечно. Терц прекрасно знает, чем знаменит поэт. То-то его и бесит. Показательно это «ваш» — о Пушкине. Да, он — наш. Для любого русско-го — наш. И если кто-то говорит о Пушкине, как Абрам

Терц, значит, сам он действительно — «по ту сторону». Не только за государственной границей — вне русской культуры.

А чем знаменит Пушкин, автор все-таки скажет: «Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет, а так как он писал обо всем, не найти в мире более доброжелательного писателя. Его общительность и отзывчивость, его доверие и слияние с промыслом либо вызваны благоволением, либо выводят это чувство из глубин души на волю с той же святой простотой, с какой посылается свет на землю — равно для праведных и грешных. Поэтому он и вхож повсюду и пользуется ответной любовью. Он приветлив к изображаемому, и оно к нему льнет».

Да ведь это же «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет», — воскликнете вы, вспомнив гениальное гоголевское прозрение о Пушкине. Терц перечисляет лучшие черты русского человека, всего народа нашего. Он справедливо находит их в Пушкине. Вот за это и ненавидит. Да и не он один. Разве Геккерен и Дантес готовили убийство, оскорбившись пушкинским письмом? Этих людей ничем нельзя было оскорбить. Убили именно потому, что видели в Пушкине «русского человека в его развитии».

Не случайно и понимание, с каким Терц оправдывает убийцу. «Может, не случайно стрелял человек, доведенный до крайности, загнанный поэтом в тупик (разрядка моя.— А. К.), в безвыходное положение. Потому что сплетню, которая свела его в могилу, первым пустил поэт». Это больше чем литературоведческая версия. Это сообщничество. Терц не останавливается перед откровенным мошенничеством. «Свела его в могилу» — речь о жертве. Об убитом Пушкине. Но Терц закручивает словесную конструкцию так, что можно подумать, будто в могилу лег убийца — «человек, доведенный до крайности», и т. д.

Мертвый Пушкин становится навязчивой идеей автора «Прогулок». «Все они, — характеризует Терц пушкинских героев, — нетленный Димитрий, разбухший утопленник, краснотелый вампир, качающаяся, как грузик, царевна, несмотря на разность окраски, представляют вариации одной руководящей идеи — неиссякающего мертвеца, конденсированной смерти». Еще одно усилие — убедить и нас в том, что этот «неиссякающий» — сам Пушкин: «В результате на детский вопрос, кто же все-таки периодически стучится «под окном и у ворот»? — правильнее ответить: Пушкин».

Даже то заботливое «смотрение», ту духовную опеку, которой пушкинский гений осеняет новые и новые

поколения творцов, автор «Прогулок» силится представить как игры «жмурика», высовывающегося из-за спин новых талантов «с подсказками и шпаргалками».

Книга Терца вызвала в прессе русского зарубежья много гневных отзывов — «Колеблемый треножник» А. Солженицына, «Терцированный Пушкин» С. Жабы, «Прогулки хама с Пушкиным» Р. Гуля (автор похихикал над ними, воспользовавшись отнюдь не заграничной трибуной — в органе «общества любителей книги» — «Книжном обозрении»!). А. Солженицын считает, что написать книгу Терца побудило стремление, которое сам автор «Прогулок» с присущей ему русофобией приписывает русскому человеку, — нагадить на видном месте. Напакостить на святыню. Видимо, Солженицын не далек от истины. Так же как и рецензент «Вестника РХД», охарактеризовавший писания Терца как «покушение на духовное убийство Пушкина».

Думаю, эти критические разборы представляют большую духовную ценность, чем книга Терца. Почему бы «Октябрю», напечатавшему «Прогулки», не опубликовать и отзывы критиков? Неужели слово запоздалого сообщника убийц Пушкина будет окончательным? И где — в Москве, где родился гений, в год его 190-летнего юбилея!

Нет, эта возвращающаяся литература никак не укладывается в формулу «пересмотр недавнего прошлого». Здесь не боль за оскудение народной жизни — ненависть к самой этой жизни, к ее истокам и вершинным проявлениям. В этом коренное отличие эмигрантской литературы «третьей волны» от созданного И. Буниным, И. Шмелевым, А. Ремизовым. Перечитайте бунинские «Темные аллеи», только что изданное «Лето Господне» И. Шмелева. Какая любовь к России! Воскрешающая каждую невидимую из Парижа лесную тропку, каждый извив с детства дорогой реки, смолкший на родине, но все еще отдающийся в сердце колокольный гуд и трезвон, шумный говор былых базаров. Да это и есть цель подлинной литературы — любовное воссоздание пережитого. Просветление образа мира («Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен», — завещал художникам всех времен А. Блок). Воскрешение павшего человека.

В суете сегодняшних литературных споров мы забыли об этом великом предназначении художественного слова. Не нами данным. Не понятом нами так же, как и суетливыми «властителями дум», пытающимися «сделать имя» на народной трагедии. Скажу об этих доморощенных витиях, прежде чем вернуться к их отъехавшим на

Запад коллегам. Как будто о таких слова Петра Вяземского, написанные столетие назад о современной ему французской литературе: «История, роман, поэзия, все это перегорело в политический памфлет разных видов, целей и размеров... Во Франции о литературе даже почти не упоминается. Это слово вытеснено другим: la presse, то есть печатность. Выражение материального значения заменило выражение, имевшее более нравственное значение... Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник».

Кстати, после этого «праздника» литература Франции, как неоднократно признавали сами французские писатели, так и не возродилась, не достигла классического уровня.

Не тот ли праздничный угар кружит голову и нашей публике, побуждая принимать «Детей Арбата», «35-й...», «Жизнь и судьбу» за «шедевры», достойные занять место рядом с эпопеей Толстого? В этой-то обстановке не вызывает негодующих протестов и литература «третьей волны». Хотя, убежден, в той же Франции публикация пасквиля на выдающегося национального писателя, скажем Бальзака, вызвала бы шумную кампанию протеста.

А нам и этих «шедевров» мало. Глубже и глубже хотят ухватить испытующими перстами. О сорок первом — не больно? О Пушкине — все еще нет? Так вот вам слово поношения всей России. Сегодняшней и вчерашней. России как таковой: «...Взгляни, взгляни туда, куда глядеть не стоит. Там хмурые леса стоят в своей рванине. Уйдя из точки «А», там поезд на равнине стремится в точку «Б». Которой нет в помине. Начала и концы там жизнь от взора прячет. Покойник там незрим, как тот, кто только зачат... Там лужа во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка-мать выводит дочку в скверик... Зимой в пустых садах трубят гипербореи, и ребер больше там у пыльной батареи в подъезде, чем у дам. И вообще быстрее нащупывает их рукой замерзший странник. Там, наливая чай, ломают зуб о пряник. Там мучает охранник во сне штыка четырехгранник... Там при словах «я за» течет со щек известка. Там в церкви образа коптит свеча из воска. Порой дает раза соседним странам войско. Там пышная сирень бушует в палисаде. Пивная целый день лежит в глухой осаде. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади... Других примет там нет — загадок, тайн, диковин. Пейзаж лишен примет и горизонт неровен. Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен». Стихотворный путеводи-

тель по России Иосифа Бродского. Путеводитель, где вместо явлений и примет пустоты серых пятен. Длинно (я еще сократил раза в три стихотворение)? Занудно? Да. Но еще и исполнено какой-то скучающей ненависти. Не яростной, ее, пожалуй, можно было бы понять в Бродском. Именно — скучающей, какую у людей почти не встретишь. Полное отрицание — не только штыка охранника, не только ритуального «я за». Отрицание и свечи перед иконой, и матери-одиночки с дочкой в скверике, и русского пейзажа, и русских смертей и рождений. Поистине — «туда глядеть не стоит».

Я не намерен анализировать творчество И. Бродского. Не стану размышлять о причинах шумного успеха на Западе, поднявшего его на кафедру нобелевского лауреата, с которой он в очередной раз бранил Россию. Видимо, члены жюри и впрямь не разбираются в поэзии, как заметил по поводу «нобелевского феномена» Бродского другой поэт-эмигрант — Наум Коржавин.

В молодости Бродский — провинциальный подражатель раннего, 900-х годов, символизма («И выезжает на Ордынку такси с большими седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками»). В зрелом возрасте — среднеамериканский поэт. Зеев Бар-Селла, автор панегирика Бродскому в тель-авивском журнале «22», неосмотрительно точно охарактеризовал его стиль: «Неприятно останавливает очевидный лексический произвол, более схожий с насильственным заполнением пространства первыми попавшимися словами, чем со словарными поисками» (1982, № 23). Как после такой характеристики израильский журналист может хвалить Бродского — другой вопрос. Разве что из солидарности... А быть может, это тоже часть феномена Бродского — человека, первым из «третьей волны» поспешего к пирогу мировой славы.

Впрочем, повторю: «загадка» Бродского меня не интересует. Обширную выписку из его стихотворения я привел лишь для того, чтобы у читателя не было иллюзий по поводу отношения автора к нашей земле и нам самим. Думаю, об этом следовало бы узнать, прежде чем, посылая голову пеплом, каяться перед Бродским и наперебой звать его в обе столицы, как говаривали в старину.

Для тех же, кому не хватило терпения прочесть длинную цитату, приведу всего одну строчку. Все на ту же тему: поэт и Россия. «Страна, эпоха — плюнь и разохни!» Выразительно и недвусмысленно. Вот бы и подумать — стоит ли нам с помпой ввозить из-за границы продукт, образующийся в результате этой нехитрой операции?

В поисках утраченной человечности

Тетенька спрашивает ребенка: «Кого ты больше любишь, маму или папу?» — и случайный свидетель стыдливо отводит глаза. Почему же мы, взрослые люди, жизнь свою можем растрачивать в бесконечных ристалищах: «Народ или Культура?», «Свобода или Ответственность?», «Милосердие или Духовность?» Почему мы вечно позволяем ставить себя в положение того самого ребенка? Или не научены еще историей, или не подсказывает нам жизненный опыт, куда заводят подобные антитезы? Говорят, в оны годы на вопрос тетеньки смышленные детишки отвечали: «Сталина!» Порой мне кажется: наши жаркие споры сведутся к тому, что однажды мы изберем окончательный ответ, хором восславим «Твердую руку», оставим «Свободу» и «Народ» для кухонных беседований, а на страницах периодики затеем дискуссию... ну, скажем, о правилах хорошего тона. Вроде той, что блестяще описана в романе Войновича о солдате Иване Чонкине. Помните: «Подводя итоги дискуссии, газета поблагодарила всех, принявших в ней участие, пожурила

учительницу и Кныша за крайности и в конце концов заключила, что само существование столь различных точек зрения по данному вопросу свидетельствует о серьезности и своевременности поставленной Неужелевым проблемы, что от нее нельзя отмахиваться, но и решить ее тоже непросто». Желаящие смогут поступить так же, как Мыслители из романа Войновича, то есть, напрягая до крайних пределов эрудицию, попытаться в частных беседах открыть смысл того, что заведомо смысла не имеет.

Ничего фантастического в таком повороте дела я лично не вижу. Спорить до хрипоты в годы молчания мы умели, не худо бы научиться сейчас — в годы гласности — обходиться без обязательной сортировки писателей, критиков, философов, без набивших оскомину обойм, без прямолинейных противопоставлений. Тогда только появится у нас реальная надежда на нормальное функционирование культуры. Я имею в виду отнюдь не «культуру полемики»: о том, что передергивать факты, хамить оппоненту и наклеивать ярлыки — дело дурное, спорить не приходится. Я имею в виду и не всеобщую благость — не так наивен, чтобы мечтать о братании «Молодой гвардии» с «Огоньком»... Я имею в виду изначальную установку на доверие к писателю и к литературе.

Доверять писателю — значит слышать его живое слово, вглядываться в его необыкновенный мир, пытаться усвоить его неповторимую логику. Доверять литературе — значит ведать о том, что она — литература — большая, что в ней хватит места для разных художников, и коли художники эти своим делом занимаются, а не гонят строку в надежде на гонорар, то обязательно найдутся у них точки соприкосновения. Да, литературу делают разные люди. К примеру, Войнович и Владимов сильно непохожи друг на друга. Но все же — и это сейчас для меня важнее — литературой становится лишь то, что написано людьми, а не нелюдьми. И чем разительнее контраст, чем отчетливее полярность, тем больше хочется мне найти общее — почву и судьбу, без которых нет живой словесности.

Повесть Георгия Владимова «Верный Руслан» и роман-анекдот Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» словно бы идеальная контрастная пара: трагедия и комедия, серьезность и ирония, тяжесть и легкость — все как на ладони. Кажется, что критику только и дела, что раскручивать одну за другой антитезы, вновь и вновь сталкивая стилистические манеры, мировоззренческие установки и литературные традиции, коим следовали Владимов и Войнович. Ну а в конце концов можно сформулировать какой-нибудь вывод. Например, такой: «В то время как в мрач-

ном, словно лишенном воздуха и света, страшноватом в своей безысходности мире Владимова безраздельно царит смерть, не оставляя надежды ни одному из героев, а стало быть, и читателю, мир Войновича поистине светел, и, прощаясь с его книгой, мы верим последним словам удивительного солдата Вани Чонкина: «Не плачь, Нюрка! Я еще вернусь!»

А можно и совсем другой: «В то время как дергающийся марионеточный мирок Войновича разваливается на глазах у читателя, не перестающего удивляться, сколь много яду может таиться на сравнительно небольшом количестве страниц, космос Владимова, твердо стоящего на позициях подлинной человечности и духовности, навсегда остается в наших благодарных сердцах. Глумлению Войновича надо всем на свете — в том числе и над нашими святынями — мы можем решительно противопоставить веру, надежду и любовь Владимова».

Знакомые мотивы, не правда ли? Очень даже вероятно, что услышим мы их наяву. Первый пройдет под сурдинку и, возможно, с легким смущением, скорее всего даже и высказан впрямую не будет; зато у второго большое будущее. Не надо быть профессионалом в литературной политике, чтобы угадать, откуда послышится эта песня. За последние годы нам ее исполняли не раз и не два, то громче, то тише противопоставляя: Ключева — Мандельштаму, Шаламова — Гроссману, Дудинцева — Рыбакову, Шмелева и Зайцева — Набокову, а в последние месяцы — Солженицына — всем прочим писателям-нонконформистам брежневской эры. Спекуляции такого рода возникают с неизбежностью природных явлений и прельщают весьма многих. Противопоставление упрощает реальность, а всем нам очень хочется, чтобы если уже не сама жизнь, то хотя бы мысль о ней стала попроще. Устали мы от путаницы, от противоречий, от постоянных перепадов в общественном сознании. Ясности нам хочется — и как можно скорее. И беда ли, коль мы в погоне за этой самой ясностью промчимся мимо какого-то писателя, художника, мыслителя, чей голос звучит не так, как нам бы хотелось? Ну какая же беда? Мы ведь обрели истину, мы ведь водрузили пророков ее на должные пьедесталы, мы ведь наконец-то у цели — и Бог с ними, «несозвучными»! А лучше даже — пропади они пропадом! Зачем они лезут со своим «народом» к нам, знающим, что самое главное в жизни — это «свобода»? Почему они пристают к нам со своей «свободой», когда каждому ясно: нет ничего важнее «милосердия»? Отчего они носятся со своим «милосердием» в то время, когда каждому нормальному человеку понятно: все дело в «культуре». Далась же им эта

«культура» — решили ведь раз и навсегда: наша святая — «народ». И так далее...

И все-таки об общности. Не в том даже дело, что «Верный Руслан» и роман о Чонкине начинались в одно время (1963 год — первая дата под текстами Войновича и Владимирова), завершались в иной ситуации (1970 и 1974 годы), долго не допускались к печати на родине авторов, коим пришлось отправиться в изгнание вслед за своими книгами, а к широкому читателю¹ пришли почти одновременно. Все это можно было бы назвать «внешними обстоятельствами» (но почему-то не хочется). Дело в другом: в той поглощенности самыми жизненно важными вопросами, которая ощущается и в повести о лагерной собаке, и в романе о бедолаге-солдате, в той внутренней дерзости, той решимости идти до конца, не боясь противоречий, что слышится и в «классической» прозе Владимирова, и в простодушной болтовне Войновича, в той страсти, с какой ведут свои монологи авторы, в той художественной яркости, что подчиняет себе читателя.

О чем эти книги? Да все о том же: о народе, свободе, милосердии — о власти, варварстве, бездушии. Но как далеки их авторы — при всем несходстве стилистических манер и мировоззренческих установок — от однозначных решений, от железобетонной логики приговоров, от нетерпимости. Те, кто услышит в «Руслане» лишь проклятие «миру двуногих, пропахшему жестокостью и предательством», те, для кого в «Чонкине» будет звучать лишь желчный смех над солдатами, интеллигентами, райкомовцами, мужиками, работниками учреждения и тов. Сталиным И. В. лично, обворуют самих себя вне зависимости от того, «понравятся» им или «не понравятся» книги Владимирова и Войновича.

Книги эти писались долго — не надо читать их быстро.

А ведь трудно поверить, что «Верный Руслан» писался (обдумывался, отлеживался, переделывался) десять с лишним лет, что в десятилетие это Владимирова создал «Три минуты молчания», что уже в 1963 году автор «Большой руды»² задумывался над судьбой лагерной собаки. Ведь кажется проза эта, густая, словно образцовые стихи, лаконичная и конкретная, где слово к слову, предложение к предложению, абзац к абзацу пригнаны

¹ «Узкий» читатель отсмеялся и отплакался, перефразируя Войновича, КОГДА НАДО. Кое-кто из этой категории успел побывать за свой смех и слезы ГДЕ НАДО.

² Пятнадцать лет назад «Большую руду» рекомендовали читать десятиклассникам по теме «Рабочий класс в современной литературе». Так я ее и прочел.

так, что не оторвешь, где всплески авторского голоса не вырываются, но словно рождаются из обстоятельного и свободного рассказа, где души людские и души собачьи выходят на встречу с читателем, как на Страшный суд, от которого ничего не скроешь; где ужас обыденен, а обыденность давит, и давит — так что, того и гляди, сам завоюешь, как Руслан при виде луны, — так вот, проза эта кажется (иного слова не подберу) «нерукотворной». Словно всегда была она — одноприродная, цельная и живая, как церковь,строенная без единого гвоздя, народная поговорка или дремучий лес. И только потом вспомнишь, что церковь строилась долгие годы, лес возрастал веками, а фольклор — ровесник лесам. И только заставив себя все это вспомнить, смиришься с тем, что повесть-то как раз р у к о т в о р н а, что оттого и цельна она, что писалась долго и трудно.

Мелькавшие в печати сведения о творческой истории «Верного Руслана» скудны. Известно, что первый вариант Владимов показывал Твардовскому, что тот отнесся к работе взыскательно и, видимо, понял, что «история караульной собаки» может стать большим литературным явлением, если автор еще поработает, «разыграет» своего пса. Деталь эту поведает нещедрым на рассказы о себе Владимов, и объясняет она, как и любой писательский автокомментарий, не слишком много. Видимо, сейчас не стоит говорить о том, как менялась со временем повесть о Руслане, — стоит лишь отметить: это был долгий и, наверное, нелегкий процесс. И тяжесть долгих раздумий, медленного проворачивания темы ощутима, несмотря на то художественное единство, о котором уже шла речь.

Впрочем, почему же «несмотря на...»? Именно уверенность письма, серьезность тона и ответственность за каждое слово позволяют расслышать пульс тех неразрешимых вопросов, что бьется в прозе Владимова. Писатель постепенно приучает нас к тяжести — не только к тяжести картин, хотя есть в повести и голод, и холод, и боль, и унижение, и звериная жестокость, и предательство, — но и к тяжести мысли. Как просто было бы нам без постоянных загадок, что возникают по ходу чтения, без той мучительной неразрешимости, от которой никуда не может и не хочет уйти Владимов!

«Что вы сделали, господя!» — восклицанием из горьковских «Варваров» открывает свое скорбное повествование Владимов, и мы, прочитав первые страницы, войдя в рушащийся мир ликвидированного лагеря, вслушавшись в вой отставленного от Службы Руслана, проникаемся все больше и больше той болью, что шумит в этой фразе. «Что вы сделали, господя!» — это как горчица, сжигаю-

щая глотку и небо собаки, как игла, воткнутая в ее ухо, как удары, что сыплются и сыплются на Руслана, на лагерников и вновь на Руслана, как безумный вой, что затевает в первой же фразе повести пурга, а подхватывают то Руслан, то Ингус, то другие четвероногие. «Что вы сделали, господа!» — повторяем и повторяем мы, не слишком вдумываясь в смысл эпитафия, который пока лишь жжет, бьет, давит, терзает нас, разливается волной боли, не оставляющей места для раздумий. Но вот ближе к концу повести, когда главные лагерные ужасы (счастливые воспоминания Руслана) уже пройдены, когда с оставленностью пса мы вроде бы свыклись, а к его подконвойному по кличке Потертый успели прикипеть душой, когда страшное возмездие — последний бой Руслана с его отчаянием, безнадежностью и бессилием — еще впереди, мы вдруг спотыкаемся на фразе, звучащей отголоском эпитафия. Сожительница Потертого Стюра трезво поминает прошлую жизнь, развеивает иллюзии бывшего зэка («...пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — оперу, сообщить...») и завершает свое чуть гротескное покаяние словами: «Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо».

«Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?» — мучается Потертый. Да кто ж эти самые господа, что такое сделали? — мучаемся мы. Стюра отнекивается, а вопрос Потертого сдвигает такую вроде бы ясную картину. Не о Руслане же речь идет — о людях. О людях, из которых сделали гнид, заставили быть подлецами и предателями, у которых отняли человечность. Стало быть, во всем виноваты хозяева — «вологодский», при котором был Руслан, «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца», ну, и, конечно, он — «живоглот любимый», который «такое учудил, что двум Гитлерам не снилось». А раз виноваты «хозяева», раз пес Руслан и тетка Стюра в одинаковом положении — могли бы быть «хорошими», стали «плохими», прошло время, Стюра во всем разобралась, ну, а собакам, ясное дело, труднее, — раз так, то перед нами простая притча. И собачья шкура Руслана и его «коллег» нужна лишь для «маскировки». И вопрос Владимирова, позаимствованный у Горького, приобретает примерно такую огласовку: «Что вы — палачи, убийцы, живоглоты из сталинского выводка — сделали с нашим народом?» Так?

Так, да не совсем. Потому что будь так, не понадобилась бы Владимову третья вариация уже отзвучавшего мотива. На стремительном движении повести к финалу писатель вдруг оборвал внутренний монолог Руслана для того, чтобы вновь загрелили «последние» вопросы, правда звучащие уже утверждениями: «Господа! Хозяева жизни!

Мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жестокие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают». Наши постромки. Не «вологодского», не зверя-капитана, не товарища Сталина — наши. И не ради пущей красоты рисует Владимов ночь, словно напоенную древним, мифологическим ужасом, поминает те правремена, когда судьба свела собаку с двуногими. Тайна Руслана не равна тайне безвинно осужденных или вынужденно отступивших от своей человеческой сущности людей. Тайна Руслана — тайна зверя, которого и скалечили эти самые люди.

Когда «вологодский» глумится над верным псом, это не еще один штрих к портрету отрицательного героя. Когда Потертый вынужден добить умирающего Руслана, это не еще один штрих к портрету героя обаятельного. И вовсе не случайность, что тот же Потертый не пошел с Русланом на охоту, не сумел проникнуть до конца в его душу. Мир нынешних людей и мир собак разделены навек, мир нынешних людей — это мир собачьей смерти. Сука, равнодушная к смерти своих щенков, знала: участь «сохранившего себе жизнь» для Службы Руслана не лучше. Это знали Ингус и инструктор, удивительные двойники, стоящие на грани миров людского и собачьего и оттого погибшие. «Уйдемте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного враги!» — так лаял превратившийся в собаку, прячущийся от бесчеловечного мира людского инструктор. Все враги — лагерники и конвоиры, «добрые» и «злые». В мире, где есть зло, — нет места добру, оно слабо, бессильно, смехотворно, как подвыпившие Потертый и Стюра. Мир этот может лишь отпустить постромки, перевести людей из эзков во «временно освобожденные», как говорит ефрейтор, ставший сержантом, Потертому, распивая с ним водочку. И ведь Потертый с сержантом пьет, словно бы признавая его злобную логику.

Зло входит в состав души едва ли не всех героев повести, зло караулит их на любом повороте судьбы. Чудовищна Служба Руслана, но чудовищно и его единственное безумие, участие в «собачьем бунте», затеянном Ингусом. Набрасываясь на страшный шланг с ледяной водой, собаки вовсе не ощущали себя свободными и счастливыми. Страх и стыд смешаны с безумием. Страх и стыд вечно держат в тисках желтоглазых, натренированных на ненависть «друзей человека». «Друзья человека» — можно ли лицемернее сказать о тех, кого мы так часто прези-

раем и боимся, презираем и боимся потому, что знаем: на самом деле собак — друг хозяина. И даже не друг — какие у хозяев могут быть друзья? У хозяев бывают только рабы.

А как же тогда с видениями Руслана, с теми грезами, в которых царит никогда не пережитая караульным псом любовь «то к пастухам в черных косматых шапках, то к ребятишкам, то к этому узкоглазому плосколицему охотнику»? Руслан видит то, чего лишил его мир двуногих. И это не участь других, более счастливых собак, которым повезло пойти по «охотничьей» либо «пастушьей» стезе. Это мечта о рае, о том пространстве, где не может быть зла вовсе, где людям нет надобности травить друг друга собаками, называть друг друга «сукиными детьми», а свою жизнь — собачьей.

Рай, к которому рвался испугавшийся тоскливого света луны Первый Пес, обернулся адом, ибо жили в нем люди, вкусившие зла. Звериному космосу первобытия, в который нет и быть не может возврата, противостоит не рай согласия, но озверевший человеческий мир, в котором древние страшные инстинкты стали уже не инстинктами, а законами, Зверем называет Владимов Руслана, но куда Руслану до «Главного хозяина», о котором верные подчиненные говорят: «конечно, справедливый (вот он закон! — А. Н.), но зверь». Либо: «все ж таки зверь, хотя справедливый».

Закон, справедливость «Тарща Ктана» — это лагерь и проволока. Сквозь всю повесть идет этот мотив, байки и анекдоты наливаются тяжелым смыслом, шутки оборачиваются кошмаром. Освобождение — это побег, невозможность для Потертого вернуться домой, — это привязанность к тюрьме: мир без проволоки немислим. Анекдот о собачьем эскорте, встретившем строителей, оборачивается трагедией, дурашливое шествие завершается страшным побоищем, мало отличающимся от лагерных. Неужто и впрямь мир наш — лагерь? Не у одного Владимова остроты на этот счет наливались свинцовой тяжестью. Вслушиваясь в мечты Руслана о том, как вернувшиеся из побега лагерники сами обнесут свою замечательную зону проволокой, поневоле вспомнишь «шуточную» песню Галича о Климе Петровиче Коломийцеве. Уговаривая в разных инстанциях присвоить его цеху звание «цеха коммунистического труда», герой Галича среди прочего напирал на то, что «Мы ж работаем на весь наш соцлагерь». В конце песни выяснилось, что образцовая продукция цеха — колючая проволока, и прежние речи Клима обретали дьявольскую двусмысленность, которой сам Клим, естественно, не замечал.

Не замечают своего рабства, боятся сознаться в нем и герои Владимова. Лишь порой проговариваются они, как Стюра, либо посылают друг другу странные флюиды. Так междометиями выговаривает свое отчаяние не сумевший отбыть на родину Потертый. Так задыхается от пустой и беспредметной злобы бывший ефрейтор, а ныне сержант. Так многолетней тоской озвучивает свой диалог с колонной строителей белоголовый старик: «Вы, такие, откуда сгреблись-то?..»

Из того, что все надежды в повести воплощения не обретают, еще не стоит делать вывод о полной безнадежности. Злоба «вологодского», его уверенность в том, что он с Русланом еще потребуется, — тоже не последнее авторское слово. Да и то, что злится конвойный, что глушит он свою опустошенность водкой и глумлением над Русланом, вовсе не знак безраздельного торжества хозяев. Мало-помалу люди поняли, что они натворили. Не поняли другого — как далеко зашли, как глубоко въелось в них злое начало, как тяжек путь к свободе, к «самостоянью человека».

Да, в повести Владимова нет свободных и безвинных — лагерная жизнь корежит человека, лагерное существование искорежило душу страны. Но надо обладать железной логикой «справедливых, но зверей» — хозяев, чтобы признать эту ситуацию тотальной и неизменной и радостно восславить мир за проволокой. Потертого лагерь ломал, Стюру превратил на время в «гниду», инструктор отдал весь свой божественный дар на службу злу, по сути дела, предал своих любимых псов, но язык не повернется поставить их на одну доску с хозяевами, нелюдью, сгустками пустоты.

«Пожалей конвойных!» — сколько раз мы слышали это за последние годы. «Пожалей, он был честным, просто выполнял приказ, его обманули, запутали, он думал, что и вправду арестовывает, стережет, давит, гнет, бьет, пытается, убивает врагов народа! Пожалей конвойного — хватит плакать по зэкам, они были не лучше!» — не пожалел Владимов конвойного. И товарища Сталина — Хозяина, пришедшего к Руслану в смертный час («кто-то другой, совсем без запаха и в новых сапогах... Но рука его была твердой и властной»), тоже не пожалел. У «вологодского» нет индивидуальности, нет лица, нет характера — он весь лишь «мерзкая плоть», ибо лицо есть зеркало души, а здесь отражать нечего. У последнего Хозяина даже запаха нет, это чистое отрицание неповторимости человека, это абсолютная идея зла — того зла, что сорвется с цепи и помчится по миру, ощутив высшую награду

в заветных словах, с которыми слился безликий хозяин: «Фас, Руслан!.. Фас!»

Есть ли драма у ядовитой стрелы, с которой рассылет гибель «к соседям в чуждые пределы» князь из «Анчара»? Повесть об отравленной стреле еще не написана, но метафора «стрела, рвущаяся к цели», существует. Руслан — такая стрела, его отравили ядом ненависти, той ненависти, что выработана не им — двуногими. Поэтому не надо уговаривать себя — Владимов-де написал притчу о сталинской эпохе, за собаками скрываются люди. Нет — люди мучаются, нелюди — злятся, а собака остается собакой. В отличие от людей, слышавших слово Бога и принявших в душу зло, Руслан воистину безвиновен, и его горькая участь, его страшная история — не индульгенция конвойному. Захотел бы Владимов написать о драме бывшего охранника — написал бы. Совсем другую историю.

Так что же, может, правы те любители собак, что восхищаются точным знанием их повадок, описанием собачьих нравов и, прищелкивая языком, сравнивают Джульбарса с Альмой? Может, действительно это история о том, как собаку злые люди замучили? И об этом. Но все же в первую очередь о том, что люди, мучающие других людей, люди, отказывающиеся от души и совести, люди, переставшие быть людьми, непременно погубят все живое. Как погубили Руслана, как «отвели за проволоку» — убили — Ингуса (вот он, мир — лагерь, «за проволоку» — значит, в небытие).

Зверь почти никогда не нападает на человека. Руслан и его команда несут свою Службу. Река не будет травить людей, если они не отравили ее прежде. Поля не будут рождать монстров, если их раньше не убьют химией, неправильной вспашкой, «мелиорацией» или еще чем-нибудь. Природа напитывается нашей мерзостью, нашей вывихнутостью — и мстит. Мстит страшно — и прыжок Руслана, его кровавый оскал, его издыхающая ярость — предвестье. Предвестье тех катастроф, что мы выковали своей бесчеловечностью. «Что мы сделали, господа!»

«Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденеющие дали, на острия этих звезд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерел. Где бы одни узники с помощью других не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы». Господи, во что же превратилась наша земля, толстовский «мир», открывшийся во всем величии своем плененному, но просветленно-свободному Пьеру Безухову,

помним ведь еще: «Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь, — сказал старичок учитель».

«Вот смерть», — хочется сказать, глядя на космос, явленный Владимовым. Там, где прежде в середине был Бог и каждая капля стремилась «расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его», царят разделенность, подозрительность, несвобода, говоря словом Толстого, «война», то есть «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Исполосованный и замордованный мир наш назван Владимовым «шариком» — и в повести, где Трезорки и Кабысдохи, Эрны и Гильзы, Русланы и Джульбарсы играют не последнюю роль, двусмысленность словца «шарик» не может не ощущаться. Это ведь не только самая популярная собачья кличка, это ведь и имя того бедного пса, в которого по ошибке вселили не душу — бездушные одного из двуногих, что правят и правят свой бал, — имя булгаковского пса, вовсе не повинного в грехах Клима Чугунова (Шарикова). Когда весь мир становится «шариком», землей шариковых, остается только провить: «Ну почему у нас жизнь собачья?!» И не о том ли думал Иосиф Бродский, завершая одно из самых горьких своих стихотворений апокалипсическим периодом, звучащим как цитата из «Верного Руслана». В ней есть все: белый, мертвящий снег, исчезающие звери, пропавшие люди, одинокие собаки и тот же плачущий каламбур:

В стратосфере, всеми забыта, сучка
лает, глядя в иллюминатор:
«Шарик, Шарик! Прием. Я — Жучка».
Шарик внизу, и на нем экватор,
Как ошейник. Склоны, поляны, овраги
Повторяют своей белизною скулы.
Краска стыда вся ушла на флаги.
И в занесенной подклети куры
тоже, вздрагивая от побудки,
кладут непорочного цвета яйца.
Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.

Мрачно? Жутко? Да, но это не собачий вой, не отчаяние, не рыдание в пустое никуда. Это поэзия. И повесть Владимова — поэзия, живое слово, мощью своей пре-

одолевающее вражду и морок. Пока есть слово художника, что полон сочувствия к грешным и несчастным мира сего, что, нарушив логические законы, видит в Потертом и Стюре сокровенно-человеческое, умеет проникнуться мукой обезумевшего и утратившего себя Руслана, что дает язык тем, кто лишен слов и перебивается междометиями ли, жестами ли, лаем ли, — пока есть такое слово, мир не сможет превратиться во вселенную шариковых.

Со школьных лет повторяем мы, что единственное честное лицо в «Ревизоре» — смех, в школьные же годы пишем сочинения про «образ автора» в «Евгении Онегине» и «Мертвых душах» — и все ведь не впрок. Все ведь не верим собственным заклинаниям о том, что автор полновластен в созданном им мире, что его слово и воля дают этому миру образ, наполняют его светом или тьмой. Все нам хочется не автора услышать, а героя увидеть. Положительного. С небольшими — для шарма — недостатками, но надежного. Готового решить свои, чужие, а лучше — и наши проблемы.

«Кто твой любимый герой?» — наивный вопрос школьных учителей слишком часто скрывает за собой нечто вроде: «А взял ли бы ты Евгения Онегина в экспедицию на Северный полюс? А как бы повел себя Обломов на отчетно-перевыборном собрании? А включился ли бы Пьер Безухов в процесс демократизации и гласности?» Но ведь проблема-то вовсе не в том. Проблема в том, что думает о мире нашем писатель — и неважно, классик он или современник.

И все же читательская мечта о герое находит сочувствие у многих писателей. Как ни затаскан термин «положительный герой», как на дискредитирован он, добро бы только унылыми — порой пугающими — словопрениями, реальная проблема за термином этим стоит. И решает ее каждый по-своему. Например, так, как сделал это Войнович.

Обсуждение «статуса» солдата Ивана Чонкина начинается уже в третьей главке романа, то есть сразу после того, как мы познакомились с ним — «маленьким, кривоногим, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в пилотке, надвинутой на большие красные уши, и в сползающих обмотках».

Показав нам заурядные мучения Чонкина (впрочем, как мучения унизительные экзерсисы старшины Пескова не воспринимают ни старшина, ни сам Чонкин — нет в их лексиконе таких слов), завязав будущий сюжет (Чонкина посылают караулить потерпевший аварию само-

лет), автор приступает к доверительной беседе с гипотетическим читателем. Хорошо зная, как и кто будет с ним спорить, Войнович сам придумывает каверзные вопросы и сам дает на них «простодушные» ответы.

«Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?» Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчился, а потом смирился, ведь герой книги, он как ребенок — какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и получше, и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой».

За насмешливо-лукавой авторской болтовней, за мнимым простодушием скрывается тонкий полемический ход. Отрицание казенной благоглупости на поверхности, но вдумаясь: была охота Войновичу всерьез дискутировать с певцами «отличников учебно-боевой и политической подготовки», автору романа-анекдота, да и читателю с «этим» и так все ясно. У Войновича же есть настоящий собеседник, диалог с которым пронизывает весь роман. Собеседник этот — Николай Васильевич Гоголь.

Дело в том, что великий писатель, увы, и до сих пор многими воспринимающийся исключительно как сатирик, был как мало кто другой захвачен мечтой о прекрасном человеке. Мечта об идеальном герое постоянно живет в душе Гоголя и достаточно внятна его читателям, но рядом с этой мечтой существует гоголевская мука — мука невоплотимости идеала. Пожалуй, с особой наглядностью конфликт этот обнаруживается в том самом рассуждении, которое то ли варьирует, то ли пародирует «простодушный» Войнович.

В XI главе «Мертвых душ» Гоголь ведь тоже вступает в спор с читателями о своем герое — о Чичикове — и, выслушав восклицания дам: «Фи, какой гадкий!» — решительно заявляет: «Увы, все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека...» Ну, а дальше все помнят о том, что «пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку» и «наконец припрячь и подлеца». Вроде бы Войнович шел за классиком след в след — ан не все так просто. Гоголь «не может» взять в герои добродетельного человека — Войнович снисходительно уступает его другим сочинителям. Гоголь «припрягает подлеца» — Войнович живописует милейшего Ваню Чонкина. И самое главное — у Гоголя между спором с читателем и рассуждением о подлеце звучат слова, без которых легко обошелся Войнович, более того — которые он сознательно обошел: «Но...

может быть, в сей же самой повести почувются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все добродетельные люди других племен, как мертвая книга перед живым словом!» Это не только пророчество о грядущем втором томе — это мера, которой меряются ситуация и герои тома первого. Это мечта о пробуждении русского человека, о преображении его — ныне погрязшего в мертвом существовании. На фоне патетического обещания Гоголя и сам выбор Чичикова в герои обретает иное звучание. Подлец-то Павел Иванович без сомнения, но ведь ему вывозить Русь, ведь ждет его иное духовное состояние, должен же преобразиться он, подобно тому как уютная его бричка превращается в финале поэмы в летящую чудо-Русь, которой дают «дорогу другие народы и государства».

Гоголь мыслит масштабами вселенской мистерии: он видит разом и «подлеца», и «мужа, одаренного божескими доблестями». А Войнович? Он, словно бы честно повторив движение мысли великого писателя, обаятельно улыбается и говорит: «Да чего ж искать-то, пророчить о будущем — вот он, Ваня Чонкин. И не подлец, и не титан, обычный солдатик с красными ушами — а всех дороже». Иными словами — Войнович, чураясь любого пафоса, смягчает, утепляет, заземляет высокую идею Гоголя.

И так не только в рассуждении о выборе героя. В первой же главке диалог председателя колхоза Голубева и совершившего вынужденную посадку летчика Мелешко напоминает бессмертную сцену знакомства Городничего с Хлестаковым, породившую фантом «ревизора» (позже этот мотив варьируется: Голубев за «ревизора» принимает Чонкина — апогея же он достигает в сцене допроса капитана Миляги, полагающего, что он попал в плен к немцам, в то время как допрашивающий его переводчик убежден, что снимает показания с фашистского офицера). Когда корова чонкинской возлюбленной сжирает «экспериментальные» растения «народного селекционера» Гладышева, что порождает его ссору с Чонкиным, а затем и анонимку «Куда надо», невольно вспоминаешь вмешательство бурой свиньи в ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Тайственное (может быть, аристократическое) происхождение Чонкина — отголосок появления на свет Чичикова, который уродился «ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Наконец, слухи, которыми обросла фигура героя, явно копируют те, что загуляли

в связи с Чичиковым в городе NN: Чонкин — уголовник, белый генерал, товарищ Сталин; Чичиков — фальшивомонетчик, похититель губернаторской дочери, капитан Копейкин, Наполеон.

Последнее «схождение», пожалуй, ярче всего демонстрирует разницу художественных решений классика и Войновича, который, как могло показаться иному читателю, нещадно эксплуатирует гоголевские сюжетные ходы, словно сам ничего смешного выдумать не может. У Гоголя Чичиков, конечно, не Наполеон, но все же... — и Наполеон. В «Мертвых душах» нелепые слухи, молва раскрывают потаенную суть благообразного проходимца. У Войновича слухи — это слухи, а Ваня Чонкин — кто угодно, но никак не товарищ Сталин. И ссора Чонкина с Гладышевым выливается в обычный мерзкий донос, а не в картину тотальной всемирной скуки. И трусоватость замордованного проверками Голубева не рождает миражной интриги. И недоразумения все более или менее разрешаются, а герои даже посмеиваются над ними.

Почему так? Да потому, что писал Войнович не поэму, которая должна преобразовать всю Русь, а роман-анекдот, вязал цепочку «необычайных приключений», что происходили с самыми обыкновенными людьми. Столкновение «обыкновенного» с «необычайным» — принцип поэтики анекдота, в котором важна не только парадоксальность концовки, но и бытовой контекст, привычные «мелочи жизни». И этих мелочей, что смягчают, амортизируют головокружительные событийные виражи, в романе о Чонкине предостаточно. Как ни фантастичен мир, созданный Войновичем, он остается привычным, узнаваемым, домашним. Словно бы автор, глядя на происходящее, привычно и беззлобно вздыхает: «Что ж, и не такое еще бывает. Выдюжим. Были б люди живы». Именно в живом человеке (например, в лопухом Чонкине и его дородной подруге — почтальонше Нюре) видит Войнович силу, противостоящую куражливой свистопляске духовных мертвецов, лишь прикидывающихся живыми. А таких персонажей в романе-анекдоте тоже, на первый взгляд, немало.

Кто же они — «мертвецы» из романа о Чонкине? Да все подряд, — скажет мне А. Казинцев, немало сил положивший на то, чтобы доказать, что «Советская Армия в его (Войновича. — А. Н.) изображении до ужаса похожа на царскую, какой ее представляли в 20—30-е годы борцы с наследием «проклятого прошлого». Это загон для идиотов, злобных и подлых», что Войнович глумится над деревенскими своими героями и что вообще «главный объект осмеяния здесь (в романе. — А. Н.) ... русский

человек. Русский народ». Вот так — эмоционально, выдерживая нервный ритм обличения — с «тяжелым» обвинением, выраженным назывным предложением. С вибрацией в голосе. Со страстью.

Счастлив А. Казинцев — все ему ясно: кто, как и над чем глумится. А мне — что-то сомнительно. Не слышу я глумления в тексте Войновича, когда речь ведет он о Чонкине или Нюре, — слышу добрую усмешку, не отделимую от восхищения. А ведь Чонкин-то как раз солдат Советской Армии. И не его вина, что послан он охранять «эроплан», и кстати, с этим заданием справляется просто превосходно. Районное Учреждение в полном составе снять его с поста не смогло. Да и полк целый во главе с генералом-стратегом не сразу с ним совладал. И почему, собственно говоря, я должен отделять Чонкина от русского народа, лучшие черты которого — добродушие, чувство долга, любовь к труду, человечность — в нем и воплотились? Почему я должен не замечать того, как Войнович очеловечивает даже самых малосимпатичных персонажей: фанатичного лейтенанта-переводчика Букашева, машинистку из Учреждения, председателя колхоза Голубева? Почему я должен игнорировать ту беззлость, что сопутствует смеху писателя в самых фантазмагорических сценах, вроде описания драки из-за мыла и спичек, которую так яростно обличает А. Казинцев?

Да, люди здесь на мгновение теряют свое обличье, но именно на мгновение — и они ли виноваты в том, что с мылом и спичками бывает ох как туго не только в дни войны? Да, Войнович заострил ситуацию, реализовал метафору «озверения», но значит ли это, что он не сочувствует бабе Дуне, Тайке, Нинке Курзовой, Степану Фролову и всем прочим, кого понесло в кучу малу? Есть, правда, персонаж, с презрением взирающий на происходящее и гордо произносящий: «Вот, Ваня, тебе наглядное доказательство, от кого произошло это животное, которое горделиво называет себя человеком». Это местный селекционер Гладышев, гордый обличитель толпы и будущий анонимщик. Он, конечно, не против того, чтобы кусок мыла достался именно ему, но куда важнее сохранить важный вид и произнести правильные слова: «Вот она, наша молодежь... наша смена и наша надежда. (Это о мальчишке, выхватившем мыло из-под ног «научно-рассеянного» Гладышева. — А. Н.) За что боролись, на то и напоролись. На страну нападает коварный враг, люди гибнут за Родину, а этот шкет последний кусок мыла рвет у старого человека».

Как хорош этот прокурорский тон, узнаваемый и в философических монологах, и в вульгарном доносе!

Как неистребим этот шипяще-агрессивный пафос, это презрение к «бытовщине», вполне разделяемое руководителями колхоза, которым наконец-то дали указание провести «стихийный» митинг. Как сильно, признаюсь, искушение сопоставить речь Гладышева с писаниями тех, кто ныне обличает Войновича в глумлении над народом. Да надо ли? На поверхности ведь.

Нет, не над народом смеется Войнович, не над мужиками и бабами, что могут подраться, а могут и помириться. После «побоища» сплетник и буян Плечевой поднимает с земли зареванную бабу Дуню и, словно извиняясь за случившееся — не только за драку, но и за всю творящуюся ерунду, за бессмысленный митинг, на который теперь сгоняют колхозников те, кто только что их разгонял, за собственное терпение, за будущее горе, — «говорит просто и горько: «Пойдем, бабка... Нечего плакать, пойдем похлопаем». Здесь та самая скрытая теплота, что позволяет гротескному миру Войновича оставаться миром живых людей. Здесь та нелогичность, что дороже логики. Помните, ведь и у Владимова на изрубцованной колючей проволокой планете, где вроде бы место было лишь «хозяевам» да «рабам», сохранили человеческое в себе зэк Потертый и Стюра, услугами которой совсем недавно пользовался «главный хозяин» местного масштаба. Войнович усиливает этот мотив, более того — делает его главным. Не идеализируя простых героев, смеясь над ними, помня о том, сколько в них дури, писатель любит их и их жизнь, привычную, обычную, развивающуюся параллельно той фантазмагории, что насаждают иные персонажи, вроде капитана Миляги, образцово-показательной ударницы Люшки или селекционера Гладышева.

В чем сходство этих «антигероев» — заплечных дел мастера, доярки, слепленной ушлыми корреспондентами, и лысенковца, скрещивающего картофель с помидорами? Да прежде всего в том, что существование их — мнимость (то есть суррогат жизни). Миляга придумывает «врагов народа» и воплощает в жизнь параноический бред об усилении классовой борьбы. Люшка давным-давно не доит коров, а лишь рекламирует свой «сказочный» метод, постепенно становясь депутатом, делегатом, орденоносцем, собеседником английских докеров и Лиона Фейхтвангера. Гладышев конструирует немислимый гибрид, ради которого готов не только жену с ребенком дерьмом завалить, но и живого человека отдать в «суровые нежные руки» КОГО НАДО. Рядом с нормальной жизнью, где любят и ссорятся, дерутся и мирятся, сеют и носят почту, варят щи и вышивают крести-

ком, а коли надо, так и воюют (и, вопреки мнению иных, Войнович не думает смеяться ни над колхозниками, уходящими на фронт, ни над мучающимся от того, что его забыли, Чонкиным, ни над слезами баб, провожающих кормильцев), выстраивается другая, лишь себя почитающая подлинной: с учреждениями, «управляемой стихией», побежденной природой, измусоленными словами, трусостью, доносами и... товарищем Сталиным.

В одной жизни люди трудятся, в другой — улучшают жизнь трудящихся, ликвидируя их врагов (то есть самих трудящихся), изобретая новаторские методы доения коров и грандиозные гибриды под названием «ПУКС» (путь к социализму). Но самое интересное заключается в том, что обитатели фантастической реальности на редкость прагматичны. Разулившаяся доить коров Люшка славу свою доить умеет. Уставший от борьбы капитан Миляга милую жизнь себе всегда обеспечит. И даже «чистый энтузиаст» Гладышев на дерьме своем не только и столько счастье человечеству строит, сколько себе славу. Недаром так гордится он отзывом (пусть отрицательным) столичного академика и газетными вырезками. Недаром так легко вступает он в контакт с ведомством капитана Миляги.

Ни Чонкину, ни Нюре некогда заниматься высокими материями: у них своих забот полон рот. Они не претендуют на место в той фантастической реальности, что только и должна почитаться действительной. Там Чонкин — самый дурной солдат, а Нюра — неуклюжая девка-вековуха. И дела нет никому ни до сердечности и умелости Чонкина, ни до доброты и разумности Нюры — некоронованных властителей своего, скрытого от посторонних взоров, счастливого царства. Это Гладышеву надо покорять природу и развивать концепции об особой роли экскрементов — Нюру и так вся живность любит. Ее подворье — своего рода Эдем, где и корова, и куры, и кабан Борька, заменяющий собаку (тоже ведь характерно, особенно как вспомнишь о Руслане), — не такие, как у других. Да и Чонкин любит лошадей особой любовью, хотя бы за то, что они, в отличие от людей, не предадут, не подличают, не пускают жуков в ухо, не заставляют долдонить непонятные конспекты и не интересуются количеством жен товарища Сталина.

«Скотская жизнь!» — скажет иной высокодуховный читатель из тех, кто готов воспринять историю о любви Нюры к кабану Борьке «на полном серьезе». «До уровня скотов низводит героев своих Войнович!» — скажет он и перечислит все с его высокоморальной точки зрения «скабрезные» детали. А ведь логика Войновича

совсем иная, он хочет сказать вещь простую: животные не хуже, а лучше тех, кто лишь по внешности может почитаться людьми. И вопрос Чонкина о том, почему лошадь, которая столько работает, до сих пор человеком не стала, не только авторская шпилька доморощенному мыслителю Гладышеву. Это вопрос серьезный, насколько, впрочем, серьезным может позволить себе быть рассказчик анекдота.

Шутки — шутками, но Чонкин с Нюрой до книжек не дотягиваются, и по кинематографам им ходить некогда. Изъездила их жизнь, обустроенная инструкторами, проверяющими, указующими, ничуть не хуже, чем гоголевского «добродетельного человека». Нет, они вовсе не на уровне своих «меньших братьев», но как целенаправленно гонят их на скотный двор все кому не лень. А потом еще возмущаются низким уровнем духовных запросов!

Почему так? Почему одним — пироги и пышки, а другим — синяки и шишки? Почему товарищ Сталин может быть разом и мужчиной и женщиной (мотив, несколько раз мелькнувший в романе), а тезка его — колхозный мерин Осоавиахим (Гладышев именует Осоавиахи́ма «Осей» вряд ли случайно) должен быть меринком? Почему не доброта и порядочность, а злоба и изворотливость берут и берут верх? Все эти вопросы исподволь возникают в развеселом, балагурном, льющемся, как застольный разговор, романе не раз и не два. И автор, казалось бы так хорошо все понимающий, так крепко верящий в своих героев, так любящий их, не дает ответа. И не дает поблажки читателю, настраивающемуся-то поначалу на легкое чтение, на книгу с хорошим концом.

Конечно, надежда эта у читателя остается — крикнул же Чонкин свое «Не плачь, Нюрка! Я еще вернусь!». К тому же слухи о существовании второй части романа («Претендент на престол») вполне можно считать достоверными¹. Но все же... Ни геройство Чонкина, ни то, что пленен он был «превосходящими силами», ни возмездие, постигшее капитана Милягу, не перекрывают той грусти, с которой закрываешь роман-анекдот. Вместо «пуанта» — тоска-печаль: увезли КУДА НАДО Чонкина и даже песню, которую певал он в одиночестве, «увел» у него дружный полк, совладавший с Иваном да Нюрой. А состоит полк этот из таких же Иванов, и повернись судьба иначе — шагал бы наш Ваня под водительством лихого генерала, великолепно владеющего волшебным

¹ Сбылись. См.: «Юность», 1990, № 6—8. Но этот роман требует отдельного разговора.

словом «расстрелять», на взятие другого «дезертира».

Как ни грустно, но и с этим приходится мириться. Войнович дает шанс стать человеком даже звероватому костолому Свинцову (в фамилии этой слышится не только название металла, которым ГДЕ НАДО потчевали клиентов, но и слово «свинья»; здесь, как и во сне ревнивца Чонкина, явно слышны отголоски «Фермы животных» Дж. Оруэлла): на него, как и на Осоавиахима, труд подействовал облагораживающе. Однако «возвращение в строй» оказалось обстоятельством решающим, и Свинцов, как будто бы и не менялся он, спокойно «взял» Чонкина, благодаря которому едва не стал человеком. И это не индивидуальная проблема Свинцова — в какой-то мере это и проблема Чонкина, проблема всего мира Войновича. Веря в людей, любя их, писатель хорошо понимает, сколь сильна противостоящая им сила агрессивного зла, нахрапа, своекорыстности. И от силы этой никуда не денешься. Даже такая симпатичная писателю идея, как руссоизм, входит в текст в отчетливо-комической аранжировке — пьяный председатель колхоза просвещает пьяного же Чонкина: «Жан-Жак Руссо говорил, что человек должен стать на четвереньки и идти назад, к природе». Ночные блуждания назюзюкавшихся друзей служат идеальной иллюстрацией к «призыву» «какого-то француза», как аттестует Руссо Голубев.

Не убежишь в «природу» — мерин и тот хочет стать человеком. И поди объясни ему, сколько зла в этой самой «человеческой» жизни, до какой печали могут довести бесчисленные анекдоты нашей реальности. Одно спасение — смех, смех, не оставляющий места «теоретическим иллюзиям», будь то мечты Гладышева о невиданном гибриде, интеллектуально-многозначительные собеседования городских Мыслителей, общественно узаконенное лицемерие, позволяющее товарищу Сталину, которому самое место в анекдоте, раздуться до масштабов эпического героя.

Знает ли Войнович пути выхода из той ситуации, что превращает жизнь его героев в борьбу за сносное существование? Есть ли у него «общая идея», опираясь на которую можно перевернуть мир? Трудно ответить на эти вопросы, и прежде всего, думаю, трудно самому писателю. Не потому ли роман его, что воспринимается как импровизация, писался опять-таки долго (вспомним еще раз «Верного Руслана»). Долгое писание объективно отражало обстоятельный и противоречивый поиск своего голоса, своего мира, своего героя.

Сейчас, в пору открытой публицистичности, легко ловить писателей на противоречиях, на логических не-

увязках. Ставить им в вину отсутствие окончательных приговоров. Их действительно у Войновича нет, да и у Владимова тоже. Для обоих писателей задача состояла не в том, чтобы осудить или восславить (хотя, наверное, Руслан скорее уж осужден, а Чонкин восславлен), а в том, чтобы понять. Понять Руслана и окружающий его страшный мир. Понять Чонкина и царящую вокруг него фантазмагорию. Понять людей и нелюдей, ставших таковыми незаметно для себя и других. «Ну какое уж тут понимание? — в последний раз даю я слово привычному оппоненту. — Кардинальные причины бед наших не названы, пути их преодоления не указаны, толстовское мировидение Владимовым утрачено (сами писали, чем стал «мир» классика под пером автора «Верного Руслана»), гоголевская духоподъемность Войновичу чужда (сами противопоставляли «Чонкина» великой поэме). Что же они поняли, что сказали, ради чего столько времени работали над своими книгами?»

Нет ответа. Вернее, всякий ответ, что приходит на ум, звучит слишком абстрактно, — Владимов же и Войнович всей энергией своих книг любой абстракции противятся, любую высокопарность отводят как заведомую фальшь. Это очень конкретные писатели, которых интересовали конкретные же пес Руслан и солдат Иван Чонкин. Они не искали глобальных ответов на вековые вопросы, ибо твердо знали всю двусмысленность любых универсальных рецептов спасения человечества.

«Что вы сделали, господа!» С Русланом, для которого, кроме смерти, нет прибежища; с Чонкиным, благодарностью которому за все хорошее послужила отправка КУДА НАДО? С собственными душами, наконец?

Почему нельзя жить по-людски? — ведь это так просто. Приглядитесь к обычным людям, когда им не мешают, когда им не навязывают фантастического вздора; не заставляют дергать корову за четыре сиськи разом, не гонят колоннами, не держат за проволокой, не потчуют горчицей или самогоном из дерьма, не дурят голову сказками о «ПУКСАХ» и «готическими романами» о врагах народа, — приглядитесь к обычным людям и поймите, что они сами найдут дорогу, сами выстроят дом, сами напишут книги.

Наивно? Еще бы. Можно надергать тысячи опровергающих эту наивность цитат — хоть из отцов церкви, хоть из прорабов перестройки, — и все равно от наивности этой никуда не уйдешь. Знают писатели, что человек по природе отнюдь не так уж добр. Знают не хуже нашего:

недаром посмеивается Войнович над бедным Руссо, а Владимов заставляет каяться Стюру. Знают, еще как,— и все-таки в человека верят. Потому-то надеждой горит скрытый призыв Владимова к «хозяевам-рабам» нашей грешной жизни: опомнитесь, будьте людьми! Потому-то поддержка «маленькому», то есть н о р м а л ь н о м у, человеку слышна в интонации Войновича: ничего, дескать, выпутаемся. Где наша не пропадала.

Так ли уж существенно, что книги эти выдержаны в разных стилевых тональностях? Так ли уж существенно, что писателям есть о чем спорить и друг с другом, и с читателями? Так ли уж важны еще многие вопросы, что возникнут по мере того, как мы будем «обживать» книги Войновича и Владимова?

Кто знает! Не будем спешить с этими вопросами и тем более с ответами на них. Вслушаемся еще раз в авторскую речь и расслышим, как кипящий, обжигающе пророческий монолог Владимова сливается с мягким, иронично-простодушным рассказом Войновича. Вчитаемся еще и еще раз в их книги — и увидим: разные, но близкие писатели Георгий Владимов и Владимир Войнович ведут свои мучительные поиски утраченного света человечности, поиски во имя того, кто, как писал когда-то Некрасов:

...бредет по житейской дороге
В безрассветной глубокой ночи,
Без понятия о праве, о Боге,
Как в подземной тюрьме без свечи...

Взгляд

Я думаю, что...

Взгляд

Топор под компасом,
или Насколько полезны литературе
уроки «гениальных тактиков»?

Сегодняшним писателям очень удобно опираться на опыт предшественников: история литературы, можно считать, отрядила в современность группу первоклассных мастеров — вроде как десант высадила. И эти мастера готовы подставить плечо преемнику.

То ли времени перестройки срочно понадобились художники таких масштабов, как Платонов, Булгаков, Пастернак, Ахматова, Лосман, то ли сами они едва дождалась первой волны гласности, чтобы выговорить без помех свое заветное слово, да и между собой наладить взаимодействие. Во всяком случае, эти писатели оказались главными работниками литературного обновления.

И среди уроков, которые они готовы преподать, особенно важны уроки сопротивления их поэтической мысли шаблонам казенно-установочного стиля. Казалось бы, одно с другим и насильно не совместить. Однако в условиях, когда пышный стиль политических здравий,

отповедей и вразумлений вел наступление по всему полю культуры, художественной мысли было не просто сохранить независимость, нет, не от политики — от диктатуры рассудочного тезиса, который норовит вломиться в образную систему, хотя с искусством у него тканевая несовместимость.

...Некогда взору Пушкина предстал розовощекий бодрячок, доброхотный опекун поэтов и раздатчик рецептов жизнерадостного творчества. Бодрячок был приглашен поэтом полюбоваться вместе с ним видом осенней деревни, о чем рассказано в стихотворении «Румяный критик мой...». Хотя поэту уже случалось прежде сурово объясняться с «толпой», когда та взыскивала с него «полезных» песен, на сей раз тон объяснения с критиком-всезнайкой сдержан, насмешливо-благодарен, быть может, оттого, что критика-здоровяка все же проняла безотрадность сельских видов. В минувшем веке подобное еще случалось. «Румяный критик» уже подсовывал поэту проверенные эпитеты к словам «нивы» и «леса» (соответственно — «светлые» и «темные»), но пока не покушался отловить и выхолостить всех Пегасов, дабы те привыкали к хомутам и оглоблям.

Наш просвещенный век по части выхолащивания Пегасов преуспел больше остальных. А в искусстве сельских коновалов охотно упражнялись государственные лидеры, которым, кстати, готовы были ассистировать и сами избранники муз.

Накануне очередного взбадривания интеллигенции, которая на сей раз будет уличена в преклонении перед буржуазным Западом, К. Симонов услышал от Сталина пожелание, что-де неплохо бы получить в поддержку намеченной линии — роман, и тут же отозвался репликой отчасти полемической: нет, «это скорее тема для пьесы» (см. воспоминания К. Симонова «Глазами человека моего поколения»). Сборы в поход против «космополитов» — это 1947-й, разговор со Сталиным о предстоящей акции записан тогда же, но прокомментирован через тридцать лет. Срок достаточный, чтобы оценить некоторую несообразность поддакивающего возражения: не роман нужен, а пьеса.

Выходит, мобилирующий клич к служителям муз — принять участие в плановой политэкзекуции — вполне законен, остается выбрать, какая плетка лучше — эпос или драма? До такого вопроса не дошла очередь и спустя тридцать лет. Правда, за истекшие годы у мемуариста накопились критические соображения о тогдашней «охоте на ведьм». Как он признает, она была отмечена «в некоторых своих проявлениях печатью варвар-

ства, а порой и прямой подлости». Что ж, во всяком крупном начинании не без издержек.

А если не дробить целое на частности, какой ему общий приговор? Оказывается, на первоначальную идею, запустившую маховик проработочной кампании, грешить не стоит и во всем этом громком деле «здоровое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было». Сразу же оценим вводное словечко «разумеется», которым возражения отметаются как заведомый вздор. Оценим и то, с каким доверием мысль поэта, драматурга, эпика Симонова льнет к логической схеме, выстроенной диктатором: «Умы интеллигентов засорены вредными идеями, необходимо срочное промывание мозгов».

Каким-то образом для него, популярного писателя К. М. Симонова, остается секретом, что дело, собственно, не в ложных идеях или порче нравов интеллигенции, не в надеждах Сталина ее оперативно перевоспитать, а в природе единоличной власти, которая изменила бы себе, не устраивая время от времени показательные порки — и для пущей остротки, и для отвода глаз от реальных общественных бед, и просто «для порядка». Ускользнуло от видного писателя и другое: все-таки диктатор действовал с размеренностью и автоматизмом щедринского Угрюм-Бурчеева, выполняющая предписания взятой на себя роли и мало отличающаяся от остальных угрюм-бурчевых разных времен и народов.

Какой словесный грим выбирают нероны, калигулы, гитлеры, пол поты, дабы придать благообразию своим лицам? Вопрос для искусства третьестепенный. Намного важнее — что под гримом. Когда крупный художник рисует портрет тирана, он держит в памяти портретную галерею тиранов и легко отыскивает в своей модели черты фамильного сходства с остальными «разоблаченными владыками мира» (если воспользоваться толстовским сочетанием). Среди дневниковых записей Льва Толстого встречаем такую: «Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные — Наполеоны пробирают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях, но все по земле» (октябрь 1879 г.). А ранее, в «Войне и мире», говорилось о «блестящей и самоуверенной ограниченности» прославленного императора французов, который среди тиранов нынешнего века выглядел бы, пожалуй, орлом среди стервятников.

Я думаю, что...

Если характерный ракурс обыденного сознания — взгляд на бонапартов снизу вверх, то большой художник смотрит на них с высоты отстоявшегося опыта поколений и, портретируя очередного «владыку мира», пользуется как бы знаком интеграла: диктатор сериен, даже пошл, «внизу возится», подобно своей разноплеменной родне, и, отводя миллионам роль восторженных рабов, сам — раб элементарных рефлексов: властолюбия, подозрительности, страха перед возможным сговором подручных у себя за спиной.

Отчего же К. М. Симонов, столь горячий поклонник Толстого, любивший воспроизводить в собственной прозе рисунок его пространных периодов, набрасывал портрет Сталина вопреки Толстому, вообще давней гуманистической традиции? Не потому ли, в частности, что и к 1979 году не вполне освободился от гипноза сталинского авторитета, а вдобавок — от воздействия идеологической муштры тех лет, когда гуманитарная мысль обучалась всем своим артикулам на плацу, ограниченном тезисами «Краткого курса»?

Сам «Краткий курс», утюживший умы стольких поколений, наконец-то забракрован, но артикулы пока при нас. И нет гарантий, что мы разом избавимся от молодцевато-инвалидной выправки, полученной на сталинском плацу, от привычки брать на веру установочную казуистику тех и более поздних лет или отыскивать в ней «здоровые зерна».

По части отыскания «здоровых зерен» немало преуспел А. Ланщиков в обширной статье «Мы все глядим в Наполеоны...» («Наш современник», 1988, № 7), где Сталин назван «гениальным тактиком», который «прекрасно владел логикой и прекрасно знал диалектику».

Статью эту не обошли вниманием коллеги-литераторы, но в их полемических откликах А. Ланщиков, как видно, не отыскал ничего серьезного. Во всяком случае, по истечении примерно года он выступил с новой работой «Национальный вопрос в России» («Москва», 1989, № 6)¹, где, подтверждая свою верность уже пропетым «гимнам», крайне неодобрительно отозвался о «смелости и размашистости нынешних критиков Сталина».

Правда, в новой работе подчеркнуто: «Я менее всего мечтаю в адвокаты тех, чьи руки запачканы кровью невинных жертв, какие бы высокие посты в государстве и какие места в истории они ни занимали...» Значит, к числу ортодоксальных сталинистов автор работы как буд-

¹ Вариант этой статьи опубликован во втором выпуске «Взгляда».

то не принадлежит. Отчего же возникла надобность в прямых или косвенных самооправданиях? Легко допустить, что из-за некоторых мотивов и акцентов «сталиноведческой» статьи 1988 года.

Теоретические выкладки здесь были прослоены беллетристическими отступлениями об океане истории и впередсмотрящем капитане-флагмане с неизменной трубкой у рта. Не без подъема живописал автор статьи многодумного капитана, который, оказывается, «смотрел в вечность» («тактик», вперившийся взором в вечность, — такого мы прежде, пожалуй, не встречали!), отчего с капитанской душой происходили интересные метаморфозы. Однажды ее даже стиснуло «между прошлым и настоящим», и она «все сжималась и сжималась, готовая навсегда уйти в самое себя и оставить ничем не заполняемую пустоту».

Если тут скрывается иносказание о сталинской смерти (все же не на час-другой душа собралась уйти в себя, а бессрочно), то больно уж затейливое. Но за переливами иносказательного стиля — желание сказать о душе державного душегуба с возможной проникновенностью. Нет, А. Ланщиков не пробует отмыть добела своего «капитана», задерживается на примерах его вероломства, моральной глухоты, циничного глумления над правовой нормой, когда та не дает простора своеволию.

Но и самый щедрый набор таких примеров не мешает критику провозглашать: «Конечно, Сталин был великим государственным деятелем, и лично я стою на той точке зрения, что именно благодаря Сталину наша страна в очень короткий срок превратилась в могучую индустриальную державу и сыграла решающую роль в победе...»

До боли знакомые напевы! Подставьте в приведенные конструкции вместо сталинского имени имена председателя Мао, Пол Пота, Стресснера, Франко, получите готовые клише, которые всегда на устах тиранолюбивых декламаторов, окликающих друг друга через расстояния и госграницы.

И заметьте: тут нет попыток отыскать свежую словесную краску. Живое нестертое слово не согласно прислуживать механической дегуманизированной мысли, и та заявляет о себе так затверженно и шумно — хоть уши затыкай. Но на том и стоял сталинизм, что, ни о чем толком не информируя, оглушал (методика оглушения подробно описана уже Щедриным, о чем хранителям культурного опыта как-то неудобно не помнить). И находились мы как бы внутри огромного полкового барабана, по которому от зари до зари бахают в ритме победных

маршей. Удивительно ли, что, едва успев выбраться оттуда наружу, мы почти рефлекторно воспроизводим маршевое баханье: «Сталин был великим...» Или недоумеваем: «Неужели у Сталина не было заслуг?» Вопрос, характерный для насквозь пробарабаненного сознания.

— Были! — отвечает А. Ланщиков. — Это заслуги капитана, пусть жестокого, замаранного кровью невинных, но сумевшего провести нас меж рифов.

— Были! — отвечает Ю. Карякин в одной из своих огоньковских статей. — Но это заслуги палача.

В чем коренное несогласие двух ответов? Первый замкнут в пределах тактики, деловых расчетов и прикидок (несем такие-то потери, выигрываем то-то), второй разомкнут в стратегию самосохранения рода людского, для которого гибельна утрата моральных ориентиров; первый уважителен к авторитету силы, второй — к гуманистическому опыту древних евангелистов, Шекспира, Толстого, Достоевского...

У Анатолия Рыбакова его главный антигерой, поощряя лютость своей опричнины, произносит себе в утешение: «История это простит товарищу Сталину». А. Ланщиков на ту же тему высказывается иначе: Сталин «знал», что «история списывает безымянные кости и оставляет на своих страницах Петербурги и Полтавы». А чуть ниже: «Да, Сталин создал сильное и могущественное государство. От этого факта никуда не уйти». Победителей, значит, не судят или судят со снисхождением? Но задержимся на глаголе «знал» (не «считал» или «был убежден») — сигнале единомыслия критика с «капитаном». Получается, что заголовок статьи А. Ланщикова «Мы все глядим в Наполеоны...» отчасти самокритичен, ибо взгляд на историю как на прорву, где исчезают без следа «безымянные кости», характерен для тиранов, чьим костям, конечно, особый учет и почет.

А. Ланщикову не стоило бы, наверно, присоединяться к подобной «историософии» именно потому, что он, литературный критик, да еще «один из ведущих» (так отрекомендован редакцией «Нашего современника»), призван поддерживать гуманистическую и поэтическую традицию, для которой все эти «роковые» слова о молохе истории — игра в поддавки с «гениальными тактиками».

Что же до самого термина «гениальный тактик», то это типичный оксюморон, сцепка несовместимых понятий. Попробуем на слух: «эрудированный профан», «расторопный увальень», «развратная девственница». Похоже.

И как девственнице трудно развернуться на поприще распутства, так и гению — в тактических комби-

нациях себя не проявить. Стратегический простор нужен.

Пользуясь оксюморонным сочетанием «гениальный тактик», А. Ланщикова готов признать образцом здоровой логики (помните: «прекрасно владел логикой»?) фарисейское лавирование и трескучую демагогию деспота, которому важно вытравить из умов капитальные, «стратегические», представления о добре и зле, дабы развязать себе руки.

Превращая нас в рабов, он планомерно разрушал механизм нашего сознания, втискивал его в рамки догм, а мы, значит, и теперь должны отыскивать зерна истины в той директивной казуистике?

Резкая черта уходящего века — умственный апломб едва ли не каждой деспотии. Грубая сила самодовольно витийствует, репрессивный аппарат крепит устои государственной философии, тюрьмы пекутся о статусе культурно-просветительных центров. Как в таких условиях выстоять человеку, уличенному в вольнодумстве и помеченному грозным клеймом «враг»?

У Ю. Домбровского в «Факультете ненужных вещей» есть место, где на героя-повествователя, вымотанного допросами, хамским нахрапом следователя, «снизошло то, чего так не хватало ему все эти дни, — великая сила освобождающего презрения!». Ум заключенного еще не распутал клубка причин и следствий, а живому моральному чувству уже открыта самая суть: за рычаги власти ухватились пигмеи, мстя всему белому свету за свое пигмейство. Попробуйте-ка разубедить в том моральное чувство с помощью дежурных возгласов о «великом Сталине», могучей индустриальной державе или «субъективной верности Сталина идее социализма» (о чем нам поведал критик А. Эльяшевич на страницах «Звезды» — статья «Приглашение к разговору», 1989, № 1).

Я думаю, что...

244

Суд морального чувства представителен, вершитесь именем многих поколений, чей опыт всегда при нас (история, таким образом, не столь уж бесхозыственна и знает цену «безымянным костям!»). В освобождающем презрении узника и для читателя есть момент нравственного очищения: нелюдь объявлена нелюдью, поставлена на свое законное место. И рядом с этим освобождающим презрением не убого ли выглядит исчисление заслуг тогдашнего обертюремщика?

А вкус к таким операциям, увы, не утрачен: слишком долго нравственная глухота числилась чуть ли не гражданской доблестью, а умы обучались шагистике под началом «корифея всех наук». В результате типовым

отличием наиболее покладистых умов стала походка, именуемая в просторечии «рупь двадцать», — с припаданием на одну ногу или подсигом при ссылке на директивную формулу. А универсальным инструментом убеждения (или самовнушения) сделался казуистический выверт.

Человеку, дабы как-то обрести себя, приходилось продирается сквозь сухостой казенных софизмов на тему «В своих дерзаниях всегда мы правы». Давалось это не просто. А за нужной выправкой умов зорко следили приставленные к тому специалисты.

Кое-кто из них готов теперь повиниться за свои давние зубодробительные выступления, подбадривая себя такими, к примеру, афоризмами: «Да, измена убеждениям — плохо, но изменение убеждений по мере постижения общественного и накопления индивидуального опыта — естественно». Так критик Ю. Идашкин объяснял на страницах «Искусства кино» (№ 7, 1988) свою неуклонную эволюцию от кочетовского «Октября» к решительному антисталинизму. Имели, значит, место ошибки, но накапливался опыт, и убеждения менялись.

Что в том худого? Чрезмерная простота схемы: переменялось время, синхронно с ним переменялись убеждения. Простота и механистичность.

Выступая на страницах «Огонька» с новой исповедью («Право на покаяние», 1989, № 25), Ю. Идашкин признается: «Вот мне и стыдно, что я был среди тех десятков миллионов, которые бездумно верили...» После такого покаяния уже вроде бы неловко приставать к Ю. Идашкину с докучными вопросами о той линии, которой он держался прежде.

Но никуда не деться от вопроса иного рода: неужто и впрямь человек — столь нехитрое устройство, что его поводыри по жизни — головной тезис, рассуждение, политический догмат? А нравственное чувство, духовная пытливость и самооглядка (как-никак исповедуется профессиональный аналитик, советчик писателей!), наконец, простой рефлекс брезгливости при соприкосновении с тем, что дурно пахнет, задавлены на целые десятилетия диктатурой рассуждения? Что ж, бывает! Но как резкое отклонение от нормы.

А для Ю. Идашкина и сейчас схема «верил — разуверился» — нормальное объяснение собственной эволюции. Да, он уже готов отменить вынесенные им когда-то критические приговоры, но нынешним своим оппонентам ставит в строку, что к старым его суждениям те подходят с «современной оценкой». А с какой надо? Если у всякого времени своя шкала ценностей, то стоило ли

нынче утруждать себя покаянием? Эпоха-суфлерша подсказала критические приговоры — пусть за них и отвечает! Очень удобно числить человека невольником убеждений, вбитых в него вождями и эпохой. Серийный, так сказать, продукт общественных условий. С «продукта» и взятки гладки!

Афоризмы, подобные приведенному (про измену убеждениям), отливаются с расчетом на сплошную идеологизацию нашего сознания и притупленность морального чувства. Если такой расчет верен, оперативному идеологу можно и в ус не дуть: после текущего ремонта «убеждений» он снова наш наставник и просветитель.

Критик Валентин Курбатов в статье «Сомнения нашей правоты» («ЛГ», 1988, № 35) посетовал на малоподвижность нашего сознания, «перетоптавшегося на месте и обленившегося». По-моему, тут стоит уточнить: перед длинной дистанцией, дальними рейдами в неизвестное, да, оно по привычке робеет и топчется, зато в искусстве тактических комбинаций совершенствуется не по дням, а по часам.

Сам же В. Курбатов вышел на бойкий перекресток мнений по поводу одной теории, где вопрос, скажу условно, — «Как вернее выиграть пешку?» поставлен отдельно от вопроса — «Как при этом не получить мат?». Теория принадлежит уважаемому прозаику Владимиру Дудинцеву, который проповедует ее и как романист, и как желанный гость телевидения, и как собеседник журналистов, явившихся к нему брать интервью.

Среди критиков, писавших о «Белых одеждах», есть сторонники и противники этой теории. Но те и другие отзываются о ней с оттенком смущения, не спеша развертывать строй аргументов. Даже такой неуклончивый, презирающий экивоки полемист и талантливый литератор, как Игорь Золотусский, одоббив тактику дудинцевского героя Дежкина, который в борьбе со злом заимствует «его лексику, его демагогию, его привычку прикрываться дымовой завесой», лишь легким касанием задевает щекотливую ситуацию. Дежкин — «новый для нашей литературы тип», — настаивает И. Золотусский (см. его статью «Возвышающее слово». — «Литературное обозрение», 1988, № 7).

Спору нет, тип новый, но еще новой ситуация, когда гуманный автор советует нам брать на вооружение передовой, так сказать, опыт встречного интриганства и лжи во спасение... допустим, сверхценного сорта картофеля.

Я думаю, что...

Можно понять некоторую озадаченность оппонентов В. Дудинцева, выставляющих возражения из числа самых очевидных (дескать, приемы изворотливости прилипчивы, в привычку входят; или: пока тактическая хитрость разъяснится, она успеет одурманить многие души) — уж не лукавит ли насмешливый Владимир Дмитриевич, не предлагает ли нам тест на сообразительность?

В самом деле, тактическому лавированию, взаимным подсиживаниям, игре в прятки люди учатся не по книгам, а вот когда есть опасность запутаться в таких играх, сбившись со всех ориентиров, углубляются, допустим, в чтение романа, где жива память о норме и где очередной правдолюб, ведущий родословную от фольклорного Иванушки, душой и разумом выше всех пройдох и ловкачей. Репутацию простака искусство так же свято бережет, как палата мер и весов — эталонный метр. И если нынешний правдолюб-ратоборец исхитрился поверх белых одежд набросить маскхалат, дабы проникнуть лазутчиком в стан лысенковцев, мы рады о том узнать и правдолюба поприветствовать, но для ревизии эталонов повода тут не видно.

Вообще не следует приближать эталонный метр к текущей практике обмеров покупателя: пусть остается неукороченным.

С этим, кажется, не спорит и В. Курбатов. Совет автора «Белых одежд» — всем простодушным усвоить тактические приемы Федора Дежкина ему не по душе. Отчего так? Они, отвечает критик, вступают «в слишком тяжелое противоречие с устоявшимися русскими нравственными правилами». Час от часу не легче! А с мордовскими, белорусскими, удмуртскими правилами в противоречие не вступают?

Долгое время нам внушали, будто нравственность — категория классовая (что к выгоде твоему классу, то и морально). Многим ли лучше такой вариант: «Нравственность — категория национальная»? Снова вторжение в палату мер и весов, угроза заменить выверенные эталоны самодельными. Быть может, стоило бы деликатности ради не заметить цеплючую, правда, курбатовскую фразу о национальных «правилах» (ну сорвался с языка бойкий штамп, с кем не случается?), если бы не центральный вопрос его статьи: готовы ли мы достойно встретить только что возвращенных художников, по крайней мере не обронить в грязь протянутые нам дары?

Нынче каждому, кто приучен кланяться казенной формуле, считать чуть ли не лакомством духовным крошево из официозного «железобетона», и впрямь не просто входить в мир «Чевенгура» или «Доктора Жива-

го», где авторская мысль движется куда ей надо без казенной визы: у нас в крови другая привычка — не дано санкции, значит, жди! И есть свой резон в сетовании В. Курбатова: «Обилие замечательных публикаций на самом деле, похоже, только замещает нам собственное движение мысли». Что ж, прозвучал, выходит, призыв: «Смелее в путь, граждане!» Отрадно.

Однако на исходе статьи — новый перечень наших грехов. Оказывается, с возвращением утраченных было ценностей мы засуетились, уверовали, будто старое подлежит разрушению и «можно теснить одни имена за счет других» (знать бы, кто кого стеснил и вытеснил: Гроссман — Бубеннова, Ходасевич — Демьяна Бедного, Хармс — А. Софронова? А может, Ахматова с Цветаевой — Блока?), прониклись «успокоенным чувством судей по отношению к родной истории...». Спросим: о каких событиях отечественной истории стали предвзято судить потомки? О Куликовской битве, изгнании Наполеона из России, отмене крепостного права, помощи болгарам в их борьбе против османского ига? Такого как будто не было. Тогда, может, о сплошной коллективизации или победной поступи ГУЛАГа? Приходится гадать, ибо укоры В. Курбатова уклончиво-витийственны и неконкретны.

А впрочем, подобное витийство нам не менее знакомо, чем речи о национальной нравственности и попытках трактовать платоновский «Котлован» в ущерб «Поднятой целине» или «Брускам» («теснить» одни имена другими). Всем памятны также остерегающие возгласы: «Мы очерняем наше прошлое!» — в связи с потоком публикаций о сталинском терроре. Так что сокрушения В. Курбатова (в более позднем выступлении он укоряет критиков сталинщины в бесстрастности, «отстраненном мировосприятии» и обязывает их оглядываться на десятилетия произвола с неперменным «чувством смятения» — журнал «Вопросы литературы», 1988, № 11) — своего рода пароль, внятный слуху дозировщиков исторической правды.

Начав с призывов овладеть духовным богатством, осудив робость мысли, критик заканчивает на беликовской ноте: «Как бы чего не вышло!» Включено устройство экстренного торможения мысли, ход которой трудно предскажем.

Возвращенных художников встречают и привечают по-разному — кто с превеликой радостью, кто с тревогой — как делегацию репрессированного народа, чьи земли, увы, заняты. Среди встречающих — живописная группа, которую можно назвать — Союз осторожных мыслителей. Думать они как будто любят, додумывать — го-

Я думаю, что...

раздо меньше. Точнее, так: прежде чем додумать мысль, ударяются в прогнозы: а что получится, если дать ей волю, — польза или вред? Такова выучка рядовых «тактиков», в чьем распоряжении — кладовые опыта тактиков «гениальных».

Самый верный способ свести на нет нормальную работу познания — это попутная прикидка: утешителен ли будет итог? Если кто-то решил сбить судно с курса, ему достаточно сунуть под компас топор. Если диктатора пугают даже проблески духовной жизни подданных, он постарается отнять у них надежные ориентиры, застопорить стрелку компаса, объявив мораль сущим вздором, поповской выдумкой, интеллигентскими бреднями, а свою риторiku и свои софизмы — высшей формой мудрости.

Именно так действовал воспетый А. Ланшиковым «гениальный тактик». И не без успеха.

У Пастернака — о временах приказного единомыслия: «Стало расти владычество фразы». Конечно, засилие казенной фразы — бедствие. Но сами фразы ветром перемен понемногу выдувает из сознания. Зато оставляют след методы их штамповки, укореняется привычка мыслить простейшими логическими уравнениями, переваливая с места на место «краеугольные камни».

Выученикам сталинско-ждановской школы привит вкус к умственным спекуляциям (хорошо зная об этом, В. Дудинцев обставляет свою гуманистическую программу оговорками о вреде простодушия). Как-то незаметно в нашем духовном рационе стал преобладать сухой паек рассудочных формул, несваримый жмых из «здоровых зерен». А нас, попутно заметим, отчего-то удивляет некоторая бледность текущей поэзии, тоже отведавшей жмыха.

Припомним, какими резонами укреплял пушкинский Сальери свою решимость «остановить» Моцарта: он, Моцарт, «гуляка праздный», еретик в храме искусств, явился в мир, «чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь!». И, значит, нужно пресечь ересь.

На приговоре Моцарту — печать прямолинейной «расчетной» логики, для которой распорядительный принцип и мера вещей — практическая целесообразность. Тому же принципу, той же мере привержена, как известно, «толпа», «чернь» («Тебе бы пользы все...» — бросает Поэт в лицо «черни»). И уже напоследок, перед тем как

покинуть сцену, Моцарт называет по имени сам принцип, подстегивающий волю «толпы», — «презренная польза».

Сигнальным словом обозначен духовный барьер между убийцей и жертвой: вновь вынырнуло ключевое слово-понятие из самовнушений Сальери, объяснявшего себе, в чем его долг («Что пользы, если Моцарт будет жив...», «Что пользы в нем?»).

Пушкинский Сальери, если воспользоваться уже известным нам оксюморонным сочетанием, — «гениальный тактик». Выведя расчетным способом, что в Моцарте, как нарушителя канонных, законопослушном гении, пользы нет, он хотел бы утвердиться в мнении о себе как о полезном и правильном гении. Мир в душе, однако, не достигнут: слишком глубоко проникло в сознание Сальери сказанное Моцартом о несовместности гения и злодейства.

Пушкин, таким образом, недвусмысленно предостерег потомков от уверток их собственного хитроумия и соблазна вламываться в духовную сферу с кривым аршином пользы.

Услышано ли предостережение? Как же иначе! В блестящей плеяде классиков Пушкин — один из самых (если не самый) почитаемых. На верность его заветам присягает едва ли не каждый второй из активно действующих литераторов.

Среди голосов, славящих Пушкина, особенно горяч и напорист голос поэтессы и пушкиноведа Татьяны Глушковой, посвятившей, кстати, ряд обширных работ толкованию «маленьких трагедий». Ей ли не поддаться обаянию пушкинской мысли, не знать о прочности барьера между Поэтом и «толпой», гением и злодейством, Сальери и Моцартом? Надо полагать, и на критическую практику поэтессы-литературоведа лег ответ неустанных пушкиноведческих штудий?..

Открываем статью Т. Глушковой «О «русскости», о счастье, о свободе» («Наш современник», 1989, № 7), заголовок которой ритмически приближен к блоковой строке «О доблестях, о подвигах, о славе». Примем намек на то, что критический инструмент здесь выверен по точнейшему камертону. Приняв намек и перебросив две-три страницы, убеждаемся, что поэтические ритмы без следа тонут в бранном шуме.

Автор статьи, не слишком заботясь о динамике ее «сюжета», о стройности выкладок, с ходу атакует инакомыслящих или «неверных» коллег, когда-либо державших молвить слово поперек нашей поэтессе-литературоведу, которая теперь норовит смять их ряды, давая «сдачи» направо и налево.

Попутно Т. Глушкова консультирует тех же коллег по вопросу о культуре полемики и терпимости к чужому мнению, например, к мнению активистов общества «Память», которое она весьма одобряет как «народно-патриотическое движение».

Спросим: какова база солидарности Т. Глушковой с идеологами «Памяти»? За ответом далеко ходить не надо.

Скажем, очередное имя в списке оппонентов автора статьи — В. Кардин, от которого ей довелось выслушать нечто нелестное о себе. Тут же Т. Глушкова отмыкает кладовую своей пушкиноведческой эрудиции, и В. Кардин узнает, что много потерял, не процитировав в нужном месте такую строчку из «Скупого рыцаря»: «Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной». И читатель Кардина, как видно, тоже много потерял, ибо строка о Товии помогла бы критику полнее выразить суть дела, а главное — собственную суть.

Но ведь не каждый мигом припомнит, кто такой Товий, что у него был за товар. Поглядим, на каком месте пушкинского текста застыла указка Т. Глушковой, и поможем читателю освежить в памяти соседние строки...

Ж и д

Так —

Есть у меня знакомый старичок,
Еврей, аптекарь бедный...

А ль б е р

Ростовщик,

Такой же, как и ты, иль почестнее?

Ж и д

Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной —
Он составляет капли... право, чудно,
Как действуют они.

Смекаем: насчет торговли каплями это в кардинский огород брошено — отравитель, мол. Помните, еще про врачей газеты писали: отравители! Или, может, не смекнули, какова пагубность кардинской критики? Тогда Глушкова, вновь заглянув в текст «Скупого рыцаря», пояснит, что «не исключен при этом внезапный классический эффект:

А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.

К счастью, Глушкову, которую В. Кардин попотчевал все же своей «микстурой», бог миловал, не то было

бы некому пошуршать у нас перед носом кардинской анкетой с отчеркнутым пятым пунктом.

Значит, проба на «токсичность» чужого полеми-ческого текста взята. Попутно установлено, что за кровь течет в жилах оппонента.

Только ли В. Кардина? Нет, зачем же? «Народно-патриотическому движению» «Память» важно знать, кто есть кто. Например, еще двое оппонентов Т. Глушковой — Ирина Роднянская и Бенедикт Сарнов — что за люди? Издали не разберешь. Судя по периодике, случилось им не соглашаться друг с другом.

По Т. Глушковой, для которой настоящая основа наших убеждений — кровь и почва, эти критики если и спорят между собой, то для отвода глаз. «Милые бранятся — только тешатся», — посмеивается она и, соединив взглядом обоих, со вкусом обыгрывает цитату: «Мы с тобой одной крови, ты и я!»

Приметил, читатель, кто шагает в строю оппонентов Т. Глушковой? Значит, отбрось сомнения в ее научной непогрешимости: все равно перед «анализом крови» никакая логическая выкладка не устоит.

Такого рода ссылки на «кровь» для читателя «Нашего современника» и ряда изданий-«заединщиков» — давно простывшая новость. Излюбленная утеха нашей прессы конца 40-х — начала 50-х годов — выведение на чистую воду «инородцев», срывание с них всех и всяческих масок-псевдонимов — снова в моде. Дело делали тогдашние мастера тонких намеков, да, видно, не доделали. Потомкам завещали.

И чем сегодня думают нас удивить эксперты-гематологи? Что настоящая фамилия Троцкого — Бронштейн? Про то многим поколениям школьников известно из хрестоматийных строк Маяковского, у которого некий офицер-шовинист презрительно отзывается о «Бронштейне бескартузом», «каком-то бесштанном Левке». Так нет же, читателя российского ежешестичника из номера в номер оповещают, как по-правильному звать-величать Льва Троцкого: Лейба Бронштейн. Естественно, и эксперт-гематолог Т. Глушкова тут как тут, приглашает нас с нею вместе полюбоваться начертанием, посмаковать фонетику этого имени: Лейба Бронштейн-Троцкий. Бррр-он-штейн!

Так десяток-другой раз посмакуешь, вдруг да и найдет просветление: вот где собака зарыта, вот от кого и от каковских все напасти на нашу голову! Методика повторов, значит, сработала!

С языка у Т. Глушковой поминутно просится пря-

мая, без затей, характеристика «инородца». И легко понять, чего ей стоит удержать в себе хлесткое слово при чтении манифеста учредителей литературной группы «Апрель», где среди прочего сказано: «Мы — народ». «Какую же нацию представляют... учредители?» — почти со стоном спрашивает поэтесса-пушкинист, приглашая читателя в свидетели неслыханного кощунства участников «Апреля», среди которых она наметанным глазом выхватывает фамилии: А. Гербер, Ю. Мориц, Б. Кагарлицкий, А. Борщаговский, И. Дуэль (см.: «Наш современник», 1989, № 9, с. 170).

Статья Т. Глушковой высвечивает поистине «гениальную тактику» плеяды ее единомышленников, привыкших разглядывать человека сквозь прорезь анкетной графы. Им известно, во-первых, как сэкономить мышление, приписав кризисное состояние дел козням недругов-инородцев («масонов»); во-вторых, как придать анкетному пункту (пятому) взамен нейтрального — оценочный характер, сузив, таким образом, круг своих литературных конкурентов за счет отсева по нацпризнаку. Известно им также, что среди способов дискриминации человека (то сословному, классовому, возрастному, половому, вероисповедальному признакам) они избрали самый традиционный и беспроблемный.

Убеждаемся: присяги на верность Пушкину не мешают покровителям «национально-патриотических движений» профанировать его наследие, перенимая опыт пушкинских антигероев, а попутно снижая и вульгаризируя и без того вульгарную философию «пользы». Сальери вместе с пушкинской «чернью» во всяком случае были бы шокированы нынешним приложением их принципов. Да, уроки диктатора, превратившего в «зону» всю сферу культуры, не прошли даром. Отточив диалектические навыки на сталинско-сусловском тренажере, многие ценители анкет со «знаком качества» культурно возвысились до охотнорядских всплесков веселья (при виде «инородца»), до потрясывания полой поддевки — чтоб похоже было на «свиное ухо». Плоды просвещения!

Все же недаром Пушкин ставил на место «румяных критиков», гнал от себя прочь назойливую «чернь» с ее изворотливо-прагматичной логикой, как бы остерегая преемников против малейших уступок этому стилю и типу сознания.

В нашем веке особенно чуткой к подобным предостережениям Пушкина оказалась «задержанная» литература (как раз за чуткость и задержана). Удобно ли теперь, в ее присутствии, стопорить стрелки духовного компаса и брать за образец логику «гениальных тактиков»?

Мы переживаем время переоценки ценностей, на многое как бы заново открываем глаза. И можно ли было надеяться, чтобы критический взгляд не коснулся сегодня такой вызывающе крупной фигуры в литературе, как Маяковский, его устоявшейся репутации? Официально возведенный в ранг «лучшего, талантливейшего», он олицетворял собой эпоху и долгие годы насаждался сверху по выверенным школьным канонам. Сами его противоречия бережно укладывались в заранее установленные нормативы. Стоит ли удивляться тому, что это порождало ответную реакцию неприятия и сопротивления, вытравляло читательский интерес к поэту.

Сегодня, в условиях открытости и плюрализма мнений, больше, чем когда-либо, обнаруживаются истинная противоречивость и трагизм личности Маяковского, необходимость его современного прочтения. Понятно, что при этом возникли и крайности суждений, и желание низвести поэта с высоты пьедестала. Среди

публикаций такого рода выделяется своей неординарностью работа Ю. Карабчиевского «Воскрешение Маяковского».

Издательство «Советский писатель» сочло возможным выпустить эту дерзкую, «крамольную» книгу по ряду соображений. Во-первых, она уже получила достаточную известность в «самиздатовском» варианте, и нельзя игнорировать факт ее существования. Многие ее главы были опубликованы в журнале «Театр». Во-вторых, книга талантливо, увлекательно написана и содержит в себе попытку разрушить сложившиеся стереотипы в подходе к Маяковскому. В-третьих, чтобы издать интересную, профессионально выполненную работу, во-все не обязательно разделять концептуальные положения автора — на то и есть свобода творческих мнений. И, наконец, главное: книга Ю. Карабчиевского приглашает к дискуссии, будит живую исследовательскую мысль, подталкивает застоявшееся маяковедение.

Сознавая спорность концепции автора этой книги, уязвимость, а возможно, и ошибочность его суждений, мы и предоставляем слово Ал. Михайлову, вступающему с критической оценкой книги Ю. Карабчиевского.

Маяковский: кто он?

Объяснение для желающих искать истину

Грядет новая волна интереса к личности и творчеству Владимира Маяковского. Пока она окрашена в грязновато-серые тона сенсационной околосредств массовой информации дьяволиады с политическим и криминальным оттенком. То скульпторы и художники устроят небезобидные игры вокруг Маяковского и состроят коллективный донос, что, дескать, он — лучший и талантливейший, — а не кто иной, подкинул Сталину идейку насчет репрессий: тот сам-то, без Маяковского, может, и не додумался бы... А то на полуночном экране телевизора вдруг возникнут озадаченные необычностью своей роли фигуры криминалистов и испуганной старой женщины, видевшей пистолет в комнате поэта, и тележурналист, этакий Шерлок Холмс XX века, исподволь, ненавязчиво (в стиле современного сервиса) начинает реанимировать затхлый сюжет с убийством Маяковского. Тонкость и ненавязчивость экранной реанимации таковы, что бросают тень на женщину, может быть более других пострадавшую во всей этой трагической истории. Я уж и не говорю о той смуте, которую

мистические ночные телепасьянсы сеют в головах школьников, атакующих ныне бедных учителей, взыскав истины...

Снова стало модным цитировать Маяковского. Если публицисты прежде цитировали строки, которые служили им подпорками в казенной риторике по поводу наших выдающихся успехов и достижений, то теперь те же или другие цитаты служат другим целям: с их помощью пытаются представить Маяковского идеологом сталинизма.

Сошлюсь хотя бы на статью Вячеслава Костикова «Концерт для глухой вдовы» («Огонек», 1989, № 7), который извращает смысл стихов («Стихи о советском паспорте»), и, кроме того, пишет следующее: «В цикле «Стихи об Америке» («Сифилис», «Блек энд уайт», «Порядочный гражданин») неприязнь к загранице, которой прежде Маяковский не грешил, выпирает с поразительной и гневливой отчетливостью, политически перекликается с оценками Сталина».

Внесем поправку: «грешил», и еще как! В. Костикову просто надо почитать (или перечитать) Маяковского, прежде чем выставлять его союзником Сталина, сталинистом, и понять, что прежде чем мир начал делиться на «белое и черное» («Блек энд уайт»), он с 17 года делился на «белое и красное», об этом можно бы вспомнить, изучая генезис явления. Пропагандистский стереотип идет оттуда, его подхватила литература, поэзия, его широко использовал Маяковский в плакатах РОСТА, в стихах для газеты, в агитпроповских стихах. Этот стереотип в новой модификации (белое и черное), к сожалению, наложил печать на некоторые «заграничные» стихи поэта. Но он не дает оснований приписывать Маяковскому синдром «чванливой ксенофобии», у него совсем иная социальная основа.

«Восхвалению подлежит все советское — от Магнитки до паспорта, поруганию — все заграничное: от Парижа до Нью-Йорка. Народы, с которыми Россия худо ли, бедно ли, но строила общую цивилизацию со времени принятия христианства, третируются как «незрелые», классово и социально отсталые».

Увы, я не располагаю местом, чтобы опровергать Костикова цитатами из Маяковского, из его стихов и очерков об Америке, о Франции, чтобы показать и его уважительное отношение к другим народам и от чистого сердца сказанные слова восхищения Парижем, Эйфелевой башней, гениальным творением ума и рук американского народа — Бруклинским мостом, да и нужно ли это имеющим среднее образование и читавшим стихи поэта?.. А как быть

с тезисом насчет «восхваления» всего советского, если начиная со стихотворения «О дряни» (1920—1921) сатира Маяковского наносила удар за ударом по тeneвым сторонам жизни в нашей стране и подобралась к самой системе в пьесе «Баня» (1929—1930)?.. Тут все наоборот, для спора просто нет предмета.

Хотел ли, не хотел того автор статьи в «Огоньке», но его интерпретация стихов Маяковского подвергается к уже упоминавшейся дискуссии в «Московском художнике» с ее попыткой представить поэта идеологом сталинизма. Из этой попытки предстал чрезвычайно выборочно прочитанный и грубо, превратно истолкованный Маяковский.

Увы, таких примеров можно подсобрать немало, и чаще всего попадают на удочку люди, цитатно знакомые с творчеством и биографией поэта. Но наряду с этим за последние годы у нас и за рубежом появились работы, заслуживающие серьезного критического внимания, особенно если учесть, что сегодня просто-таки необходимо *новое, современное* прочтение Маяковского, что оно и должно насытить *новым содержанием* надвигающуюся волну интереса к личности и творчеству поэта. Книга Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского», вышедшая в 1985 году в Мюнхене и напечатанная журналом «Театр» (1989, № 7—10), и является одной из таких работ.

Это — книга-вызов, книга-спор, опрокидывающая многие, если не все, прежние представления о Маяковском. Книга, в ряде своих концептуальных положений вызывающая решительные несогласия. Но это — *книга*, спорить с нею тоже должны *книги*.

И все же в этой статье мне хочется сопроводить некоторыми критическими замечаниями взгляд автора на личность и биографию Маяковского, тем более что книга отнюдь не рядовая, написана живо, эмоционально, порою с сатирическим блеском. Для дискуссии я избрал именно личностный ракурс и, может быть, лишь в небольшой степени — творчество поэта. Почему? Автор книги как «очевидную истину» выдвигает тезис: «Маяковский личностью не был». Понятно, что для доказательства этого тезиса Ю. Карабчиевский привлекает творчество поэта, умело и остроумно комбинируя цитаты из стихов, и тут нужна более развернутая аргументация, чем это возможно в статье. Но истоки творчества в характере, в воспитании, в биографии поэта. По этим пунктам и пройдемся.

Ю. Карабчиевский с первых же страниц своего эссе (я бы так определил жанр книги) дает понять, что он

не верит Маяковскому, не беря в рассуждение, таким образом, «презумпцию невиновности», и представляет его читателям как «образ губительного двуличия». Поэту предъявляется обвинение в неискренности, самые важные для понимания его характера, жизни, души лирические признания квалифицируются как «маневры, рассчитанные на потерю бдительности». Нашей с вами, читатель. «Поверят, а он подберется поближе — и плюнет с размаху в лицо, а то еще и похуже: возьмет да тукнет в затылок кастетом...»

Сильно сказано. Есть и еще более сильные характеристики, данные с лукавой оговоркой, что, мол, они не ложны, но и не верны до конца. Тут уж понимайте как хотите. Впрочем, как понимать, если поэту отказано в главном, без чего искусство непредставимо, — в искренности...

И для того чтобы утвердить в глазах читателя этот, очень деликатно говоря, непривлекательный образ поэта, нельзя ограничиться только стихами. Как бы ни хотел Ю. Карабчиевский идентифицировать поэта и героя его стихов, делать этого не позволяет литературоведческая азбука. Поэтому он ищет истоки «двуличия» и неискренности в характере, в биографии поэта. И тут неизбежной оказывается такая коррекция, такой подбор и интерпретация фактов, которые соответствовали бы уже априорно данной характеристике.

Например, объединяя Маяковского с другими футуристами, Ю. Карабчиевский пишет:

«В ранней юности Маяковский был причастен к подполью. В тридцать лет Каменский летал на аэроплане. В предоктябрьские дни тридцатидвухлетний Хлебников посылал Александру Федоровичу Керенскому... издевательские письма и телеграммы, называя его Александрой Федоровной». И дальше иронически замечает, что этим и «исчерпывается летопись смелых поступков будетлян-футуристов».

Можно, конечно, и так подать. А если — иначе, поближе к правде? Если все-таки сказать про Каменского, что это человек фантастического бесстрашия, что он не просто «летал на аэроплане», а летал, разбивал этот несовершенный аппарат, разбивался сам, читал потом некролог про себя в газетах, чудесным образом вылечивался и... снова летал. А если и на Хлебникова, этого русского дервиша, бескорыстного, неприкаянного, в высшей степени благородного, трагично окончившего жизнь, — если и на него посмотреть, в согласии с фактами биографии, лучше?.. Если сказать, что юный Маяковский не просто

был «причастен» — он вел подпольную работу в самое мрачное время — время повальных арестов, разгрома первой русской революции, трижды арестовывался, сидел в Бутырской одиночке? Или Бенедикт Лившиц, который храбро воевал и был награжден Георгиевским крестом?..

Уместна ли тогда была бы ироническая интонация?..

В ироническом тоне подается и «взлет патриотического самосознания» в начале первой мировой войны. Драма мировоззрения поэта представлена как услужение вашим и нашим. Но это же совершенно не так! В начале войны Маяковский действительно, как и миллионы людей в России, поддался общему патриотическому подъему, он сделал несколько подписей к лубкам ура-патриотического содержания, но сводить это всего лишь к возможности заработать, а потом заметить: «Такие и прочие стишки Маяковского предшествовали наскипидаренному Юденичу», — значит действительно трактовать мировоззренческую драму как фарс.

«Наскипидаренный Юденич» — из плакатов РОСТА. Между лубками 1914 года и плакатами РОСТА времен гражданской войны были — последовательно — стихотворения «Я и Наполеон», «Вам!», поэмы «Облако в штанах» с пророческим предвидением скорого прихода революции, «Война и мир».

Вслушаемся в голос поэта, в его слова мольбы и протеста:

Слышите!
Каждый,
ненужный даже,
должен жить;
нельзя,
нельзя ж его
в могилы траншей и блиндажей
вкопать заживо —
убийцы!

Может быть, Ю. Карабчиевский возьмет на себя смелость сказать, что эти строки (вся поэма «Война и мир»!), написанные в 1916 году, неискренни, «двуличны», что это — не «поступок»?

Комедийно-опереточным персонажем предстает Маяковский в эпизоде с генералом Секретевым... В передаче автора генерал, начальник автошколы, за исправное исполнение всех поручений по службе наградил Маяковского медалью за усердие, а через месяц Маяковский арестовывает его и сдает в карцер. Как будто бы близко к правде, но и бесконечно далеко от нее. Маяковский действительно был награжден в числе 190 нижних чинов медалью «За

усердие», которой, по соответствующей инструкции, награждали за определенный срок службы. Ю. Карабчиевский при этом, конечно, умалчивает, что Маяковский отнюдь не проявлял служебного усердия, что он нарушал запрет на выступления и печатание стихов и статей, что пользовался относительной свободой режима и добрым расположением ближайшего начальства. Эпизод с награждением в этом свете выглядит иначе. И насчет ареста генерала — тоже. По рассказу И. Н. Баженова, который был заместителем Секретева, он обратился к Маяковскому как председателю комитета солдатских депутатов с просьбой спасти генерала, ему угрожал самосуд. Вот тогда-то они и вывели Секретева через черный ход из квартиры и отвезли в Думу. Это было в дни февральской революции. Художник Радаков рассказал об этом несколько иначе, характеризуя Секретева как держиморду и взяточника, но и у него эпизод с арестом выглядит серьезно.

Конечно, и этот сюжет можно превратить в комедийный, но тогда при чем здесь Маяковский, фигура скорее трагическая, но уж никак не комическая? Не будучи расположенным к герою своей книги как к человеку, Ю. Карабчиевский, естественно, ставит под сомнение и, например, всеми современниками оцениваемые находчивость и остроумие Маяковского. В доказательство он берет некоторые примеры из воспоминаний, действительно не самые удачные, и, обобщая, дает уничтожающую оценку островам поэта, причем в таких выражениях, каких вроде и не приходилось встречать в литературоведческих штудиях.

Для Маяковского здесь опять-таки как бы исключена «презумпция невиновности». А «вину» его составляет *предположение* (ничем не доказанное), что поэт заговаривал дома остроты для своих вечеров. Такими приемами конструировать образ реального лица некорректно.

Далее приводится в пример случай, рассказанный В. Катаевым (и А. Ахматовой — тоже). Случай с О. Мандельштамом и Маяковским.

«Они встретились еще до революции, в десятые годы, в Петербурге в «Бродячей собаке», где Маяковский начал читать свои стихи (под звон тарелок, добавляет Ахматова), а Мандельштам подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр».

Дальше Ю. Карабчиевский заключает:

«Это сказано действительно очень смешно. Эта шутка, как и всякая хорошая шутка, бесконечна по объему ассоциаций...» То есть — вот образец юмора настоящего,

он противопоставлен юмору Маяковского, у которого «ни-какого такого юмора не было»...

Верно, *такого* — не было. Но подумаем, так ли уж остроумна именно эта шутка Мандельштама. То, что она «бесконечна по объему ассоциаций», можно счесть и за недостаток *именно потому*, что она не содержит *конкретных ассоциаций*. Юмор Маяковского — целиком в его творческих устремлениях: дать язык «улице безъязыкой», его юмор *грубоват, конкретно-ассоциативен*, если хотите, *народен*. Юмор Маяковского, видимо, не годится для литературного салона, но его с энтузиазмом принимала та аудитория, к которой поэт пробивал дорогу.

А что касается Ахматовой и Мандельштама, поэтов совершенно иной школы и иных традиций, то, как это чаще всего и бывает у очень крупных художников, есть достаточные свидетельства уважительного отношения и высокой оценки ими Маяковского-поэта. Это особые страницы истории литературы, но мне хотелось бы снять отенок противопоставления двух больших поэтов Маяковскому. Тут все сложнее и в то же время проще, и всякие попутные «сюжеты», которые лишь одним штрихом показывают отношения между реальными людьми, даже при небольшом смещении реальностей, весьма рискованны для общего смысла.

Неприязнь к личности Маяковского распространяется в книге и на его внешность. В главе «Лицо и маска» поэт представлен таким монстром, у которого не хватает только ножа или обреза, чтобы выйти на большую дорогу и заняться разбоем. Не очень приятно читать эти места в книге Ю. Карабчиевского. Создание столь отталкивающего образа Маяковского достигается простым путем: какие-то мемуарные штрихи, вскользь оброненные частности слегка или сильно трансформируются, выдаются за характерные, кое-что добавляется от себя, например, что «Маяковский был не сильнее среднего мужчины с нормальным ростом» (откуда бы это знать Ю. Карабчиевскому?), а в другом месте говорится, что и росту-то он не такого уж большого, как представляет себя в стихах, и что ноги у него коротки... Таким примерно он представлялся Осипу Брику, может быть и не самому объективному «портретисту», в то время как все современники сходятся в своем восхищении внешностью Маяковского, в том числе и женщины.

Маяковский в представлении автора книги настолько неестествен, изломан, неправдив, что, оказывается, «постоянное его курение» и то «на самом деле курением не было: он, не затягиваясь, набирал и выпускал дым». Вот до чего дошло «двуличие» Маяковского!

Ясно, что чье-то мимолетное впечатление выдает-ся здесь за модель поведения, подгоняется к этой модели. При этом, конечно, не учитываются свидетельства многих современников и просто элементарный опыт (есть даже подозрение, что сам Ю. Карабчиевский никогда не курил и потому не может себе представить этот невинный процесс курения без затяжки).

Не хочу цитировать строк о внешности и поведении Маяковского, я читал их в силу необходимости. В некоторых местах поражался, как человек со вкусом — а об этом свидетельствуют некоторые конкретные наблюдения и разборы,— Ю. Карабчиевский не замечает, что в этих местах переходит на сварливо-ругательский тон.

Воспользовавшись намеком Б. Лившица, автор книги подводит Маяковского под *Minderwertigkeitskomplex*¹ Фрейда, я бы сказал, несколько вольно интерпретируя это понятие. И этого оказывается достаточно для доказательства игрового амплуа Маяковского, у которого не было *никаких генетических предпосылок* для какой-либо психической изломанности. В детстве он был абсолютно нормальным мальчиком, развивался физически и духовно с опережением, и никакими воспоминаниями не подтверждается уверение Ю. Карабчиевского, что Маяковский будто бы «с самой ранней юности или даже с детства... конструирует себя как личность, непрерывно экспериментируя и проверяя результаты». Ничего подобного! О его зрелости, уравновешенности говорит и опыт работы в подполье и доверие, оказывавшееся ему старшими товарищами. Конечно, была в нем и юношеская стихийность, она сказала в «Облаке», в некоторых других произведениях уже как черта национального характера вообще, но уж она-то как раз и разрушает представление о постоянной маске.

В книге Ю. Карабчиевского, мне кажется, происходит следующее: образ поэта (лирического героя) из поэзии переносится на личность Маяковского и трактуется как его маска, его роль, его амплуа. Убиение в себе себя. Выстраивание себя в неестественном качестве. Ради чего? Ради сокрытия фрейдовского комплекса, который приписывается Маяковскому по догадке Б. Лившица?.. Такие гипотетические построения на исторических лицах рискованны. Ю. Карабчиевский сам замечает: «Каждый раз приходится помимо стиха, а очень часто вопреки ему, конструировать подлинный предмет и мотив. Дело же это хлопотное и ненадежное». То-то и оно, что ненадежное. Ведь «комплекс» «доступности» любви для взрослых, на-

¹ Комплекс неполноценности.

пример, который автор замечает в стихах Маяковского, никак не совпадает с «подлинным предметом и мотивом».

Кому-то может показаться, что все это частности. Но, во-первых, эти частности я мог бы множить и множить, во-вторых, именно из таких «частностей» выстраивается целое — концепция личности, и из нее, личности, вырастает феномен поэтического монстра без души, без сердца, феномен бездуховности. На этих «частностях» выстраивается формула творчества Маяковского: «От обиды — к ненависти, от жалобы — к мести, от боли — к насилию. Только между этими двумя полюсами качается маятник стихов Маяковского». Или еще более прямо: «Принуждение, насилие — вот его метод, здесь сошлись главные черты его личности: детская месть-обида, садистский комплекс — и поверхностно-механическое восприятие». Сказано куда как хлестко, даже дрожь пробирает...

То, что Ю. Карабчиевскому видится постоянно «маской», скрывающей «двуличие» Маяковского, Б. Пастернак, например, считал «позой», естественной «в мире высшего самовыражения, как правила приличья в быту», и соотносил это именно с Маяковским. Оправданием этой «позы» считал «его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписанием, воплощению которого он отдал всего себя без жалости и колебания».

Но Ю. Карабчиевский ставит под сомнение свидетельства современников, отказывая им в искренности, и все же сам принимает в рассуждение те из них, которые умещаются в его концепцию.

К примеру, хочет он опровергнуть многие свидетельства о хорошем отношении Маяковского к друзьям, матери и сестрам — и ищет истину в «невольных проговорах». В каких? В «стыдливом свидетельстве Асеева о напряженных отношениях Маяковского с сестрами» или в «замечании Лили Юрьевны о том, что деньги матери он посылал лишь после неоднократных ее напоминаний».

Уточним эти моменты, и тогда ссылка на «проговоры» может показаться не столь убедительной. Н. Н. Асеев бывал в семье Маяковских два или три раза, он был *из того окружения* поэта, с которым у Маяковских *никогда не было близости* (я имею в виду Бриков), и при встречах с ними всегда ощущалась некоторая скованность. Но все — я подчеркиваю — все остальные мемуаристы с особым вниманием говорят о нежном отношении Маяковского к матери, ровном и добром отношении к сестрам. Об этом же говорит и переписка семьи Маяковских. А о замечании Лили Юрьевны насчет денег, что надо, мол, было напоминать, я бы все-таки подумал, прежде чем оконча-

Я думаю, что...

тельно принять его на веру. Существует полная переписка Маяковского с Л. Ю. Брик, и тут документально можно установить, что чуть ли не в каждом письме Лили Юрьевны к Владимиру Владимировичу встречаются напоминания о посылке денег. Только не матери, не сестрам, а ей — Лиле Юрьевне. Притом что сам Маяковский, судя по письмам, постоянно заботился об этом и не забывал посылать деньги и просить получить за него тот или иной гонорар и даже доставлять ей переводы прямо «в постельку». Конечно, если в порыве добрых чувств Лиля Юрьевна устно напоминала иногда заезженному как лошадь Маяковскому, что, мол, надо посылать деньги и маме, то нам следует оценить этот высокогуманный жест с ее стороны...

Стиль книги порою напоминает, что это не историко-литературное эссе, а — памфлет. Вот почитайте: «Любой намек на доброжелательство со стороны главари-демагога был летен и вызывал благодарность. Любое живое слово из гипсовых уст воспринималось как подарок и откровение». Это оскорбительно не только по отношению к Маяковскому, но и по отношению к десяткам людей вовсе не из последнего ряда нашей культуры.

Впрочем, о чем говорить, Ю. Карабчиевский прямо заявляет: «Неправда — всеобщая повинность его (Маяковского. — А. М.) биографов, как бы клятва верности его двусмысленной тени». Не берет ли на себя и он тоже повинности, опровергая одну «неправду» другой неправдой? Можно ли считать, что он восполняет пробелы в биографии Маяковского, задаваясь вопросом «кто где спал?» — и можно еще продолжить — с кем? — когда Владимир Владимирович и Брики жили в одной комнате? Сомневаюсь.

Слово Ю. Карабчиевского полно сарказма, когда он вторгается в «семейные отношения», дает характеристики Брикам. Он повторяет, что «в подобных вопросах нет бестактности и подглядывания в замочную скважину». Наверное, так. Время снимает многие запреты, в том числе и просьбу Маяковского в предсмертном письме. Вспомним, как она выражена: «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте».

Не уточнила Лиля Юрьевна подробностей — «кто где спал» — в книжечке для детей, и, может быть, не стоит напрягаться по этому поводу. Те дети, которые когда-то читали ее книжку, выросли, им подавай информацию, документ, и тут как раз вспоминается деликатная просьба предупреждение из предсмертного письма...

Нравственные характеристики, которые Ю. Карабчиевский дает чете Бриков, не расходятся по сути с характеристиками, данными в свое время такими выдающимися современниками, как Луначарский, Шкловский,

Пастернак, Катаев. Только они более безапелляционны и жестки. Может быть, этого и не стоило делать, учитывая, что один из адресатов — женщина. Безжалостный «творческий портрет» О. М. Брика безжалостен с достаточным основанием.

Столь же, пожалуй, безжалостен Ю. Карабчиевский и по отношению к ЛЕФу. Это уже не дама, а явление в литературе и искусстве 20-х годов, повлиявшее на творческую биографию немалого числа писателей и художников. И здесь у автора пафос преобладает над анализом, но это пафос развенчивания ложного направления в художественном развитии. Соглашаясь с Ю. Карабчиевским в критике ЛЕФа, в том, что главным тезисом ЛЕФа была дискредитация искусства, и также в том, что Маяковский далеко не во всем соглашался с идеологом ЛЕФа Бриком, я хотел бы подать свою реплику, касающуюся формулировки: «Он (Маяковский.— А. М.) достаточно трезв и бдителен, чтобы, активно взаимодействуя с Бриком, гнуть свою персональную линию».

Это ведь опять намеки на «двуличие», неучитывание внутреннего сопротивления таланта, творческой интуиции, которые, пусть и не без труда, выводили Маяковского на дорогу поэзии, на дорогу искусства, но — не производства. Хотя и производству он отдал немалую дань. И, к великому сожалению, немалую часть своей чисто творческой энергии и души.

Но... здесь наши расхождения с Ю. Карабчиевским переходят в более глубокое содержание творческой личности, касаются понимания и интерпретации всего творчества Маяковского, его пути в литературе. Дискутировать по этому вопросу — значит противопоставить свою концепцию, я это сделал в книге «Мир Маяковского. Взгляд из 80-х», которая, надеюсь, выйдет из печати в будущем году. Расхождения наши будут видны и без прямой полемики с Ю. Карабчиевским.

Теперь очень непростой вопрос о самоубийстве Маяковского.

Мне всегда казалось загадочным: мемуаристы, знавшие Маяковского долгие годы, близко общавшиеся с ним, в один голос твердят о том, что самоубийство поэта явилось для них полной неожиданностью, что они вначале отказывались верить этому известию... Единственным человеком, для которого эта смерть не оказалась неожиданной, была Л. Ю. Брик. «Мысль о самоубийстве,— пишет она,— была хронической болезнью Маяковского, и как хроническая болезнь она обострялась при неблагоприятных условиях...»

Я думаю, что...

Удобная для объяснения самоубийства версия. И для медицинского заключения — тоже. На эту версию можно нанизывать соответствующие цитаты из стихов и поэм, и все будет выглядеть убедительно.

Так что же — все те, кто «не ожидал», кто даже «не поверил» сначала в такой конец поэта, — они все глубоко ошибались в Маяковском, не замечали в нем ни самой этой «хронической» болезни, ни ее «обострений»? Между прочим, очень легко составить куда более убедительную и поэтически мощно звучащую подборку цитат из Маяковского, опровергающих смерть во имя жизни. Взять хотя бы стихотворение «Сергею Есенину».

Упростила, мне кажется, причину ухода Маяковского Лиля Юрьевна. И все-таки клюнул на нее Ю. Карабчиевский. Клюнул и дал свой реестрик стихов — насчет «сумасшествий». Опять-таки рискованный ракурс. Карабчиевский понимает это: «Разговор о психическом здоровье поэта — штука тонкая и обоюдоострая». Было ведь: еще молодого Маяковского звали в один дом, куда заранее пригласили группу врачей-психиатров. Тайный консилиум разочаровал организаторов этой низкой затеи: Маяковский оказался абсолютно психически здоровым.

Ю. Карабчиевский разворачивает свой тезис, он пишет, что «вообще к людям искусства врачи применяют иные критерии, и рамки нормы для них существенно шире. А иначе — кого из русских писателей мы могли бы назвать нормальным?» Стало быть, надо понимать так, что в рамках писательской «нормы» Маяковский все-таки не составляет исключения. Но почему же тогда делается такой акцент на действительных и мнимых «маниях», «преследованиях» Маяковского, в том числе даже «мании чистоты», «мании аккуратности»? Может, это всего лишь привычки? И снова: «...навязчивая мысль о самоубийстве, усиленная страхом смерти и старости (это в 36 лет! — А. М.), бесконечно опасная сама по себе, — смертельная на всем этом фоне».

Трудно как-то воспринимается, давайте еще раз повторим: «...навязчивая мысль о самоубийстве, усиленная страхом смерти...» И в том же ключе ссылка на Л. Ю. Брик насчет предсмертного письма: мол, подобные письма он писал уже не один год. Где они, если их видела и читала Лиля Юрьевна, которая сберегала любую записку, любой клочок бумажки, папиросную коробку, если на них что-то написано Маяковским, свято коллекционировала все, что связано с его именем. Лишь однажды ей не хватило выдержки — женщина остается женщиной! — в отношении переписки Маяковского с Яковлевой: уничтожила.

Ну, а если и писал, если — влюбленный и разочарованный — сыграл пару раз в «русскую рулетку»... Когда это было? В ранней молодости! И по каким законам психиатрии это можно считать «хронической болезнью»?

К концу своей жизни Маяковский действительно переживал глубокий душевный кризис, и Ю. Карабчиевский верно указывает на некоторые причины бытового и нравственного характера, приведшие к кризису. Но природа его отнюдь не в «хронической тяге» к самоубийству. И тут не обойтись все-таки без обращения к творчеству Маяковского, прежде всего, пожалуй, к пьесе «Баня». Отрицательная оценка этой пьесы и вообще драматургии Маяковского автором книги бескомпромиссна, тут наши расхождения достаточно глубоки, и я хотел бы обратить внимание на сатиру Маяковского, которая как-то не фиксируется в системе «учета» Ю. Карабчиевского. «Баня» в этом ряду.

Согласен с автором книги, что Маяковский «не мог разочароваться в окружающей жизни... Он был плотью от плоти этой реальности, ее отношений, ее языка, круга ее интересов». Но он далеко не все принимал в этой жизни. Давайте вспомним. Ведь действительно — едва только закрылась «последняя страничка гражданской войны», как тут же появляется вот это:

Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Нет, одическая, державинская нота не исчезает из поэзии Маяковского, он еще не раз восславит и то, что достойно славы и, увы, что достойно, может быть, иного отношения. Но в то же время будет нарастать нетерпимость и гнев Маяковского к «дряни», будет просветляться, обостряться взгляд на теневые стороны жизни. В 1926 году в стихотворении «Сергею Есенину» он скажет: «Дрянь пока что мало поредела». В 1929 году будет апеллировать к Ленину: пожалуется на тех, что «ходят, гордо выпятив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных...». И будет выволакивать на свет одного за другим характернейшие типы бюрократов, показывая их как *порождение новой власти*.

Среди них — партийцы, комсомольские вожаки, члены ЦИКа. И не с властью, конечно, воюет Маяковский — новую власть он принял *как идею* и готов за нее «на жизнь, на труд, на праздник и на смерть». Он воюет

с носителями власти, с теми, кто искажает идею народо-властия. И сатира Маяковского дает немало оснований сказать, что, пока, может быть, не осознавая этого, он то и дело утыкается в *командно-бюрократическую* систему, уже достаточно явственно обозначившую себя к концу 20-х — началу 30-х годов. Пьеса «Баня», в которой он хотел показать и показал «драму» современной жизни, стала пиком открытой схватки Маяковского с бюрократизмом как олицетворением системы. Командно-бюрократической системы управления. И Маяковский не только не признавал «Баню» неудачей (неудачен был спектакль), но и считал ее лучшей своей пьесой, полемически утверждал, что если бы писал заново — написал так же...

Маяковский написал «Клопа» и «Баню» тогда, когда самым серьезным образом дискутировался вопрос: а нужна ли сатира вообще? И очень влиятельные люди высказывались отрицательно, дескать, сатира наносит удар по нашему государству, дает оружие врагу. Вот как ставился вопрос. И при такой его постановке легко было дрогнуть... Маяковский ведь и обвиняли за издевательское отношение к нашей действительности» в «Бане».

Чтобы не углубляться в разбор пьесы, обратим внимание на два момента. Один из них — пословица, которую вытащил на свет и несколько раз повторил в пьесе демагог Иван Иванович. Разглагольствуя о «наших достижениях», он говорит: «Конечно, кризис нашего роста, маленькие недостатки механизма, *лес рубят — щепки летят...* (курсив мой.— А. М.)». «Щепки» уже летели. Старая русская пословица, не скрывавшая в себе ничего злодейского, становилась оправданием величайшего беззакония. Маяковский начинал осознавать ее опасность. В контексте пьесы и времени пословица, прикрытая демагогией насчет интересов народных масс, таит в себе зловеющий смысл.

Еще один момент — третье действие пьесы, где Победоносиков становится зрителем «Бани». Не рядовым, а руководящим зрителем. Он оценивает первое и второе действия спектакля. Эта сцена замечательна своим точным пониманием внедрявшегося в систему и внедренного на долгое время вперед стиля руководства искусством. Напомню его резюме после просмотра спектакля:

«Сгущено все это, в жизни так не бывает... Ну, скажем, этот Победоносиков. Неудобно все-таки... Изображен, судя по всему, ответственный товарищ, и как-то вы его выставили в таком свете и назвали еще как-то «главначпупс». Не бывает у нас таких, ненатурально, нежизнен-

но, непохоже! Это надо переделать, смягчить, опоэтизировать, округлить...»

О, сколько режиссеров и актеров могут написать мемуары о том, как произносились подобные речи на обсуждениях лучших спектаклей их театров, как им отечески внушали, что «в жизни так не бывает», что такой-то эпизод надо «переделать, смягчить» или совсем снять, и давно ли это было?..

А когда началось? И никто не скажет, что Маяковский в этом эпизоде «сгустил». Пожалуй, наоборот, приведут такие примеры охранительной казуистики и демагогии, которым смог бы позавидовать сам Победоносиков. За многие десятилетия казенная охранительная фразеология усовершенствовалась. К руководству культурой приходили люди случайные, некомпетентные, и они, конечно, оставляли следы своей разрушительной деятельности в театре. А около них, как около Победоносикова, всегда были свои поддакивающие им иваны ивановичи и ловцы момента моментальниковы, готовые подхватить «социальный заказ», открыть «широкую кампанию» в печати...

Далеко смотрел Маяковский. Рекомендация Победоносикова: «...надо показывать светлые стороны нашей действительности» — на многие десятилетия останется руководящей в деятельности органов культуры и официозной критики, она будет зафиксирована во многих документах сталинской эпохи и периода застоя, будет определять политику в области литературы и искусства. Пьеса «Баня» указывает на истоки командно-бюрократического руководства искусством. Не многие писатели и произведения литературы 20—30-х годов с такой злой иронией и непримиримостью выразили свое отношение к насилию над искусством.

...Я не спорю с Ю. Карабчиевским, когда он говорит, что и в толпе, в общем строю Маяковский все равно заметен, выделяется, всегда лидер, а эта роль отныне отводилась только одному человеку. Верно. Но большую досаду должно было вызвать другое: Маяковский то и дело выбивался из толпы, из общего строя. Он возвращался в строй, подхватывал парадный марш, был запевалой, но — выбиваясь из строя — вел себя совсем не по уставу: стрелял не в тире по фанерным щитам с изображением классовых врагов, а по живым целям, и пристрелку вел в опасном направлении. С «Баней» совсем далеко выбился из ряда. Вот что стало приводить в ярость рапповских пасторов, учивших Маяковского классовому подходу к жизни, и тех, кто повыше, совсем высоко, кто потворствовал рапповцам, делал на них ставку в литературе. Все

Я думаю, что...

прочие оппоненты — не в счет. С ними Маяковский привык справляться своими силами. Эти же пользуются мощной поддержкой сверху, вокруг них призывают консолидироваться через «Правду», в их ассоциации утверждается авторитарный стиль, копирующий стиль высокого аппарата.

Внешне Маяковский последние месяцы живет прежней жизнью, выступает, ведет активную общественную деятельность, произносит речи, не лишённые газетного пафоса, но делает это уже как-то по инерции, сбиваясь с обычного уверенного тона. А в душе его происходит драма. Сцепление бытовых, нравственных и литературных обстоятельств, которые отнюдь не игнорирует Ю. Карабчиевский, накладывается ныне на нечто, подрывающее основы веры Маяковского. Он как в стенку уперся в то, что воспринимал в жизни как аномалию и что с сатирическим блеском отразил в «Бане», пьесе на редкость современной. «Баня» была по высоким целям, а такое уже никому не позволялось. Маяковский ощутил мощное противодействие главному на это время — сатирическому направлению своего творчества. Это не внушало прибытка сил (обратите внимание, какая вялая, немаяковская фраза в предсмертном письме: «...надо бы доругаться»).

Вот вам противоречие, которое и питало душевную драму поэта. Правофланговый в строю, он еще на марше, еще по инерции отмеривает «шаги саженьи» в ту сторону, где «коммуна во весь горизонт», но шаги саженьи переходят в шаг на месте, как только дальнейшее продвижение становится необходимо «согласовать и увязать» в приемной главначлупса Победоносикова. Судьба сатирического искусства становится проблематичной. Могла ли такая перспектива вдохновлять Маяковского? Тут он и впрямь, воспользуемся словами Ю. Карабчиевского, «почувствовал ледяное дыхание власти».

Я не отношу стихотворение Б. Пастернака «Смерть поэта» к лучшим его созданиям, но в нем есть поразительный образ: поэт увидел Маяковского спящим «со всех ног, со всех лодыг врезаюсь вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых». Маяковский, как бы на полном ходу уснувший, в последнем порыве, в последнем прыжке достигающий жар-птицу молодости...

Предчувствия не обманули Маяковского. «Ледяное дыхание власти» пронеслось над могилой поэта. Буквально через две недели руководители РАППа, выведенные из себя посмертными статьями о Маяковском, возвышающими его над всей пролетарской поэзией, просят административным порядком прекратить это безобразие.

Они уже знают адрес, по которому надо с этим обращаться, и знают, что им не откажут.

26 апреля 1930 года они пишут письмо в ЦК ВКП(б) Сталину, Молотову, копию Стецкому (ответственный работник ЦК). Подписали: Л. Авербах, В. Ермилов, В. Киршон, Ю. Либединский, А. Селивановский, В. Сутырин, А. Фадеев. Высокий адресат откликнулся на письмо охотно и с необыкновенной оперативностью — 28 апреля. Резолюция Молотова, вне всяких сомнений согласованная со Сталиным, им же, скорее всего, и подсказанная, гласила: «Предлагаю поручить кому-либо из авторов записки дать статью по затронутому ими вопросу в «Правде». Авторы нашлись, за этим дело не стало. Еще через три недели, 19 мая, такая статья, иезуитски названная «Памяти Маяковского», в «Правде» появилась. Из нее читатели узнали, что Маяковский мог бы стать настоящим поэтом, если бы он писал всю жизнь такие сочинения, как «Нигде, кроме как в Моссельпроме» и «Кто куда, а я в сберкассе». «Здесь он — образец для подражания», — уверяют великие рапповские авторитеты.

Это был удар по Маяковскому. По-рапповски грубый. Первый после смерти.

Второй, через пять лет, в виде высочайшей похвалы, имел куда более далеко идущие последствия.

Этим я хотел сказать, что драма души, в конечном счете трагедия Маяковского, возникла из более глубокой конфликтной ситуации, чем ее представил Ю. Карабчиевский.

Конечно, хотелось бы ввести в дискуссию и другие моменты. Даже в гипотетическом плане квалификация «заурядный литературный совслужащий» настолько противоречит характеру, личности и творчеству Маяковского, что может бумерангом возвратиться к автору.

Ю. Карабчиевский настаивает на том, что его книга — художественное произведение. Вольному — воля. Хотя принятию ее за роман или повесть противится структура книги — эссеистская, но вовсе не лишенная логической жесткости, литературоведческой аргументации. Другое дело, что свободный жанр дает больше воли воображению. Но освобождает ли он от историко-литературной корректности? Вопрос автору, читателю, себе... Но автор как будто бы уже ответил на него.

Во вступлении к книге сказано:

«Уж если решиться говорить о Маяковском, то только будучи абсолютно уверенным в своей в данный момент *беспристрастности*. Главное — это *не быть пред-*

Я думаю, что...

взятым. Не иметь никаких предварительных мнений, никакого счета не предъявлять, а открыть и читать стих за стихом, как читают неизвестного ранее поэта, выстраивая тот мир и тот образ автора, какие выстроятся сами собой».

Смелый и благородный замысел, не правда ли?

Однако автор тут же признается:

«Так бы требовалось, но так невозможно, к чему притворяться (курсив мой.— А. М.)».

Прочитав книгу «Воскресение Маяковского», я убедился, что Ю. Карабчиевский искренен в своем признании.

ЯИЦАТУПЕР как феномен
советской культуры

Как утверждал Ж.-П. Сартр, «другой владеет тайной: тайной того, чем я являюсь. Он дает мне бытие и тем самым владеет мною...»¹. Если попытаться приложить эти формулы западного философа к русской (в том числе и советского периода) культуре, то выявится примечательное отличие. Сартр имел в виду человека, несвобода которого определяется зависимостью от другого человека. В русской культуре эта зависимость несущественна (о чем с ужасом писал еще Ф. Достоевский), ибо «он» есть *надличная* сущность, Государство, а «тайна того, чем я являюсь», оказывается репутацией, хранящейся тем же Государством и в случае нужды обращаемой в антирепутацию, репутацию наоборот — ЯИЦАТУПЕР, которая при необходимости искусственно создается и предъявляется человеку внезапно, как ордер на арест (часто ее функция

¹ Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: любовь язык, мазохизм.— В кн.: Проблема человека в западной философии, М., 1988, с. 207.

именно такова). Иными словами, экзистенциализм в чистом виде в русской культуре невозможен, он пребывает в особой *социальной* разновидности, что бросается в глаза людям, воспитанным иной культурой.

«Счастье представлено в романе в традиционно русской манере — как нечто украденное у государства, — пишет Дж. Апдайк о «Детях Арбата», названных им «мыльной оперой», — как род духовного бегства, акт открытого неповиновения индивидуума и его личной свободы»¹.

Сравнение двух форм экзистенциализма — западной и русской — необходимо здесь для того, чтобы понять, какую функцию выполняет в нашей культуре ЯИЦАТУПЕР, какую ответственную роль играет: это не просто механизм, посредством которого Государство творит «я» и обладает им. Это форма типично русской экзистенции.

Вопрос о том, коснулись ли сегодняшние реформистские процессы (представляющие собой попытку нарушить целостность русского культурного архетипа) феномена ЯИЦАТУПЕР и его экзистенциальной функции или нет? А если затронули, то в каком объеме? А если нет, то по какой причине?

Размышления об этом, не претендующие на полноту и систематичность, приводятся в этой статье. Автор предполагает держаться в основном литературной сферы, а с учетом темы сразу переходит «на личности». Что ни говори, прав был В. Розанов: «едва напишешь что-нибудь насмешливое, злое, разрушающее, убивающее, — как все люди жадно хватаются за книгу, статью... Любят люди пожар. — Любят цирк»². Так было в 1910-е годы, в 1970-е, так и сейчас. Меняются лишь объекты.

«Когда и почему свихнулся Галич? По времени это случилось в начале шестидесятых годов, когда он практически бросил литературную работу и занялся сочинительством и исполнением под гитару полублатных, а чаще клеветнических песен. Причины? Может быть, творческий кризис? Заниматься сомнительным стихоплетством, конечно, легче, чем писать драмы, а клеветать, разумеется, проще, чем критиковать... Или кризис моральный? Пьянки, дебоши...»³

А. Галич нынче уже реабилитирован, приведенные суждения оказались злостным бредом. Меня же в дан-

¹ Апдайк Дж. Размышления о двух романах. — «Литературная газета», 1989, 5 июля, с. 4.

² Розанов В. В. Уединенное. — «Волга», 1989, № 6, с. 93.

³ Григорьев С., Шубин Ф. Это случилось на «Свободе». — «Неделя», 1978, № 16, с. 6.

ном случае интересуют другие фигуры: С. Григорьев и Ф. Шубин. Где сейчас эти соавторы, как поживают, что делают и под какими псевдонимами? И какова вообще судьба подобных «чернильных кули»? Не мешает ли прошлое их настоящему? Ведь в отличие от бывших сектосов, вохровцев и вертухаев они всегда стараются быть на виду, на поверхности, у газетно-журнальной кормушки.

Сразу оговорюсь: речь не идет о репрессиях — речь о репутации. Сегодняшняя реакция писателей, подписавших в 1969 году доносительское письмо (см. «Огонек», 1969, № 30), направленное против А. Твардовского и «Нового мира», примечательно не только абсолютным цинизмом, но и полным отсутствием того социального механизма, который именуется репутацией. Прямое и неопровержимое уличение в доноситељстве не действует — настолько деформировались представления об общественной морали, точнее, так далеко разошлись эти представления у разных социальных групп.

«Общественное мнение, слава о ком — или о чем-либо», — простодушно объясняет «репутацию» словарь. Отсутствие феномена — результат несуществования общественного мнения. Такого мнения, которое оказывало бы на индивида давление, но давление не прямое, а опосредованное. В норме индивид должен чувствовать мнение о нем в обществе и поступать, сообразуясь с этим. Но вот этого-то в социально-политической жизни как раз и нет. А отсутствует общественное мнение по той причине, что все получилось именно так, как описал Е. Замятин, наблюдавший советскую реальность 1918—1920 годов: общество состоит из корпускул, «человеческих частиц», дифференциалов, проинтегрированных не Единой Моралью, а Единым Государством, Скрижалью (Законом). Каждая такая «частица» пытается сохранять «вертикальную» лояльность лишь по отношению к Государству, но не «по горизонтали» — по отношению к себе подобным «частичам», согражданам¹. При этом императивы типа кантовских бездействуют, мнение сограждан значения не имеет, а есть лишь интеграция в плотное «мы», которая — и в этом ее функция — всякие связи устраняет. В результате — от безнадежности — и возникает желание за-

Я думаю, что...

276

¹ Характерно, что распад гражданского общества, сцепленного «горизонтальными» связями, Е. Замятин увидел и описал в досталинские времена. Фразы типа: «Как известно, сталинизм, добившись тотального подчинения всех граждан деспотической власти Сталина, его государственному аппарату, фактически упразднил гражданское общество как систему связи независимых граждан» (Бутенко А. Каким быть социализму? — «Правда», 1989, 8 августа), есть во многом сокрытие — при помощи Сталина истины о досталинском периоде послереволюционной истории.

менить отсутствующий механизм самоустранения скомпрометировавшего себя индивида «внешним», «прокурорским», устранением. Саморегуляция не действует, стыда как морального регулятора нет, все атрофировалось, следовательно, надо отсутствие саморегуляции каким-то образом компенсировать.

Многие считают, что главное сегодня — это представить поименный список «отрицательных персонажей» истории. Но что он даст, если любой фигурант с легкостью проигнорирует обвинения, по традиции переложив вину на обстоятельства или вовсе не обратив внимания на предъявленные факты? Ведь репутация — это *общественный договор*, а у нас нет реального понятия ни об обществе, ни о договоре.

Кроме Бога все имеет свою причину. Репутация атрофировалась из-за длительного проникновения административных методов в общественную жизнь, из-за полного разрушения гражданского общества как саморегулирующегося механизма под губительными ударами со стороны власти, того «нового класса», о котором еще в начале 1960-х годов писал Милован Джилас¹, а в начале 1989 года напомнил С. Андреев (правда, без ссылки на первоисточник²). В результате общественная жизнь стала сферой приложения возбуждающих импульсов централизованного управления.

Полное отсутствие естественного развития разного рода культурных процессов: от книгоиздания (тиражная политика) до действия механизма (а это именно социальный механизм) репутации — феномен и сегодняшнего дня. Волевым порядком определяются тиражи, таким же порядком присваиваются и репутации. Если бы книги А. Зиновьева, философа и логика, эмигрировавшего и ставшего социальным памфлетистом (впрочем, это произошло еще до эмиграции), были доступны советскому читателю, можно было бы порассуждать на обозначенную тему, например, с помощью зиновьевского «Светлого будущего» (1978) или других его книг. Однако эти сочинения еще не пришли к нам. Но в примерах недостатка нет: можно, например, взять Андрея Синявского — классический образец принудительно созданной антирепутации, ЯИЦАТУПЕР. Назначенный в «злодеи» (социальная роль исключительной важности во всех системах, где общественная жизнь не протекает естественно, а искусственно регулируется «свер-

¹ См. также «Партократию» А. Авторханова и «Номенклатуру» М. Восленского.

² Андреев С. Ю. Структура власти и задачи общества. — «Нева», 1989, № 1, с. 144—173.

ху)»¹, он был закономерным образом обречен и на то, чтобы быть объявленным «неписателем»: суд доказывал низкое качество его произведений, выводящее их за пределы художественности. В этом неожиданном судебном разборе художественного качества была своя неопровержимая логика: «советский писатель» — социальный персонаж однозначно положительный. «В противном случае его зовут иначе»: писатель просто перестает существовать, когда становится эмигрантом или уголовником (как правило, сначала уголовником, затем эмигрантом; с семиотической точки зрения тоталитарного режима это понятия идентичные и оба обозначают несуществование, поэтому смерти — А. Кузнецова, А. Галича — казались естественными и вызвали удовлетворение не только вследствие зависти, но и тем, что подтверждали *порядок*²).

Применительно к писателю эпитет «плохой» подразумевает сразу и «плохой человек», и «плохой писатель»; для «плохих» были зарезервированы особые зоны антиповедения: котельные, тюрьмы, лагеря, психиатрические больницы тюремного типа, заграница, Запад в широком смысле слова, который в официальной идеологии до самого последнего времени означал именно «дурную зону». Высылка из СССР А. Солженицына, вынужденный отъезд А. Синявского после шести лет лагеря, В. Некрасова после травли в Киеве, работа в литературе Ю. Даниэля под псевдонимом после освобождения — все это результаты действия семиотических механизмов культуры тоталитарного общества, которая работает по жесткому алгоритму, в частности, искусственно присваивает и отнимает репутации у «отмеченных» индивидов. Самопостроение личности, биография-миф, которую человек создает не только для того, чтобы полнее реализовать себя, но и затем, чтобы подать миру некий знак, — все это было отменено и запрещено как «частная инициатива». Концепция *человека для государства* подразумевала, что биография находится в ведении сил, управляющих человеком. Переписывание большой истории сопровождалось пере-

Я думаю, что...

278

¹ Как писал сам А. Синявский еще в 1957 г. *враг* «по-своему целесообразен, только назначение у него отрицательное — тормозить движение к Цели» (Синявский А. Д. Что такое социалистический реализм. — «Литературное обозрение», 1989, № 8, с. 96).

² Характерна ирония рассказа В. Алексеева «Один день за границей» (название — парафраз «Одного дня Ивана Денисовича»): «Должен сказать, что первое, что бросается вам в глаза, попадая за границу, это то, что вас при въезде раздевают и заставляют отправиться в баню... Тут же, в предбаннике, вас стригут... Некто знаменитый географ и первооткрыватель нового архипелага составил огромный труд, где тема за границы рассматривается со всех сторон...» («Родник», Рига, 1989, № 6, с. 24). Семиотика тоталитаризма действительно уравнивает за границу и лагерь как зоны несуществования, зоны «вне закона».

писыванием — часто «по живому» — историй индивидуальных, малых. Множество людей не только были уничтожены, но и были искусственно «сделаны» по проекту или прихоти кабинетов Центра, и репутация как проекция биографии на плоскость общественного мнения не избежала общей участи.

Мне, правда, могут возразить, что долгие годы страна жила в условиях классического двоемыслия, что казенным шельмованиям *мало кто верил*. Думаю, однако, что абсолютное большинство, даже несмотря на передачи западных радиостанций, было склонно считать, что *дыма без огня не бывает*. А это уже, по крайней мере, подмоченная репутация. В целом же Министерство правды потрудились в годы правления президента Прежнева (выражение Юза Алешковского) неплохо, доведя искусство клеветы и оговора (включая принудительный самооговор) до известного совершенства (публичные покаяния диссидентов в обмен на жизнь; нещадная эксплуатация патриотических и национальных чувств замороченных обывателей; инстинктивное стремление «простого человека» к простоте и ясности и боязнь запутаться в «парадоксе лжеца» — все было использовано), а мышление людей — до *двоемыслия* в точном оруэлловском смысле.

Л. Гудков и Б. Дубин эпитафией к статье «Литературная культура: процесс и рацион» не случайно поставили отрывок «из кабинетной прозы»: «Ну и что ж из того, что, по вашим данным, все хотят это купить? Дать надо взвешенный список. Пастернак, Пастернак... Нужно еще подумать, и очень подумать, стоит ли делать его классиком, может быть, лучше сделать классиком Симонова? Наука — это, конечно, хорошо, но мы-то власть, а власть лучше!»¹

Верно заметил один автор: «Повозка нашей истории вот уже семьдесят лет тащится напролом, ломая и корежа под собой всякую живность»².

Скудный информационный паек советского читателя (скудный до сих пор перестроечных пор, несмотря на информационный взрыв) позволяет поддерживать искусственно созданные репутации. И переосмысления, метаморфозы *здесь* важны не как фигуры некоего эпатажа, но как основа для восстановления истины вообще, в частности феномена репутации, для честного восстановления любых больших и малых исторических истин, независимых от конъюнктуры. Работа эта только начата. Необ-

¹ «Дружба народов», 1988, № 2, с. 168.

² Бич Е. Н. Что такое «непогода»? — «Даугава», 1989, № 7, с. 72.

ходимо описание всех экспонатов нашего исторического музея. Вот несколько «простых историй», связанных с литературной сферой. Важен не только анализ «в принципе», но и конкретные примеры и примерчики.

«И я, и Елена Мих(айловн)а (Тагер) когда-то близко знали В. А. (Рождественского) и даже любили его. Но примерно с начала 30-х годов В. А. стал вести себя так, что от него отшатнулись все те, кто его когда-то знал. Он стал выступать официальным обвинителем многих ленинград(ск)их поэтов и литераторов на закрытых процессах. Разумеется, этим он спас свою жизнь...»

Это отрывок из письма Юлиана Григорьевича Оксмана, видного пушкиниста и текстолога, к Г. Струве, написанного 20 ноября 1962 г. Письма Оксмана опубликованы недавно в Трудах Стэнфордского университета¹, но сколько людей в СССР имели возможность эти письма прочесть? А ведь письма эти очень важны не только как документ по истории борьбы с инакомыслием в стране в 1960-е годы, но и фактами, *иначе* раскрывающими уже сложившиеся репутации. Ю. Оксман знал, о чем писал: с 1936 по 1946 год он находился в лагере на Колыме. Пострадал он и в послеоттепельный период: вслед за безрезультатным обыском на московской квартире 5 августа 1964 года (искали Абрама Терца!) был превентивно уволен из ИМЛИ и исключен из Союза писателей (как «плохой» человек), а секретный циркуляр Комитета по делам печати запретил упоминание Оксмана даже в научных изданиях.

Еще из писем Оксмана: «На перевыборах правления ССП, если они состоятся в феврале, я надеюсь выступить с мотивированным заявлением об отстранении от ответственных должностей в Союзе всех тех писателей, которые выступали лжесвидетелями на закрытых процессах в 1936—1952 гг. в Москве и в Ленинграде... Так, напр., проф. Р. М. Самарин, будучи деканом филологического факультета Моск(овского) гос. унив., в числе многих других отправил в лагерь на 5 лет доцента А. И. Старцева, обвинив последнего в том, что его «История Северо-Американской литературы», т. 1, написана по заданию Пентагона. Так, директор издат(ельств)а «Совет. писатель», главный распорядитель бумаги и денег, отпускаемых на совет. литературу, в бытность свою в Ленинграде, отправил в лагеря Николая Заболоцкого, Е. М. Тагер, а на тот свет — поэта Бориса Корнилова. Сверх того, по его донесению было репрессировано еще не менее 10 литераторов... Самое

Я думаю, что...

280

¹ Ф лей ш м а н Л. Из архива Гуверовского института: Письма Ю. Г. Оксмана к Г. П. Струве.— Stanford Slavic Studies. Stanford, 1987. V 1.

страшное, что ни Самарин, ни Лесючевский не опровергали разоблачений, но ссылались на то, что они искренно считали всех оклеветанных ими писателей антисоветскими людьми. На костях погибшего в застенке Г. А. Гуковского сделал карьеру Д. Д. Благой».

Это отрывок из письма от 21 декабря 1962 г. Любопытная деталь: о Д. Благом в «Четвертой прозе» (1929—1930) писал еще О. Мандельштам: «...Некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина». Можно догадаться, что это за «специальный музей», где хранятся вещественные доказательства...

Разумеется, не о том речь, чтобы памяти о Р. Самарине, Д. Благом или Н. Лесючевском (директор издательства «Советский писатель») не сохранилось. Но память должна быть соответствующей, что потребует коренного пересмотра типовой энциклопедической статьи о литераторе того, еще недавнего периода. Пока же о «главном распорядителе бумаги и денег» в общедоступном издании можно прочесть лишь фальсификат: «Лесючевский, Николай Васильевич... сов. лит. деятель, публицист. Засл. работник культуры РСФСР (1973)... Автор статей о принципе партийности в лит-ре, о творчестве сов. писателей...»¹

Конечно, если доносы считать по разряду публицистики, то сойдет и так. В целом же процитированная статья в энциклопедии является классическим образцом социального признания в обмен на лояльность перед государством, потребовавшим от одного из своих «номеров» отвергнуть обязательные для человека нравственные нормы. Наверное, нужно чаще читать: «На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай, затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание...; а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге...»², — чтобы пересмотр энциклопедических справок,

281

¹ Краткая литературная энциклопедия, т. 9. М., 1978. В воспоминаниях «Эпилог» В. Каверин сообщил об административном работнике, писателе и активном доносчике Е. А. Федорове (см.: «Нева», 1989, № 8, с. 52). Но опять-таки в «Краткой литературной энциклопедии» (т. 7. М., 1972) читаем умилительно-благополучную справку: «...Род в семье крестьянина-бедняка... Окончил Ин-т красной профессуры... Был на ответственной хоз. и парт. работе... трилогия «Каменный пояс» (романы «Демидовы», 1940; «Наследники», 1940; «Хозяин каменных гор», 1953)». О доносительской же деятельности «красного профессора» — ни слова, как и следовало ожидать.

² Гроссман В. С. Все течет. — «Октябрь», 1989, № 6, с. 52.

подобных цитированной выше, все-таки состоялся. Кстати, история самого В. Гроссмана настоятельно требует соответствующих коррективов в энциклопедических статьях о В. Кожевникове. Может быть, с учетом частного употребления, просто использовать в таких случаях помету (курсивом): «*сикофант*»?

Все-таки, несмотря на глухое сопротивление компрометирующих себя лиц и их потомства, механизмы создания и поддержания искусственных репутаций — «за заслуги» — в последнее время начали разрушаться. Обнадеживающие примеры — статья С. Королева «Человек на вышке» об академике М. Митине («Советская культура», 1988, 17 сентября, с. 6), «Охота» В. Тендрякова («Знамя», 1988, № 9), очерк Р. Медведева о сыне Я. Свердлова — садисте-следователе НКВД («Волга», 1988, № 12), статьи о деле И. Бродского в «Огоньке», «Неве», «Юности», статья Б. Егорова и К. Азадовского «О низкопоклонстве и космополитизме: 1948—1949» («Звезда», 1989, № 6), статья В. Бушина «Спорили семь городов...», посвященная Георгию Мокеевичу Маркову («Волга», 1989, № 7)... Важно только, чтобы материалы такого рода затем обязательно попадали в энциклопедические статьи и не интерпретировались как «осквернение праха».

Я написал о «разрушении механизма». Корректнее пока говорить об обстановке хода некоторых шестерен, в частности шестерни «отлучения от церкви». Особенный интерес с этой точки зрения представляет фигура академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

Еще не так давно в центральных советских газетах Сахарова объединяли с Солженицыным и формулировали: «Продавшийся и простак» («простак» — это о Сахарове); об академике писали: «Сахаров встал на путь прямого предательства интересов нашей Родины», стал диверсантом, заменившим фашистских карателей и убийц, пошел «на службу иностранным хозяевам»¹.

Со временем, когда их прагматический статус будет забыт и окажется современникам непонятным, эти статьи будут переиздавать в антологиях с другими текстами периода тоталитаризма: «У Пушкина было четыре сына, и все идиоты...» Но по закону 1980 года за указанные в Государственной Газете уголовные преступления полагался если не расстрел, то длительное тюремное заключение. Сахаров, однако, был выслан в г. Горький (анекдот сразу указал на необходимость переименования города в «Сладкий»), т. е. целью разнuzданной государственной

Я думаю, что...

282

¹ См.: Батманов К. Справедливое решение.— «Известия», 1980, 23 января (моск. веч. вып.).

кампании против академика оказалось «всего лишь» искусственное разрушение репутации. Действию уголовного законодательства Сахаров оказался неподверженным: суд над ним был судом не гражданским, а идеологическим, духовным, «синодальным», а то, что произошло, являлось хорошо знакомым по русской истории отлучением от церкви (хотя и было проведено в государстве воинствующего атеизма).

Уже было: «...Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира... Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся...»

«Вместе и молимся...» При этом люди, разыгравшие «сахаровскую карту» (М. Суслов, М. Зимянин, П. Федосеев...), не забыли об имитации «общественного мнения», без которого репутация как социальный феномен не существует, не забыли о «совместной молитве», которая в условиях «религиозного атеизма» разрушила синодальное благообразие и превратилась в социалистическую «неделю ненависти». Будущего историка культуры наверняка позабавят публичные ложные доносы — письма в центральные газеты, в которых — повзводно и соревнуясь друг с другом — академики (сорок человек), члены ВАСХНИЛ (тридцать три человека), писатели (тридцать один человек), кинематографисты (двадцать восемь человек), художники (двадцать один человек), члены Академии художеств (двадцать один человек), ученые Сибирского отделения АН (двадцать человек, среди них — нынешний президент Академии), музыканты (семь человек) дружно выражали возмущение Сахаровым (все письма были опубликованы за короткий промежуток времени: с 29 августа по 8 сентября 1973 г.; видимо, торопились завершить шельмование к началу учебного года в сети политпросвета).

Впрочем, приведенный список, хотя и подавляет магией чисел, далек от полноты, ибо множество писем пришло от отдельных лиц и малочисленных компаний, видимо озабоченных тем, что их обошли центральные разнарядки. Так, из Ленинграда поступили письма от токаря Ю. Сидорова («Электросила»), четырех рабочих Кировского завода и пяти писателей: В. Азарова, М. Дудина, Е. Серебровской, Г. Холопова, А. Чепурова.

И опять возникают те же вопросы: как сегодня относиться к многочисленным «подписантам» (в одних центральных газетах — гораздо более 200 фамилий)? Существует ли у нас феномен репутации или его нет, и эти письма подпадают под общественную амнезию? «Хуже всякого разврата — оболгать родного брата. Бог! Лиши

клеветников их поганных языков», — горланили еще в X веке пьяные ваганты. В культуре нового времени последняя инвектива реализуется в норме путем удаления от печатного станка. Но наша культура пока так же далека от нормы, как мы — от десятого века (едва ли не единственный случай — разоблачение Б. Дьякова). Что же касается нужды в доносительских письмах, то в той игровой реальности, в которой существовала центральная печать и все общество в целом, по условиям игры необходима была имитация и общественного мнения: тоталитарный режим таким, чисто знаковым, образом компенсировал отсутствие естественных механизмов образования репутации¹. В то же время «проверке подвергались репутации уже знаменитые, всплывшие. Важно было еще раз проверить, как поведут себя Евтушенко, Окуджава, Айтматов, Быков... — это было важно»². Поведение не всегда было «безупречным», а «проверка», которой любил заниматься тоталитарный режим, всегда носила характер принуждения. При сохранявшемся двоемыслии люди теряли нравственную чистоту: режим их «дефлорировал», игра переходила в реальность при всей условности всякой «подписной» кампании.

Сегодня целый ряд интеллигентов, ставших общественными деятелями, реализует мифологические архетипы весьма древнего происхождения³ (а они, между прочим, заставляют реальных людей, спонтанно ставших мифологическими героями, *дорабатывать* свое поведение в соответствии с общественным запросом и ожиданием). Это свидетельствует о том, что в общественной жизни и сознании начались *спонтанные* процессы, которые замещают прежние искусственные кампании по созданию и разрушению репутаций и сами эти искусственные репутации. Все это впервые в советской истории коснулось и писатель-

Я думаю, что...

¹ При этом было трудно избежать абсурда. Например, в белорусской «коллективке» «В одной упряжке с недругами» М. Танк, М. Лыньков, И. Шамякин, И. Мележ, А. Кулаковский возмущались романом А. Солженицына «Август Четырнадцатого», но заканчивали донос весьма неожиданно: «Мы гневно осуждаем каждого, кто пытается очернить завоевание Великого Октября, опорочить святыне чувства нашего народа» («Литературная газета», 1972, № 16). Октябрьская революция, о чем забыли белорусы, произошла в 1917 году, т. е. через три года после начала первой мировой войны.

² Слова А. Битова цит. по его статье «Трофеи равенства». — «Огонек», 1989, № 38, с. 10.

³ Ср. с мыслью французского социолога Э. Морена о том, что интеллигенты «оказывают двойное духовное воздействие: с одной стороны, ведут активную критику, рассеивая мифы и иллюзии; с другой стороны, вырабатывают идеологии и мифы современных обществ» (Морен Э. Что может интеллигенция? — «Литературная газета», 1989, 2 августа, с. 15).

ских репутаций: люди, старательно скомпрометированные в прошлом (от Е. Замятина до В. Гроссмана, А. Сиявского, А. Солженицына, В. Войновича), оказываются реабилитированными, писательская самодеятельность, «демарши энтузиастов» (так называется книга В. Бахчаняна, С. Довдатова, Н. Сагаловского, изданная за границей в 1985 году) не запрещаются, писатели обретают «право писать плохо», отнятое соцреализмом.

Реализм избавляется от искажающих его прилагательных, а литература в целом — как часть общественной жизни — медленно освобождается от жестокого диктата Центра, так что сегодня уже можно обнаружить отдельные отличия нашей реальности от кошмаров Дж. Оруэлла. Впрочем, остаются постоянно действующие факторы, которые не дают произойти качественным изменениям. Во-первых, в современном мире общественное мнение не может возникать и функционировать без участия средств массовой коммуникации. Древняя площадь, *агора*, на которой могли собираться *все* граждане, безвозвратно вытеснена «галактикой Гутенберга» и ТВ. Все эти безвозвратные формы агоры, сохранившиеся в современной культуре, контролируются особенно тщательно. В недавнем прошлом *демонстрации* и *митинги* устраивались «сверху», проводились под жестким контролем с использованием «активистов»; особо важные *судебные процессы* (скажем, над А. Сиявским и Ю. Даниэлем, К. Азадовским) при декларированном открытом характере были фактически закрытыми: залы заполнялись специально подобранными людьми, которые не распространят правду (исключение делалось только для самых близких родственников). Сюда же, возвращаясь в сегодняшний день, надо отнести и борьбу с *прямыми телепередачами*. С разрешением проведения *митингов* сразу началась борьба за центральные городские площади. Впрочем, устное общение при любом количестве присутствующих на подобном мероприятии сегодня неэффективно. Именно поэтому сегодня идут принципиальные споры о роли *прессы*, Закона о печати.

Во-вторых, и сегодня для русской культуры значимо представление о писателе как учителе жизни, и в связи с этим — о высокой нравственности писателя как его непременном атрибуте, вытекающем из импlications: *если писатель, то человек высоконравственный и порядочный, политически благонадежный. Если человек «плохой», то он и не писатель.* Именно отсюда берет начало сокрытие компрометирующих данных относительно тех, кто произведен в «писатели», и исключение в недавнем прошлом

из числа писателей тех, кто скомпрометировал себя по мнению властей. «Плохой человек» не может быть писателем, писатель должен быть «хорошим человеком» (поэтому, например, Сталин прощал А. Фадееву его хронический алкоголизм; поэтому А. Жданов настаивал на том, что А. Ахматова — в буквальном смысле слова «блудница»¹).

Эта несложная казуистика до сих пор охраняет многие канонизированные персоны литературного Олимпа.

В-третьих, надо учитывать степень проникновения политических структур в общественную жизнь, традиционную для нашей культуры. «...Диффузия качеств, — формулирует В. Пьецух старую мысль в романе 1985 года, — породила удивительную соединенность русского человека со своей государственностью, чем он опять же отличается от среднего европейца, как правило напрочь отчуждающего себя от властей...»²

Однако, несмотря на тайную и интимно-духовную *соединенность* россиянина со своим государством (а может быть, вследствие ее идеализации и недовольства, «статус-кво»), значимыми для России являлись два вида *отторжения*, прекрасно осознанные уже в конце XVIII века: отторжение политики и власти от базовых культурных и нравственных ценностей («...доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости...» — А. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву», глава «Хотиллов») и отторжение «частного», «отдельного» человека от политики. Оба вида отторжения рождали борьбу: литература концентрировала базовые ценности в себе (то есть выполняла функции религии, рано подавленной в России государством) и учила политику и церковь нравственности и красоте³; «частный» человек настойчиво (вплоть до бомб, метаемых в царя) добивался возможности заниматься политикой, оспаривал старейшую государственную монополию, но большей частью «выталкивал-

Я думаю, что...

286

¹ Ср. с серией пародий под общим названием «В гостях у литераторов» А. Бартова («В гостях...» у М. Горького, М. Шолохова, В. Катаева, В. Кочетова, С. Михалкова). Помимо подбора имен характерна кода каждой пародии, произносимая пьяным гостем: «Хороший человек, наш...» («Родник», Рига, 1989, № 5, с. 28—29).

² Пьецух В. Роммат: романтический материализм. — «Волга», 1989, № 5, с. 87.

³ Ср.: «Кто создаст человечеству единую систему отсчета — для злодеяний и благодеяний?.. Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература» (Солженицын А. И. Нобелевская лекция. — «Новый мир», 1989, № 7, с. 139).

ся» в литературу (и на политическое поприще не проникал).

Борьба за право на политические занятия ощущима и в сегодняшней жизни, в сегодняшней литературе (вынужденно политизированной), ибо главная причина, лежащая в основе отторжений, давно работает как исторический синдром: слишком сильное и замкнутое, от посторонних отгороженное «государство для себя». Оно рождает сходные явления и структуры, в частности, такую стойкую русскую традицию, как «поучение государя»: от С. Полоцкого и К. Истомина через В. Соловьева и Л. Толстого к Л. Баткину, автору статьи в книге «Иного не дано». Между прочим, о многих сегодняшних публицистах можно сказать по-розановски: «Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше «романиста», или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь «драться на рапирах» и «запретили куда-нибудь принимать на службу». Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*»¹.

Победа Октябрьской революции привела в политику вчерашних «частных людей». Отторжение политики от базовых ценностей, от культуры теперь попытались ликвидировать путем выращивания культуры и нравственности *In vitro* на основе политической теории, т. е. «с другого конца» (классовая мораль, «пролетарская культура», соцреализм). Это был мощный и XIX веку неведомый импульс внедрения политики в культуру, нравственность и всю общественную жизнь и мысль, не исчерпывающий своей силы до сих пор. Одним из проявлений такого внедрения оказывается искусственное воздействие на общественное мнение и, следовательно, на репутации людей и организаций. По существу, действует подмена естественного установления «по природе» — искусственным установлением по обычаю, по произволу.

С точки зрения культурологии нашего общества в развитии феномена ЯИЦАТУПЕР можно выделить четыре периода: сталинский, хрущевский, брежневский и горбачевский. В изучение этих периодов активно включились литература и искусство в целом, поэтому имеет смысл хотя бы кратко их проанализировать.

Первый и третий — периоды стабильности, второй и четвертый — резкой динамики. Это прежде всего относится к феномену репутации и конкретно — к репутации тех лиц, которые дали периодам названия. Резко отличаются семиотические характеристики периодов. Ска-

¹ Розанов В. В. Уединенное.— «Волга», 1989, № 6, с. 94.

жем, в третьем периоде нынешнее культурное сознание¹ все более уверенно отмечает сильнейшую карнавализацию, игру, шутовство — в отличие от кровавой серьезности первого периода. «Покаяние» Т. Абуладзе — пример осмысления сталинского периода в терминах кодовой системы брежневского со свойственным ему колебанием между Игрой и Преступлением². Именно эти два начала были выделены в качестве доминирующих в фильме С. Соловьева «Асса» и в повести В. Пьецуха «Новая московская философия» (модернизовавшей сюжет «Преступления и наказания»: второй компонент был заменен именно игрой), в то время как в «Душе патриота, или Различных посланиях к Ферфичкину» Е. Попова преступление как одно из важнейших миро- и жизнеустроительных начал брежневского социума практически отсутствует, а Игра

¹ Впрочем, не только нынешнее, «перестроечное». Но в брежневский период осмысление жизни как Игры вытеснялось в зону эзотерической культурной рефлексии. Примеры: статья Ю. Лотмана в кн.: «Статьи по типологии культуры» (Тарту, 1973), статья М. Эпштейна «Игра в жизни и в искусстве» (1977—1978), кстати содержащая театроведческие ошибки, на которые не обращали внимания (была опубликована в «Современной драматургии», 1982, № 1), и, наконец, соответствующий раздел книги Н. Эйдельмана «Грань веков» (М., 1982), где речь шла о театральности стиля павловского правления. К тому моменту, когда улеглось волнение гуманитарных умов, вызванное бахтинским «карнавалом», Игра была навсегда осмыслена как структурообразующее начало советского социалитета. Не случайно даже Ю. Бондарев, претендовавший на роль эрика общества развитого социализма, назвал свой роман (кстати, стоявший ему литературной репутации и создания ЯИЦАТУПЕР) — «Игра», а не лишенный конъюнктурных поползновений и желания разоблачать С. Есин озаглавил повесть о художнике (прототипы — И. Глазунов и А. Шилев) — «Имитатор».

² Таким же образом описан период сталинщины в романе А. Злобина «Демонтаж» («Нева», 1989, № 5—7), что наиболее явно обнаруживается в главе, опубликованной в «Огоньке» (1989, № 20, с. 28—31). К тому же в «Демонтаже» содержится диффамация известного скульптора-соцреалиста Е. Вучетича (выведен под фамилией Бурича). Впрочем, черты игры и карнавала в полной мере обнаружил у А. Злобина и хрущевский период. Игровую характеристику последнего см. также в романе Ф. Горенштейна «Псалом» (1974—1975): «В тот год длинны были сосульки, свисающие с крыш, к долгой это весне... Среди весенних вод, среди летних дождей размыло и унесло особый бронированный 1953 год. Обмякло все, отсырело, серьез потеряло. И жирный, круглолицый зажиточный мужик с народными прибаутками вдруг взялся объяснять России вековую ее загадку» (Горенштейн Ф. Псалом. München, 1986, с. 316). «Множество комических характеров явилось в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Как всегда в комедии, явились они в странных сочетаниях, со странными стремлениями и часто без всяких объяснений, крайне хаотично, ибо комедия — это наиболее удаленный от Господа жанр, а значит, наиболее человеческий» (там же, с. 320).

³ Подробное об этом я написал в рецензии на фильм «Асса». — «Смена», Ленинград, 1988, 27 августа.

безраздельно доминирует, что определяет общее благодушное отношение к периоду в целом (включая иронию по отношению к Брежневу, милиции и милиционерам). В свою очередь, отсюда берет начало своеобразное отражение ЯИЦАТУПЕР: прямое название практически всегда подавлено поэтикой намека (фамилия Д. Пригова, фигурирующего в повести Е. Попова, в момент создания текста была культурно незначима).

«Вчера вечером речь по ТВ товарища Ч., редактора. Он сказал, что покойный ездил за сотни тысяч километров, чтобы бороться за мир, и теперь ему осталось немногим менее 2-х км от Колонного зала Дома союзов до могилы...»¹

«Журналист К. (он вскоре умер, возвратившись из Афганистана): «Он оставляет нам драгоценное наследие — 15-миллионную партию...»²

Фамилии «Чаковский» и «Каверзнев» довольно надежно скрыты под аббревиатурами — очевидно, для того, чтобы массовый читатель и сегодня не знал никаких компрометирующих черт на портретах этих людей. Так же, между прочим, поступает А. Битов в «Близком ретро, или Комментарий к общеизвестному», где зашифровывает (возможно, в игровых целях) фамилии видных сексотов периода сталинщины: М. и Э. (М. — это М. Б. Маклярский, Э. — Я. Е. Эльсберг), а также директора ИМЛИ Б. Сучкова и его заместителя А. Дымшица³.

А. Битов подчеркивает: «Репутация и есть репутация — она живет сама, независимо от носителя». Однако стоит ли отделять репутацию от носителя, превращая в подобие социальной маски, подходящей многим, а с самих сексотов снимая личную вину? Преодоление такого рода тенденции — задача ближайшего будущего. Как представляется, в дальнейшем мотив личной вины в концепции личности, существующей в тоталитарном государстве, будет акцентироваться значительно (ср. с размышлениями В. Гроссмана в повести «Все течет»: «Кого же судить? Природу человека!»), а биография (как и грехи) вновь будет однозначно интерпретироваться как результат собственных усилий человека. Фоном для этого послужит отказ от культа «славной истории» — предмета всенародной и национальной гордости — и уже начавшаяся переоценка роли личности в истории. Безусловно, переоценке способствует появление на авансцене М. С. Горбачева как челове-

¹ Попов Е. Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину. — «Волга», 1989, № 2, с. 72.

² Там же, с. 73.

³ Характеристику, которую дает им А. Битов, см. в «Новом мире», 1989, № 4, с. 142—143.

ка, без которого период реформаторства вряд ли бы начался. Вообще горбачевский период дает новый интересный материал. С одной стороны, имеет место явная тенденция к возрождению общественной жизни и независимого общественного мнения, многие ЯИЦАТУПЕР разрушаются. С другой стороны, все отчетливее попытки замедлить или прекратить этот процесс. На уровне художественного сознания это трансформируется в ощущение усталости, а подчас и неверия в победу добрых намерений, что рождает антиутопии¹ и интерес к антиутопическому сознанию в широком смысле (от А. Платонова до Дж. Оруэлла).

Оживление естественных процессов в жизни общественного мнения интересно и поучительно наблюдать на примере Е. Лигачева, активно сопротивляющегося возникновению у него индивидуальной репутации и стремящегося к сохранению «безликости», диктуемой партийным этосом. Культурный процесс, однако, неумолимо течет в прямо противоположном направлении, и происходит беспрецедентное превращение *живой личности члена Политбюро* в пародическую (ср. с графом Хвостовым и князем Шаликовым в литературе начала XIX в.) — явление для советского общества необычное и чрезвычайно сложное по своему генезису. В его основе — традиционные для русской культуры прямые контакты политики и литературы: литература вмещивается в политику, литераторы учат политиков, не уступающих им своего поприща.

В начале века *поэт* Иван Каляев убил *великого князя* Сергея Александровича. Сегодня идет поиск *новых подходов*, результатом чего стал своеобразный несанкционированный «импичмент»: выведение личности Е. Лигачева из сакрально-таинственной, партийно-божественной, анонимной *политической* системы и включение ее в десакрализованную *литературно-смеховую* систему: образование пародической личности, как писал Ю. Тынянов в 1929 году, происходит автоматически (В. Розанов: «Любят люди пожар. — Любят цирк. Охоту»). Для истории важно указать момент, когда было положено начало образованию пародической личности, — 1 июля 1988 года, выступление Е. Лигачева на XIX конференции КПСС:

«...А ты, Борис, работал 9 лет секретарем обкома и прочно посадил область на талоны».

«Молчал и выжидал. Чудовищно, но это факт. Разве это означает партийное товарищество, Борис?»

«По-видимому, хотелось т. Ельцину напомнить о

¹ Кабаков А. Невозвращенец. — «Искусство кино», 1989, № 6; Петрушевская Л. Новые Робинзоны. Хроника конца XX века. — «Новый мир», 1989, № 8; Зариньш М. Политически незрелый сок. — «Родник», Рига, 1989, № 8.

себе... Любишь же ты, Борис, чтоб все флаги к тебе ехали!»¹

Политическая норма была превышена ровно настолько, чтобы человек перешел в иной — литературный — ряд, причиной чему, конечно, ближайшая для литературного сознания ассоциация: «Борис, Борис! все пред тобой трепещет...», которая своей «литературностью» обратилась против того, кто вывел на нее своей речью. Он-то и превратился в пародическую личность (см. карикатуру А. Вансовича, использующую пушкинский сюжет: «Огонек», 1989, № 40, с. 33)².

Безусловно, предварительно были созданы все необходимые условия для возникновения пародической личности и разрушения фиктивной ЯИЦАТУПЕР (невозможно представить в этой роли М. Суслова), необходим был только подходящий объект, способный принять на себя сформировавшееся отношение общества к фигуре *политика, оставшего от Времени*. Пример интересен принципиально новыми для «эпохи базиса и надстройки» отношениями власти (в лице одного из ее представителей) и общественного мнения, вышедшего из-под строгого контроля: происходит чрезвычайно опасное для бюрократии прорастание низовой смеховой литературы в официальную печать (ср. с публикацией даже анекдотов типа: «Куй железо, пока Горбачев», «Поживет — увидим»), что лишний раз свидетельствует о начавшемся в обществе новом осмыслении феномена репутации.

Ленинград

¹ «Правда», 1988, 2 июля, с. 11.

² Ср.: «Даже дети и те в перестройку играют. Сам видел, как один на другом верхом ездил. Нижний плачет: «Не хочу, не хочу больше быть Ельциным!» А верхний отвечает: «Борис, ты не прав!» (Задорнов М. Хромосомный набор.— «Огонек», 1989, № 28, с. 32). В речи Е. Лигачева на конференции был еще один эффект, возможно не предусмотренный (тем показательнее совпадение). В финале Е. Лигачев сказал: «Пишут и о нас. В том числе разное пишут за рубежом о Лигачеве. Иногда спрашивают, как я к этому отношусь? Перефразируя слова великого русского поэта, скажу: в диком крике озлобленья я слышу звуки одобренья. (*Аплодисменты.*)» Но именно этой цитатой закончил проработочную речь Н. С. Хрущев 8 марта 1963 г. на встрече с деятелями литературы и искусства: «Буржуазная печать нередко хвалит иных наших работников искусства... Обидна такая похвала для советского человека. Владимир Ильич Ленин любил приводить прекрасные слова поэта Некрасова:

Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Это написал товарищ Некрасов, но не этот Некрасов, а тот Некрасов, которого все знают. (*Смех в зале. Аплодисменты.*)» Примечательное совпадение.

На перекрестке мнений

Заметки о биологии стиля

Зависимость стиля от жизненного опыта писателя существует несомненно, но выражается опосредствованно: через литературный опыт писателя. Жизненный опыт, каким бы богатым он ни был, не отмечает задачи творческого становления, но эту задачу индивидуализирует.

Нужно говорить об известных возрастных этапах индивидуального стилевого развития, то есть биологии стиля, характерной для литературного творчества в целом. Как правило, развитие стиля анализируется в литературоведении на примере творчества того или иного писателя, тем самым раскрывается эволюция его поэтики. Мне хочется пойти дальше: опираясь на опыт конкретных исследований, попытаться вывести общие законы биологии стиля.

Есть пять основных этапов развития стиля. Мои заметки, главным образом, посвящены анализу самого «задиристого» этапа, который условно назову «молодым стилем».

Эти заметки о «молодом стиле» связаны с тем, что я делаю в прозе.

Сейчас литературе стало больше позволено (спасибо, конечно, но вообще-то писатель сам, при всех обстоятельствах, не исключая смертельного риска, устанавливает меру своей свободы), и это тоже серьезное испытание. Свободная литература — не битые посуды, не купеческая удаль, сильно отдающая провинциальным «погуляли».

В литературе, видимо, нет прогресса, но зато есть смена контекстов. Меняющаяся мозаика контекста — поле игры и борьбы для писателя. Особенно для того, кто вступает в свой «молодой стиль».

«Молодой стиль» — это путь освобождения от ученичества.

Это — первые уроки самопознания.

Это — радость сочинительства.

Это, наконец, то, что я жду от нового поколения «постсоветской» литературы.

«Молодой стиль» — это первое самостоятельное слово художника, его творческая первооснова. Но для того, чтобы найти место «молодому стилю» в общей структуре, нужно хотя бы кратко остановиться на других стилевых возрастах.

Начну с того, что следует, пожалуй, окрестить «младенческим» сочинительством. Оно характерно главным образом для поэтов. В целом этот этап можно рассматривать как необязательный, факультативный, как предтечу творчества. В отличие от других этапов, он самым непосредственным образом связан с возрастом — детством. Этот период спонтанного и *неосознанного* творчества, когда сочинительство стоит в одном ряду с *игрой*.

В «младенческий» период (будущий) художник свободен по отношению к слову, еще не оробел от «тяжести» культурного наследия. В неуклюжей и трогательной искренности «младенческих» стихов, где стилистические огрехи соседствуют с грамматическими, видно желание отразить окружающий мир и самого себя непосредственно таким, каким он («я») есть, без всякой хитрости.

Стиль «младенческих» стихов отражает скорее явление не литературного, а психологического порядка, поэтому в литературном отношении здесь стиль выступает как отсутствие стиля. «Младенческие» стихи можно рассматривать как форму непосредственного самовыражения, точнее сказать, как намерение самовыражения, ибо отсутствие профессионального мастерства создает очевидный разрыв между намерением и его осуществлением.

Важную роль в создании «младенческих» стихов играет среда, в которую погружен юный поэт. Незнакомый еще с «большой культурой», он пребывает в ее бытовом измерении — в «малой», домашней культуре, испытывает влияние ее климата, подчиняется ее языковой, логической и образной системе.

«Младенческим» стихам «настанет», по словам М. Цветаевой, «свой черед» после смерти поэта, в посмертном собрании его сочинений. Они представляют, как правило, ограниченный интерес, но для биографа и исследователя творчества поэта, вне всякого сомнения, бесценны.

Второй этап — ученичество. Через него проходит всякий художник.

Ученичество — определение культурной принадлежности художника. В этот период художник чувствует огромную мощь и давление культурной традиции, в которой, собственно, «все уже сказано». Ученик стремится войти в культуру, приобщиться к ее достижениям, заговорить с ней *на одном языке*. Он добровольно отказывается от себя, от своих убогих, неразработанных стилистических возможностей. Он не имеет ни сил, ни желания сопротивляться чужому стилю, доведенному до совершенства и столь пригодному для того, чтобы ученик смог наилучшим образом выразить свои мысли. В период ученичества основным устремлением художника является желание повторить, добавляя. Хотя «все уже сказано», но ведь сказано это вчера, а сегодня бесспорную истину следует применить, приспособить к новым обстоятельствам, что-то уточнить. Ученичество — это «оригинальность» содержания при «заемной» форме выражения.

В автобиографии «Я сам» Маяковский рассказывает о периоде своего ученичества у символистов. Чужды ему по темам и образам, символисты привлекли поэта «формальной новизной». Поэтому, пишет Маяковский, он «попробовал сам писать так же хорошо, но про другое». В этом желании выражается, собственно говоря, сущность ученичества и одновременно его внутренняя противоречивость: «Оказалось так же про другое — нельзя».

Можно ли вообще говорить о счастливом ученичестве? Если брать не процесс, а результат, он ничтожен. Вместе с тем сам процесс ученичества чрезвычайно важен. Это посвящение художника в мир культуры, в котором он будет отныне существовать. Писатели XIX века не

стыдились своего ученичества, не смущались даже прямых заимствований. Лермонтов вводил в свои ученические опыты целые пассажи чужих стихов. Подражательство — школа прохождения через всю толщу созданной культуры к самостоятельному творчеству. Собственно, писатель тем и отличается от *неписателя*, что он способен успешно пройти через эту толщу. Другие, пишущие в юности стихи, начинают и заканчивают подражаниями. Но «продукт» ученичества с самого начала обречен:

Прошел он дальний, видно, путь;
Страдает больно, видно, грудь;
Душа страдает, жалко ноя;
Теперь ему не до покоя.

Автор этих строк — Гоголь, скрытый за псевдонимом В. Алов. Написанная под сильным влиянием баллад Жуковского и стихов Пушкина, поэма «Ганц Кюхельgarten» была осмеяна современной критикой, и молодой автор скупал ее у книгопродавцев и уничтожал экземпляры поэмы, вводя тем самым в свой жизненный сюжет тему уничтожения, которая столь трагично закончит его. Эта догоголевская поэма была вместе с тем необходима для дальнейшего гоголевского творчества. «Ганц Кюхельgarten» стал как бы точкой отрицания, примером, как *не* следует писать, негативной основой последующего творчества.

И тем не менее можно найти некоторое родство между тем, что писал Гоголь в юношеской поэме, и его поздним периодом. Взять хотя бы описание двора «разумной хозяйки Берты» из «Ганца Кюхельgartена» и — двора Коробочки из «Мертвых душ»:

...Толпится так же под окном
Гусей ватага длинношейных; так же
Неугомонные кудахчут куры;
Чиликают нахалы воробы,
Весь день в навозной куче роясь.
Видали уж красавца снегиря...

А вот утро Чичикова у Коробочки: «Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник, по крайней мере, находившийся перед ним узенький двор весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа, а промеж них расхаживался петух мерным шагом, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого,

продолжала уписывать арбузные корки своим порядком...»

В обоих отрывках Гоголь выразил свое художественное пристрастие к бытовым мелочам. Но отчего первая картина двора уныла и безжизненна, тогда как двор Коробочки полон жизни, красок, движения?

Ученичество обещает лишь добросовестность описания: мир называется таким, каким он давно известен. У автора «Ганца Кюхельгартена» торжествует та простота, что хуже (литературного) воровства: воробьи — нахалы, куры — неугомонные, гуси — «длинношейные». Все действия предсказуемы и потому лишены интереса, каждая «тварь» равна самой себе и выполняет только то, что ей положено по природе: воробьи — чирикают; куры — кудахчут. Мир в картине не преобразуется, а продолжается, тянется, длится и угасает в тоске. Это одномерный мир.

Напротив, «твари» на дворе Коробочки живут непредсказуемой жизнью, принадлежат к многомерному миру. Петух — не только петух, разгуливающий промеж кур; он может в следующую секунду *обернуться* щеголем, хватом, франтом с соответствующими светскими манерами. То же самое можно сказать о свинье, которая мимоходом съедает цыпленка: это уже не свинья, а целая философия нечаянной жестокости. Во флегматическом преступлении свиньи вдруг вспыхнул и отразился мир совсем не «дворовых» страстей, но, вспыхнув, он не застыл и не утвердился в своем назидательном значении (свинья — тупость — жестокость), а рассыпался и исчез так же быстро, как и возник. Эти переклички различных миров, страстей, ассоциаций и создают подвижную, полную жизни картину преображений действительности. Двор перестает быть хозяйственной мелочью, он вписывается в образ творения как частица единого бытия.

«Спасибо надзирателям — при выходе отобрали,— иронизировал Маяковский над своими ученическими опусами,— а то бы еще напечатал!» Отсутствие же самокритичной оценки у самого ученика, очевидно, спасительно для будущего художника. Не будь такого временного «затмения», художник не смог бы пробиться сквозь ученичество, устав от него и разуверившись в себе.

Подлинным результатом ученичества является не преодоление подражательных произведений, а самое преодоление подражания, то есть переход в иное качество:

Начнем с подражания. Ведь позже
Придется узнать все равно,
На что мы в сем мире похожи
И что нам от бога дано.

(Д. Самойлов)

* * *

«Молодой стиль» знаменует собою период эстетического самоутверждения писателя, его освобождение от влияния чужого стиля, вызов устоявшимся литературным канонам, бунт и разрыв с учителями. Смиранный, усидчивый ученик вдруг оказывается неблагодарным и самоуверенным «нигилистом», который дерзит учителям, иронизирует над ними, пародирует их метод.

В своих записях Бунин приводит «чьи-то замечательные, — как он пишет, — слова: «В литературе существует тот же обычай, что у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков».

Литературные «убийства» и «антропофагия» особенно характерны для периодов решительной переоценки эстетических концепций, авангардистских течений. В начале XX века русские футуристы открыто проповедовали идею литературной расправы с учителями; их отрицание достигало глобальных масштабов. В «Облаке в штанах» молодой Маяковский решительно перечеркивал всю книжную культуру:

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».

Никогда
Ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Если для авангарда характерны нигилистические декларации, то, со своей стороны, эстетика модернизма XX века выдвигает понятие «иррациональной новизны», которая принципиально недоступна традиционному сознанию. На этот счет читаем в набоковском «Даре»: «...Всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающего просвещение, искусство, ремесла, накопившего множество ценностей в области мышления, — быть может, выказавшего вполне передовую разборчивость во время их накопления, но теперь вовсе не желающего, чтобы они вдруг подверглись пересмотру, такого человека иррациональная новизна сердит пуще тем-

ноты, ветхого невежества. Так, розовый плащ тореодорши на картине Мане больше раздражает буржуазного быка, чем если бы он был красным».

Однако проблема преемственности далеко не всегда решается на путях демонстративного разрыва. Мнение Ю. Тынянова: «Всякая литературная преемственность есть прежде всего борьба, разрушение старого целого и новая стройка старых элементов», — нуждается в уточнении. В истории литературы встречаются многочисленные примеры достаточно мирного, безболезненного *вживания* молодого писателя в современную ему культуру. Отсутствие открытого разрыва с традицией отнюдь не скрадывает значение нового слова, которое вносит писатель. Достаточно назвать Л. Толстого.

При всем том категория разрыва, выраженного в скрытой или явной форме, в осознанном или неосознанном для писателя виде, является одной из главных характеристик «молодого стиля».

Показательно отношение молодого Достоевского к Гоголю, рассмотренное Ю. Тыняновым с точки зрения «теории пародии».

Сложность проблемы преодоления чужого стиля заключается в том, что «борьба» ведется не с эстетическим оппонентом, а зачастую с любимым и близким по духу писателем (Достоевский и Гоголь; Пушкин и Байрон; Блок и Вл. Соловьев; Пастернак и Андрей Белый и т. д.). Каким бы болезненным и нравственно сложным ни был этот разрыв, отход молодого писателя от любимого образца является неременным условием его творческого развития.

Освобождение молодого писателя от стилевых влияний еще не приносит подлинной свободы и самостоятельности стиля, хотя молодой писатель субъективно ощущает себя свободным. «Молодой стиль» по сути своей *не* свободен: находится в глухой, напряженной полемике с чужим словом. Стилевая энергия во многом расходуется на доказательство самобытности, оригинальности дара. Часто это идет во вред произведению, ибо, добиваясь внешнего эффекта, молодой писатель утрачивает чувство меры, грешит против законов литературного вкуса.

Впоследствии, редактируя свои «молодые» произведения, писатель безошибочно обнаруживает наиболее концентрированные сгустки своего «молодого стиля» и либо вообще выбрасывает их, переписывает «кричащее» (в стилевом отношении) место — так неоднократно переписывал, переиначивал себя Пастернак, признававшийся

Я думаю, что...

в зрелые годы, что не любит своего стиля до 1940 года, — либо же снисходительно оставляет все как есть — в качестве свидетельства молодых «заблуждений».

«Молодой стиль» — это прежде всего выдвижение на авансцену авторского «я», обостренная субъективность, желание переименовать все на свете по-своему. В широком смысле это своеобразный тотальный прием остранения, новый, свежий взгляд на старые вещи, обнаружение и списание дотоле не описанных в литературе реалий, что в особо дерзких проявлениях может вызвать шок восприятия, нарекание в «распредмечивании» литературы, отказ почтенной критики вообще относить дерзкое произведение к литературе.

«Молодой стиль» предпочитает повествование эмоционально окрашенное, оценочное — от первого лица. Теория литературы специально не занималась «молодым стилем», но порою в статьях литературоведов и критиков разбросаны тонкие наблюдения относительно того, что мы договорились именовать «молодым стилем». Замечательные, хотя и не систематизированные наблюдения над «молодым стилем» Тургенева и Толстого находим в заметках П. В. Анненкова по поводу творчества обоих писателей. Автор пронизательно замечает, что «из всех форм повествования рассказ от собственного лица автора или от подставного лица, исправляющего его должность, предпочитается писателями большею частью в первые эпохи деятельности их — в эпохи свежих впечатлений и сил»¹.

Отмечая «относительную бедность этой формы» (подобную бедность иначе можно назвать однобокостью), Анненков подчеркивает субъективную свободу автора, избравшего форму повествования от «я»: «Расказ от собственного лица освобождает автора от многих условий повествования и значительно облегчает ему путь... От каждого предмета он свободно берет только ту часть, которая или удачно освещена, или живописно выдалась вперед». Задача писателя, таким образом, значительно облегчена, однако она имеет смысл сама по себе лишь тогда, когда его примеры и наблюдения отличаются «самостоятельностью, зоркостью и умом»², то есть тем, что можно на-

¹ Анненков П. В. О мысли в произведениях изящной словесности: — В кн.: Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М. 1982, с. 319.

² Там же, с. 320.

звать одним словом — талантом. Таким образом, «молодой стиль» — это школа таланта, испытание, которое не под силу посредственности, мимикрирующей под традиционное письмо с тем, чтобы не разоблачиться. Напротив, всякая претензия посредственности на оригинальность ведет к провалу. «Кто не знает,— пишет Анненков,— что рассказы наиболее вялые, ничтожные и пошло-притягательные, как в нашей, так и в других литературах, обыкновенно начинаются с «Я...»¹.

Разбирая «молодой стиль» Тургенева, Анненков находит «излишнее накопление ярких подробностей, наваленных грудями на одно лицо или на один предмет, и отсюда иногда щегольство фразой, тщательно выставляемой вперед, напоказ». Здесь же Анненков отмечает тургеневское «стремление к выразительности», которое назовем яркой приметой «молодого стиля» вообще, и не менее существенный момент: «следы переработки», которая определяется критиком как «следствие той усиленной работы, которая придает какой-либо подробности верность математическую, но лишает ее жизненного выражения»².

Действительно, «переработка» как еще не найденное, не отлаженное равновесие между формой и содержанием составляет важную черту «молодого стиля». Это необходимый этап, и, по словам самого Анненкова, «не надо забывать, что жажда выразительности, свойственная вообще молодым писателям, есть признак силы, если порождена способностью глубоко чувствовать значение предмета в цепи других предметов, окружающих его. Тогда, несмотря на некоторые резкие черты, почти неизбежные в пылу создания, она делается источником того блеска, той свежести и энергии, которые отличают первые произведения замечательных талантов»³.

В «Княгине Лиговской» Лермонтов обратил внимание на любопытную деталь: общественный вес слова. Печорин, мастер колких замечаний и эпиграмм, как-то раз «подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какой-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала во все горло; Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из балльных

Я думаю, что...

300

¹ Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века, с. 320.

² Там же.

³ Там же.

нимф дня три тому назад — она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его».

Молодой писатель находится, как правило, в положении Печорина. Он может говорить остроумно и смело, но читатель, как «бальная нимфа», зачастую не возьмет на себя даже труд понять его.

Молодой писатель — непризнанный, никому не известный — должен заставить себя слушать, должен обратить на себя внимание читателя; его слово социально почти ничего не весит; это легкое слово.

В стремлении утяжелить слово (в этом смысле символично название первой книги Мандельштама — «Камень») молодой художник ищет особых средств для самовыражения. Не забудем, что на этом этапе писатель чрезвычайно остро ощущает «враждебную» силу чужого развитого энергичного слова; по отношению к нему он бывает агрессивен. Он уже не ученик, делающий комментарии ко «вчерашней» истине, перед которой преклоняется. Он постигает относительность «аксиом» и сомнительный характер «общих мест». Он устремляется на поиски новых (или же старых, но забытых, «позавчерашних», не вчерашних, «брошенных») основ.

У «молодого стиля» есть три основные задачи:

1. Отразить свое новое видение мира и представление об истине (или ее отсутствии);
2. Освободиться от тяжести чужого, любимого — но ставшего «враждебным» (ибо мешает!) — слова;
3. Утяжелить свое собственное слово — чтобы добиться читательского внимания (честолюбивое желание славы также нельзя не принимать в расчет).

«Молодой стиль» может захватить внимание читателя предельным эмоциональным напором, который выражается обилием восклицаний, риторических вопросов, неожиданными и лихими метафорами, остротами и резкими языковыми контрастами, «невозможным» соседством «высоких» и «низких» слов, иронией. Прекрасной иллюстрацией такого эмоционального напора служит предисловие к «Вечерам на хуторе близ Диканьки»: «Это что за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник! Слава богу! Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарали пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги

развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».

«Молодой стиль» часто не доверяет спокойному, «нейтральному» слову; оно воспринимается писателем как недостаточно убедительное, и потому он стремится утяжелить его красивыми или изысканными эпитетами. «С моря дул влажный, холодный ветер, — начинает свой первый рассказ «Макар Чудра» М. Горький, — разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов...» Эти красоты «молодого» горьковского стиля решительно критиковал Чехов, но он также критически относился и к другой крайности «молодого стиля» — предельному аскетизму, который характеризуется боязнью произнести «лишнее» слово, чтобы не нарушить упругость и лаконичность повествования. Чехов писал по поводу раннего рассказа Бунина «Сосны»: «Это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона»¹.

Итак, с одной стороны — «роскошный» пир слова, с другой — «сгущенный бульон». «Молодому стилю» в обоих случаях не хватает чувства меры; этим, собственно, он отличается от зрелого стиля писателя. Но разве отсутствие чувства меры у молодого Гоголя — недостаток?

В одном из писем, обращенных к молодому поэту, Рильке предостерегал: «Не пишите любовных стихов; избегайте для начала слишком ходких и обычных тем: они самые трудные, ибо нужна большая зрелая сила — дать свое там, где уже дано столько хорошего, а частью и блестящего»². Этому предостережению, высказанному с позиций культурной преемственности, чаще всего не внимают молодые поэты. И это — их право. Они дают либо новое осмысление «ходким и обычным темам», либо иронизируют над ними. Если Пастернак серьезно относится к задаче описания южной ночи, бросая вызов затертой теме («Бесславить бедный Юг Считает пошлость долгом, Он ей, как роем мух, Засижен и оболган»):

Как кочегар, на бак
Поднявшись, отдыхает, —
Так по ночам табак
В грядках благоухает, —

¹ Бунин И. Собр. соч. в 9-ти т., т. 9. М., 1967, с. 205.

² Рильке Р. М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971, с. 184.

то Маяковский тему ночи предпочитает дать в антиэстетическом ключе:

Лысый фонарь
Сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

Почти все произведения авангарда (вне зависимости от конкретных школ и направлений) находятся в рамках «молодого стиля» и отличаются открытым, декларированным разрывом с традицией. Однако нельзя бесконечно эксплуатировать этот разрыв; в противном случае возникает «искусственный», рассудочный авангардизм, спекулирующий на разрыве. Такая спекуляция чувствуется у эпигонов авангарда. Для подлинного авангарда разрыв есть необходимый и существенный момент, но направлен он не на чистое разрушение, а на высвобождение творческого «пространства». На этом «пространстве» художник собирается делать то, что не делалось до него:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Стихотворение молодого Маяковского можно рассматривать как манифест «молодого стиля».

Чтобы передать состояние движения, молодой Заболоцкий наделяет коня «руками» и «восьмью ногами» («Движение»); чтобы передать состояние болезни и бреда, он делает «жену» неотличимой от «лошади»:

Тут лошадь веки приоткрыла,
Квадратный выставила зуб.
Она грызет пустые склянки,
Склонившись, библию читает,
Танцует, мочится в лоханки
И голосом жены больного утешает.

«Молодой стиль» по своей природе аналитичен.

Еще одна особенность «молодого стиля». Он — честолюбив. Это очень заметно в поэзии. Стиль молодой

поэзии отличает известная декларативность, вызванная желанием поэта утвердить силу и значимость своего «я», выразить свои вкусы и пристрастия. Здесь нередко встречаешь мысль о том, что мир, отвергающий или недооценивающий поэта, глубоко ошибается и тем самым обкрадывает себя. Но поэт верит в свое избранничество и предназначение. Конечно, когда Маяковский пишет о себе: «Я — бесценных слов транжир и мот», — эту «саморекламу» можно списать на счет футуристических затей, но даже такой «тихий» молодой человек, как автор «Камня», настаивает на своем избранничестве:

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь,
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

В другом стихотворении, «Золотой», поэт, пожелав поужинать в маленьком подвале, обнаружил «звезды золотые в темном кошельке»:

Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, боже мой?
Если я на то имею право,—
Разменяйте мне мой золотой!

Когда Пушкин писал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — это было подведение итогов, взгляд назад, на *пройденный* путь. Молодому поэту еще только предстоит разменять «золотой». Критика обычно очень болезненно относится к подобным декларациям поэтов. Немало нареканий выпало на долю Вознесенского, который в одном из ранних своих стихотворений «Осень в Сигулде» (1960) осмелился написать:

В прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак.

Такие «преждевременные» декларации, какими бы дерзкими и самоуверенными они ни казались, имеют смысл в становлении поэта. Они помогают освободиться от пут ученичества, возлагают на поэта обязательства, которые стимулируют его творческое развитие.

Вызывающее отношение к *великим* как к равным показательно для «молодого стиля». В одном из ранних стихотворений М. Цветаева рисует свою воображаемую встречу с Пушкиным и высказывает убеждение, что Пушкин «по первому слову» признал бы в ней свою ровню:

Пушкин! — Ты знал бы по первому слову,
Кто у тебя на пути!
И просиял бы, и под руку в гору
Не предложил мне идти...

Такая дерзость особенно контрастна в сравнении с робостью, которую испытала Цветаева при встрече со своим современником, Манделштамом:

Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

Такие «перепады» настроений — от дерзости к робости, от преувеличенной веры в себя (выраженной открыто) до безверия и почти что отчаянья (обычно потаенных) — примеры которых можно найти как в произведениях, так и в переписке молодых писателей, — вносят в «молодой стиль» сокровенный элемент эмоциональной неустойчивости, подрывая основу «спокойной» творческой свободы.

В языковом отношении «молодой стиль» является периодом особенно бурного словотворчества, поисков новых формальных средств. В эту пору проявляется повышенный интерес писателя к языковым пластам, находящимся вне сферы обычного литературного «обращения».

«Молодой стиль» проявляет интерес к звукообразу, который порою приобретает самодовлеющий характер:

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград.

или (также у Пастернака):

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей
Макает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об рант галерей.

Слово «молодого стиля» зачастую оказывает сопротивление читательскому восприятию; через него необходимо продираться. Когда же «тяжелое слово» является нормой поэтического языка, как это было в начале

XIX века, то молодой поэт опять-таки не ищет легкого пути, не следует за образцами, и его «легкий» «молодой стиль» (Пушкин) столь же дерзок и странен для современников, сколь стиль Пастернака, Мандельштама, Заболоцкого странен для читателя, воспитанного на пушкинской строфе.

«Молодой стиль» нередко создает свой особый синтаксис, вступающий в противоречие с нормативной грамматикой. Усложненный, «загадочный» синтаксис свойствен «молодым» стихам Пастернака:

В посадe, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожей да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега.

У молодого Заболоцкого вызов грамматике носит порою «издевательский» характер:

Один старик интеллигентный
Сказал, другому говоря...

Или:

Тут пошел в народе ужас,
Все свои хватают шапки
И бросаются наружу,
Имея девок полные охапки.

Со своим синтаксисом вошли в русскую прозу XX века молодые писатели: А. Белый, А. Ремизов, Е. Замятин, Б. Пильняк, М. Зощенко, Л. Добычин, А. Платонов и др.

Значение «молодого стиля» в каждой эпохе различно. Оно определяется общим литературным климатом. В периоды строгой культурной преемственности «молодой стиль» проявляет известную робость и осмотрительность; он выступает в затушеванном виде. Однако в период коренных эстетических перемен «молодой стиль» играет существенную роль, и именно под его знаком происходит смена эстетических «вех», как это имело место в России в первой трети XX века.

Следующий этап стилового развития можно назвать *зрелым* стилем, или собственно *стилем* писателя. В период зрелости заканчивается полемика с чужим сло-

Я думаю, что...

вом; она отмирает за ненужностью. Писатель как бы полностью возвращается в лоно культуры. Теперь она не кажется ему ни «душной», ни «враждебной» по отношению к его творчеству. Это не означает, что он все в ней приемлет. Толстой может и не любить Шекспира, но такого рода пристрастия диктуются не принципом самоутверждения, а творческим представлением о нравственных и эстетических задачах культуры в целом. Гораздо более показательными для зрелости писателя являются не споры, а примирения с бывшими противниками. Так, если молодой Маяковский сбрасывал Пушкина с парохода современности, то в зрелые годы он стремится «сговориться» с Пушкиным:

Мне
 при жизни
 с вами
 сговориться б надо.
 Скоро вот
 и я
 умру
 и буду нем.
 После смерти
 нам
 стоять почти что рядом:
 вы на Пе,
 а я
 на эМ.

По сравнению с молодым стилем зрелый стиль представляется гораздо менее броским, эффектным и — по чисто внешним данным — менее индивидуальным, даже порой банальным.

Говоря об эволюции прозы Тургенева, Анненков в уже цитированных заметках пишет, что со временем «течение рассказа сделалось у него гораздо ровнее и глубже... Уже ровнее и постепеннее начинают ложиться подробности, не скопляясь в одну массу и не раздражаясь вдруг перед вами, наподобие шумного и блестящего фейерверка»¹. Одновременно с этим в зрелый период начинают развиваться характеры, «не вставая с первого раза совсем цельные и отделанные, как статуя, с которой сдернули покрывало». Меняется и сама сущность характера: «вместо резких фигур, — пишет Анненков, — требующих остроумия и наблюдательности, являются сложные, несколько закутаные физиономии, требующие уже мысли и твор-

¹ Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века, с. 328.

чества»¹. Важным моментом в переходе от «молодого стиля» к зрелому творчеству является перерождение юмора, углубление его природы: «Юмор старается, по возможности, избежать передразнивания и гримасы... и обращен на представление той оборотной стороны человека, которая присуща ему вместе с лицевой стороной и нисколько не унижает его в нравственном значении»². Иными словами, зрелый стиль «не кусается». И последнее наблюдение Анненкова: «Поэтический элемент уже не собирается в одни известные точки и не бьет оттуда ярким огнем, как с острия электрического аппарата, а более ровно разлит по всему произведению и способен принять множество оттенков»³.

Зрелый стиль, в сущности, наиболее полным образом выражает индивидуальность писателя, а точнее сказать — его личность, ибо если в понятии «индивидуальность» присутствует оттенок обособления (и «молодой стиль», среди прочего, отражает этот оттенок), то понятие «личность» вбирает в себя значение микромира в макромире.

Творческая энергия зрелого писателя переключается полностью на выражение мысли, и форма попадает в зависимость от смыслового значения произведения, тем самым она утрачивает орнаментальные функции.

Мастерство есть выход на онтологический уровень, и формальная сложность «молодого стиля» оказывается нередко препятствием, шелухой.

Пастернак, чей путь к зрелости был особенно сложен и выстрадан, в какой-то момент своего творческого пути ощутил пределы глубины собственной молодой поэзии. Именно на переломе к зрелости художника охватывает новая волна робости перед великой культурой, но если в период ученичества эта робость вела к подражанию, то на последней, условно говоря, стадии «молодого стиля» художник испытывает ощущение своей беспомощности, ненужности (с точки зрения решения коренных проблем бытия) того, что им создано:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

² Там же, с. 329.

³ Там же.

¹ Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века,

Слова Блока (сказанные Ахматовой) о том, что ему «мешает писать Лев Толстой»¹, относятся к тому же ряду. Но «немота», в конечном счете, оказывается признанием своей «высокой» несостоятельности. Когда же поэт вступает в зрелость, преодолевая немоту, в его поэзии возникает новое качество — простота (это в равной степени относится к прозе):

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Существенным моментом здесь является отмеченное Пастернаком ощущение «родства со всем». Зрелый стиль по сути своей синтетичен, в противоположность «молодому». Если для характеристики «молодого стиля» порой подходят слова Гамлета: «Распалась связь времен», ибо этот стиль зачастую выражает дисгармоничность и разорванность мира, то зрелый стиль — собирательный; он стремится к выражению связи явлений; он религиозен в этимологическом значении этого слова.

Сами строки о простоте, написанные Пастернаком, еще таят в себе некоторое молодое кокетство, которое прорывается в сравнении «простоты» с «ересью», в которую «нельзя не впасть». Простота как раз — не ересь; ересью скорее можно было бы назвать «молодой стиль». В него-то как раз «нельзя не впасть». Что же касается простоты, то в нее, очевидно, не «впадают»; она входит в поэта, постигшего «связь времен». Такое постижение преобразует художника, ему становятся постыдны его «мелкие» задачи и цели.

Портрет художника *в зрелости* создан Пастернаком в «Художнике»: 309

Мне по душе строптивый нрав
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Зрелый художник отвыкает от «фраз»; ему становится чуждой тяжелая самозначительность слова — теперь он ее «стыдится». Да и категория славы — предмет молодого творческого тщеславия — отходит теперь далеко на задний план. А ведь юношеское желание сла-

¹ Цит. по кн.: Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, с. 324.

вы можно безо всякого преувеличения считать одним из стилеобразующих моментов.

В последней строфе Пастернак выразил мысль о «сложности» простоты:

Но мы пощажены не будем,
Когда ее (т. е. простоту.— В. Е.) не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Простота и сложность как бы меняются местами у Пастернака: однако эта «рокировка» произведена не поэтической шалостью, а глубоким знанием предмета. Через сложность «молодого стиля» нередко пробивается несложная мысль. Это не значит, что стиль намеренно прикрывает бедность мысли; но она бывает просто еще не оформлена: она блуждает, мерещится, мнится. «Молодой стиль» — это преследование мысли, а не ее конечное постижение. Но преследование мысли как форма умственного существования человека (ищущего истину) более распространена, нежели постижение мысли.

Для восприятия истины необходимо конгениальное духовное развитие. В этом как раз и состоит сложность.

Зрелому писателю открыто то измерение мира, которое является заповедным для многих его взыскательных критиков. И этому измерению мира соответствует свое особое стилевое измерение, где чувство меры равно не золотой середине, идеалу подражательства, а определено законами гармонии, которые, быть может, не столь очевидны в литературе, как в музыке, но вместе с тем реально существуют.

Всегда ли «молодой стиль» оказывается в проигрыше по сравнению со зрелым? Известно, что Маяковский болезненно переживал, когда его просили прочесть ранние стихи. Его «молодой стиль» был настолько художественно убедительным, так точно передавал какой-то очень важный момент бунта и гнева в человеческой судьбе, что этот стиль превзойти было чрезвычайно сложно. Впечатление от «бурного рассвета» Маяковского передала Ахматова в стихотворении «Маяковский в 1913 году»:

Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты, — разрушалось,
В каждом слове бился приговор.

Маяковский конечно же с той же поэтической энергией строил, что и разрушал, однако «молодой стиль» Маяковского остался этапом, не требующим преодоления. Нечто подобное можно обнаружить в творчестве Заболоцкого, М. Цветаевой и отчасти Пастернака. Такой силы «молодой стиль» не присущ поэтам более классического воспитания, в которых в молодости, напротив, больше системности и, если хотите, художественной чопорности, нежели в зрелые годы, когда их творчество обретает свободу.

Стиль нельзя рассматривать как пожизненное приобретение художника, которое закреплено за ним. Обретя свой стиль, писатель не может успокоиться, почить на лаврах. Если искусственным образом законсервировать стиль, ему будет угрожать разрушение, омертвление.

Крупный художник борется с инерцией стиля, представляющей для него большую опасность, как правило, в одиночку, без поддержки читателей и критиков, которые зачастую сознательно или неосознанно требуют от художника самоповторения. Им необходимо узнавание любимого предмета, к смене стиля они относятся крайне подозрительно, считая, что художник изменил себе, стал писать хуже, *не так, как раньше*. Но художник не может подчиниться читательскому желанию. Л. Шестов справедливо считал, что приобретение «манеры» знаменует собою «начало конца» художника¹. Когда писатель устает или слишком доверяется своему успеху, почти незамедлительно возникают тревожные симптомы распада.

К счастью, далеко не каждый писатель переживает тот драматический этап стилового развития, который, конечно, уже трудно назвать развитием; скорее — увяданием. Тем не менее этот этап невозможно обойти молчанием. Хорошо известное слово «исписался» (жупел для писателя) или выражение «пережил собственную славу» обычно употребляются в том смысле, что писатель как бы утратил тот уровень, на котором писал. Часто со словом «исписался» происходят недоразумения, о которых сказано выше; писатель может «огорошить» читателя новым произведением, которое читатель не поймет и не примет. В таком случае вина ложится на читателя, который, можно сказать, «исчитался». Но бывает, что читатель ока-

¹ Шестов Лев. Собр. соч., т. 4. СПб., 1911, с. 68.

зывается прав в своих худших подозрениях. Писатель начинает «исписываться».

Что это значит?

Чтобы полностью ответить на вопрос, необходимо проанализировать многочисленные факторы, способствующие творческому оскудению. Укажу лишь один.

Коварную роль следует отвести *славе*, причем чем громче слава, тем более коварной она может оказаться для писателя. «Молодой стиль», повторю, борется за тяжесть слова; что бы ни сказал молодой художник — все кажется ему недостаточно весомым. Слава — вот фактор, который способствует значительному (и вместе с тем опасному) утяжелению слова. Слово известного писателя приобретает ту общественную значимость, которая превращается в стилеобразующий элемент. Писатель начинает придавать меньшее значение тому, *как* он сказал (хотя встречаются и случаи повышенного эстетизма — поздний В. Катаев). У него может развиться убеждение, что всякое его слово будет выслушано с благодарностью и почтением. Но, утрачивая интерес к форме, он тем не менее продолжает *писать*, и потому в целях экономии и удобства прибегает к уже выработанному стилю, эксплуатирует готовый инструмент.

В результате стиль начинает как бы отставать и отслаиваться от человека, который им пользуется. Возникает зазор, трещина, которая может стать роковой. Появляется момент самостилизации, и чем больше будет такая трещина, тем более пародийный вид приобретает письмо «под самого себя».

Самостилизация особенно опасна для писателей, создавших свой, особый, ярко выраженный индивидуальный стиль в молодости, в своих первых книгах. Можно говорить в известном смысле о деградации стиля у Хемингуэя, создавшего «телеграфный» стиль. В поздних романах Хемингуэя («Иметь и не иметь», «За рекой, в тени деревьев») он теряет сокровенную связь с изобразительной реальностью, вырождается в набор «отштампованных» приемов.

Еще о влиянии славы на стиль. Утяжеление овейного славой слова, однако, не ведет, как того следовало бы ожидать, к лаконичности. Напротив, писатель не купится на всякого рода описания и анализ деталей, которые интересны ему, но утомляют даже самого доброжелательного читателя. Старческое многословие ведет к девальвации слова.

Я думаю, что...

Важная роль в одряхлении стиля принадлежит прямолинейному нравоучительству. Писатель утрачивает терпимость к чужому мнению; нашедший свою истину, он стремится доказать ее универсальность, и потому многозначное художественное слово беднеет в открытой «проповеди», становится однозначным и плоским. В русской классической литературе примерами такого рода можно считать поздние романы Тургенева «Дым» и «Новь». Я бы даже рискнул найти некоторые элементы «дряхления» стиля в «Братьях Карамазовых»...

Трудно оговорить все исключения из положений, которые здесь высказаны; думается, возможные оппоненты мне в этом плане только помогут. Но количество исключений не исключает (да простится мне случайный каламбур) общих законов биологии индивидуального стиля: его становления, роста, зрелости, одряхления и умирания.

А если об антропологии стиля?

Некие высшие силы повелели мне быть оппонентом Виктора Ерофеева; традиция же требует от оппонента свирепости, доходящей до зловещего демонизма. Дух отрицанья, дух сомненья воплощается в нем; и в течение долгих лет оппоненты выискивали у терзаемых ими жертв то отрывки идеализма, то формалистическое шукарство. Но я, видимо, оппонент ни-ка-кой. Идеализма в «Заметках о биологии» стиля я не сумел обнаружить, а если бы он там и был, то я этому только обрадовался бы. И вообще работа коллеги моего мне пришлась по душе: по нынешним временам драгоценен даже малейший сдвиг в сторону анализа поэтики художественного высказывания. А здесь есть такой сдвиг, да к тому же и в перспективнейшем направлении: стиль и жизнь, стиль в его обусловленности реальностью дней и трудов человека. Обобщенного человека. И, наверное, современного. Исторически молодого: человек в наблюдениях Ерофеева ограничен двумя, от силы — двумя с половиной столетиями: приблизительно

с конца XVIII века до наших дней. А что было раньше — допустим, в XVII веке?

Тут — *terra incognita*, нечто неведомое: мы не знаем, какими стишатами тешили своих родителей дети при царе Михаиле да при Алексее Михайловиче, тишайшем. И как дальше у людей той поры шло дело: в юности, в молодости. Впрочем, это уже не земля неизвестная, а времена неизвестные — неизвестные для той реальной стилистики, основы которой просматриваются в рассуждениях Ерофеева. Что касается *terra*, то и опять-таки разумнее сразу же договориться о границах исследования: у нас, на Руси, биология стиля, изменение стиля в соответствии с возрастом и с общественным реноме поэта — реальность. А в Испании или в Норвегии? Тоже? А в Германии? В Англии? И уже совсем далеко: в Японии или в Китае? В знойной Африке? Ни-че-го мы не знаем. Ничегошеньки.

И оговорить пространственную, географическую ограниченность поля наших исследований надлежит, полагаю, сразу же: так получится определеннее, строже. И корректнее методологически, потому что иначе снова, снова и снова мы абсолютизируем тот исторический «пятачок», на котором мы строим наши теории, и, сами того не ведая, пребываем на лоне европоцентризма, даже русскоцентризма. Позиция допустимая, однако допустима она лишь поневоле, вынужденно, по бедности наших познаний.

О японской стилистике ничего мы не знаем, да куда уж там о японской: рядом с нами — казахи, узбеки, таджики; и не все же им ссориться с нами да промежду собой, мир придет в их дома, и тогда хоть какое-то содружество сложится логофилов, обменяемся опытом. Но пока необходимо отправиться на поиски заменителей того, чего мы не знаем, и найти эквивалент интернационального, общепонятного слова, равно близкий и русскому и таджику, и японцу и португальцу. А такой эквивалент мельтешит перед нами. Мельтешит, оставаясь эстетически неосознанным, а поэтому и как бы невидимым; им являются: а) рисунок, всего прежде рисунок детский; б) скульптура, изваяние, в общем, некое изделие из глины и пластилина, и опять же в первую очередь изделие детское; в) игрушка, начиная с пирамидок и кубиков, далее включая сюда, разумеется, куклу и кончая диковинами современного быта, всевозможными компьютерными играми, развлечениями; наконец, и г) видения, грезы, странные полупризракы, сны, которые каждый из нас смутно помнит, мысленно пытаюсь возвратиться в ушедшее детство. Говоря о первой ступени стилесложения, о младенческом стиле, все четыре названных дополнения к словесному,

вербальному выражению человеком своих воззрений на мир будем иметь в виду, потому что они придают и стилю, и его изучению необходимую глубину, потому что они интернациональны, и еще потому, что все эти сопутствующие нашим первым словам явления сохраняются и на последующих этапах эволюции стиля. Сохраняются, трансформируясь, оставаясь в сугубо интимных проявлениях жизни поэта, а порою и проступая на видимую поверхность ее: так, к примеру, рисунки Пушкина неотрывны от слова его, обращенного к этим рисункам; а о Маяковском уж и говорить не приходится: «Окна РОСТА», где заведомый примитив стиха воедино слит с условной картинкой.

Ерофеев, мне кажется, как-то очень уж пренебрежительно отбросил богатства изначального стиля, названного им — удачно — младенческим; отразилось здесь непреодолимое общее наше снисходительное отношение к малышу: «Он же еще не понимает... Он еще не умеет...» Ох, не знаю, не знаю. И думается порою: «Нам бы так понимать... Нам бы ведать и уметь то, что открыто ясноглазым, лепечущим!» Ибо мир для них — новость. Мир их — сфера, в которую вторглись они, храня память и об иных, внеположных этому странному миру пространства. Двух-трехлетние последователи Платона, они видят каждую вещь как идею, в каждой вещи ее идею спеша обнаружить и выявить.

Слово в детском сознании рождается как ответ на изображение, на какую-то данность, этим же сознанием созданную или явленную извне. Ребенок беседует с куклой, поучает ее, и нет ничего удивительного в том, что о кукле он слагает стихи.

Возрастные стили у Ерофеева резко отграничены один от другого; для начала изучения их и надо было градировать, разложить, как говорится, по полочкам. Но в реальности так не бывает. Стили постоянно взаимодействуют, пересекаются, скрещиваются. И ведь важно увидеть все пять типов стиля, прекрасно намеченных, в их взаимном проникновении. В их работе; не увидя их так, мы не вырвемся из-под гипноза идеи прогресса, при котором последующее всегда совершеннее предыдущего, и поэтому предшествующее отбрасывается, забывается напрочь. Отголоски безоговорочного принятия идеи прогресса преимущественно как блага у Ерофеева, мне кажется, есть.

Типология стилей в их соотношении с возрастом ценна, впрочем, тем, что она открывает перспективы для давно назревшего включения в академическую стилисти-

ку явлений, расположенных на далекой периферии научного и литературно-критического кругозора и годами ожидающих хоть капли внимания. Ожидающих времени, когда их примут всерьез. Когда стиль лепечущего младенца равноправно соотнесут со стилем признанной классики, перейдя от сентиментальных деклараций о том, что поэты сохраняют в себе что-то детское, к выявлению и к объективному анализу того, что же именно от младенчества они в себе сохраняют.

Будем верить: кто-то когда-то соберет по детским садикам да по яслям стихи детишек о куклах. Тогда явятся целые циклы кукольного эпоса, кукольных драм и лирики, обращенной и к самодельным человечкам из пластилина, и к фабрично изготовленным куклам. В ожидании сей счастливой поры можно обойтись суррогатами: описаниями в художественной литературе детских бесед с игрушкой (младенческий стиль в таких случаях явлен опосредованно, как предмет изображения; но он все же явлен). Можно вспомнить хотя бы впечатляющую сцену из романа Виктора Гюго «Отверженные»: Жан Вальжан подарил семилетней сиротинке Козетте, зверски эксплуатируемой трактирщиком Тенардье, роскошную куклу; кукла заменила девочке некую самоделку из тряпок; и несчастная, обращаясь к кукле, напевает ей песенку: «Моя мать умерла, моя мать умерла...» (во французском подлиннике песенка звучит не так «взросло», как получается в переводе). Здесь — элементарный случай знаменательного явления; перед нами... стиль в стиле: «детский» стиль трагического напева Козетты стал объектом стиля романиста Гюго. Что же, это — тоже проникновение низшего в высшее, простейшего в усложненное. А есть случай и более многогранный: бытование детского стиля явлено в генезисе, буквально со всеми обстоятельствами возникновения его.

Рассказ Чехова «Спать хочется» — разрушение идиллических представлений о ребенке и колыбели, о колыбельной песне. Генетически он восходит к «Казачьей колыбельной песне» Лермонтова, вообще — к идиллиям с участием в них ребенка, лампы, иконы. Не исключено, что «Спать хочется» представляет собою и осознанный — именно всецело осознанный! — ответ роману Гюго, русский, деромантизированный и десентиментализированный вариант сцены встречи Жана Вальжана с Козеттой. В реальности — утверждает рассказ — добрые дарители кукол не особенно часто навещают истязаемых и эксплуатируемых сироток. Но зато у маленькой героини рассказа, няньки Варьки, есть аналог куклы — живой, надсадно кричащий грудной младенец ее хозяев. Ему-то и напевает

она где-то подслушанную колыбельную: «Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...» И: «Баю-баюшки-баю, тебе кашки наварю...» — здесь фольклором схвачены важнейшие особенности стиля младенческого: активная роль семантически «бессмысленных» междометий, утрированная очевидность рифм, в содержании же — какое-то обещание, посула какая-то; кукле всегда обещают что-нибудь (достаются ей и угрозы, но угроза-то — тоже обещание, посула).

— Чехов, — сказал мне однажды Михаил Михайлович Бахтин, — Чехов, он же... Он весь стилизация! — И, помедлив, добавил: — Но под что стилизация, неизвестно...

Я не устану удивляться точности и емкости суждений выдающегося мыслителя: Чехов — да! — стилизация; и, уж к слову, Анна Ахматова совершенно невпопад корила его за недостоверность такой его вещи, как «Рассказ неизвестного человека»: дескать, жизнь террористов-народовольцев изображена в нем совершенно неправдоподобно. Уж что верно, то верно, но при этом Чехов к правдоподобию вовсе и не стремился: его творчество — гениальный эксперимент, целью которого было разрешить вопрос о возможности духа и ума человеческого параллельно с реальным миром, опираясь на него и черпая из него материал, создать иные, предполагаемые миры: мир угрюмого солдафона («Унтер Пришибеев») или мир святого доктора Дымова («Попрыгунья»); мир чудесного в своей простоте монаха («Святою ночью») или мир философа-гуманитария («Черный монах»). А «Спать хочется» — едва ли не полная вербальная модель детского восприятия мира, которое испытывается исключительным, стрессовым состоянием маленькой героини рассказа.

Характерно, что никто, насколько я знаю, не пытался использовать «Спать хочется» в качестве свидетельства, обличающего эксплуатацию детского труда в пореформенной феодально-буржуазной России (участь, коей не избежал рассказ «Ванька»). А уж как соблазнительно! И, однако же, что-то все-таки останавливало самых рьяных социологов или поборников «реальной критики»: упирались в несомненную стилизацию. Подо что? В этом-то и вопрос; и, однако же, ясно, что «Спать хочется» — стилизация. Всего прежде — стилизация детского восприятия мира, взятого в таком состоянии этого восприятия, когда слагаемые его проступают в грандиозной и трагической очевидности. Стилизация — это, в сущности, всегда и эксперимент, а он должен ставиться чисто: загадочный путник не явится. Куклы не принесет. Куклы нет

Я думаю, что...

и не будет: вместо куклы — живой ребенок, как бы ожившая кукла. А такая кукла ведет себя непредсказуемо. Радости, во всяком случае, она доставляет мало: пришла в жизнь и мучает тринадцатилетнюю девочку, а опять превратиться в куклу, то есть уснуть — а уж спящий человек, тем более ребенок, во всем кукле подобен! — не хочет.

Но «Спать хочется» — бездна, в глубинах которой явлены, повторяю, важнейшие источники изначального стиля, стиля младенческого. «От себя» нянька Варька не говорит ни слова; она только напевает, бормочет не ею придуманные слова колыбельной. Однако она, если можно так выразиться, думает стилем, а мир, обступающий ее, отвечает ей в ее же стилистике.

В сфере языковой — междометия, часть речи, с которой и начинается наш индивидуальный язык: «баю-баюшки» колыбельной, «бу-бу-бу» умирающего отца Варьки, Ефима, и не обозначаемый буквами плач ребенка. Младенческий стиль содержит в себе живые отголоски истории, речи наших патлатых предков, бродивших по земле с дротиками и дубинами. Все-то мы во младенчестве побывали такими первобытными людьми, дикарями; и в рассказе воссоздан примитивный лексический фон, который окружал нас когда-то. Это — прастиль. Предстиль. Полуфабрикат, заготовка стиля, из которой впоследствии начнут вычленяться уже и отдельные слова-понятия. Жизнь несчастной девочки заполнена междометиями, будь то стоны умирающего или плач новорожденного. Жизнь имеет свой стиль. Обнаруживает его. И не столько бедняга Варька изъясняется этим стилем, сколько мир, обступающий ее, изъясняется им. «В соседней комнате... похрапывают хозяин и подмастерье...» «Где-то плачет ребенок... Варька идет в лес и плачет там...» Храп и плач убаюкиваемого ребенка, плач осиротевшей крестьянской девочки — тоже стиль, но его и междометиями не передашь (смех передавать при их помощи все же как-то пытаются). В общем, мир вокруг девочки и в ее туманных воспоминаниях непрестанно издает какие-то нечленораздельные звуки: крик младенца, храп, бормотание умирающего — то, что всеми силами пытались культивировать в поэзии футуристы, в стилевые программы которых как раз и включалась пресловутая «заумь». Ладно, «заумь» — плохо. Скажем строже: метарациональная речь. Ее-то и слышит ребенок. Он вбирает ее в себя, понимая ее не менее глубоко, чем мы, взрослые, понимаем нашу логичную, рациональную речь.

Далее — изобразительная сфера.

В идиллии Лермонтова:

Дам тебе я на дорогу
Образок святой...

У Чехова — те же слагаемые, слагаемые идиллии: и дорога есть, но какая дорога! И святой образок, но какой! «Перед образом горит зеленая лампадка... От лампадки на потолок ложится большое зеленое пятно... Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение... Зеленое пятно и тени... колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом».

Я не знаю, чем же все-таки плох абстракционизм; то, что мне приходилось читать о его социальной и художественной предосудительности, ни в чем не убедило меня. Зато в истязаемой девочке, героине рассказа Чехова, я не могу не увидеть своего рода живописца-абстракциониста: происхождение зеленого пятна вполне мотивировано — это луч, отбрасываемый лампадкой; но для несчастной он обратился просто в «мигающее зеленое пятно», настойчиво упоминаемое в рассказе. Такое пятно уже становится своего рода самодовлеющим высказыванием, чем-то вроде произведения абстрактной живописи, созданного каким-нибудь художником-ташистом. Оно не имеет однозначного смысла, но оно воздействует на сознание, с ним можно вести диалог. Мигает пятно, и Варька, «широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате». Все время шел бессловесный диалог с докучливым пятном, которое и оказалось единственным свидетелем, а может быть, даже и соучастником наказания ожившей куклы — убийства ребенка.

Я думаю, что...

Слово фотоморфно. Слово происходит из света. «Я в темноте петть тенором отказываюсь», — капризничает один из героев Зоценко, артист оперы, в рассказе «Монтер». И это почему-то очень смешно. Смешно-то смешно, но артист совершенно прав: петть тенором в темноте решительно невозможно.

320

Лермонтов высказал то же, хотя, разумеется, и по-своему:

Из пламя и света
Рожденное слово.

И нет здесь метафоры, все терминологически точно: мир глядит на нас, изливая на нас свой свет; и мы отвечаем ему, подсознательно помня о взаимозависимости между светом и словом; показательно, что характеристика целых отрезков истории и идейных течений содержит в себе мысль об этой взаимозависимости: «просвети-

тельство», «просвещение», «в свете указаний товарища такого-то...».

Рассказ «Спать хочется» еще менее достоверен, чем раскритикованный Ахматовой «Рассказ неизвестного человека»: с точки зрения реальности абсолютно немислимо, чтобы забитая крестьянская девочка, ставшая к тому же невменяемой от недосыпания, точнехонько, слово в слово воспроизводила в памяти и передавала нам целые сцены — такие, как приезд к ее умирающему отцу либерального доктора, его разговор с умирающим, с матерью. Но доктор в ее воспоминаниях говорит именно так, как положено говорить интеллигентам-медикам, а крестьянка-мать — так, как положено говорить непросвещенным, темным крестьянкам. «Бу-бу-бу» — это Варька запомнить могла. Могла воспроизвести. Но диалог доктора с ее полунимицами родителями — не могла бы никоим образом. Воспроизвел его Чехов, откровенно стилизуя эту сцену под аналогичные сцены распространенных в его время рассказов из быта земства, из помещицкого быта, из быта крестьян и варьируя свою излюбленную ситуацию встречи двух очень четко очерченных, социально разграниченных стилей — крестьянского и «господского» (подобное варьируется у Чехова от комического «Злоумышленника» до драматической «Новой дачи»). А особенность рассказа «Спать хочется» — в том, что оба эти стиля даны, как говорится, сквозь призму младенческого стиля, во власти которого находится несчастная девочка. Вернее, как бы сквозь призму, потому что слова принадлежат писателю-доктору Чехову, Варьке же принадлежат не слова, а только кар-ти-ны. То, что видит она: и зеленое пятно, и колеблющиеся тени, и призраки бредущих по шоссе на дороге людей. «Вдруг люди с котомками... падают на землю в жидкую грязь». Им спать хочется. «И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их» (опять не введенные в текст, но подразумеваемые междометия: карканье ворон и сорок).

И отсюда: возрастную градацию стилей, вероятно, мало только лишь увидеть и выявить; шагом следующим да будут попытки раскрыть взаимодействие стилей, из которых каждый соответствует какой-либо фазе развития человека. Так от биологии переходим мы к антропологии стиля.

Плывет лодочка,
А в лодочке — водочка —

таким двустипишем порадовал трехлетний Коля своего отца, литературоведа. Двустипише комментировало кар-

тинку: по красным волнам плывет красная же, условно очерченная ладья, из нее вверх и в стороны расходятся зеленые зигзаги, спирали. Литературовед ахнул: «Да тут же... Тут два важнейших мотива всей русской поэзии! Мотив плывущего корабля и мотив вина, опьянения — от эпикурейской лирики XVIII столетия, от «Вакхической песни» Пушкина до стихов Блока, до «Москвы кабацкой» Есенина!» Рассуждений отца сыночек, конечно, не уразумел. Но он скромно потупился и стал объяснять, что лодочка — вот она, красненькая, а эти спирали — водочка. К счастью, двустипшие оказалось единственным поэтическим произведением мальчика, деятельность его на ниве словесности на этом и прекратилась. Но какие-то свойства младенческого стиля он выявил.

Младенческий стиль — стиль привечающий, ласковый. Не хотелось бы быть сторонником прямых соответствий между морфологией и стилистикой, но для младенческого стиля они правомерны. В частности, в младенческом стиле едва ли не обязательны уменьшительные суффиксы или их эквиваленты, суффиксы неполноты, оттенков. И у няньки Варьки в ее колыбельной, адаптированной младенческим стилем и поэтому ставшей как бы ее, Варьки, собственным сочинением: спою «песен-ку», наварю «каш-ки». У трехлетнего мальчика: «лодоч-ка... водоч-ка».

Плывет лодка,
А в лодке — водка,—

звучит уже совсем по-другому, вульгарно: морфемы в младенческом стиле значимы более, чем где бы то ни было. Смысловая нагрузка, лежащая на них, огромна: вещь приближают к себе, вещь привлекают, ласкают, ожидая от нее ответной ласки, доброжелательного жеста.

И вижу я себя ребенком,—

пишет Лермонтов в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен...». И картина мира, который открывается перед мысленным взором поэта вслед за такой декларацией, воспроизведена в стиле, вполне адекватно имитирующем младенческий стиль. Все его воспоминания о радостном детстве — «как свежий островок». На островке и природа по-особенному приветлива, об этом свидетельствует проникновенная зарисовка ее. А на ласковом фоне как бы некоей театральной декорации появляется... кукла.

С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

То, что грезится Лермонтову, — причудливое соединение двух компонентов детского стиля: куклы и видения, призрака, то есть чистой материи, материи, лишенной души (кукла) и чистого духа, души, не обретшей окончательного материального воплощения; она видима, но она бестелесна (видение). Странно, но именно эти же компоненты слагают мир чеховской няньки Варьки; разумеется, резко, демонстративно изменилась фабула, и не чудесный уголок срединной России видит в грезах девчонка, а грязное, истоптанное шоссе; а кукла ее ожила, воплотившись в насадно кричащего маленького ребенка. Фабула изменилась — деромантизировалась. Но структура неизменна: мир дан так и таким, каким видит его человек, вошедший в него откуда-то извне, из горных, из трансцендентных сфер. Лермонтов, по блистательному наблюдению Василия Розанова, в раннюю пору творчества сумел угадать и запечатлеть, как входит в наш, материальный мир душа, несомая ангелом («Ангел», 1831). Остается добавить, что Лермонтов в течение всей недолгой жизни своей не прекращал попыток воспроизвести мир с точки зрения нововоплощенной души — видеть себя ребенком. Отсюда — противопоставление петербургскому свету видений детства в «Как часто...». Отсюда и некоторые детали в других стихах.

Портрет красавицы Марии Щербатовой, оставившей Украину для Петербурга, Лермонтов рисует так:

Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки...

И:

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых...

«Глаз-ки... щеч-ки...» Стихи аккомпанируют некоему подразумеваемому рисунку, и уменьшительный суффикс соседствует со специфическим суффиксом незавершенности, некоторой неполноты «-ист»: щечки — «пуш-истые», вечер в стихотворении «Родина» — «росистый». По небу несутся не тучи, а

Тучки небесные, вечные странники!

В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива...»: ландыш — не серебряный, а «серебр-ист-ый», чуть-чуть тронутый серебром. И ландыш — живое, ласковое. Наделенное об-ликом, ликом, лицом. И охотно всту-

пающее в некий всеохватывающий диалог, который и составляет основу детского, младенческого стиля. Стиля, рождающегося на пороге земного бытия. У врат его. И сохраняемого человеком в дальнейшие годы.

И еще один трехлетний пиита стишок сочинил. Рисовал он какого-то зайца, и, по мере того как нечто зайцеобразное выходило из-под его карандашика, он приговаривал:

Я рисую зайньку
С маленькими ушками:
Сидит себе с хвостиком,
Никому не мешает.

«Зайнь-ка... уш-ки...» И не просто «ушки», а вдобавок, для пущей ласковой миниатюрности, вероятно, — еще и «маленькие». «Хвост-ик». Во взрослой имитации младенческого стиля такое нагромождение суффиксов показалось бы искусственным, перестало бы впечатлять. У мальчика же оно совершенно естественно. Слова органично связаны с рисунком, с самим процессом рисования, кристаллизации на листе бумаги какого-то героя, характера: зайнька безобиден и тих. А сюда, на рисунок, тихоня заяц пришел опять же из мира кукол: живого зайца современный маленький горожанин сроду не видит.

У Хлебникова — знаменитое «Бозоби пелись губы...».

Снова — однажды приходилось уже — сошлюсь на блистательный комментарий Вяч. Вс. Иванова к стихотворению Хлебникова «Меня проносят <на> слово <вых>...»:

Меня проносят <на> <слоно>вых
Носилках — стан девищедымный.
Меня все любят — Вишну новый,
Сплетя носилок призрак зимний.

Ученый установил, что это — стихотворная подпись к пришедшему из Индии рисунку: слон, носилки, на них — люди, которых слон несет на спине. Хлебников мысленно входит в число несомых. Самоотжествляется с ними. Бог его знает, к какой поре творческой жизни поэта относятся стихи о слоновых носилках, но важно, что в них бережно сохранена логика малыша, рисовавшего зайчика: и ребенок, и поэт входят в мир, нарисованный кем-то или рисуемый ими самими.

И еще об одном рисунке: на листке бумаги —

жираф. Желтый жираф, с длинной-длинной, как ему и положено, шеей. Поднял голову, насторожился. А около его настороженной морды печатными буквами крупно написано: «Воздух пахнет львом». По-моему, гениально!

Нарисовала жирафа шестилетняя девочка. Жираф у нее получился. Но как передать, что сейчас жирафу угрожает опасность? Нарисовать где-нибудь в уголку свирепого льва — некорректно: все дело именно в том, что льва поблизости еще нет, он только приближается, и жираф едва-едва уловил его запах. И девочка вышла из положения просто: подчиняясь незыблемым — и, очевидно, внеисторическим и интернациональным — канонам младенческого стиля, она создала синкретическое произведение: идя, скорее всего, опять-таки от игры с куклами, она перенесла некий сюжет на рисунок, завершив его фразой — интригующей завязкой некоей микронovelлы. Жираф почуял льва, а уж о том, что впоследствии дальше, зритель-читатель должен догадываться. Ударится ли жираф в бегство? Бросится ли за ним хищный лев? Догонит ли лев жирафа?

Детский стиль не только уменьшительен, ласкательен, мироотворенно приветлив. Дух, впервые соприкасающийся с материей, соединившийся с нею, испытывает на себе и жестокость ее. Ее жесткость. Отсюда — чрезвычайная важность для ребенка мотивов столкновения, удара, на который надо ответить ударом же. В быту — хорошо знакомые нам разбитые чашки, брошенный на пол стакан: «Бах!» Говорят, что японская и армянская педагогика разрешает ребенку до семи лет любые деструкции: пусть бьет посуду, ломает окружающие предметы. Японцы и армяне правы: материя громоздка, но в то же время и ненадежна, хрупка; она подвержена ломке, уничтожению, пожиранию; на всякого жирафа отыщется лев. Правда и нянька, побившая пол, о который ушибся ребенок: ударом она ответила на удар, ввода, таким образом, своего подопечного в мир, где вещи сталкиваются друг с другом, бьются и разрушаются.

В литературе возникает трагический образ избиваемого ребенка или ребенка затравленного. Не львами, как травили христиан на римской арене, так собаками: у Достоевского, в «Братьях Карамазовых», и у него же в новелле об истязаемой девочке в «Дневнике писателя». У Чехова: Варька дремлет, видит себя в березовой роще, «но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу». Бьет ее хозяин, сапожник. И этот свирепый жест тоже входит в круг факторов, формирующих детское восприятие мира и стиль, ему соответствующий.

В сюжетах детских стихов мотив удара, деструкции появляется относительно редко. Зато деструкции подвергается сам инструмент воспроизведения жизни — слово. Ребенок осваивает слово. Создает его, и об этом можно прочесть в классической книге Корнея Чуковского «От двух до пяти». Но младенческий стиль не в меньшей степени и деструктивен. Уже готовое, сложившееся слово, речение ломается, разлагается на первоэлементы: «Эку пику дядя дал» обращается в невразумительное «эки-кики-диди-да» (из того же Чуковского). Превратить какое бы то ни было связное суждение в нечленораздельный выкрик — то же, что молодецким ударом расколошматить чашку «Бах!» — и от чашки одни осколки.

Пентаграмма Виктора Ерофеева располагает не столько к тому, чтобы подбирать из нее исключения, сколько к тому, чтобы углублять, очеловечивать ее, антропологизировать. А в частности, увидеть, как взаимодействуют стили. Скрещиваясь. Взаимно оплодотворяясь. В последующем сохраняя предшествующее.

Хлебников: сплошной сдвиг всех возрастных стилей во что-то одно. Он тебе и пророк, носитель провидений; он тебе и бунтовщик, отрицатель авторитетов. Он и младенец, лепечущий, разлагающий слова, преобразующий их: «Кисловодск — Числоводск». Он слово и картинкой соединяет, как шестилетний мальчишка. Но не будем о Хлебникове, зане неогляден он и велик.

Всеволод Некрасов — поэт новоявленный. Новоявленный потому, что стали его печатать, а вообще-то пишет давно он, и пишет очень серьезно, занимая в современном литературном потоке заслуженно определенное место. У Некрасова, в отличие от многих современных поэтов, есть литературные убеждения. Есть программа. И в программу эту явно входит сохранение младенческого стиля, развитие его принципов. Пишется стих в две колонки, и слева — о любви к богу, а справа — что-то наподобие возражений и дополнений к тому, что написано рядом:

а мама
а моя
аня
а мама анина.

Детский стиль ориентирован на узкий домашний круг, а при этом предполагается, что весь мир конечно же знает и маму маленького пииты, и всех его близких: да как же можно не знать, кто такая Аня (аня)? И ее мама? Ребенок уверен: то, что знает он, знают и все. И такая

уверенность очень естественно выражена в стихах Некрасова, хотя только избранным ведомо, что Аня (аня) его супруга, доктор наук, автор нескольких почтеннейших монографий. А 1 135 000 читателей журнала «Дружба народов», на страницах которого (1989, № 8) опубликованы стихи о любви к богу и о любви к ане, знать сие не обязаны: тут, как говорится, не вина, а беда их. Мне с такой остроумной адаптацией детского стиля стилем сложившегося мастера никогда встречаться не приходилось.

Ученические стихи и ученический стиль вообще — тоже огромнейшая проблема.

Всего прежде вспомним: известны целые эпидемии и пандемии стиля; и такое явление — один из горьких плодов просвещения. К сожалению, они совершенно не изучены; существуют лишь неясные упоминания о патологической распространенности когда-то стиля повестей и новелл Александра Бестужева-Марлинского; а позднее, уже, так сказать, на наших глазах, подобное же произошло со стилем лирики Сергея Есенина. Стиль в данном случае проникает и в литературу, и в самую жизнь; даже поверхностное владение им удостоверяет причастность говорящего к современному, модному. Строчки из произведений литератора-лидера начинают мелькать в личных письмах, в дарственных надписях на оборотной стороне фотографий. Ими перебрасываются в устной беседе, они своего рода пароль, подобие условного знака членов какого-нибудь сообщества, по которым они узнают друг друга при встречах.

История литературы отражается в эпидемиях стиля очень последовательно, и можно было бы написать занятные и поучительные очерки по истории стилевых эпидемий. Правда, труд для этого потребовался бы громадный: перелопатить комплекты журналов, провести архивные разыскания. Начинается, вероятно, с Карамзина, с триумфального шествия по столицам и по уездам его «Бедной Лизы». Далее — байронизм. Затем упоминавшийся уже Бестужев-Марлинский. В нашем веке — дважды вспыхивавший Есенин: в середине 20-х годов и тотчас после Великой Отечественной. Много лет спустя на смену Есенину пришел Пастернак, и хотя стилизации под него охватили значительно меньший круг посвященных, преимущественно так называемую элиту, пандемия все же была. А затем — и на долгие годы — утвердился в умах и в сердцах стиль романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», этой «Бедной Лизы» второй половины XX века: как всегда, цитаты из любимого произведения льют-

ся щедрым потоком; и у всех на устах и злосчастный Понтий Пилат, и тупой исполнитель его приказаний центурион Крысобой, и Воланд с его компанией, и суетный МАССОЛИТ. В число учеников Михаила Булгакова втягивается все еще продолжающийся расширяться круг лиц.

Ученический стиль — явление сугубо двоякоценностное. Да, конечно, он гарантирует приобщение читательских масс к национальной литературе, стимулирует чтение. Ученик, подражатель, выступает здесь в роли посредника между мастером и, в конечном счете, народом. Популяризатором новшества, необходимым мастеру сателлитом. Создаваемый им вторичный, подражательный стиль чрезвычайно удобен для изучения еще никем всерьез даже и не поставленной проблемы воздействия художественного слова на жизнь — на жизнь общества, на формирование социальной психологии: тут наглядно, воочию видно, как и какими путями литература приходит в жизнь, в мир, ее окружающий. В то же время, однако, оказывается, что идет в жизнь далеко не лучшее, а то, что есть в ней лучшего, деформируется, принимая уродливые формы.

Уже «Бедная Лиза», по свидетельству современников, возбудила целую волну покушений на самоубийство, а о том, во что обошлись нашему многострадальному люду подражания Сергею (Сережке, Сереньке) Есенину, и говорить не приходится: не расскажешь лучше, чем это сделал Варлам Шаламов в своем очерке «Сергей Есенин и воровской мир». Что касается романа Булгакова, то он вызовет, да и вызывает уже волну доморощенного оккультизма, оккультистский шабаш, разгул которого окажется страшнее даже бесконечных пьянок, инкрустированных стихами из «Москвы кабацкой» Есенина. Ученический стиль резко, остро ставит вопрос об ответственности и о социальной вине выстрадавшего и произнесенного мастером слова, и вопрос сей вполне аналогичен вопросу о вине ученого-физика, академические, фундаментальные исследования которого совершенно помимо воли его привели человечество к Хиросиме или к Чернобылю. И о многом говорит выразительнейший специфически русский суффикс «-щина»: «марлинщина», «есенинщина», а теперь еще и «булгаковщина»: литературная мода есть сигнал об угрозе мгновенного перерастания стилевого ученичества в ученичество жизненное, а словесного стиля — в стиль поведения: прыгнуть в пруд, как бедная Лиза; потрусить в кабак, в воровской притон, как Сережка Есенин, или впасть в чернокнижничество, как булгаковский Воланд.

Я думаю, что...

И встает вопрос о границах стиля, точно названного ученическим. Очертить их немислимо, ибо на наших глазах он навязывался целым государствам, народам: странам Восточной Европы вменялось в обязанность жить так же, как живем мы; совпадения должны были простирались на все, вплоть до сходства воинской униформы, до гонений на художественные и литературные направления, которые преследовались у нас.

Слово — сила, мера которой нам совершенно неведома. Слово — власть.

Поколения, входившие в жизнь при Сталине, на себе испытали всеохватывающий и проникающий в душу гипноз его стиля. Именно сти-ля. Стиля, коему и названия не подберешь: восходя к катехизису, он, во-первых, строился по вопросно-ответному принципу; во-вторых же, он основывался на произвольном членении обговариваемого явления на три, пять или шесть «черт», «особенностей», «этапов» или «условий», причем эта нумерация создавала иллюзию полнейшей исчерпанности предмета. Скажет Сталин, что какое-либо историческое явление имело «пять особенностей», или выдвинет «шесть условий», и всем кажется: особенностей действительно было пять, а для полного благоденствия надо выполнить именно шесть условий, не больше, но и не меньше (очень трудно удержаться и не зафиксировать очевидный рудимент стилистических сталинизмов в рассуждениях Виктора Ерофеева: «Пять биологических фаз развития индивидуального стиля» — так могли бы называться его интересные заметки).

Стиль Сталина магнетически привлекателен. Он продолжал традиции русской семинарской риторики, в мирском варианте впервые обнаружившей себя в середине прошлого века: Впрочем же, Чернышевский и Добролюбов в сопоставлении со Сталиным кажутся удручающе многословными и какими-то даже... изысканными. Здесь же — абсолютная неизысканность, негативный вариант святой простоты. Может быть, народ так радостно и подчинялся отцу и учителю потому, что улавливал в его слове отзвуки прошедшей через века бесхитростной проповеднической риторики, риторики соборного постижения истины?

Этот стиль покорял. Не метафорически, а реально. Гипнотической власти его покорялась наука — от много-томных всевозможных историй чего-нибудь до студенческих курсовых работ. Он наполнял хлынувшие потоком кандидатские и докторские диссертации. И наглядно открывалась связь стиля и жанра, ибо стиль являет собою словесное выражение жанра, и не зря же говорим мы: «романсовый стиль», «элегический стиль». Здесь же был особый риторический стиль: стиль до-кла-да.

Жанр доклада совершенно не изучен, даже не выделен, не назван нигде. Между тем он пронизывал нашу жизнь сверху донизу. Ритмы жизни огромной страны измерялись докладами на съездах ВКП(б), КПСС; далее шли доклады республиканские, областные, районные. Мотонно гремели доклады на сессиях Академии наук СССР и специализированных академий, доклады на пленумах, на ученых советах, на кафедрах. Праздничные доклады и доклады по поводу каких-нибудь чрезвычайных, особенных обстоятельств: доклады о чем-нибудь, за что-нибудь или против чего-нибудь. Все от мала и до велика, стар и млад охвачены были докладами. И доклад, с одной стороны, каким-то таинственным образом соотносился с унылыми рядами барачников при строящихся заводах Магнитки, Кузнецка, Челябинска, а с другой — с великолепием алебастрового ампира Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, изукрашенных жилых зданий, а в какой-то отдаленной перспективе — с громадой Дворца Советов, воздвигаемого, в сущности, лишь затем, чтобы в залах его немолчно гроыхали доклады. Сталин выковал стиль доклада, чудодейственным образом приспособив сакральное слово катехизиса, проповеди к задачам вербального самовыражения государства.

Стиль, который, как правило, имеет в виду современная стилистика,— явление письменной речи. Слово здесь отделено от автора в пространстве, во времени. Говорящего мы не видим; не видим его жестов, мимики: его лица. Лицо это реконструируется нашим воображением, опирающимся разве только на иконографию, порой крайне бедную, а порой воображение сковывающую, создающую клише, стереотипы облика художника слова. Лицо же, какое-то внутреннее, духовное лицо его мы творим на свой страх и риск, слагая подверженный изменениям во времени образ Автора.

Доклад — форма риторического, устного слова. Здесь, казалось бы, лицо говорящего должно предстать перед нами таким, каково оно есть, в его подлинности, в живой, натуральной изменчивости. Не тут-то было!

От года к году аудитория, обязанная благоговейно внимать докладу, ширилась. И свою идеальную форму доклад нашел в ...радио: репродуктор — гигантский идеализированный рот. Отверзшиеся уста, будто бы с небеси — репродуктор укреплен на некоторой высоте над толпой, вознесен — возвещающие городу и миру откровение новой истины.

Стиль Сталина создан был... радио. В следующую эпоху, в эпоху внедрения в быт телевидения, Сталин уже немислим: он был абсолютно не телегеничен. Буду-

чи запечатленным на экране, особенно же на экране цветном, оказавшись телевизионным изображением в углу какой бы то ни было отдельной квартиры, он потерпел бы крах: неровен час, он стал бы смешон; и хотя насмешка над ним была бы не хохотом разноликой толпы, а благодушным или злым похихатыванием разрозненных верноподданных, благоразумно изолировавшихся в интимном кружке, смешным он был бы: лицо с низким лбом в рябинках осы, монотонная речь. Такое лицо не могло маячить перед верноподданными в течение часа, двух, трех. И надо воздать дальновидности отца и учителя должное: после войны он уже не выступал ни с какими докладами, а чем дальше, тем больше обращался исключительно к письменной речи. А основанный им вопросно-ответный риторический стиль, стиль доклада продолжал — и поныне продолжает — жить, оставаясь на редкость показательным образчиком устойчивости и невытесняемости ученического восприятия слова: уж сейчас-то, казалось бы, никто не понуждает нас изъясняться друг с другом в стиле доклада, а он витает над нами, хотя порою и кажется, что предсмертные судороги его, агония его уже началась.

Да, прилипчив ученический стиль. И все же преодоление его во всех его мыслимых вариантах идет, как кажется мне, ныне достаточно широко.

В течение последнего года я неведомо почему оказался причастен к работе поэтической студии при газете «Пионерская правда». Называется: «Ассамблея».

Мне была поручена странная роль: давать тему, в двух-трех словах указывать пути ее разработки. Остальное предоставлялось детям, школьникам разных возрастов, с четвертого по девятый классы. Те, кто был на занятиях студии, сразу же уносили тему домой, а на следующий день газета объявляла ее всем своим многомиллионным читателям.

Я дал тему: «Улица». Описание улицы, на которой протекает жизнь отрока или отроковицы. Лицо улицы, ее душа. Ее явное или скрытое своеобразие. Улица как метафора: «Будет и на нашей улице праздник».

Воляся: появятся стихи-лепет. Стиль, особенно на ранних этапах его бытования, как-то жметя к рифме: в пушкинский век «камень», как известно, тотчас же влек за собою «пламень», «кровь» — «любовь», а «луна» по канонам сотен вторичных элегий должна была быть «бледна». «Улица» конечно же повлекла бы за собою «курицу». Сложилась бы стереотипическая картинка: курица разгуливает по улице. А уж там — и пошло, и пошло!

И «курицы» действительно обрушились на выдавшую виды редакцию. Обрушились стаями: материализуется каждая из этих злосчастных куриц, Продовольственная программа в стране оказалась бы в одночасье выполненной. Было много стихов беспомощных, ученический стиль позиций своих не сдавал. Но увидел я и рождение стиля. Психологическую основу его: творческую находку, вдохновенно, в соревновании с окружающими, обретенный прием.

«А вот у меня без курицы! — воссияла очами шестиклассница Маша, выслушав мой язвительный разбор стихов, поступивших в редакцию. — Совсем без курицы! У меня по-другому!»

И прочитала:

КУДА ВЕДЕТ ЭТА УЛИЦА?

В дальний космос летит эта улица,
На нее Медведица щурится,
По ней Геркулес с дубиной
Шагами мчится аршинными.
Вдоль по улице фонари:
За звездой звезда горит.
Эта улица, Млечный Путь,
Приведет нас куда-нибудь.
Повстречаем, пускай не сразу, мы
На пути этом разные разумы.

Это стиль.

Да, стиль — это словесное овеществление жанра. Но добавим: стиль есть индивидуальная версия такого овеществления (а поэтому: не только «элегический» стиль, но и «стиль Карамзина» или «стиль Бестужева-Марлинского»). Какой же здесь, у девочки Маши, жанр? Ясно же: от-кро-ве-ни-е. Откровение со всеми его атрибутами: проекция быта в космос; озаренное, отворенное небо; туманные прорицания грядущих катастроф или очистительных катаклизмов. В стихах девочки Маши жанр, о чем девочка Маша, разумеется, и не подозревает, всецело равен приему: сравнение, сопоставление, выявление сходства улицы с Млечным Путем, созвездий — с людьми и животными. В откровении так и должно быть. Так было у Хлебникова в стихотворении «Числа»:

Я всматриваюсь в вас, о числа,
И вы мне видите одетыми в звери, в их шурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы...

Маша поэта Хлебникова не читала, но весьма показательно совпадение с ним: у него числа опираются на «дубы», у нее Геркулес помахивает «дубиной», — откровению нужны исполины, титаны. Гигантомания, как

в гениальных скульптурных фантазиях Эрнста Неизвестного. Но и с ними Маша вряд ли знакома. Не читала она и Откровения Иоанна Богослова, сиречь Апокалипсиса: в школе Нового завета уже (или еще?) не проходят. А жанр вдруг возник. Заново, как ему и положено, но при этом влача за собой то, что именуется «памятью жанра». И уж так или иначе, а я был свидетелем поистине божьего чуда. И да простится мне это, но я сравнил свое ощущение с ощущениями, о которых поведал мне однажды мой товарищ: не дождавшись вызванной им «скорой помощи», он самостоятельно, на свой страх и риск, принял роды у своей жены (филолог, воспитанный, впрочем, в семье врачей-гинекологов, он сделал все виртуозно).

«Биологии стихля» стихи Маши Пузицкой под сомнение нисколько не ставят. Однако они требуют от нас, принявши ее, идти дальше, потому что иначе нас ожидает какой-то биостилевой фатализм: все однажды и навсегда разделено на пять фаз, этапов. Но уместно задаться вопросом: а возможно ли и объединение всех стилей в один? Сплав, нагромождение, последовательная симфонизация стилей? Думаю, что да. И возникал такой стиль порой — у того же Хлебникова, положим. Но как целое, как законченная система в русской литературе подобное совершилось один-единственный раз. Совершилось, как нетрудно догадаться, в творчестве Пушкина — тем-то, в частности, Пушкин и уникален.

Пушкин мог реконструировать мироощущение ребенка; в творчестве его ребенок появляется на каждом шагу. «Евгений Онегин» — сплошной детский сад. «Ребенок был резов, но мил», — с первых же строк говорится о герое романа и с тех пор образ ребенка не покидает его страниц. За детством Онегина — детство Татьяны, Ленского, Ольги; тут же «бегают дворовый мальчик».

Гувернер-француз «слегка за шалости бранил» Онегина в детстве; мальчик в усадьбе Лариных — «шалун», пародийно повторяющий скучающего юного дворянина. И не только детство его повторяющий: игра мальчика — повторение триумфального проезда Онегина по зимнему Петербургу, когда «в санки он садится», и

Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Душевно холодный Онегин в то же время навсегда остается «пылким мальчиком» и — сближение фантасти-

ческое! — «мячиком предрассуждений»: в едином образе сливаются ребенок и непрменный атрибут ребяческих шалостей — игрушка, мяч.

Пушкину введома метафизика раннего детства, сопряженность ребенка с мирами иными:

Царь небесный
Приял меня в лик ангелов своих,
И я теперь великий чудотворец! —

возвещает привидевшийся старцу-слепцу убиенный царевич Димитрий. «Отвяжитесь, бесенята, от блаженного!» — увещевает старуха ребятишек в сцене с Николкой, юродивым, в той же драме «Борис Годунов».

Врите, врите, бесенята...—

ворчит крестьянин-отец на детей, принесших ему весть: в их сети попал утопленник. «Чему смеетесь, бесенята...» — укоряет мальчишек, которые «помирали со смеху», глядя на кошку, мечущуюся по пылающей крыше, деревенский кузнец («Дубровский»). И «злые дети» преследуют, травят в «Медном всаднике» потерявшего разум Евгения: почти точно повторяется сцена глумления «бесенят» над Николкой.

Ангелом или бесом, бесенком у Пушкина ребенка считают простолюдины — старуха в драме «Борис Годунов», мужик в балладе «Утопленник», деревенский кузнец в романе «Дубровский»; когда Пушкин говорит от себя, он выражается осторожнее: «злые дети». Но во всяком случае остается стремление охватить оба полюса восприятия мира ребенком, взявши их в предельном их варианте, от ангела до беса, бесенка. Далее же, став предметом изображения, детский стиль нет-нет да и становится средством изображения, и в речь Пушкина раз за разом вводятся естественно в ней звучащие инфантилизмы.

Отличительное свойство младенческого, детского стиля — сближения, которые взрослому видятся произвольными, и передразнивание непонятого. Слыша, к примеру, какие-нибудь утомительные, насыщенные варваризмами разговоры родителей, ребенок тут же их передразнивает, сведя непонятое к милому междометию. И стихотворение Пушкина «Соловей и кукушка» (1825) построено именно на этом приеме. Соловей в лесах «и свищет, и гремит».

Но бестолковая кукушка,
Самолюбивая болтушка,
Одно куку свое твердит.

А далее взрослая проблема, проблема перенасыщенности русской поэзии подражательными элегиями, решается броско поданным приемом детского стиля:

И эхо вслед за нею то же.
Накуковали нам тоску!
Хоть убежать. Избавь нас, боже,
От элегических куку!

Сближение элегии с кукованием произвольно. Как бы подражательны и вторичны ни были вошедшие в моду элегии, они неизменно стремились к благозвучию, к фонической слаженности. Сходство их с кукованием весьма и весьма относительно. Но именно оно утверждается. А вся претенциозная сложность сентиментальных элегий сводится к передразниванию: «куку». Поэт передразнивает элегию так же, как герои его, русские ратники в драме «Борис Годунов», передразнивают чуждую им иноземную речь. «Quoi? Quoi?» — спрашивает интервент-француз. А ему: «Ква! ква! тебе люблю, лягушка заморская, квакать...» Поэты-элегики: «Куку». Француз: «Ква! ква!» Инфантилизмы вливаются в стиль Пушкина и как явление примитивизированной лексики, и как прием сведения чуждого к свойскому, непонятного к привычному; причем отношения между людьми анимализируются, изображаются как сценки из жизни животных (лягушка, кукушка).

Роман Пушкина «Евгений Онегин» — идеальный и единственный в русской литературе случай последовательной симфонизации стилей. Весь кратко описанный Ерофеевым пенталог функционирует здесь как гениально отлаженный механизм. Стиль достигшего высшей мудрости корифея с присущей ему афористичностью, сентенциозностью, социально-педагогической установкой? Есть он. Есть стиль почтительного ученика целой плеяды поэтов, от Омира (Гомера) и до Державина. Есть стиль сложившегося мастера, уверенного в себе. Есть стиль молодого бунтовщика. Есть, наконец, и младенческий стиль: с точки зрения поэтики сон Татьяны тождествен сну чеховской няньки Варьки, хотя происхождение этих снов, естественно, совершенно различно; притесняемая девочка, вариант российской Козетты, видит в бреде некое шествие нищих, а девушке-провинциалке грезятся... литературные друзья и единомышленники сочинителя Александра Пушкина, преобразенные им (или ею?) в диковиннейших чудовищ (гипотеза о том, что сон героини романа запечатлевает борьбу «Арзамаса» с «Беседой...», мне представляется верной).

Стиль романа «Евгений Онегин» — всевозрастной симфонический стиль. Ему «все возрасты покорны», потому что все они обрели в романе свои голоса, получили возможность реализовать свое право на жизнь.

Конечно, на жизнь в искусстве. Всего лишь в искусстве: на условную жизнь в художественном мире романа.

Но «Евгений Онегин» — необыкновенная книга. Это роман предвещающий. Остается надеяться: голоса, суждения о мире всех возрастов, обретя жизнь в романе, когда-нибудь обретут равноправную жизнь и в социальной реальности, жизнь в самой жизни.

Взгляд

Возвращение к читателю

Взгляд

«Личная судьба человека творится им самим, правда, на фоне и в жестких рамках судьбы исторической. Но человек может и должен преодолевать свою зависимость от обстоятельств... Задача эта, учитывая порой суровые или даже невыносимые обстоятельства общественной и личной судьбы, не всегда по силам человеку. И потому каждая победа, каждое преодоление судьбы имеют, как говорил Платонов, «принципиальное и всеобщее значение». Это слова из посмертно изданной книги Льва Шубина «Поиски смысла отдельного и общего существования» (1987), книги об Андрее Платонове, которая писалась в основном в семидесятые годы. Она не была завершена не потому только, что помешала болезнь и смерть автора. Психологическое состояние литературоведа в СССР, избравшего предметом исследования творчество писателя, «не запрещенного циркулярно, но и не разрешенного вполне», может стать темой особого разговора: бесчисленные попытки (варианты черновиков) рассказать о пути писа-

теля, не обходя острых (подцензурных) моментов его биографии, уход в аллюзии, упорный возврат к темам фашизма, геростратизма, свободы и своеволия, насилия, исторической и «частной» судьбы.

Эссе Л. Шубина «Человек и его дело, или Как быть писателем» помечено 1976 годом и относится к числу тех материалов из его архива, которые он сам называл «вокруг Платонова», то есть как бы некий побочный сюжет по отношению к главной платоновской теме. Побочный ли?

В разноголосице высказываний героев эссе — Платонова, Кафки, Шолохова, Фолкнера, Блока, Горького — явственно звучит особо дорогой автору мотив противостояния художника XX века «могучим обстоятельствам» и его ответственности за свое время. «Свое время» в рамках данной статьи — это чаще всего годы революции, когда «люди метались в поисках утопической реальности», и гражданской войны, когда «мир затвердевал буквально на глазах». Внимательному психологическому анализу подвергается позиция Горького в период написания им «Несвоевременных мыслей». Напомню читателю, что в середине семидесятых невозможно было даже глухое упоминание крамольной книги (Л. Шубин пользовался, естественно, зарубежным изданием), и в этом смысле публикуемое ниже эссе можно смело назвать «потаенным литературоведением».

Сегодня, когда изданы наконец и «Несвоевременные мысли», и опальные произведения Платонова, и дневники Кафки, в наши дебаты о степени ответственности писателя за происходившее (и происходящее) в стране влетает спокойный, но полный внутреннего напряжения голос Льва Шубина, слова, сказанные им пятнадцать лет назад: «Интеллектуал не только жертва обстоятельств, пусть даже очень могучих, но дееспособный участник исторического процесса, ответственный за идеи, им продуцируемые, и за реализацию этих идей людьми... И это не шуточное дело — недаром Иван Карамзев вынужден признать свою ответственность за идеи и поступки Смердякова».

Елена Шубина

Человек и его дело,
или Как быть писателем

Иль я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Борис Пастернак

Не так давно появилась статья П. Палиевского «Мировое значение М. Шолохова»¹. Критика больше всего поражает в Шолохове какое-то «пренебрежение к жестокости». Он пишет: «Формулировать это трудно, и вывод, пожалуй, страшноват, но Шолохов допускает наибольший нажим на человека. Считает его нормальным. Не Михаил Александрович Шолохов, конечно, а его художественный мир. Вот что заставляет задуматься. Речь, разумеется, идет не о политическом давлении и не о самой по себе жестокости как таковой. Нет — общая атмосфера

¹ «Наш современник», 1973, № 12.

жизни и ее давление; у Шолохова она принята намного суровее, чем обычно у всех классиков мировой литературы: именно принята, а не с ужасом, отвращением или злорадством отобразена».

Критик признается, что не понимает писателя, встает в тупик перед «художественной логикой» этого мира. И не спешит соглашаться с писателем, принимать его концепцию гуманизма.

Нам в приведенном тезисе важны акценты как на слове «давление», так и на словах «принимает» и «считает нормальным». Оба эти акцента характерны и для «художественного мира» Шолохова, и для «критического мира» Палиевского.

Сам М. Шолохов, кажется, статью П. Палиевского принял, но «шолоховцы» взволновались — сколько было приложено сил и старания, чтобы вписать гуманизм писателя в рамки. И вдруг: «этот мир ни секунды не колеблется перед таким понятием как личность», «не отвергает ее и, без сомнения, чтит, но, если надо, свободно перешагивает». Обиделись на статью и «консерваторы», и «реакционеры», и «прогрессисты». «Консерваторы» и «реакционеры», естественно, возмущаются упоминаниями о «давлении». «Прогрессистов» возмутили слова «принимает» и «считает это нормальным». «Плохие» идеи и поступки должны проповедовать и совершать «плохие» люди и «плохие» писатели. Искусство должно оставаться высоким, чистым и безгрешным, даже если оно живет в «грешную» и «страшную» эпоху, оно должно пройти через нее, не замарав своих «чистых риз». Как нравственный категорический императив это правильно, но как методология исследования это не выдерживает проверки историей, приводит к разделению реальных людей на «семь пар чистых и семь пар нечистых».

Естественным кажется, что «плохой» Леопольд Авербах писал: «...К нам приходят с пропагандой гуманизма! Как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата»¹. Но вот «хороший» Андрей Платонов как бы вторит ему, он говорит о «Рождении героя» Ю. Либединского и «Выстреле» А. Безыменского: «Они напечатаны на двух сторонах одной монеты, как нигилизм и гуманизм (совершенно правильная и диалектическая фраза т. Авербаха)»². Вот «хороший» Эдуард Багрицкий говорит:

¹ Авербах Л. О целостных масштабах и частных Макарах. — «Октябрь», 1929, кн. 11, с. 12.

² Платонов А. Великая глухая. — ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 104.

...И, если он скажет: «Убей!» — убей,
И, если он скажет: «Солги!» — солги...

Потом «плохой» Алексей Сурков на Первом съезде советских писателей объявит эти строки наиболее четкой формулой социалистического гуманизма. А еще позднее «плохая» Елена Усиевич назовет эти строки Вагрицкого клеветой...

...А. С. Пушкин сказал об А. С. Грибоедове, что жизнь его «была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств». А вот о собственных бореньях:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалею, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Следствие могучих обстоятельств... Когда критик говорит, что в художественном мире Шолохова личность человека проходит «самую суровую проверку на прочность», он ни на минуту не забывает, что речь идет о писателе-реалисте, что этот его художественный мир сохраняет ясные и чистые, почти классические связи с миром реальным, с действительностью. Не художественный вымысел, не «эксперимент» писателя-модерниста поставил человека перед лицом небывалых испытаний, а сама жизнь, общая атмосфера XX века. И это не какие-то экстремальные обстоятельства жизни отдельного человека или отдельной страны — это наше повседневное состояние, наша норма.

От художников XX века действительность требовала особого мужества. Франц Кафка говорил, что «искусство порхает вокруг истины, но с совершенным намерением — не обжечься». Это сказано полемично, с вызовом — сегодня истина может опалить крылышки искусства, сегодня художнику нужно мужество, чтобы взглянуть правде в лицо. Ф. Кафка мрачно поясняет: «Между тем его (искусства) назначение в том, чтобы отыскать в темной пустоте место, где, ничего не зная об этом заранее, можно перехватить лучи света». Человека опутали невидимые нити «процесса», и с ним совершаются ужасные «превращения», но человек не сдается, он не отрекается от «конечных целей». «Непонимание, нетерпение, забвение долга — вот в чем грех. Миссия писателя в том, чтобы все одинокое и смертное привести к бесконечной жизни, все случайное превратить в закономерное. Это пророческая миссия». Лучи света, которые в темной пустоте ищет художник, должны вернуть людям смысл их жизни. «Это полномочие,— говорит Ф. Кафка.— По своей

натуре я не могу взять на себя ничего, кроме полномочия, которого, однако, никто мне не дал. Я могу жить только в этом противоречии, всегда в этом противоречии». Могучим обстоятельствам можно противостоять: «Никогда не терять надежды... Тебе кажется уже, что твоим возможностям пришел конец, но вот появляются новые силы. Именно это и есть жизнь... Стой под дождем, пусть пронизывают тебя его стальные стрелы. Оставайся, несмотря ни на что, стой — и жди солнца. Оно зальет тебя сразу и беспредельно».

Что это — проповедь стоицизма или новый символ веры? Андрей Платонов в середине тридцатых годов, когда могучие обстоятельства играли особенно важную роль в частной и общей жизни, обращается к Пушкину. Это было естественно. К кому же, как не к Пушкину, обратиться российскому художнику за поддержкой и верой? Платонов прочел Пушкина глазами писателя XX века, ищущего ответы на свои вопросы. Вот эти ответы: «Пушкин угадал и поэтически выразил «тайну» народа, бережно хранимую им, может быть даже бессознательно, от своих многочисленных мучителей и злодеев. Тайна эта заключается в том, что бедному человеку — крепостному рабу, городскому простолюдину, мелкому служащему чиновнику, обездоленной женщине — нельзя жить на свете: и голодно, и болезненно, и безнадежно, и уныло, — но люди живут, обреченные не сдаются; больше того: массы людей, ступенчатые фантазмагорическим обманчивым покровом истории, то таинственное, безмолвное большинство человечества, которое терпеливо и серьезно исполняет свое существование, — все эти люди, оказывается, обнаруживают способность бесконечного жизненного развития». Могучие обстоятельства и «личная, часто смертоносная судьба» не могут остановить человека, он ищет и находит выход. Не всегда, говорит Платонов, этот выход «посилен для человека, но когда он осуществляется, то имеет принципиальное и всеобщее значение». Это проясняет задачу художника — он должен помогать человеку в «преодолении исторической судьбы» и в «достижении счастья существования».

Уильям Фолкнер и Михаил Шолохов — на сближении этих двух имен давно настаивает П. Палиевский. Этот голос действительно здесь необходим. Критик говорит: «Уильям Фолкнер обладал колоссальной прорастающей силой...» Это сказано, очевидно, в том смысле, что писатель противостоял обстоятельствам, прорастал сквозь них. Это напоминание нам о Толстом. Куст «татарника» у дороги и запись: «Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего». От «Хаджи Мурата» к Фолкнеру. Изме-

нилось время, «общая атмосфера жизни, ее давление». Искусству нужно особое мужество, чтобы не опалиться перед истиной. Художнику, который знает «суть дела», знает, в тисках каких могучих обстоятельств бьется и корчится современный человек, трудно сохранить веру в людей. Художник, оставаясь в пределах и масштабах прежнего гуманизма, вынужден порхать перед истиной, с таким, однако, расчетом, чтобы не обжечься. Иначе необходима какая-то особая вера в человека. Такая, например, как у Фолкнера: «Я отказываюсь принять конец человека... Я отказываюсь принять это. Я убежден, что человек не только выстоит, он восторжествует». Критик так комментирует позицию художника: «Он отрицал силу обстоятельств. Для него стремление человека переломить обстоятельства в свою пользу всегда реальнее самих обстоятельств. От этого его реализм был наполнен «шумом и яростью», глухими и страшными ударами, как от разбиваемой изнутри тюрьмы».

Круг, кажется, завершен, и мы вернулись к началу: ведь Михаил Шолохов сближен с Фолкнером. В художественном мире Фолкнера «шум и ярость», «глухие и страшные удары», а у Шолохова, в его художественном мире, эти обстоятельства «приняты», «это нормально», нормально давление на человека, и самая смерть выступает как «какая-то метла в жизненном доме», «в виде нянечки или уборщицы». Тут что-то не так. Непонимание? Ошибка? Нет, вроде бы все шло правильно: речь шла о том, что оба писателя видят человека «одновременно с сочувствием и трезвостью, доходящей как будто до «жестокости». Но дальше начинается различие. Один бунтует против этого. А другой? Слова «принято» и «нормально» обернулись нам другим своим смыслом. Мужество взгляда в лицо правде требует от художника новых аргументов или новой веры.

Здесь мы вступаем в область не только могучих обстоятельств, но и в мир пылких страстей. Художник XX века не только видит, наблюдает, исследует могучие обстоятельства, в которых живут люди, но он и сам, естественно, живет в них. Обстоятельства, в которых живет современный художник, как и страсти, которыми он обуреваем, новые, и они порождают новые между собою взаимосвязи. Некоторые облака, которые затемняют жизнь многих художников нашего времени, ими порождены, с ними связаны.

Устанавливая связь между жизнью художника, могучими обстоятельствами и пылкими страстями, пушкинская формула выводит нас к какому-то новому единству, которое можно назвать судьбой. Отнюдь не из «идео-

логического пуризма» это понятие следует оговорить. Как бы ни модернизировало современное словоупотребление это понятие, любое его исполнение сохраняет оттенок или привкус чего-то внешнего, извне внесенного, неизбежного, рокового, predeterminedенного. Слово «помнит» и «хранит» в себе свою историю, свои прежние смыслы и значения, порой «угасшие» или «гасимые». Этим нельзя пренебречь, но вряд ли есть резоны от него отказываться. Судьба человека, судьба поэта, судьбы страны, судьбы мира — все это живые и современные представления и понятия, и наше время не случайно, а осознанно сберегает их.

В «мире Платонова» слово это очень важное, недаром оно вынесено им в первый ряд основных «образов-понятий», таких, как «смысл существования», «счастье существования», «пространство», «время». Оно сближено у него со смыслом и счастьем существования и даже противопоставлено им. «Драматическая ситуация жизни», утверждает писатель, не разрешается «естественнее всего смертью», думать так — значит «не иметь правильного представления о действительных возможностях человеческого сердца, страсти и мысли, о прогрессивном начале всего человеческого существа». Герои Платонова не могут смириться с жизнью просто «в силу своего рождения», они хотят знать, «за что они жили и погибли», они ищут «смысла существования», они «чувствуют сомнения в своей жизни и слабость тела без истины». Но этот смысл, эту истину им не дается ни узнать извне, ни «выдумать в одиночку». Смысл и истина должны возникать в итоге жизни, «в тесном ощущении вещества существования», в «преодолении исторической судьбы».

Если смысл человеческой жизни творится, обретается и раскрывается в ходе самой этой жизни, то, оглядываясь назад или воспринимая уже завершенную и законченную человеческую жизнь, этот сотворенный, обретенный и раскрывшийся смысл видится нам как судьба человека. Г. Винокур говорит, что биограф должен не только рассказывать жизнь своего героя, но и понять ее, раскрыть и «прозреть» конечный смысл всего пережитого и содеянного им. Этот открывшийся нам «конечный смысл» он называет судьбой. Речь идет, подчеркивает исследователь, не о том, чтобы открыть некий закон, «являющийся по отношению к личной жизни внешней силой, и не результат борьбы с этой силой, а только содержание личной жизни с точки зрения раскрывающейся в нем исторической и идеи». Судьба личности понимается здесь как открывающаяся «идеальная установка», как «идеальное содержание» жизни героя, «открывающееся и ей корреспондирующее». Причем «идеальное» понимается

не как нечто заданное, а как открывающаяся связь и логика эмпирических фактов «жизни личности в истории» или «истории жизни личности».

Жизнь личности в истории часто проходит испытания, ибо бушуют пылкие страсти и страшны могучие обстоятельства, но итог этой жизни, несмотря на трагичность ситуации, отнюдь не однозначен. «Я считаю, — говорил Фолкнер, — что свободная воля человека действует на фоне судьбы в древнегреческом понимании этого слова. У человека есть свободная воля выбора и мужество, сила духа умереть за свой выбор, — таково мое представление о человеке, и именно поэтому я считаю, что человек выстоит. Иногда судьба оставляет человека в покое. Однако рассчитывать на это не приходится. Но у человека всегда есть право на свободный выбор и, надеюсь, мужество умереть за него». В книге Цецилии Кин «Миф, реальность, литература» подробно говорится о статье Франческо Флора «Достоинство писателя», появившейся после свержения Муссолини, но в момент, когда в стране шла еще гражданская война. Он писал: «Разве есть кто-нибудь среди людей, и даже среди тиранов, кто может отнять у писателя чувство достоинства в его литературном труде? Рабство писателя всегда добровольно, даже если оно пассивно. Поэтому воистину ничто не может послужить оправданием тем, кто запятнал это достоинство, присущее священной природе слова». Живя и действуя на фоне судьбы, человек, в силу свободной воли выбора и мужества, преодолевает свою историческую судьбу и творит судьбу собственную.

Надо только помнить, что действительность, особенно когда в ней живешь и, следовательно, видишь в упор, сильна своей мелочной, затягивающей обыденностью. Грандиозные и масштабные события истории XX века вырастали в мелочах повседневной жизни, которые опутывали, дробили и мельчили человека. Прежде чем построить лагеря смерти и зажечь костры из книг, надо было опутать господина К. не колючей проволокой сразу, а сетями невидимого «процесса», который шел и шел незримо, неизвестно где и кем творимый. «Превращение» и «исправительная колония» — это две стороны одной и той же действительности. Это не фантазмагии писателя, а бред действительности. Вот что говорит совсем не кафкианский герой в письме из тюрьмы: «...я все время испытываю ощущение вялости и расслабленности воли, временами я крайне раздражителен, а временами вовсе впадаю в апатию, в состояние какого-то оупения. Думаю, однако, что такое состояние является, скорее всего, формой самозащиты организма против изнуряющей тюремной обстановки с ее рутиной, с ее повседневными мелочными

заботами и тревожностями. Когда тебя изо дня в день одолевают все эти мелочи, мелкие мысли и мелкие заботы, то в конце концов мельчаешь сам (быть может, я уже в самом деле измельчал куда в большей степени, нежели сам предполагаю)¹. И далее, развивая свою мысль, автор письма говорит, что Прометей, борющийся с Богами Олимпа, предстает перед нами героем трагедии, а Гулливер, связанный лилипутами, вызывает смех. Более того, и сам Прометей, если бы не орел клевал его печень, а кусали бы его муравьи или блохи, то «и он вызывал бы у нас смех». Автор письма глубоко выстрадал право на резкость своих суждений. Героизм современного человека отнюдь не всегда внешне героичен, он часто лишен привычных и традиционных жестов и поз.

Художник не только говорит о мире и с миром, но и, как справедливо писал Платонов, «живет обычной участью людей, его дар поэта не отделяет его от общества, не закрывает его защитной броней ни от кого и ни от чего...». Критик, как и писатель, входя в живую историю литературы XX века, должен расширить и углубить свой гуманизм новой верой в человека, чтобы прямо взглянуть правде в глаза. Перефразируя Фолкнера, можно сказать: дело не в том, чтобы «описывать всякие приятные вещи», надо «показать человеку его низменные черты, зло, которое человек может совершить, ненавидя себя в то же время за это... чтобы человек всегда верил, что он может быть лучше, чем он, вероятно, будет». Задача критика в том, очевидно, и состоит, чтобы утверждать веру в человека и в искусство, вопреки падению, сдаче и отступлениям художников.

Когда мы говорим, что судьба Андрея Платонова трагична, то речь, очевидно, идет не только об эпохе, в которой ему довелось жить, и не только о тех могучих обстоятельствах, перед лицом которых его поставила действительность.

Исторических обстоятельств, в которых ему суждено родиться и жить, человек не выбирает, но эпоха одна на всех, а люди, живущие в одно историческое время, творят в ней свои разные индивидуальные судьбы. Мы говорим: судьбы Анны Ахматовой, Михаила Булгакова, Николая Заболоцкого, Михаила Зощенко, Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Андрея Платонова, Марины Цветаевой... — сложились трагически. Но, когда речь идет о судьбах их современников, о писателях близких им по масштабу дарования,

¹ Грамши А. Избр. произв. в 3-х т. Т. 2. М., 1959.

мы уже не будем, вероятно, столь категоричны. В самом деле, разве можно просто сказать, что судьбы Николая Асеева, Эдуарда Багрицкого, Всеволода Иванова, Леонида Леонова, Николая Тихонова, Ильи Эренбурга, Константина Федина сложились трагически? Можно одной сменой имен показать, как изменяется напряженность и высота трагической коллизии: Михаил Зощенко — Вениамин Каверин — Константин Федин или Борис Эйхенбаум — Юрий Тынянов — Виктор Шкловский.

Эпоха, в которой довелось жить и работать всем этим и многим, многим другим писателям, была одной на всех. Было бы нелепым предполагать, что эпоха была заведомо неприязненно настроена к одним и столь же предвзято благожелательна к другим. Нет, отношения между писателем и эпохой рождались, становились, складывались. Более того, сама эпоха тогда, когда эти писатели вступали в литературу, только рождалась, и, следовательно, ее требования к писателю, ее претензии и амбиции, ее наставления и поучения тоже формировались и таились в ее рождении потенциально. Смена эпох не уподобляется, однако, смене листьев на деревьях, исторические периоды только в нашей абстракции выделяются из целостного континуума исторического времени. Поэтому новый исторический период имеет свои корни и истоки в прошлом, оттуда, из истории, идут его потенции и возможности. Это определенным образом ограничивает не только творчество, но и своеволие социума людей, вступающих в новое историческое время и творящих новую эпоху. Исторические истоки и корни, и соседство других народов, живущих в одно историческое время. История и заданна, и творима, она не фатальна. Поэтому люди, каждый в отдельности и все вместе, ответственны за свое настоящее и за будущее. Частная жизнь индивида четко вписывается в жизнь общую. Прошлое — это то, что уже стало, будущее — это то, что еще станет, и только настоящее — это то, что только становится, где из множества возможностей выбирается то, что станет. Рукотворность истории буднична, ибо она постоянна, ежемоментна. И каждый человек не только жертва времени или эпохи, он полностью ответствен за свое время. Тем более художник.

В статье 1937 года «Пушкин и Горький» Платонов не только утверждал Горького главным восприимчивым пушкинской традиции, но и критиковал его. Критика не была оригинальной: в общепринятой оценке писателя это было, так сказать, общим местом. Речь шла о переоценке Горьким роли интеллигенции в годы революции. За последние годы жизни писатель с лихвой искупил свою «вину». Но логика рассуждений Платонова заслуживает

внимания. Он писал: «Горький — не всегда, но в некоторые годы своей жизни — верил в разум, лишь конденсированный в интеллигенции, — словно физический народный труд не требует разума и его, этот труд, могут совершать и безумные существа, словно разум не находится как раз ближе всего к практике и будто люди, измученные угнетением, не размышляют о своей судьбе больше любого интеллигента; народ ведь никогда еще не передоверял кому-либо заботу о своей участи, и рабочая коммунистическая партия есть <...> часть народа, а не оторванная от него эманация чистого разума»¹. Платонов поясняет далее, что «эти недоразумения» проистекали из чистого и благородного источника. Люди из народа, говорит он, люди труда, видя достижения материальной и духовной культуры и зная цену необходимых для этого усилий, с «набожностью», рожденной именно из этической чистоты их природы, преклоняются перед всей культурой и разумом человека. То же «простодушие гиганта» в отношении к культуре («в другом, правда, обратном качестве») отмечает Платонов и у Льва Толстого. Отношение Пушкина к культуре и разуму, считает Платонов, было иным, «более обыкновенным: они входили чудесными, но рядовыми элементами в состав его души и мировоззрения. Пушкин имел более расширенное представление о жизни».

Спор этот чрезвычайно важен, и потому на нем стоит остановиться подробнее. В той же статье Платонов говорит, что «народное, пушкинское «да здравствует разум» стушевуется у Горького иногда темной глубиной Достоевского». Спор Горького с Достоевским — значительная веха в движении нашей собственной мысли и культуры. Он не завершен и открыт в будущее. Горьким было сказано о Достоевском много гневных и несправедливых слов. Перечитывая все это, трудно, однако, преодолеть впечатление, что он понимал и чувствовал глубину прозрений великого художника, но не мог и не хотел принять эти прозрения. В докладе на Первом съезде писателей Горький говорил: «Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он искал — он нашел ее в зверином начале человека, и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать».

Эта формулировка очень смущает горьковедов, и они хотели бы поправить писателя. В самом деле, разве не логичнее было бы сказать: не опроверг, а подтвердил или осудил? Быть может, и логичнее, но Горький, очевидно, сказал то, что хотел сказать. В этом была своя, горьковская логика. Он, быть может как никакой другой рус-

¹ Платонов А. Размышления читателя. М., 1980, с. 49.

ский писатель, доподлинно знал, как много в человеке грязи, сколько в нем скотского, как сильно в нем звериное начало. Это «знание» поставило его в молодости на грань самоубийства. Он писал, вспоминая об этом: «Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто, способное уравновесить тяжесть на сердце, нужно было выпрямить себя». Надо было опровергнуть свое «знание», чтобы «выпрямить себя».

В этом «опровержении» большую роль играла вера в разум, в культуру, в интеллигенцию. Платонов вряд ли прав, утверждая, что «набожность» и «преклонение» перед всей культурой мешали Горькому «отделить из культуры и разума то, что хитроумно содержится в них ради подавления людей, а не ради развития прекрасной жизни». Критикуя ошибки Горького, Платонов говорит глухо — «некоторые годы своей жизни».

«Некоторые годы» — это годы революции.

Теоретически мы все хорошо усвоили, что революция не есть одномоментный акт захвата власти, что революция есть процесс, протяженный не только во времени, но и разворачивавшийся на громадных пространствах России. Но практически и даже психологически мы все время отождествляем революцию именно с переворотом, происшедшим в октябре 1917 года. Понять и объяснить эту аберрацию нашего сознания просто — оглядываясь назад или изучая прошлое, нам очень трудно восстановить именно этот живой процесс становления. Нам слишком хорошо известен результат процесса, известно то, что стало, и потому трудно помыслить самое это борение разных сил, когда еще не было ясно, как и куда склонится чаша исторических весов. Гегель говорил, что становление есть неустойчивое беспокойство, которое оседает, переходит в некоторый спокойный результат. Это неустойчивое беспокойство трудно описать и воссоздать не только историку, но и художнику.

Интересно, что в одном из интервью Шолохов говорил о своем стремлении показать в «Тихом Доне» борьбу красных и белых глазами белых. Это было вызвано, очевидно, желанием более рельефно и зримо передать самый процесс гражданской войны. Вряд ли такая «точка зрения» может действительно предотвратить «затвердение» процесса, но она, конечно, помогала создавать своеобразную стереоскопичность видения. Значительно больших успехов достигает художник, предоставляя слово мечущемуся Григорию Мелехову. Это глубокий и полнокровный народный характер, талантливый и яркий человек. Он почти живой человек. Человек, о котором нам известно очень многое, по крайней мере много больше, чем

мы знаем о своих даже самых близких друзьях или родственниках. И вот этот человек 1892 года рождения, двадцати пяти лет от роду, вместе со своим народом вступил в новую эпоху. Он погиб в 1922 году. Судьба его сложилась трагически. Пять лет метался этот юноша, почти мальчик, по нашим современным меркам, по эпохе, творя свою судьбу. Мы знаем теперь, благодаря роману, о его борениях, поисках, страданиях. О том, почему и как сложилась его трагическая судьба, спорят читатели и критики. Было бы неправильно и оскорбительно для его памяти считать его просто жертвой обстоятельств. Уж он-то умел и любил «обламывать» обстоятельства, но мир не всегда пластичен. Он пластичен более всего в революцию. Она уже завершилась, мир затвердевал буквально на глазах, а Григорий Мелехов все еще метался в поисках своей утопической реальности и не находил ее. «Беспокойная неустойчивость» оседала и переходила в новую действительность, с которой он не смог установить внутренней связи. На компромисс он идти не хотел. В тоске и безысходности он разбилась о могучие обстоятельства...

Вернемся теперь к спору о позиции Горького. Он тоже метался, когда в 1917 году вместе со всеми входил в новую эпоху. Один из эпизодов этого метания запечатлен в серии статей и заметок под общим названием «Несвоевременные мысли». Они были живым откликом писателя на события революции и публиковались в газете «Новая жизнь», выходившей с мая 1917 года по июль 1918-го. Горький был одним из соредакторов газеты. Время это было ответственным для всей России и для каждого человека в отдельности, поэтому статьи Горького, появлявшиеся в газете с завидной регулярностью, дают нам наглядную картину его борений в эти годы.

Вышедший из народа и причастный высотам культуры, Горький не только глубоко знал жизнь народа, но и понимал, и любил российскую интеллигенцию. Его знание и любовь не были умозрительными и книжными. Блок возлагал на него большие надежды, он верил, что от ошибок и заблуждений у Горького есть сильное противоядие: «хорошая кровь — вещество, из коего образуется гордая душа». Горький, как и Блок, понимал и видел трагический отрыв русской интеллигенции от народа. Он писал: «Русский народ, — в силу своего исторического развития, — огромное дряблое тело, лишенное вкуса к государственному строительству и почти недоступное влиянию идей, способных облагородить волевые акты; русская интеллигенция — болезненно распухшая от обилия чужих мыслей голова, связанная с туловищем не крепким позвоночником единства желаний и целей, а какой-то еле

различимой тоненькой нервной нитью». Эта голова «выросла высоко в небеса», а тело «плотно лежит на земле». Они не только слабо связаны между собой, но даже плохо «видят» друг друга, плохо друг друга «различают» вдали.

Однако, как бы ни было критично отношение Горького к интеллигенции, он видел в ней концентрат «мыслящего вещества», который «распылялся» российской историей. «Если окинуть единым взглядом всю внешне разнообразную деятельность монархического режима в области «внутренней политики», то смысл этой деятельности явится перед нами в форме всемерного стремления бюрократии задержать количественно и качественно развитие мыслящего вещества... Всюду, внутри и вне человека, опустошение, расшатанность, хаос и следы какого-то длительного Мамаева побоища». Самое понятие «интеллигенция» трактовалось Горьким очень широко, как часть нации, «сознающая значение интеллектуального начала в историческом процессе». Эти люди, говорил Горький, — самое важное из того, что «создано Русью на протяжении всей ее трудной и уродливой истории, эти люди были и остаются поистине мозгом и сердцем нашей страны».

Происходившая в этих условиях революция — революция, а не мятеж, не бунт! — втягивала в свое течение, всколыхнула и привела в движение многомиллионные массы народа. И все эти люди, впервые вступившие на путь социальной активности, не могли не придать ей особый, чисто российский, мрачный и жутковатый колорит. «Мы, Русь, — писал Горький, — анархисты по натуре, жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь — ядовитое наследие татарского и крепостного ига...» Поэтому революция «дала полный простор всем «дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии». Все это отлично видел и понимал тогда Горький. Он резко выступил против политического авантюризма большевиков, которые, как он тогда полагал, развязывали и даже провоцировали темные социальные инстинкты масс. Он спорил, обвинял и разоблачал разрушительные тенденции революции.

«Птенцы из большевиков, — писал он, — почти ежедневно говорят мне, что я «откололся» от «народа». Я никогда не чувствовал себя «приколотым» к народу настолько, чтобы не замечать его недостатков, и, так как я не лезу в начальство, — у меня нет желания замалчивать эти недостатки и распевать темной массе русского народа демагогические акафисты». Любовь к людям или к группам людей — будь то нация, народ, крестьянство, про-

летариат, интеллигенция — не должна переходить в слепую веру, такая вера «для удобства души, для спокойствия ее», она не от знания и любви, она есть вера «созерцателей», она бесплодна и бессильна, она — «мертва есть».

Значительная часть старой российской интеллигенции, когда народ «свободно развернул перед миром все богатства своей психики, воспитанной веками дикой тьмы, отвратительнейшего рабства, звериной жестокости», та ее часть, которая знала народ издали и издали ему поклонялась, в ужасе отвернулась и отреклась от своей веры. Другая часть интеллигенции, прежде всего в лице Блока, принимала революцию такой, какой она явилась: «Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так «бескровно» и так «безболезненно» и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «необразованными», между интеллигенцией и народом?» Покаянный голос Блока, его уверенность, что «на нас» «лежат грехи отцов», еще долго будет звучать в нашей литературе. Его слова о «крушении гуманизма», о том, что в истории появилась «новая движущая сила — не личность, а масса», — все это тоже долгим эхом отзовется. Эта покаянная нота, кажется, долго мешала ему различить «неустойчивое беспокойство» и то, во что оно «оседает, переходит в спокойный результат». Только в речи «О назначении поэта» он заговорил иначе: «Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердце поэзией Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них. Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».

Позиция Горького была тогда совсем иной. Он сам был человеком из народа, и чувство покаяния, столь характерное для российского интеллигента, ему было не свойственно. С другой стороны, он слишком хорошо знал народ, чтобы, увидев его неожиданный для интеллигента лик, растеряться и впасть в отчаяние. И, наконец, он сразу и резко противопоставил народу тех политиков, которые, хотя и «не знают народа, не жили с ним», но «по книжкам» хорошо усвоили, «чем можно поднять массу на дыбы,

чем — всего легче — разъярить ее инстинкты». И он стремился своими призывами остановить этих, как он говорил, «социальных маньяков». «Будьте человечнее в эти дни всеобщего озверения», — обращался он к людям. «Надо быть людьми. Это трудно, но — это необходимо». Он стремился сделать свою веру в народ и в человека действенной, способной «сдвигать горы». В России слишком много говорят, но мало кто умеет работать: «На мой взгляд, человек должен делать все то доброе и нужное, что он может сделать, хотя бы «дело» и не вполне гармонировало с его основными верованиями». Призывы и обращения Горького облагородить политику, внести «в область злых политических эмоций — эмоции доброты и добра», выглядели для политиков жалкой «сентиментальностью». А тем временем «неустойчивое беспокойство» постепенно «оседало», твердело, обретало четкие и жесткие контуры. Надо было выбирать. И Горький выбрал — он стал разрабатывать планы «самоорганизации» интеллигенции, планы объединения молодой рабоче-крестьянской интеллигенции и старой российской интеллигенции, планы организации для спасения ее и для культурной работы. «Содержание процесса социального роста, — говорил он, — не исчерпывается только одним явлением классовой, политической борьбы, в основе которой лежит грубый эгоизм инстинктов — рядом с неизбежной этой борьбой все мощнее развивается иная, высшая форма борьбы за существование — борьбы человека с природой, и только в этой борьбе человек развивается до совершенства силы своего духа, только здесь найдет возвышающее сознание своего значения, здесь завоюет ту свободу, которая уничтожит в нем зоологические начала и позволит ему стать умным, добрым, честным, — поистине свободным». Метания Горького завершились, он выбрал другой путь.

Блок полагал, что Горький имеет особую миссию — стать посредником между народом и интеллигенцией, «между двумя станами, которые оба еще не знают ни себя, ни друг друга». Кажется, Блок ошибался, на Горького была возложена «другая миссия» — он стал посредником между складывающимся государством и интеллигенцией. Газета «Новая жизнь» была закрыта в июле 1918 года, а 13 сентября воронежская газета «Красный листок» сообщила в статье «Привет Максиму Горькому»: «По сообщениям агентской телеграммы между Народным комиссаром А. В. Луначарским и М. Горьким подписан договор, имеющий большое значение. М. Горьким при Комиссариате Народного Просвещения организуется издание лучших произведений выдающихся писателей всего мира... Итак, Горький снова с нами».

В 1929 году появилась книга Б. Эйхенбаума «Мой современник». Книга эта ставила один важный вопрос — о самом «деле литературы» (выражение Гоголя): как быть писателем? Это как-то даже удивительно, что после обычных для Опояза вопросов — как писать и как сделано? — Б. Эйхенбаум задается совсем другим, и, прямо скажем, отнюдь не формалистическим вопросом. Очевидно, мы до сих пор не привыкнем к тому, что литература, даже критика, предпочитает говорить метафорами. «Бывают...— говорит Б. Эйхенбаум,— моменты, когда вместо литературы остается только знак ее, и вопрос «как писать» заслоняется вопросом «как быть писателем». И поясняет, что кризис литературы осложнен кризисом литературного быта. Как быть профессиональным писателем? Уходить ли в прессу и переводчество? Как относиться к «заказу»? Нужна ли писателю «вторая профессия»? Каковы формы литературной жизни? Вся сумма этих вопросов должна быть понятна не эмпирически, это вопрос об «исторических судьбах» писателя. Оглядываясь в прошлое, в наш XIX век, Б. Эйхенбаум прослеживает, как ставилась эта проблема в жизни Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого. Этот экскурс естественно завершается разговором о Горьком. Он пишет: «Горького революция испугала, поскольку грозила снести самые идеалы общечеловечности и культуры, им уважаемые, но трагедии для него в ней не было... Менее сложный, менее интеллектуальный, сильный ощущением связи с темной массой русского народа, гордый своей верой в человека и его разум, Горький оказался заместителем русской интеллигенции — представителем и ходатаем за нее перед суровым судом революции» (разрядка моя.— Л. Ш.). Б. Эйхенбаум сравнивает позицию Горького и Блока, опираясь на воспоминания Горького.

Блок спрашивал Горького, почему тот так мало говорит о «детских вопросах». «Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго личные, интимные...

— Вы прячетесь. Прячете мысли о духе, об истине. Зачем?» В ответ на настойчивый вопрос Блока о бессмертии Горький начинает развивать идеи о переходе «мертвой материи» в психическую энергию, о том, что весь «мир» превратится в чистую психику. «Мрачная фантазия,— сказал Блок...» И потом, после пояснений Горького: «Все это — скучно... Дело — проще; дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в Бога, и недостаточно сильны, чтоб верить в себя. Как опора жизни и веры, существуют только Бог и я».

Комментируя эту беседу, Б. Эйхенбаум говорит: «Блок в это время уже одержим гневом и жадной гибели, а Горький знает только одно — Человек, и потому одержим жадной самосохранения... А в истории есть эпохи, когда нужны люди, которые не столько думают об истине, сколько верят в разумность человека, и представляют себе будущее не как трагическую безысходность, а как апофеоз разума. Если истина одна, то Блок — ее безумный рыцарь, а Горький — ее верный слуга». При всем своем уважении к позиции Блока Б. Эйхенбаум склоняется, кажется, к точке зрения Горького. Трагический выбор Блока, естественно, не мог стать общим выбором. Однако даже если истина одна, то и тогда она, по точному слову М. Бахтина, неместима в одно человеческое сознание, она событийна и рождается в момент встречи разных сознаний. Горьковская идея «самосохранения», конечно, возобладала, но и трагическая позиция Блока была воспринята. И принята как грозное знамение. В свете двух этих идей, в напряженном поле двух этих полюсов российской интеллигенция творила свою собственную судьбу.

Сразу же после победы революции в русской литературе вспыхнул спор о новом положении писателя, о новой его зависимости и о поисках новой независимости, о защите и сохранении чувства собственного достоинства российского писателя. Формы и способы, которые только зарождались при Пушкине, которые им в литературу вводились, пройдя через широкую полосу русской истории между революциями 1825 и 1917 годов, во многом себя исчерпали. Важно было понять, что сохранялось и что умирало.

В 1921 году отмечалась 84-я годовщина смерти Пушкина. Дата не была круглой, но она стала знаменательной в истории русской культуры, ибо была отмечена речью Александра Блока «О назначении поэта». Перед лицом революции надо было сказать об обязанностях и правах поэта, естественнее всего было сказать об этом, опираясь на опыт величайшего русского поэта — Пушкина.

Блок, вослед Пушкину, утверждает, что поэту необходима «тайная свобода», он называет ее «личной», хотя для поэта это была «не только личная свобода»:

...Никому

Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданными искусств и вдохновенья —
Безмольвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права!..

Ограничения поэта в этой свободе приводят его к гибели. Эта тайная свобода, эта прихоть, это счастье, эти права — все это отнюдь не своеволие поэта, это тот воздух, без которого поэт не может и исполнить дела литературы, не может освобождать звуки из безначальных стихий, принимать их в свою душу, гармонизировать их и воплощать в слова. Без этой свободы поэт умирает. «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». Слова Блока прозвучали грозным предостережением и пророчеством. Он, как и Евгений Замятин, сказал свое: «Я боюсь. Я боюсь, что у нашей литературы есть одно будущее — ее великое прошлое». Он не смог, как Горький, воодушевиться идеей самосохранения...

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!..

Защита своих прав и собственного достоинства писателя, защита прав поэта на тайную свободу — это всегда было трудным делом. Растущие претензии черни, которая полагала, что власть вправе не только разрешать или не разрешать к публикации произведения поэта, то есть сталкиваться с ним и поучать его на третьем этапе его работы, но и вторгаться в его тайную свободу и направлять, так сказать идеологически, его творчество, долгое время недооценивали ни сами поэты, ни идеологи.

В двадцатом веке это стало центральной проблематикой идеологической жизни. Франческо Флора, о статье которого уже была речь, итальянский ученый и литератор, говорил, что «одним из самых позорных для деятелей культуры дней был день, когда университетские профессора отправились получать «директивы» у секретаря партии». Цецилия Кин в книге «Миф, реальность, литература», подводя итоги дискуссиям в итальянской прессе о позициях интеллигенции во времена фашизма, приходит к выводу, что есть четыре концепции: первая, наиболее оптимистическая, утверждает, что конформизм интеллигенции был чисто внешним, и литературный процесс развивался естественно; вторая — интеллигенция в годы фашизма жила «двойной жизнью»; третья — интеллигенция более или менее открыто, более или менее последо-

вательно присоединялась к режиму; четвертая — «характернейшей чертой черного двадцатилетия было переплетение, сплав разнородных тенденций и чувств; некоторые писатели и художники в самом деле испытали на себе влияние «фашистского мифа» и поддавались ему, но в то же время ясно видели лживость режима и оборотную сторону медали».

Теория «чистого искусства» не могла явиться спасением для писателя в эти годы. «Башня из слоновой кости? — спрашивает Ф. Флора и отвечает зло: — Слишком часто они выходили из нее, чтобы воскурить фимиам хозяевам и чтобы насытить утробу». Он говорит: «...трудно было спастись (и это удалось немногим) в той атмосфере лжи, которая царила во всей жизни, в печати, радио, кино: в атмосфере постоянной парадности, когда насилие и произвол выступали под нарядными масками; когда казалось, что все, предоставляемое нам, мы имеем благодаря милости одного лица, которому обязаны были вечной благодарностью...» Слова Франческо Флора — честные и прямые слова ученого и публициста, обличающие интеллектуалов, запятнавших себя сотрудничеством с тоталитарным режимом. Но мера ответственности интеллектуальной элиты глубже и шире — производя в мир идеи, человек должен осознавать и предвидеть последствия этих идей и нести за эти последствия полную меру ответственности. Интеллектуал не только жертва обстоятельств, пусть даже очень могучих, но и дееспособный участник исторического процесса, ответственный за идеи, им продуцируемые, и за реализацию этих идей людьми.

...Свыше ста лет назад в «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский рассказывал, как однажды, зайдя в библиотеку, он попросил один роман Теккерея, необходимый ему для справки. Барышня, работавшая в библиотеке, встретила его просьбу очень строго: «Мы такого рода вздора не держим, — отрезала она мне с невыразимым презрением, которого, ей-Богу, я не заслуживал». Достоевский так комментировал ответ барышни: «Я, конечно, не удивился и понял, в чем дело. Тогда много было подобных явлений, и они как-то вдруг тогда начались, с восторгом и внезапностью. Идея попала на улицу и приняла самый уличный вид. Вот тогда-то страшно доставалось Пушкину, и вознесены были «сапоги». Идеи не только заразительны и имеют тенденцию к распространению, но их социализация — сложный и противоречивый процесс, ибо идея не есть просто вещь, которую можно передавать или однозначно использовать. Идеи в своем соци-

альном бытовании текучи, подвижны и претерпевают беспрерывные трансформации — они развиваются или вульгаризируются, возвышаются или опошляются, поднимаются или падают. Идеи социальны по своей природе, они возникают и живут в социуме, и они не могут не получать личностной окраски. Попадая на улицу, если пользоваться терминологией Достоевского, даже дельные и высокие идеи могут опошлиться и приобрести самый уличный вид. И это не шуточное дело — недаром Иван Карамазов вынужден признать свою ответственность за идеи и поступки Смердякова.

1976—1978

*Публикация и подготовка текста
Е. Д. ШУБИНОЙ*

Это общее русское небо

Очевидно, все мы должны быть только рады тому обстоятельству, что у нашей литературы теперь единая крыша, кровля — это общее русское небо. И под этой единой и нерукотворной кровлей мы видим всё необозримое воинство литературное, начиная от пришедших к нам из XIX века великих Льва Толстого, Чехова, затем — Горького, Бунина, Куприна, Шмелева и кончая нашими современниками. Это нам, безусловно, понравится. Но не известно, понравится ли Толстому или Чехову то обстоятельство, что они будут находиться в одной компании, скажем, с Гладковым, Панферовым, Кочетовым, Эренбургом, Шагинян и другими «инженерами человеческих душ».

Поэтому хотелось бы надеяться, что термин «социалистический реализм» все-таки останется и, сохраняя свою специфику, навсегда запечатает в своем рассоле этих художников, отграничив их от литературы другой, которая никогда не шла от схемы, от обязательных нормативов, но исповедовала — при внутренней свободе художника — пушкинский закон —

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Сохранить внутреннюю свободу вопреки всем и вся (или же обрести ее) — главный гарант творчества. Вспоминая об оккупации Франции немцами в 1940 году и об условиях, в которых они оказались с Буниным, Б. К. Зайцев писал мне 18 июня 1967 года: «Все мы жили тогда несладко, и меня звали немцы печататься, и отказался, и никакого «героизма» здесь не было, но оба мы выросли в воздухе свободы (не улыбайтесь, Вас тогда еще и на свете не было), и никто нам не посмел бы диктовать что-то».

Каждый подлинный писатель право на эту внутреннюю свободу выстрадал по-своему, но именно она оказывается объединяющим началом для очень разных по взглядам, но первородных художников.

В самом деле, ведь и последовательному коммунисту Шолохову, и утратившему идеалы своей юности и обретшему иные Платонову, и — напротив — верному рано сложившимся взглядам Булгакову (каждому по-своему) было очень трудно. Однако не менее солоно пришлось и Бунину, Шмелеву, Борису Зайцеву. И тем не менее в разных географических точках, одни отторгнутые от России физически, но духовно связанные с ней, а другие соединенные и физически, и духовно, они создавали книги, которые будут читать и наши потомки, а не заворачивать в них, как сказал Замятин, «глиняное мыло». «Я унес Россию» — так назвал превосходный русский писатель Роман Гуль свое последнее произведение, трехтомную автобиографию. Но то же самое могли бы повторить и другие художники-изгнанники.

На поворотном пункте истории закономерно меняется и литературный ландшафт. Поднимаются вершины, скрытые вблизи складками местности; с временной дистанции, в смене масштабов съезживаются, растворяются в новой многофигурной композиции прежние великаны злободневности. В то же время нужно стремиться к литературоведческой стереоскопичности, даже голографии, воспринимая писателя и его творчество многомерно. И здесь важна координата нравственности.

Нравственное и художественное начала сосуществуют в сложной взаимосвязи. Величайшим художником был, скажем, Алексей Николаевич Толстой. Он обладал таким волшебным изобразительным даром, которым не переставал восхищаться Бунин и после отъезда А. Толстого в СССР. Первородности, выпуклости рисунка, меткости

уподоблений и психологическим подробностям у А. Толстого, в самом деле, мог бы позавидовать писатель любого ранга. А если добавить к этой зоркости художественного «глазения» еще и полнокровность ощущения жизни, исконно русское начало, громадность обаяния — все это вместе даст задаток гения.

Гения, который не состоялся.

Мы знаем, что А. Толстой был глубоко безнравственным человеком. В свое время автору этих строк крепко досталось за публикацию в девятом, заключительном томе собрания сочинений Бунина его резкого очерка «Третий Толстой». Очерк был напечатан в 1967 году с огромными пропусками (в таком же виде, впрочем, появился он и в последнем, шеститомном бунинском собрании, вышедшем уже в разгар перестройки, в 1988 году). Однако и то, что осталось, послужило поводом для разгромных откликов в печати. Официозные критики возмущались утверждениями Бунина, что Толстой сбежал от долгов и эмигрантской бедности и добился в Советской России фантастического благополучия, что при случайной встрече в Париже он хвастался Бунину своими тремя автомобилями.

Я работал в ту пору в Доме творчества «Голицыно», прибежище литературных ветеранов. Старики читали критику, посмеивались и за вечерним столом говорили:

— Конечно, неправда! Не было у Алексея Николаевича трех автомобилей! У него их было всего два. И еще грузовичок...

В этой связи хочется привести воспоминания близкой знакомой Толстых Бонафедде, мать которой была репрессирована в 30-е годы, а сама она выслана без права появляться в Москве. Наезжая (нелегально) на дачу к Толстым, К. Бонафедде потом вспоминала:

«В Барвихе жилось удобно и привольно. В распоряжении Толстых была кухарка Паша, горничная Лена, шофер и садовник. В гараже стояли два автомобиля (голицынские «старички» оказались правы! — *О. М.*) — роскошный «студебекер» и сравнительно скромный «форд» — Миля (четвертая жена Толстого Людмила Ильинична. — *О. М.*) предпочитала «студебекер», «форд» же служил больше для хозяйственных надобностей. К своей прислуге Толстые относились хорошо, и прислуга была тоже ими очень довольна и любила их.

Наезжая в Барвиху, Ксения (Бонафедде, жена автора публикации Б. Прянишникова. — *О. М.*) рассказывала о том, как тяжело живется в провинции. За хлебом очереди, колхозники покупают хлеб в городе, жителям горо-

дов все время чего-то не хватает. Кухарка Паша удивлялась:

— Да как же: это так? Вот Алексей Николаевич недавно говорил, что у них в Верховном Совете хотят провести закон о бесплатной раздаче хлеба населению.

Когда Ксения рассказывала Толстому о действительном положении вещей в провинции, он тоже слушал ее с оттенком недоверия¹.

Иными словами, уже в 30-е годы А. Толстой жил и писал, отгородившись от народа и его нужд, не зная их, да и не желая знать. Можно только удивиться тому, что и в этих условиях Толстой оставался х у д о ж н и к о м. И здесь снова хочется напомнить об отношении к А. Толстому и его творчеству Бунина. Читатель, критика и по сию пору судят об этом отношении по уже упоминавшемуся очерку «Третий Толстой». Слепленные *внешней* стороной этого очерка, покровом, так сказать, разлившейся изобразительной желчи, и действительно разлившейся тут щедро, они не замечают, однако, главного: внутреннего, прорывающегося по разным поводам восхищения первородным толстовским талантом («редкая талантливость всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром», «все русское знал и чувствовал, как очень немногие», «работник он был первоклассный» и т. д.).

Отношение Бунина к А. Толстому резко отличается, скажем, от оценки им в поздние годы М. Горького (гораздо более тенденциозной и пристрастной). Порою, кажется, Бунин готов простить А. Толстому и то, что, с его точки зрения, совершенно не извинительно для любого другого: смену вех и знамен, переход не просто в «чужой стан», но в лидеры этой, не признаваемой Буниным советской литературы.

За многочисленными спорами, возвращениями к имени и работам А. Толстого, в самой частоте и постоянстве, с которыми о нем говорилось — в семье, в кругу близких, в литературных собраниях, — повсюду ощущаешь, пусть и вторым планом, это вот бунинское чувство, которое сродни в чем-то чувству, вызываемому красотой женщины (не обязательно с безупречной репутацией) или феноменальной природной силой богатыря, то есть к Божьим дарам. Конечно, словно защищаясь, Бунин старался называть Толстого не иначе как «Алешка» и точно боялся в себе этого отношения — как некоей «слабости», «измены», нарушения раз и навсегда избранного неприятия советской «орды».

¹ Прянишников В. А. Н. Толстой в Барвихе. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1986, № 162, с. 175.

15 октября 1930 года Г. Кузнецова, последняя любовь Бунина, записывает: «В автобусе говорили об «Алешке Толстом» и о его Петре I. Мне книга, несмотря на какую-то беглость, дерзость и, как говорит И[ван] А[лексеевич], лубочность, все же нравится. В первый раз я почувствовала дело Петра, которое прежде воспринимала каким-то головным образом. Нравится она и И[вану] А[лексеевичу], хотя он и осуждает лубочность и говорит, что Петра видит мало, зато прекрасен Меншиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси,— говорил он о А. Н. Толстом.— Он ведь сам глубоко русский человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая ассимиляция с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год, и на это время писания был против этих генералов. У него такая натура»¹.

Почти невозможная для «эмигрантского» Бунина оценка. Не останавливаясь на колком эпитете «холопский» (но и тут ведь есть оттенок истины), отмечу важность признания им художественной и человеческой искренности Толстого. Даже во время написания им «революционных» вещей, каков роман «1918 год», понятно, резко враждебный Бунину (и, добавим, исторически фальсифицирующий истинную картину гражданской войны — выпячиванием роли Сталина, умалчиванием или искажением других деятелей гражданской войны). Редкостная для него непредвзятость. И самый дар А. Толстого очерчен превосходно. В том числе и особенная сила проникновения в натуру женщины, в ее тайну. А что до обвинения в «лубочности», то ведь и о гениальном Гоголе (признавая его гениальным) Бунин говорил совершенно то же самое. Например, Г. В. Адамовичу: «Гоголь — лубочный писатель. Великий, замечательный, необыкновенный, а все-таки лубочный».

Возвращаясь же к творчеству А. Толстого, хочу еще раз подчеркнуть, что утрата им внутренней свободы закономерно и разрушительно сказалась на его творчестве. И когда писатель в порыве казенного патриотизма произнес свое знаменитое: «Октябрьская революция дала мне все», когда он утверждал, что если бы не революция (и возвращение), его ожидала бы участь какого-нибудь серого и скучного Потапенко, он, конечно, лукавил. И недаром наиболее чистым, пленительным и поэтичным его произведением явилась, на мой взгляд, повесть «Детство Никиты», написанная в эмиграции, в Берлине.

¹ Кузнецова Галина. Грасский дневник. Вашингтон, 1967, с. 178.

На подобную сделку с совестью, на сознательную утрату внутренней свободы не могли пойти ни Б. Зайцев, ни А. Куприн, ни И. Бунин, ни И. Шмелев, ни В. Набоков. Каждый из них право на эту внутреннюю свободу выстрадал по-своему.

Куприн, к примеру, поначалу активно пытался сотрудничать с новой властью. Но после ареста органами петроградского Чека за написание статьи в защиту великого князя Михаила Александровича, вскоре расстрелянного (об этом — рассказ «Шестое чувство», увидевший свет, с купюрами, в журнале «Юность», № 3 за 1988 год), и остро пережитой неудачи с изданием беспартийной газеты для крестьянства «Земля», проект которой был отклонен В. И. Лениным и Л. Б. Каменевым, отошел от большевиков. Можно говорить о каком-то стечении обстоятельств, но факт остается фактом: во время наступления генерала Н. Н. Юденича на Петроград осенью 1919 года (события, послужившего канвой для долго замалчивавшегося у нас рассказа «Купол св. Исаакия Далматского») именно Куприн редактировал войсковую газету белых «Приневский край», а затем с одиннадцатилетней дочкой и женой оказался в потоке беженцев, среди страданий, унижений, террора («Я так боялась большевиков, что не раздевалась на ночь до самого Гельсингфорса», — говорила его жена Елизавета Морицовна; эти ее слова передала мне дочь Куприных Ксения Александровна, с которой я работал над ее книгой «Куприн — мой отец»).

Лишь глубоко больным, не способным работать, вернулся в 1937 году на Родину Куприн. Но как вернулся? По авторитетным воспоминаниям писателя Н. Н. Никандрова, «он не приехал в Москву, а его привезла туда жена, как вещь, так как он ничего не сознавал, где он и что он»¹. В советской Москве за Куприна были написаны панегирические очерки и появились покаянные интервью; но только нацарапанная немощной рукой подпись принадлежала ему. Он умер от рака в Ленинграде в 1938 году; там же покончила с собой, в пору блокады, одинокая и никому не нужная Елизавета Морицовна.

В отличие от Куприна, Бунин, первый Нобелевский русский лауреат и Почетный академик Российской академии по разряду изящной словесности, решительно не принял уже февральскую революцию 1917 года, а затем и Октябрь. В своем дневнике «Окаянные дни» он характеризует революцию как начало безусловной гибели России в качестве великого государства, как развязывание самых

¹ Храбровицкий А. В. А. И. Куприн в 1937 году. — Минувшее. Исторический альманах, Париж, 1988, № 5, с. 356.

низменных и диких инстинктов, как кровавый пролог к неисчислимым бедствиям, какие ожидают интеллигенцию, трудовой народ, страну. Бунин психологически, просто человечески не был способен на то, что предстояло старой интеллигенции, — непростой, мучительный процесс выживания и вживания в совершенно новую и во многом враждебную действительность. Для него это было равносильно тому, чтобы отказаться от самого себя — от человеческого достоинства, чести и совести, от неуклонного и священного права на самостоятельное мнение, каким бы оно ни было, на возможность его высказать, на внутреннюю свободу.

При всей кажущейся аполитичности, отстраненности от «злости дня», Бунин был — и с годами только утверждался в этом — человеком глубоко государственным. Он желал видеть Россию сильной, великой, независимой. Однако все, что кололо, мозолило ему глаза, убеждало, что России — как великому государству — конец. И это приводило в отчаяние. Не только унижительный Брестский мир с передачей Германии Украины, каждая мелочь, каждый, казалось бы, второстепенный факт подтверждал это.

Вот в честь празднования первого Первомая левые художники получили санкцию Л. Б. Каменева снести памятник герою русско-турецкой войны 1877—1878 годов Скобелеву, находившийся против дома генерал-губернатора (теперь Моссовета). В полночь 30 апреля 1918 года Бунин записывает: «Стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик... И как раз нынче известие о взятии турками Карса!»

В краткой записи выражена глубоко личная и одновременно, хочется сказать, всероссийская, по Бунину, драма. Вскрыта связь между двумя далекими фактами: монумент победителя турок отправлен на помойку; русская армия на Кавказском фронте отступает под натиском турок, разваливается. Итак — конец.

Шкала прежних ценностей была для Бунина незбылемой, самоочевидной. «Подумать только, — возмущался он, перебравшись из красной Москвы в красную Одессу, — надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха», какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антересуетя» стихами!» («Окаянные дни»).

В Одессе, переходящей из рук в руки, перед Буни-

ным встает вопрос: что делать? Уезжать в эмиграцию, как это собирались сделать бывший городской голова Москвы В. Руднев, коммерсанты и литераторы Цетлины, А. Н. Толстой (тогда самый ярый противник большевизма), или...?

Вопрос непростой. Бунин никогда не был «крайним» — черносотенцем, монархистом; более того, в 1910-е годы даже заявил как-то в газетном интервью, что ему ближе всего социал-демократы. Но это последнее признание, скорее всего, вырвалось в результате лишь одного, внешнего ряда влияний: бедная юность, воздействие старшего брата-народника, дружба с Горьким. А ведь был и другой, внутренний ряд, пожалуй, куда более значимый. И несоместимость их породила в бунинской душе болезненную трещину.

По воспоминаниям жены писателя Веры Николаевны, «как-то он говорил о трагичности своей судьбы. Принадлежа по рождению к одному классу, он, в силу бедности и судьбы, воспитался в другой среде, с которой не мог как следует слиться, так как многое, даже в ранней молодости, его отталкивало»¹.

Не это ли ключ к бунинской драме?

С течением времени, под воздействием происходящего, тот, «внутренний» Бунин заявляет о себе все сильнее и громче. Сословная гордость и инстинкт государственности толкают его все дальше «вправо». 5/18 марта 1919 года, в долгом разговоре с женой, он все размышлял, «что была русская история, было русское государство, а теперь его нет. Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь нет и истории никакой (...) «Мои предки Казань брали, русское государство создали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен быть писателем, а должен принимать участие в правительстве».

Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, и я вдруг увидела, что он похож на боярина»².

Неизбежность занятия Одессы красными приводит Бунина в конце 1919 года к бесповоротному решению выехать за границу. 25 января 1920 года он навсегда покидает Россию.

В 1920-е и 1930-е годы политические позиции Бунина не меняются.

¹ Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы под редакцией Милицы Грин, т. 1—3. Франкфурт-на-Майне, 1977—1982, т. 1, с. 220.

² Там же, с. 215.

Более того, «злоба дня», продолжавшаяся гражданская война едва не вернула его в Россию. В августе 1920 года от имени правительства Вооруженных Сил Юга России его пригласил в Крым П. П. Струве: «Такая сила, как Вы, гораздо нужнее сейчас здесь у нас на Юге, чем за границей»¹. Однако последний в России белый анклав был обречен и должен был пасть. 15 ноября 1920 года Вера Николаевна заносит в дневник: «Армия Врангеля разбита. Чувство, похожее на то, когда теряешь близкого человека»².

Бунин живет в эту пору общими со всей русской эмиграцией надеждами, остро переживает неудачу Кронштадтского восстания 1921 года, встречается с ведущими политическими деятелями «старой России». В литературе русского Зарубежья он является, безусловно, «писателем № 1», главным авторитетом, а после присуждения Нобелевской премии и символом этой литературы.

Но разве бунинские взгляды на протяжении его долгой эмигрантской жизни не менялись? Менялись, разумеется. Достаточно напомнить об открытке, отправленной старому другу «Митричу» — Н. Д. Телешову 8 мая 1941 года из Граса в Москву с недвусмысленной припиской: «Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой».

К этой поре рухнули все надежды на «крушение большевизма»; новая, Советская Россия не только не погибла, а вернула себе статус великой державы. А после нападения гитлеровской Германии и начала Великой Отечественной войны значительное число русской эмиграции, а среди них и Бунин, заняло патриотические позиции.

Правду сказать, желая поражения захватчикам, Бунин одновременно не принимал тех перемен, какие произошли на его родине. Это было выше его сил. Были приливы и отливы чувств; случались приступы не только отчаяния, но и враждебности, и об этом надо тоже сказать. Но это порывы знаменитой бунинской запальчивости. Куда сокровеннее запись Веры Николаевны от 29 августа 1944 года: «Ян сказал — «Все же, если бы немцы захватили Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть в России и в русском народе, но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!»³

368

¹ Записки Русской Академической Группы в США, т. 11. Нью-Йорк, 1968, с. 64.

² Устами Буниных, т. 2, с. 18.

³ Там же, с. 170—171.

В сомнениях и в твердости своей, в отчаянье и надежде, в окаянном одиночестве, которое надвигалось на него — вместе с болезнями, старостью, бедностью, — «страшное чувство России» только и спасало Бунина. Эти последние годы его жизни были и самыми мрачными. Он был жестоко обманут в своей последней любви; вынужденно делил кров с тяжелым, по-видимому, психически нездоровым иждивенцем; наконец, познал на исходе жизни и враждебность эмиграции, которая, в большинстве своем, отвернулась от него, а иные из прежних друзей прямо осыпали его бранью, обвиняя в том, что он «продался Советам».

И здесь пора внести уточнения.

В послевоенную пору — и об этом говорят многие свидетели — Бунин был уже не тот непреклонный противник советского режима, чем десять или двадцать лет ранее. Само время несло в себе необоримое начало, и Бунин был далеко не единственным среди прежних «непримиримых», кто уже несколько по-иному вынужден был оценивать произошедшее: большая история шла мимо.

Это о них писала Н. Берберова, давая свое, субъективное объяснение произошедшему «сдвигу»: «Так как политическая роль эмиграции, в сущности, кончена, то нечего выпячивать свое антикоммунистическое прошлое, лучше смотреть в будущее, где маячат перемены: перерождение коммунизма, заря свободы, амнистия эмигрантам. К этой группе принадлежали В. А. Маклаков, И. А. Бунин, С. К. Маковский, Г. В. Адамович и многие другие. С каждым из названных у меня был на эту тему разговор с глазу на глаз»¹.

И в самом деле, в 1940-е годы мы встретим немало фактов, говорящих о явном «полевении» Бунина. Он дал (широко цитируемое у нас) интервью полуофициозной газете «Советский патриот» и посетил посла СССР во Франции Богомолова. После того как руководство Союза русских писателей и журналистов в Париже исключило из своих членов всех, кто принял советское подданство, Бунин в знак солидарности с исключенными вышел из его состава. Через Н. Д. Телешова он узнал, что в московском издательстве готовится том его избранных произведений. Бунин навещает в Париже и долго беседует с ним К. М. Симонов. Насколько далеко зашло это сближение с советскими властями, свидетельствует факт, о котором сообщает в дневнике В. Н. Муромцева-Бунина (в истинности его сомневаться невозможно): «Предлагают Яну полет в Москву,

¹ Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1972, с. 546.

туда и обратно, на две недели, с обратной визой»¹. Ясно, что подобные предложения могли быть сделаны только с «высочайшего» разрешения.

Итак, Бунин едва ли не накануне возвращения. Но обе стороны (и официальная, советская, и эмигрантская) не учли самого важного: внутренней независимости, свободы Бунина и верности в главном прежним идеалам. Скоро это проявилось.

В итоге интервью в «Советском патриоте» оказалось сфальсифицированным («меня просто на удивление, дико оболгали», — сообщал он писателю М. А. Алданову²); «Избранное» в Советском Союзе не увидело света; о возвращении на родину не могло быть и речи, особенно после репрессивных постановлений партии в области литературы и известного доклада Жданова. Одинокий, глубоко больной, полунищий и лишенный возможности работать, Бунин оказался между двумя огнями: эмигранты отвернулись от него, именуя «большевиком»; советская сторона, раздраженная и разочарованная, хранила глухое молчание.

Бунину оставалось только сетовать на безысходность своего положения. «Нынче письмо от Телешова, — сообщает он 15.IX.1947 М. А. Алданову, — писал вечером 7-го сент./ября/, очень взволнованный (искренне или притворно, не знаю) дневными торжествами и вечерними электрическими чудесами в Москве по случаю ее 800-летия в этот день. Пишет, между прочим, так: «Так все красиво, так изумительно прекрасно и трогательно, что хочется написать тебе об этом, чтобы почувствовал ты хоть на минуту, что значит быть на родине. Как жаль, что ты не использовал тот срок, когда набрана была твоя большая книга, когда тебя так ждали здесь, когда ты мог бы быть и сыт по горло, и богат, и в таком большом почете!» Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы.

А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов»³.

Бунин знал, что Москва «не сто́ит мессы». Но он знал и нечто сверх того: чем могли обернуться в условиях сталинщины «почет» и «сытость».

Между тем у нас казнили не только людей; казнили и книги.

¹ Запись 3 мая 1946 года. Устами Буниных, т. 3, с. 181.

² Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым. — «Новый журнал», Нью-Йорк, кн. 152, с. 166—167.

³ Там же, с. 188.

К слову сказать, до самого последнего дня бунинские тексты, тексты классика, подвергались грубым искажениям и сокращениям. В свое время, когда вышло первое пятитомное собрание сочинений Бунина, В. Н. Муромцева-Бунина с возмущением писала мне 13 сентября 1958 года: «Очень огорчило меня отдельное издание «Лики» (5-й книги романа «Жизнь Арсеньева». — О. М.) и включение ее в пятитомное ваше издание. И не только меня, а всех любящих Бунина: «дана голова без туловища». Нарушена воля автора».

Увы, такое варварское — иначе не скажешь — отношение к произведениям Бунина (и не только Бунина) продолжалось до самых последних дней. Даже из философско-религиозного трактата «Освобождение Толстого» — несмотря на мой протест как члена редколлегии — были изъяты странички бунинской полемики с марксистами в шестом томе собрания сочинений, вышедшем уже в 1988 году. И подобным примерам несть числа. Сокрушительные сокращения производились в воспоминаниях Бунина, скажем, в его очерках о поэте Волошине или Алексее Толстом. Это о них писал в издательство «Художественная литература» А. Т. Твардовский при подготовке девятитомного собрания сочинений Бунина 10 марта 1967 года: «Решительно не помещать очерки-портреты А. Толстого и М. Волошина в таком изуродованном виде, — нет так нет, а то что же: один очерк урезан наполовину, другой на две трети. Это невозможно»¹. Голос Твардовского услышан не был. Искромсанные цензурными ножницами, очерки-огрызки, очерки-калеки появились в заключительном, девятом томе, а через двадцать лет в той же убогой адаптации были опубликованы в шестом томе последнего бунинского собрания сочинений.

Долог и труден путь второго, уже духовного возвращения Бунина на Родину. Случалось всякое. В пору сталинщины однажды похвала его таланту обернулась даже новым сроком. Так, поэт и прозаик Варлам Тихонович Шаламов рассказывал мне, что был осужден в 1943 году на десять лет, когда, отбывая наказание на Колыме, позволил себе утверждать, что Бунин — классик русской литературы. Думаю, что до такой мотивировки приговора не додумался бы самый мрачный антиутопист, вроде Е. И. Замятина или Джорджа Оруэлла.

Не зная и не читая многого, созданного в эмиграции, мы не могли толком представить себе величину и значение писателей, которых помнили, в основном, по доре-

¹ Твардовский А. Письма о литературе. 1930—1970. М., 1985, с. 315.

волюционным книгам. Тут я прежде всего имею в виду Ивана Сергеевича Шмелева.

В сказочно далеком уже 1959 году я готовил для издательства «Художественная литература» первый после очень долгого перерыва сборник его прозы и написал об этом в Париж Б. К. Зайцеву. Он отвечал мне 7 июля 1959 года: «...И. С. Шмелева я знал еще в Москве, потом нередко встречался с ним здесь, в Париже.

Писатель сильного темперамента, страстный, бурный, очень одаренный и подземно навсегда связанный с Россией, в частности, с Москвой, а в Москве — с Замоскворечьем. Он замоскворецким человеком остался и в Париже, ни с какого конца Запада принять не мог. Думаю, как и у Бунина, у меня, наиболее зрелые его произведения написаны здесь. Лично я считаю лучшими его книгами «Лето Господне» и «Богомолье» — в них наиболее полно выразилась его стихия. Но, конечно, для Вашего сборника это вещи неподходящие».

Да, в ту пору приходилось мириться с положением, с возможностями: по одежке протягивай ножки. В книгу Шмелева вошли главным образом дореволюционные повести с наиболее известной — «Человек из ресторана». Я послал сборник Зайцеву, который откликнулся письмом от 5 декабря 1960 года:

«Я знал Шмелева много лет. Очень мучительная натура, сверхнервная, а тут еще трагическая эпоха — все это сделало из него отчасти фигуру из Достоевского. Темперамент и внутренний напор были у него большие, замоскворецкий оттенок навсегда остался, дарование большое, несколько испуганное и собою мало владеющее.

Именно во второй половине жизни облик его, язык (своеобразный по ритму, вроде какого-то «сказа»), все это ярче и сильней выразилось.

Но я понимаю, Вам пришлось по понятным причинам дать Шмелева более раннего. «Человек из ресторана» в свое время имел успех, но, думаю, это произведение довольно слабое и элементарное. Конечно, для обстановки издания в России сейчас — оно подходящее.

В общем же хорошо, что Вы знакомите русского нынешнего читателя со Шмелевым».

Прошло почти тридцать лет — целая жизнь — со времени написания этих слов; в 1988 году в издательстве «Советская Россия» наконец удалось опубликовать замечательное шмелевское «Лето Господне», а в следующем — и «Богомолье» (во втором томе «Избранного», вышедшего в «Художественной литературе»).

В судьбе Шмелева, писателя и человека, револю-

ция и гражданская война сыграли совершенно особую роль.

В 1900-е годы своими произведениями он заслужил прочную репутацию защитника угнетенных, обличителя всяческой общественной несправедливости. С каким восторгом, с какими надеждами встретил он Февраль, свержение самодержавия! Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, освобожденными революцией и возвращавшимися из мест заключения в Сибири. «Революционеры-каторжане, — с гордостью и изумлением писал Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, в действующую армию, 17 апреля 1917 года, — оказывается, очень меня любят как писателя, и я, хотя и отклонял от себя почетное слово — товарищ, но они мне на митингах заявили, что я — «ихний» и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе, — они меня читали, я облегчал им страдания».

Тут надо бы сказать несколько слов о Шмелев-отце. Сказать, что он любил своего единственного сына Сергея, — значит сказать очень мало. Прямо-таки с материнской нежностью относился он к нему, дышал над ним, писал нежные письма: «Ну, дорогой мой, кровный мой, мальчик мой. Крепко и сладко целую твои глазки и всего тебя...»; «Проводили тебя (после короткой побывки. — О. М.) — снова из меня душу вынули». Когда многопудовые германские снаряды — «чемоданы» — обрушивались на русские окопы и смерть витала рядом с его сыном, он тревожился, сделал ли его «растрепка», «ласточка» прививку и кутает ли шею шарфом.

Он учил сына при всех обстоятельствах любить свой народ: «Думаю, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть в русском человеке и полюбить его, выдавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное (в ком его нет?), сумей извинить его, зная историю и теснины жизни. Сумей оценить положительное».

В 1920 году офицер Добровольческой армии Сергей Шмелев, отказавшийся уехать с врангелевцами на чужбину, был арестован на глазах отца и без суда расстрелян. И не он один. Как рассказывал 10 мая 1921 года Буниным в Берлине И. Эренбург, «офицеры остались после Врангеля в Крыму главным образом потому, что сочувствовали большевикам, и Бела Кун расстрелял их только по недоразумению. Среди них погиб и сын Шмелева...»¹.

Свидетель случившегося, писатель В. В. Вересаев

¹ Устами Буниных, т. 2, с. 37.

более достоверно и полно сообщает, что же произошло на самом деле:

«Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба кончена, представляется белым на выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками... давно уже тяготилось своей ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывался — выход к честной работе в родной стране.

Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось: те, кто на регистрацию не явится, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленная кровавая бойня. Всех являвшихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Так были уничтожены тысячи людей»¹.

Бела Кун опубликовал такое заявление: «Троцкий сказал, что не приедет в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму; Крым — это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит...»² «И. С. Шмелев в своем показании лозаннскому суду говорит, что расстреляно более 120 тысяч мужчин, женщин, старцев и детей»³.

Страдания Шмелева-отца описанию не поддаются. В ответ на приглашение, присланное ему Буниным, выехать за границу, «на отдых, на работу литературную», тот прислал письмо, которое (по свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной) «трудно читать без слез».

В эмиграции, поддавшись безмерному горю утраты, Шмелев переносит чувства осиротевшего отца на свои собственные взгляды и создает яростные, пышущие ненавистью к большевикам рассказы-памфлеты и памфлеты-повести — «Каменный век», «Про одну старуху», «На пеньках» и т. д. Среди них глубиной трагизма и потрясающе художественной силой выделяется «Солнце мерт-

¹ Вересаев В. В. «В тупике». Воспоминания. — «Огонек», 1988, № 30.

² Цит. по кн.: Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918—1923. 4-е изд., Нью-Йорк, 1989, с. 66.

³ Там же.

вых» (1923), названная самим Шмелевым «эпопеей». Повесть эта была опубликована в 1989 году на страницах журнала «Волга».

Но, несмотря на ужасы пережитого, Шмелев против русского человека не озлобился, хоть и многое в новой жизни проклял. Здесь был важен выход к чему-то положительному (иначе зачем жить?) — к мысли о Родине, к нравственным ценностям православной религии, к обретенным надежде и вере. Из глубины души, со dna памяти подымались образы и картины, не давшие иссякнуть току творчества. Они составили, без преувеличения, великие книги — «Богомолье» (1933) и «Лето Господне» (1933—1948), объединенные духовной биографией ребенка, маленького Вани. Но не только этим.

Через материальный, вещный, густо насыщенный великолепными бытовыми и психологическими подробностями мир нам открывается нечто иное, более масштабное. Кажется, вся Россия, Русь предстает здесь «в преданьях старины глубокой», в своей темпераментной широте, истовом спокойствии, в волшебном сочетании наивной серьезности, строгого добродушия и лукавого юмора. Это воистину «потерянный рай» Шмелева-эмигранта, и не потому ли так велика сила ностальгической, пронзительной любви к родной земле, так ярко художественное видение красочных, сменяющих друг друга картин. Книги эти служат глубинному познанию России, ее корневой системы, пробуждению любви к праотцам, к русскому небу.

Философ и критик И. А. Ильин сказал о «Лете Господнем»: «Все узрено и показано насыщенным видением, сердечным трепетом; все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением; здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной и благодарной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясно видящей и любящей. Эта сила изображения возрастает и утончается еще оттого, что все берется и дается из детской души, вседоверчиво разверстой, трепетно отзывчивой и радостно наслаждающейся. С абсолютной впечатлительностью и точностью она подслушивает звуки и запахи, ароматы и вкусы. Она ловит земные лучи и видит в них — неземные; любовно чувствует малейшие колебания и настроения у других людей; ликует от прикосновения к святости; ужасается от греха и неустанно вопрошает все вещественное о скрытом в нем таинственном и высшем смысле»¹.

¹ Ильин И. А. И. С. Шмелев. — В кн.: Ильин И. А. О тьме и просветлении. Мюнхен, 1959, с. 176.

Иван Сергеевич Шмелев в пору расцвета своего таланта — настоящий писатель-христианин. Он умер подлинным христианином, на руках у монахини, в обители Покрова Божьей Матери, основанной в Бюси-ан-От, в 140 километрах от Парижа, 24 июня 1950 года.

Сегодня все они — почившие далеко от России — возвращаются к нам, хотя бы и посмертно. Огромный духовный мир под единым небом, воинство литературное, сохранившее самое главное: внутреннюю свободу.

Беседы с Ахматовой

Разрозненные воспоминания

Эту комнату в квартире Ардовых на «легендарной Ордынке» воспоминатели называют нежно: «уютная». Комната в большой квартире дореволюционного дома когда-то, видимо, предназначалась для прислуги. Очень маленькая, с окошком почти под самым потолком. Ахматова к старости стала туга на ухо, но разговаривать громко я затруднялся, потому что все было слышно за стеной, в главной комнате, где собиралась семья, сидели гости — шумные, веселые, пожилые и молодежь, писатели и актеры. Среди писателей, часто посещавших хозяина дома, был один, пользовавшийся дурной славой. Ахматова предупреждала меня об этом, между тем она охотно, по крайней мере со мной, беседовала на жгучие политические темы, мне приходилось повышать голос, опасный гость мог услышать. Так вправду ли была уютной эта легендарная комната?

Я встречался с Анной Андреевной у Марии Петровых на Беговой, и у Ники Глен на Садово-Куретной, и у Большинцово-Стенич на улице Короленко в Сокольниках,

на пятом этаже без лифта, и у Нины Леонтьевны Манухиной, вдовы поэта Георгия Шенгели, на Первой Мещанской (теперь проспект Мира). Во всех этих временных ее пристанищах к ней относились любовно, я бы сказал — восторженно-почтительно. И все же она всегда рвалась на Ордынку, — даже из огромной квартиры Манухиной-Шенгели, где три женщины — мать, дочь и домработница — обихаживали Анну Андреевну, где в ее распоряжении была большая, светлая комната и замечательная библиотека покойного Шенгели, книги на разных языках. Почему же Анна Андреевна всегда тянулась на Ордынку, к маленькой комнате с маленьким окошком?

Я думаю, что ее влекли не только доброта и самоотверженная отзывчивость Нины Антоновны Ольшевской, жены Ардова, актрисы и режиссера. Анне Андреевне была по душе вся атмосфера в шумной актерской семье Ардовых, милые мальчики Миша и Боря, молодежь, их посещавшая, ужин и беседа после полуночи за широким, без скатерти, столом. Чем-то, так я предполагаю, это напоминало «Бродячую собаку», но там, признавалась она в стихах, всем было невесело, а здесь, на Ордынке, в ее скудную и трагически трудную жизнь врвались новые голоса, новые словечки новой улицы, уже не безъязыкой. Здесь происходили наши самые долгие беседы под многогололицу за стеной.

Что мне особенно сильно запомнилось, если не повторять других воспоминателей, в особенности автора замечательных записок — Лидию Корнеевну Чуковскую?

О Гумилеве. До Анны Андреевны дошла каким-то образом книга Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», в которой утверждалось, что молодая поэтесса нечаянно увидела в ящичке стола Гумилева огромное количество денег и револьвер. Отсюда — вывод Одоевцевой: подтверждение участия Гумилева в таганцевском заговоре. Видимо, Одоевцева хотела, чтобы читатели окончательно поверили в героический монархизм Гумилева, в русского Андре Шенье.

Понятно, как вознегодовала Анна Андреевна, читая эту красивую выдумку об отце ее репрессированного сына, о поэте, с чьим именем навсегда и грозно связано ее имя. Она точно знала, что Гумилев в таганцевском заговоре не участвовал. Более того, по ее словам, и заговора-то не было, его выдумали петроградские чекисты для того, чтобы руководство в Москве думало, что они недаром хлеб едят. Гумилев, говорила Анна Андреевна, шел к советской власти. «Увидишь, — сказал он ей, — это будет первая русская власть в России». Он с удовольствием работал в горьковской «Всемирной литературе».

Теперь, когда я пишу эти записки, стало оконча-

тельно доказанным, что расстреляли ни в чем не повинного человека, но Ахматова мне говорила об этом тридцать лет назад.

Еще Анна Андреевна мне говорила, что Гумилев в годы войны разочаровался в династии, ему отвратителен был Гришка Распутин. Эти рассуждения она от него слышала, когда он на краткий срок приезжал с фронта.

Как-то я сказал, что талант Гумилева особенно ярко выразился в «Огненном столпе». Анна Андреевна со мной согласилась:

— Это его последняя книга. Он только начал развиваться как поэт. Мысль его стала глубже, от христианства бытового, обрядового он поднимался к постижению высочайшей христианской философии. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь в последующие годы, если бы его не расстреляли, но бесспорно то, что мы бы имели еще одного огромного русского поэта.

Когда Гумилева арестовали, Анна Андреевна пошла просить помощи у Горького. По ее словам, Алексей Максимович вел себя безукоризненно. При ней звонил Ленину, Троцкому, но их секретари его с ними не соединили. Удалось ему дозвониться только до Луначарского, тот обещал поговорить с Лениным, но неизвестно, состоялся ли такой разговор.

Были о Гумилеве и более веселые рассказы. Я их передаю своими словами. Гумилев читал в литературной студии начинающим стихотворцам лекции по версификации. Однажды занятия посетил Горький, под началом которого служил Гумилев. Когда слушатели разошлись, Горький спросил Гумилева:

— Скажите, все это надо поэту знать? Обязательно?

— Надо, — твердо сказал Гумилев.

Тут Горький задал каверзный вопрос:

— Николай Степанович, что вы скажете мне о моих стихах?

— Я их плохо знаю. Признаться, не помню, чтобы я их читал.

Горький не обиделся, но возразил:

— А между тем одно мое стихотворение имело большой успех, особенно среди молодежи, студенческой и рабочей. Его и сейчас декламируют. «Буревестник» называется оно.

— Да, да, вспоминаю, четырехстопный хорей со сплошь женскими окончаниями. Размер — подражание «Гайавате». Простите меня, Алексей Максимович, это бесполезно. Мне как-то попалась на глаза одна ваша строка: «Высоко в горы вполз уж и лег там». Если бы вы знали

русское стихосложение, вы не составляли бы хорейческую стопу из односложных слов. Нельзя это делать, неграмотно. «Вполз уж и лег там». Неужели ваше ухо талантливого писателя не слышит этого совершенно невозможного сталкивания слов — и не только в стихе?

Когда Гумилев рассказал о том, что случилось, Анне Андреевне, она рассмеялась, но и встревожилась: не рассердится ли Горький, не лишится ли Гумилев работы, а значит, и пайка, столь нужного в тот голодный год? Горький не только не рассердился, но стал, по словам Анны Андреевны, еще уважительней относиться к Гумилеву.

Многое у меня связано с комнатой на Ордынке, всего и не упомнишь, но кое-что то и дело всплывает в ухудшающейся памяти.

Однажды я возвратился домой поздно вечером, после какого-то никому не нужного переводческого совещания. Вдруг — звонок Анны Андреевны:

— Приезжайте ко мне. Сейчас.

— Может быть, отложим на завтра? Уже поздно...

— Вы мне нужны сейчас.— И повесила трубку.

Я оделся, спустился в метро, благо пересадки не было, минут через сорок был уже у Анны Андреевны. Сразу было видно, что она очень взволнована. Не полулежала, как всегда, на твердой тахте, ходила по комнате, поднимая руки, что было ей несвойственно, под рукавами виднелись прорехи. Я решил, что случилось нечто ужасное,— вся жизнь Анны Андреевны подготовила меня к тяжелому предчувствию.

— Читайте,— сказала она и дала мне зарубежный русский журнал.

Не помню ни названия журнала, ни автора статьи, взволновавшей Анну Андреевну. Смутно мерещится мне, что автор — княгиня Шаховская. Если это не так, то заранее прошу прощения у читателя.

Я прочел указанные мне Ахматовой строки. Они повергли меня в недоумение. Прочел снова. В чем причина столь сильного волнения Анны Андреевны? В статье-воспоминании сообщалось следующее (передаю, конечно, не дословно, а самую мысль): Гумилев бросил великого поэта Анну Ахматову ради хорошенькой, пустынькой Ани Энгельгардт.

Что я должен был сказать? Что ужасного было в этом сообщении? Но не напрасно же Анна Андреевна позвала меня так поздно вечером к ней приехать. Вот я и сказал:

— Нехорошо вмешиваться в личную жизнь поэта, слава Богу, живого.

— Какой вздор! При чем тут личная жизнь? —

в голосе Анны Андреевны слышался знакомый ее друзьям гнев. — Не Николай Степанович бросил меня, а я бросила Николая Степановича.

У меня отлегло от сердца: ничего дурного не случилось, этот женский гнев меня умилил и восхитил. Великий, боготворимый мною поэт все-таки женщина.

Но вдумаясь в то, что произошло. Всю жизнь на Анну Андреевну клеветали. Клеветали враги, клеветали непрочные друзья, клеветали мелкие люди и свирепые власти. Одно из ее стихотворений так и называется «Клевета». Она, такая точная в своих литературоведческих работах, в своих, к сожалению, кратких воспоминаниях, она, обладавшая волшебной, завораживающей точностью в своих стихах, терпеть не могла неточности в любом жанре, а тем более — лжи, и, как это часто бывает, пустяк, прочитанный в зарубежном журнале, был еще одной каплей, переполнившей чашу, горькую чашу ее жизни.

Как и все мы, Анна Андреевна была возмущена тем скандалом, который учинил Хрущев в Манеже, обрушившись на молодых художников. Разговаривая об этом, я почему-то вспомнил фразу из «Автобиографии» Тамерлана (по-тюркски Аксак-Темира, Железного Хромца): «Мир подобен золотому сундуку, наполненному змеями и скорпионами».

Фраза понравилась Анне Андреевне, но она заговорила о другом:

— Моя прародительница Ахматова была в родстве с князьями Юсуповыми. А Юсуповы — ветвь от потомков Тамерлана. Сам же Тамерлан был потомком Чингисхана, следовательно, Чингисхан мой предок.

Я объяснил, что это не так, и на следующий день принес ей «Автобиографию» Тимура, в переводе с тюркского и джагатайского В. Панова, и с его же предисловием и комментариями. Комментатор отрицает претензию Тимура на то, что он будто бы внук Чингисхана: «Это обычная манера генеалогий «Автобиографии» — сближать «героя» с великим родоначальником».

Анна Андреевна была явно недовольна, но примирилась с тем, что она не потомок Чингиса:

— Быть потомком Тамерлана тоже неплохо.

Будучи редактором переводов стихотворений татарского поэта-классика Габдуллы Тукая, я предложил Анне Андреевне перевести несколько его стихотворений. Она сказала:

— Я сейчас плохая, но своего переводу непременно.

Замечательное свойство Анны Андреевны, не мной первым замеченное: в своих поступках, в своих бесе-

дах она была высока, но никогда — высокопарна. Любила шутку и шутила сама. Могла о людях, которых почитала, порою выразиться не очень почтительно, но не осуждающе. Всегда с гордостью говорила о том, что она акмеистка, и чувствовалась в ней давнишняя неприязнь к старшим, к символистам. Оказывалось, что у всех, за исключением Блока, были дурные черты характера. Часто рассказывала мне (а я жадно слушал) о том, что за люди были Брюсов, Вячеслав Иванов, Бальмонт, Мережковский, Гиппиус. Всех не любила, хотя признавала, что символизм — важное, значительное явление в русской общественной жизни.

Она с интересом следила за тем, что происходило в молодой русской поэзии и в многочисленных толпах поклонников этой поэзии. При мне хвалила только Иосифа Бродского, уже тогда видела в нем первоклассного поэта. О другом поэте, который был, кажется, годами старше Бродского и широко печатался, говорила: «Изящен, но мелок». Отрицала талантливость самых знаменитых. Я назвал одного из них недурным, часто острым фельетонистом, Анна Андреевна удивилась:

— К чему мне фельетоны в стихах?

Когда Анна Андреевна приезжала из Ленинграда в Москву, к ней каждый день приходили друзья и знакомые. Ей было неприятно, если в одно и то же время сталкивались разные люди, и для каждого она определяла не только день, но и час. Так было назначено время и мне, но когда я пришел, застал на Ордынке Пастернака. По его облику и поведению было заметно, что он собирался уходить, но заговорился. Говорил же он почему-то о Голсуорси, «Сагу о Форсайтах» называл нудной, тягучей, даже мертвой. Вскоре он ушел. Анна Андреевна развеселилась:

— Вы догадываетесь, почему Борисик вдруг набросился на Голсуорси? Нет? Когда-то, много лет назад, английские студенты выдвинули Пастернака на соискание Нобелевской премии, но получил ее Голсуорси.

— Анна Андреевна, помилуйте, разве пристало такое великому поэту?

— Великий этот поэт — совершенное дитя.

Надо заметить, что разговор происходил задолго до того, как Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. «Борисик» звучало ласково, Ахматова преклонялась перед гением Пастернака. Она твердо верила в бессмертие поэзии Пастернака, между тем как в прочности, нужности своих стихов сомневалась часто, искренно. Она была довольна, хотя и несколько удивлена, когда я ей сказал, что она — единственная в XX веке продолжательница

Некрасова, что его щемящий, за душу хватающий анапест слышен в ее строках из «Реквиема»: «И ненужным доверком болтался Возле тюрем своих Ленинград». И одновременно со своими сомнениями, как это нередко бывает у больших художников, она догадывалась о своей силе, о своем месте в ряду бессмертных.

Году в 1958-м или в 1959-м она мне позвонила, сказала, что находится близко от меня, сейчас ко мне придет. Потом я узнал, у кого она была в гостях, — всего в десяти минутах ходьбы от меня, но ей уже была тяжела и такая дорога, приехала в такси.

Я поставил на стол бутылку «Лидии», тогда модного молдавского вина, но Анна Андреевна сказала, что это вино ей не нравится.

— Может быть, водочки? — предложил я.

— Немного — с удовольствием, хотя врачи мне запрещают, — согласилась Анна Андреевна и достала из кармана то ли нитроглицерин, то ли валидол.

Я тогда был здоров и не знал назначения этих лекарств. Мы выпили по рюмочке, потом по второй, далее уже пил я один. Анна Андреевна прочла мне главу из «Поэмы без героя». Это было так ново, так мощно, так не похоже на прежнюю Ахматову и так по-ахматовски умно, притягательно, прекрасно. Я был потрясен и сказал Анне Андреевне, что никто из теперешних русских поэтов не понимает с такой глубиной русскую боль, русскую жизнь, как она, что никто еще не написал о предвоенных десятых годах, а это было очень важное, переломное для России время. Все могло бы быть у нас иначе, если бы не первая мировая, ненужная царскому правительству и ужасная для народа. Об этом времени, может быть, еще и напишут, но пока она — первая. Анна Андреевна раскраснелась, то ли от двух рюмочек, то ли от моих слов, и похвалила меня:

— Никто не понимает в стихах так, как вы.

Обычно она говорила такие слова только о Чуковских — об отце и дочери.

Создалась такая шутивная, даже радостная атмосфера, да к тому же я выпил полбутылки, что, забыв свой всегдашний трепет, сказал:

— Так что же получается? Среди женщин — выше всех Ахматова. Ну, давайте посмотрим, кто был раньше да и позже. Цветаеву я в счет не беру, потому что по-настоящему мне нравятся только ее «Версты» и несколько стихотворений из последующих книг, не люблю ее поэм, кроме «Крысолова».

Ахматова улыбнулась, промолчала. Я начал свой экскурс:

— Была в восемнадцатом веке Бунина, родственница Ивана.

— Ее никто не читал, я тоже. Следующая!

— Евдокия Растопчина.

— Это очень поверхностно.

— Каролина Павлова.

— Ценный поэт, но не первого класса.

— Мирра Лохвицкая.

— В ней что-то пело. Но на ее стихах лежит печать эпохи безвременья — Надсон, Минский, Фофанов.

— Кто же тогда остается? Одна Сафо?

— Сафо — это прелестный миф. Мне ее читал по-гречески Вячеслав Иванов. От строк Сафо остались одни руины.

— Я, разумеется, Сафо не читал в подлиннике, только в переводах того же Вячеслава Иванова, в книге «Алкей и Сафо». Назову последнюю — Деборд-Вальмор. Пастернак сравнил с ней Цветаеву.

Анна Андреевна возражала с горячностью:

— Еще Пушкин писал о слабости французской поэзии. Ее съела живопись. Ведь еще не было Бодлера и Верлена. А Деборд-Вальмор хотя и мила, но чересчур сентиментальна, наивна и в то же время нервна...

Через несколько лет после этой веселой беседы произошло важное событие в моей жизни — важное потому, что оно связано с Ахматовой.

Был объявлен мой вечер в ВТО, — впервые я должен был читать свои оригинальные стихи, Анна Андреевна заволновалась:

— Я непременно приду.

Я просил, даже умолял Анну Андреевну не делать этого, ей будет тяжело, зал, возможно, душный, лифт, как это часто бывает, выйдет из строя. Меня поддержала Нина Антоновна Ольшевская, но Анна Андреевна упрямо повторяла:

— Я непременно приду. Должна прийти.

И пришла. До сих пор организаторы вечеров «Устной поэзии» в ВТО с гордостью вспоминают о том, что Ахматова у них была. Они даже прибавляют к этому, что Ахматова будто бы одобряла их вечера. А все дело в том, что Анна Андреевна своим присутствием хотела помочь молодому, известному другу.

В 1961 году я закончил главную свою стихотворную работу — поэму «Техник-интендант». Анна Андреевна выразила желание послушать поэму. Ахматова жила тогда на проспекте Мира у Нины Леонтьевны Манухиной-Шенгели. Я часто бывал в этом доме, так как дружил с покойным Георгием Аркадьевичем; потом там собира-

лась комиссия по его литературному наследию, членом которой я был.

Поэтому я читал обеим — Анне Андреевне и Нине Леонтьевне, читал долго, больше часа. Я заметил слезы на глазах Анны Андреевны.

Пришло лето. Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете, вышедшую в серии «Библиотека советской поэзии». Вот надпись:

«С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала.

Ахматова

6 июля».

У меня — несколько книг с добрыми надписями Анны Андреевны. Эта — самая драгоценная. Она была не только моей гордостью, — она для меня стала правом на существование в те годы, когда на родине, в советской печати, я не существовал.

Справедливость и свобода

(О творческой близости Андрея Платонова
и Василия Гроссмана)

Нынешняя общественно-литературная ситуация вынесла на поверхность из архивных глубин основные произведения А. Платонова. Сходным образом «всплыли» роман «Жизнь и судьба», повесть «Все течет...» и другие произведения последнего десятилетия творческой жизни В. Гроссмана.

Но не это сходство литературных судеб послужило толчком к написанию данной статьи, есть причины гораздо более глубокие.

Бывший главный редактор «Красной звезды» Д. Ортенберг вспоминает, что в 1942 году Андрей Платонов пришел в редакцию «Красной звезды» к А. Кривицкому с запиской Вас. Гроссмана: «Дорогой Саша! Прими под свое покровительство этого хорошего писателя. Он беззащитен и неустроен»¹. И Платонов был взят в штат специальным корреспондентом.

Мы не располагаем сведениями, когда познакоми-

¹ Ортенберг Д. Время не властно. М., 1979, с. 372.

лись Гроссман и Платонов, какие обстоятельства предшествовали этой записке, но в библиотеке Гроссмана хранился переданный впоследствии его вдовой в ЦГАЛИ экземпляр сборника А. Платонова «Рассказы о Родине» (1943 г.) с дарственной надписью:

«Василию Семеновичу Гроссману — в день твоего рождения в знак моей любви к твоему огромному таланту и богатому сердцу — этот мой скромный подарок.»

18.XII.43

А. Платонов».

Полное обращение по имени и отчеству свидетельствует об отсутствии братства или «панибратства», а слова «богатому сердцу» намекают на какие-то известные добрые отношения или косвенно выражают благодарность за гроссмановскую записку А. Кривицкому...

Есть у Ортенберга и еще одно ценное свидетельство: «Сам Гроссман, как, впрочем, и его друг Андрей Платонов, был человеком неразговорчивым. Бывало, придут они оба в «Красную звезду», устроятся на диване у кого-либо из работников редакции — чаще всего у Петра Коломейцева — и сидят целый час, не проронив ни слова. Казалось, что они оба и без слов ведут известную им одним беседу»¹.

В 1946 году А. Платонов опубликовал рассказ «Семья Иванова», а В. Гроссман — пьесу «Если верить пифагорейцам». И рассказ и пьеса подверглись резчайшей критике в печати. А в статье «О литературно-художественных журналах» А. Фадеев уже как о не требовавших аргументов ошибках «Знамени» и «Нового мира» помянул рядышком «вредную пьесу В. Гроссмана «Если верить пифагорейцам», пьесу, по существу, пытавшуюся обвинить советских людей в перерождении» и «лживый и грязноватый рассказец А. Платонова «Семья Иванова»². Наверное, эта общая беда еще больше укрепила их дружбу. Во всяком случае, именно Гроссман после смерти Андрея Платонова в 1951 году был утвержден председателем комиссии по его творческому наследию. Написанное Гроссманом обоснование ценности платоновского рукописного наследия для приобретения Государственным архивом завершалось такими словами: «В заключение следует отметить, что многие из произведений Платонова не были опубликованы при жизни писателя и потому приобретение их Государственным Литературным Архивом особо необходимо — они

¹ Ортенберг Д. Время не властно. М., 1979, с. 317.

² «Правда», 1947, 2 февраля.

незнакомы исследователям советской литературы и сохранение их представляет особо ответственную задачу»¹.

Немало усилий приложил Гроссман к тому, чтобы составить и издать посмертный сборник рассказов Платонова, написал к нему предисловие. Вот его полный текст:

•ПРЕДИСЛОВИЕ

Андрей Платонович Платонов родился в 1899 году в Воронежском пригороде — Ямской слободе. Отец Платонова был слесарем. Первые жизненные впечатления, первое познание мира, а известно, что детские впечатления особенно глубоки, связаны у Платонова с жизнью этой пригородной, одновременно сельской и городской, слободы, где бытовали рядом нужда и горе, пришедшие из города, — с нуждой и горем, пришедшими из деревни.

Тринадцатилетним мальчиком Платонов, после недолгого учения в церковноприходской школе и городском училище, пошел работать — сперва рабочим на молотилке, а затем слесарем на паровозостроительный завод — отец был не в силах прокормить семью в десять человек.

В 1919 году двадцатилетним юношей Платонов ушел добровольцем в Красную Армию — сперва работал помощником машиниста на поездах, подвозивших к фронту подкрепления и боеприпасы, потом с винтовкой в руках участвовал в тех тяжелых боях, которые армия рабочих и крестьян вела против армии помещиков и капиталистов.

Победа революции открыла А. Платонову путь к образованию. Сразу же после окончания гражданской войны молодой рабочий пошел учиться в Политехнический институт. Сделавшись инженером, он приложил свои силы в областях, которые так важны в народной жизни, — в мелиорации, строительстве плотин, в электрификации сельского хозяйства. Одно время был он воронежским губернским инженером и главным инженером по изысканию и по сооружению гидростанции на Дону. Под руководством инженера Платонова построено 763 плотины, вырыто около 400 колодцев, осушено 7600 десятин болотной земли и орошено 30 десятин сухой земли.

Писать Платонов начал еще юношей, — продолжал писать и работая инженером, а вскоре после переезда в 1926 году в Москву целиком отдал свои силы литературе.

В годы Великой Отечественной войны Платонов вновь, как и в пору юношества, пошел на фронт, но на этот раз уже не машинистом, не рядовым бойцом, а корреспондентом военной газеты «Красная звезда». Не жалея сил и здоровья, он честно выполнял долг писателя и солдата.

¹ ЦГАЛИ, ф. 1710, оп. 1, ед. хр. 108, с. 11.

Вскоре после войны пришли дни, месяцы, годы тяжелой, мучительной болезни. Но болезнь не прервала писательской работы Андрея Платонова. С тем трудолюбием, с которым тринадцатилетний подросток-слесарь работал на заводе, умирающий писатель Платонов работал над рукописью до самых последних своих дней. Умер А. П. Платонов 5 января 1950 года.

Таковы основные вехи трудовой жизни Платонова. А вехи его жизни — это вехи и писательского пути. Человеческий труд и характер — это одновременно и характер писательского труда. Так бывает, когда творчество писателя прочно, естественно связано с породившими его людьми, с породившей его землей.

Характер Платонова начал складываться в пору его жизни в Ямской слободе, где рядом бытовали заводы, железнодорожные мастерские, паровозы и деревенские плетни, огороды, пустыри, поросшие лопухом, где заводские и паровозные гудки и грохот молотов смешивались с пением веселых пьяных, с плачем обиженных детей, колокольным звоном и причитанием побирушек. Но именно в этой тяжелой жизни пригородной слободы, с ужасной властью бездельных, невежественных хозяев-эксплуататоров над трудовой беднотой, зародилось у Платонова представление об истинных рабочих хозяевах жизни — тех, кто понимал свою силу не в насилии человека над человеком, а в победе человеческого труда над громадой природы, во имя жизни и для блага жизни.

Сквозь усталость и часто непосильный для подростка десятичасовой заводской труд пробивалось и рождалось чувство восхищения перед рабочим человеком, таким бедным, таким обиженным жизнью, ожесточенным и таким добрым, могущественным и талантливым, рабочим человеком — создателем изумительно прекрасной, богатирской машины паровоза. Что-то трогательное было в том детском любовном восхищении, которое жило во взрослом человеке Платонове, перед паровозом, восхищенье, сохранившемся в нем с детских лет.

Человеческий и писательский характер Платонова складывался и сложился в годы гражданской войны, в пору первого десятилетия послереволюционного строительства.

В мощи человеколюбивых идей революции и одновременно в жестоких испытаниях войны, голода, разрухи, в борьбе разумного, созидющего революционного начала с мешанской, косной стихией дооктябрьской провинции и нужно искать силы, определившие характер, мировоззрение и особенности таланта Андрея Платонова.

Платонов — писатель, всей душой любящий ра-

бочий народ, глубоко знающий жизнь рабочего класса, писатель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, самых простых основах человеческого бытия, писатель доброго, гуманного и одновременно саркастического склада, страстно пропагандировавший свое понимание труда, человеческого страдания, свое, особое, платоновское понимание жизни и смерти.

В философском складе его характера и его жадной любознательности, в его неукротимом интересе к философии, физике, астрономии, электротехнике равно проявились черты его человеческого и писательского характера. Это был характер мыслителя, но мыслителя своеобразного, особенного, мыслителя, не утратившего черт, которые развила в нем среда, породившая его, черт рабочего самородка, талантливого русского мастерового.

Любимые герои Платонова, о которых он особенно любит писать, созданы по образу и подобию самого автора. Часто на страницах его книг мы встречаем светлоголовых детей, наделенных зрелым пониманием жизни, пришедшим к ним с суровой нуждой и ранним трудом; а рядом с ними мы встречаем согнутых годами стариков, полных детской душевной чистоты, детского удивления и восхищения перед жизнью, стариков, по-детски задорно, смело желающих понять чудо бытия; чаще всего на страницах его книг мы встречаем тружеников, рабочих и крестьян. Они богаты тем, чем наделен сам Платонов,— могучим трудолюбием, терпением и добротой; почти все они мыслители и, как истые мыслители, удивительно простодушны; в них как бы живут-существуют и дети, и мудрые старики.

Интересен и своеобразен пейзаж в рассказах и повестях Платонова — деревья, листья, трава, колосья ржи не только нарисованы, они живут своей жизнью, и Платонов не равнодушен к ней, к этой скромной жизни трав и деревьев; не скользит небрежным взором по ней, — он полон и к этой малой жизни бережного, любовного сочувствия и интереса.

Образы Платонова, прелесть его речи, щедрая глубина чувств и мыслей — все это удивительно своеобразно, чуждо всякого шаблона. Свообразие писателя Платонова рождено из действительного, а не выдуманного своеобразия платоновских души и ума. В этом одно из отличий живого таланта от мертвого ремесленничества, какими бы искусно отшлифованными, блестящими ни были стандартные стеклянные грани ремесленного произведения.

Отличие живого таланта еще и в том, что в нем отсутствует даже тень не только безразличия и равнодушия, но и привычного, успокоенного отношения к тому, о чем он пишет. Он живет, радуется, страдает всей силой

души и ума своего, — жизнью, радостью, страданием широкого круга своих современников, он — это они, они это он.

Отличие это проявляется и в умении, и не только в умении, а в естественной способности выразить то, что обще и важно и нужно для жизни широкого круга людей, не формулами литературной алгебры и даже высшей литературной алгебры, а через свои своеобразные личные чувства, своим особым строем образов, своим языком, т. е. теми «своими словами», которые единственно и способны выразить чувства, образы, характер писателя.

Третья черта, отличающая писателя от ремесленников, в том, что своеобразие писателя в основе своей имеет естественность, а не манерность, и что лишь живой талант умеет прочно объединить и сдружить своеобразие с естественностью и простотой.

Произведения, наделенные такими особенностями, обладают важным свойством, оправдывающим труд и время, затраченные на их написание. Читая такие произведения, человек убеждается, понимает, верит, что чувства, которые он ощущает как свои личные, оказываются, существуют в другом человеке, в других людях, и в этом одна из замечательных сторон литературы, искусства, — способствовать обобществлению личного чувства, порыва, страсти, гнева, боли, радости; читатель при этом обобществлении своих чувств одновременно и осознает их ясней и глубже воспитывает свои чувства.

Искусство обобществляет духовное богатство отдельного человека, делает его достоянием всех, но, одновременно, искусство обогащает человека огромным душевным достоянием других людей. Ламут либо чукча-оленовод читает книгу, и велением искусства герои «Медного всадника», «Евгения Онегина» входят в ярангу как понятные, знакомые люди, чья судьба, чьи радости и страдания не безразличны живущим в этой стоящей в тундре, на побережье Ледовитого океана, яранге.

Андрею Платонову в ряде своих произведений удалось с живым талантом выразить свое чувство любви к трудовым рабочим людям, выразить свою веру в силу их жизнеутверждающего труда. Но на трудном писательском пути Андрея Платонова, в его творческой работе немало было жестоких срывов, ошибок, противоречий, несовершенств. Иногда Платонов, словно усомнившись в естественности присущего ему своеобразия, становится однотонен, манерен, стремится казаться странным, терять естественную оригинальность и начинает оригинальничать. Иногда он теряет поэтичность, заменяет правдивость натурализмом, физиологичностью.

Это приводит к искажению действительности, к ерничеству, беспочвенному мистическому озорству.

Но сила ума, души, любовь к Родине и советскому народу помогали писателю вновь находить правильный, ясный творческий путь.

Литературное наследство Андрея Платонова включает в себя повести и рассказы, лишь небольшой частью своей вошедшие в изданные до войны книги, — «Епифанские шлюзы», «Происхождение мастера», «Река Потудань» и др.

За годы Великой Отечественной войны Андрей Платонов выпустил ряд книг — «Броня», «В сторону заката солнца», «Рассказы о родине», «Вечная слава», «Солдатское сердце», «Под небесами родины».

В рассказах военного времени, таких, как «В сторону заката солнца», «Сын народа», «Один бой» и других, выражена любовь писателя к Родине; в этих рассказах говорится о силе народного характера, об отваге, трудолюбии, титаническом терпении, проявленном солдатами и офицерами на войне, о замечательном единстве, которое объединило народ и Советскую Армию в тяжелые годы испытаний.

В последние годы своей жизни, будучи тяжело больным, Андрей Платонов неустанно трудился над обработкой народных сказок. В его мастерской обработке вышли книги русских народных сказок: «Волшебное кольцо», «Финист — ясный сокол», а также книга «Башкирские народные сказки».

Предлагаемый читателю небольшой сборник произведений Андрея Платонова может все же дать представление о неповторимо своеобразном, талантливом писателе.

*Вас. Гроссман*¹.

392

Жаль, что нельзя воспроизвести фотокопию этих шести страниц машинописного текста, исполосованного подчеркиваниями, возмущенными вопросительными и восклицательными знаками какого-то неведомого редактора, прочитавшего это предисловие вместе со сборником.

Но попробую передать редакторское возмущение по поводу одного абзаца в середине статьи. Подчеркнуты и сопровождаются огромным восклицательным знаком слова о том, что Платонов — писатель, «пожелавший разобратся в самых сложных, а значит, самых простых основах человеческого бытия, писатель доброго, гуманного и одно-

¹ ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. хр. 401.

временно саркастического склада». Двумя жирными чертами и уже не только вопросительным, но и восклицательным знаками сопровождаемы слова «свое» (понимание труда), «страдания», «свое, особое, платоновское понимание жизни и смерти». Вот что испугало редактора: простые основы, свое понимание, мысли о жизни и смерти.

Обратим внимание и на то, что Гроссману пришлось высказывать критические замечания — в соответствии с издательскими нравами тех лет. Такими «подстраховочными» статьями сопровождалась и позже первопубликации «крамольных» писателей и произведений Е. Замятина, О. Мандельштама, В. Набокова и других — чтобы «оправдать» власти предрержащие, не позволявшие долгие годы печатать «идеологически невыдержанные» произведения. Власти были вынуждены дать согласие, издатели были вынуждены откупиться критикой — такая несложная игра.

Впрочем, А. Платонову и это не помогло. Тогда так и не удалось «пробить» сборник¹, хотя Гроссман направил в секретариат Союза писателей письмо с просьбой воздействовать на директора издательства «Советский писатель» Н. В. Лесючевского, который без всяких мотивировок отклонил рукопись, несмотря на решение секретариата СП об издании посмертного сборника.

Отвергнутую «твердокаменным» директором рукопись комиссия предложила издательству «Художественная литература», но и там после четырех разгромных внутренних рецензий тоже не решились издать книгу «опального» писателя. Лишь в 1958 году, после XX съезда; вышел первый тощенький посмертный сборник рассказов А. Платонова, а рецензия Гроссмана «Добрый талант» («Литературная Россия», 1960, 6 июля) была единственным значительным откликом на него. Если же учесть, что то была вообще единственная за все тридцать лет творческой работы Гроссмана рецензия, да еще написанная в те дни, когда завершалась его работа над «Жизнью и судьбой», то становится ясным, сколь важной была она для него. И уж конечно он не включил сюда те вымученные критические абзацы. Книга Платонова предоставила Гроссману возможность не только воздать должное крупному мастеру, но и сказать о близком ему типе писателя с трудной судьбой, который стойко выносил жизненную скудость, несправедливую критику, издательские отказы. А главное, очень точно были выявлены и общие для обоих мастеров существенные принципы творчества, ибо при всех

¹ См: «О живых и мертвых. Андрей Платонов: 1941—1951». — «Литературное обозрение», 1989, № 9.

различиях в поэтике у них было много общего в творческих принципах.

Вскоре после ареста романа «Жизнь и судьба», в феврале 1961 года, Гроссман был, мягко говоря, «задвинут», не издал ни одной книги. И лишь после его смерти, когда автор уже не угрожал новыми тревогами для властей, а роман «Жизнь и судьба» был, казалось, навечно «закупорен», в 1966—1967 годах наступила некая оттепель в отношении к нему: вышел небольшой сборник «Добро вам!», куда были включены одноименные литературные заметки о поездке в Армению, не пропущенные цензурой в «Новом мире» при жизни писателя даже в наполовину усеченном, обкорнанном виде (полностью они опубликованы в журнале «Знамя», 1988 г., № 11), и несколько просочившихся за это время в периодику рассказов. Были опубликованы две подборки из его фронтовых записных книжек.

Примерно в те же годы началось упрочение прозы А. Платонова в литературном процессе. В 1965 году был выпущен первый солидный том повестей и рассказов «В прекрасном и яростном мире», в 1966 году — примерно такого же объема «Избранное», и наследие Платонова стало все прочнее осмысливаться как советская классика. Судьба же Гроссмана после того, как в 1970 году за рубежом была издана повесть «Все течет...», оказалась горестной: его произведения снова перестали публиковать, а временами и просто запрещали поминать его имя в печати.

И нынешнюю публикацию их «задержанных» произведений можно назвать своего рода трагичным (спустя столько лет после смерти!) и радостным (все-таки оба пробились!) дружеским рукопожатием.

Но опять же речь должна идти не только о сходстве литературной судьбы двух видных мастеров, а и об общности их творческих принципов.

* * *

Еще перед войной К. Лаврова резко полемизировала со статьей И. Гринберга четырехлетней давности: «...И. Гринберг допускает неожиданное сближение В. Гроссмана с А. Платоновым, писателем вовсе ему несродным по самому характеру своего мастерства, по методу изображать мир... Нельзя оставить без критики столь несообразную аналогию»¹.

Казалось бы, правда на стороне К. Лавровой: в ту пору и знакомы-то они друг с другом не были, и уже целое

¹ Лаврова К. О реальном счастье героев В. Гроссмана. — «Красная новь», 1941, № 4, с. 199.

десятилетие (после повести «Впрок») Платонов фактически не печатался, и «производственная» тематика Гроссмана была далека от круга платоновских интересов, да и обитали они на совсем разных литературных орбитах. Но Гринберг-то оказался пронизательнее.

В той статье «Мечта и счастье (о рассказах Василия Гроссмана)» И. Гринберг уловил присущую обоим прозаикам увлеченную веру в красоту и преобразующую силу труда, уважение к рабочему человеку — машинисту, шахтеру, доменщику. И сравнивал он пробившиеся в 1936 году в печать два рассказа уже признанного, но опального мастера «Бессмертие» и «Фро» с прозой молодого, успешно начавшего Гроссмана прежде всего по сходной увлеченности их героев трудом, по «их чувству человеческого достоинства, их стремлению втянуть в работу и других людей»¹. Сознывая, что это «писатели очень разные», что Платонов «гораздо строже Гроссмана, сдержаннее, быть может, даже подавленнее...», он все-таки приходил к выводу: «их сближает глубокое ощущение человечности, их сближает понимание того, как богата, как напряжена внутренняя жизнь советских людей, какое изобилие переживаний, мыслей и чувств, никогда еще не проявленных, еще не нашедших выхода, скрывается в душе советского человека».

Глубокое ощущение человечности — вот ради какого утверждения затеял И. Гринберг свое дерзостное сопоставление.

Многое из того, что едва угадывалось в раннем творчестве Гроссмана и что сумел заметить критик, вполне прояснилось в годы послевоенные.

Не платоновским ли духом повеяло от слов «управдома» Грекова в «Жизни и судьбе»: «Нельзя человеком руководить, как овцой. Уж на что Ленин был умный, а и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному»?! Пожалуй, это скорее идет от «усомнившегося Макара» и уверенности в том, что «людям самим виднее, как им быть» («Джан»), чем от боевого капитана, знающего на опыте, как можно командовать, глупо или умно, и какая разрушительная сила бывает у бесшабашной анархии и растерянной толпы...

А разве не относятся в равной мере и к самому Гроссману слова из рецензии «Добрый талант» о том, что Платонов «не стал бы писать, если бы неумоимо, испступ-

¹ «Звезда», 1937, № 5, с. 177.

ленно и безудержно, всегда и повсюду, не искал человеческого в человеке»?!)

Оба они признавали распрямляющую человека силу революции. «Андрею Платонову,— заметил Л. Шубин,— революция виделась как некий рубеж, с которого начинается новый, принципиально иной период в развитии человеческой истории. Он считал, что марксистское мировоззрение в форме русского большевизма должно слиться с исконно русским народным правдоискательством, где под правдой жизни народ понимает ее смысл»¹.

Гроссман тоже вел отсчет с революции, только полагал, что она должна слиться с общечеловеческим пониманием свободы. Но вера в революцию, назначенную осуществить смысл жизни,— видя этот смысл в свободе или более сложном переплетении представлений,— объединяла их до конца жизни, равно как объединяла и правдоискательская убежденность в том, что благие революционные идеалы были основательно деформированы и попорнены.

В конце войны Платонов написал рассказ «Афродита», в герое которого, Назаре Фомине, бесспорно отразились какие-то автобиографические черты. И можно вполне довериться искренности авторских характеристик: «Назар верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа». Оттого он, «как и его поколение людей», принял свою повседневную работу по электрификации и сооружению колодцев в степи «не как службу, но как смысл своего существования» — как «служение идее, ставшей влечением его сердца». Так уже в конце войны, вытерпев столь многое, не отрекался Платонов ни от своей юности, ни от юности своей страны, ни от ювенильного моря революции.

И Гроссман, даже в самой горькой своей повести «Все течет...», мучительно размышляя над деформациями революционного пути — о многих из которых предупреждал Платонов в своих романах тридцатых годов, — ничуть не колебался в признании гуманной силы подлинных революционных идеалов.

Тем более знаменательно, что, при всей не изменившей им вере в справедливость идеалов «одухотворенных людей» (так назывался один из военных рассказов А. Платонова), оба они с болью и тревогой вглядывались во все ширящийся разрыв между революционными идеалами и государством, между народом и государством, между человеком и государством, оба остро воспринимали посте-

¹ Шубин Л. Горят ли рукописи? — «Нева», 1988, № 5, с. 176.

пенное усиление Системы, захватившей исключительное право «думать за пролетариат», твердо и четко осознавали чуждость затвердевшей государственной системы подлинному народовластию.

Есть основания предположить, что Гроссман или еще при жизни Платонова, или с разрешения вдовы как председатель комиссии по его литературному наследию прочел и «Чевенгур», и «Котлован», и «Ювенильное море», и это сказалося на некоторых страницах «Жизни и судьбы» и послевоенных рассказов.

Для Платонова в конце 20-х годов целостный масштаб народной жизни еще измерялся судьбой его частных Макаров, Назаров и других строителей «котлована» в резком противоречии с теми, кто полагал, что «сочувствовать надо не приходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в лице государства». Но он иногда допускал разницу между бюрократией и государством (все-таки это был еще рубеж 30-х годов); для Гроссмана же в конце 50-х годов стала несомненной сама бюрократическая суть государства, которое из средства превратилось в цель. Даже народная победа в Сталинградской битве, как утверждал он в «Жизни и судьбе», окончательно закрепила торжество государства над народом.

Выражая вековые чаяния глубинных слоев народа, «праведность его духа», Платонов чаще и определеннее говорил — в духе русского народного правдоискательства — о социальной справедливости; в прозе зрелого Гроссмана твердо и бескомпромиссно звучит мысль о том, что «основной принцип жизни — свобода»: жизнь человека, жизнь общества, жизнь вообще невозможны без свободы. Но эти писательские приоритеты — *справедливость* и *свобода* — не только не противоречат друг другу, но и не осуществимы один без другого, ибо Гроссман имел в виду свободу для каждого, а не свободу для одних в ущерб другим. Платонов же говорил о справедливости, осуществляемой свободно, а не насаждаемой насильственно, по умозрению «государственных людей».

В конечном же счете и в справедливости и в свободе оба писателя видели не цель, а средство — средство приумножения неповторимости и ценности каждого человека.

Станным было появление у Платонова в 30-е годы рассказов «По небу полуночи» и «Мусорный ветер»: почему у такого насквозь русский писателя вдруг появились рассказы о фашистской Германии, особенно «Мусорный ветер» с его причудливым взаимопроникновением натуралистичности и ирреальности?

Горький, которому Платонов послал «Мусорный

ветер», ища поддержки, ответил с непривычной резкостью: «Рассказ ваш я прочитал, — он ошеломил меня. Пишете вы крепко и ярко, но этим еще более — в данном случае — подчеркивается и обнажается ирреальность содержания рассказа, а содержание граничит с мрачным бредом. Я думаю, что этот ваш рассказ едва ли может быть напечатан где-либо.

Сожалую, что не могу сказать ничего иного, и продолжаю ждать от вас произведения, более достойного вашего таланта. Привет А. Пешков»¹.

Но эти рассказы стилистически не выпадали из того «русского» словесно-образного мышления, которым были порождены «Чевенгур» и «Котлован». И сошедшая с ума, баюкающая двух своих уже мертвых детей бедная немецкая крестьянка так разительно напоминает многих русских героинь платоновских романов: «Глаза ее не моргали и смотрели в колыбель с долгой сосредоточенной грустью, ставшей уже равнодушной от своего терпения... и даже мозг ее из-под черепа рассосался по туловищу для поддержания сил, поэтому женщина жила сейчас без ума».

И эта сходная стилистика окрашивает изображение не только простого народа, а и сил, враждебных ему.

В начальных эпизодах «Мусорного ветра» Лихтенштейн («светлый камень», противоречащий «мусорному ветру») наблюдает, как устанавливают очередной бронзовый монумент вождю, и мысленно обращается к фюреру: «Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу (угрюмый бедный горб — каково сочетание! — А. Б.) точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию!.. Ты избрал новую профессию, где будет тяжело уставать миллионы людей»: то будет «труд по воодушевлению народа для создания твоей славы... Ты взял себе мою родину и дал каждому работу — носить твою славу...».

А на площади, где возводится монумент, висит лозунг: «Почитайте вождя германцев — мудрого, мужественного, великого Адольфа! Вечная слава Гитлеру!»

В рассказе же «По небу полуночи» Эрих Зуммер думает, проезжая по дороге на аэродром мимо концентрационного лагеря: заключенные там томятся за участие в улучшении жизни людей, «но тогда, следовательно, и само заточение людей, врагов фашизма, есть доказательство

¹ «Литературное наследство», т. 70. М. 1963, с. 315. Можно сравнить это письмо со словами М. А. Сулова в беседе с Гроссманом после ареста романа «Жизнь и судьба»: «Напечатать вашу книгу невозможно, и она не будет напечатана... Партия и народ не простят нам, если мы опубликуем вашу книгу... От вас ждут книг, подобных «Народ бессмертен» (цит. по публикации Д. Фельдмана «До и после ареста», «Литературная Россия», 1988, 11 ноября).

существования свободы в сердце и в мысли человека, и невольник представляет собою безмолвное обещание освобождения. Поэтому нынешняя неволя германского народа, может быть, есть лишь подготовка его близкой будущей свободы». А ведь рассказ был написан в начале 30-х годов!

Сейчас уже нам ясно, что в этих рассказах не аллюзии, не эзопов язык, а трагический крик боли о судьбе любого мыслящего человека в любом тоталитарном государстве, где «немые рабочие», на каждого из которых приходилось по десять человек государственной гвардии, работали в сто лошадиных сил, «обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников».

Вполне допускаю, что исступленность «Мусорного ветра» потрясла даже «рассудочного» Гроссмана и не без этого воздействия были написаны рассказы «Дорога» и «Тиргартен». У героя последнего рассказа, сторожа обезьянника в берлинском зверинце, убиты четверо детей — трое на фронте, а один в гитлеровском концлагере: неудивительно, что теперь у него словно мешаются мысли, и он путает людей и зверей: «Добрые, честные, славные бессловесные существа (вспомним «немых рабочих» в «Мусорном ветре». — А. Б.) стали обездоленными, а раса господ захватила в свои руки все лучшее, что есть в жизни. Если господам мешают или, наоборот, нужны какие-нибудь животные, они умертвляют их целыми народами... Животных убивают на скотобойнях в течение веков. И все же они всегда надеются. Даже те, кто перешел на сторону тюремщиков». Но ведь в этом «смешении» (животные, умертвляемые целыми народами или способные переходить на сторону тюремщиков) и открывается суть тотального насилия...

И уже совершенно свободным от любой стилевой «экспрессии» станет в диалогии, особенно в «Жизни и судьбе», тот осознанный и отшлифованный художественный прием, когда высказывания немцев о фашистском государстве находят в сознании читателя более или менее точное соответствие некоторым обстоятельствам жизни при сталинском устройстве социализма. Открытое, страстное и последовательное обнажение общих черт любого тоталитарного режима — особенно в «искусительных» тирадах Лисса — было, без сомнения, гражданским и художественным подвигом Гроссмана.

В статье «Судьба Платонова» Е. Евтушенко писал: «Каким образом Платонов понял еще в двадцатых все то, что наше общество только начинает уразумевать сейчас, да и то с большим скрипом? Это было таким же подвигом, как,

находясь внутри костра, анализировать горящий хворост и тех, кто его подбрасывает, да еще пожалев их за «святую простоту»¹.

То же можно сказать и о Гроссмани: и он увидел, находясь «внутри костра», многие явления, нашедшие свое воплощение в «Жизни и судьбе», «Все течет...», «Добро вам!». Это обостренное зрение было даровано им непреходящей и нескрываемой любовью к человеку.

Заманчива, но невозможна в рамках статьи попытка сопоставить на широком идейно-философском фоне роман «Чевенгур», повести «Котлован», «Ювенильное море» и последние работы Вас. Гроссмана: эпический роман «Жизнь и судьба», политический роман (поскольку у нас нет термина политическая повесть) «Все течет...», полный текст литературно-философских заметок «Добро вам!». Если эти произведения Платонова можно определить как романы-предупреждения, в которых писатель предвидел многие зачатки тягостных явлений, ныне именуемых на языке политических эвфемизмов деформациями социалистического строительства, то Гроссман создал книги-итоги, показавшие, в какой рост пошли и какой вид обрели эти «зачатки». Иллюзии народовластия, расхождение между идеалами и реальностью, социально-психологическая и социально-историческая предрешенность массовых репрессий, угасание свободы, справедливости, самосуществления личности — все это без труда обнаруживается в перекличке мотивов, ситуаций, авторских выводов в этих своего рода триптихах Платонова и Гроссмана.

Драматизм событий и революции и Великой Отечественной войны вызвал у обоих писателей ослепительную вспышку вопроса: что же есть существование людей?

Массовая гибель, уничтожение людей возвещают вроде обесценивание человеческой жизни (сравним жуткую символическую картину погрузки кулаков на плот, пущенный вниз по «снежной текущей реке», в «Котловане», и посещение Ершовым отца-спецпереселенца на Севере в «Жизни и судьбе»). Но массовый героизм, подъем духа во имя высоких идеалов — будь то Чагатаев или Вермо у Платонова, комиссар гражданской войны или боец-сталинградец Вавилов у Гроссмана — наоборот, утверждают великую ценность каждого человека. Этим реальным столкновением противоречий эпохи объясняются и интерес обоих писателей к участи человека, ввергнутого в революционный эксперимент, и их неиссякаемая вера в способность человека выдержать самые трудные испытания эпохи. Такая вера и воодушевила ведь Вас. Гроссмана

¹ «Советская культура», 1988, 20 августа.

на то, чтобы утвердить в диалогии: «В Сталинграде, где выяснилось, как хрупко и непрочно бытие человека, ценность человеческой личности обрисовалась во всей своей мощи», а Платонова в «Одухотворенных людях», бившихся в осажденном Севастополе, заметить: политрук Фильченко «представлял себе родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой».

И, наконец, без удивления перед силой и благом человеческого, без трогательного внимания к проявлениям человечности нельзя понять то направление их таланта, о котором писал в рецензии Гроссман: в тяжелых условиях жизни, когда, кажется, все человеческое в человеке должно погибнуть, А. Платонов обнаруживает в нем *чудо печали, доброты, поэзии, любви*.

А не этим ли не поддающимся единому определению *чудом* проникнута у Гроссмана вся история любви радистки Кати и Сережи Шапошникова, словно растворившихся в огненном море сражающегося Сталинграда? И не этим ли *чудом* побуждена прозрачно очеловеченная концовка «Дороги», где итальянский мул «доверчиво посмотрел в печальные глаза колхозной лошаденки, и его дыхание смешалось с ее теплым, добрым дыханием»?

Но едва ли не полнее всего выразилось это *чудо* в его эссе «Сикстинская мадонна».

В картине Рафаэля писатель обрел для себя выразительнейший символ: «Мадонна с младенцем на руках — человеческое в человеке, и в этом ее бессмертие». В молодой матери скрыта естественная, органическая сила жизни — подобно яблоне, родившей первое яблоко, или птице, выведшей первых птенцов,— всех, кто продолжает жизнь на земле. Оттого она смело протягивает ребенка судьбе, не прячет его. А хотя для каждой эпохи судьба человеческого в человеке неизменно имеет нечто общее — «она постоянно тяжела...», — эта органическая сила жизни помогает человечеству при всех его страданиях сохранить это чудо любви доброты и такое удивительное, присущее героям Платонова и позднего Гроссмана *чудо печали*.

Но столь частый в прозе Платонова и Гроссмана разговор о добре, доброте, органической силе жизни не уходит в абстрактные выси или сентиментальные низины, а всегда наполнен реальным социальным смыслом.

Маша из платоновского рассказа «Возвращение» («Семья Иванова») «была миловидна, проста душою и добра своими рабочими руками и здоровым молодым телом». А один из героев «Чевенгура» «прижался душой к советской власти и принял ее теплое, народное добро».

И для Вас. Гроссмана формула *добро сильнее зла*

было не просто названием очерка военных лет, а сущностью его мировоззрения: *добро* неизменно и твердо противостоит социальному *злу*, мешающему осуществиться ся человеческому в человеке.

А сколь многозначительно еще одно сопоставление.

В годы войны, размышляя А. Платонов, «насилие вместило злодейство внутрь человека, выжав оттуда его старую священную сущность, и человек предается делу зла сначала с отчаянием, а потом с верой и удовлетворением (чтобы не умереть от ужаса). Зло и добро теперь могут являться в одинаково вдохновенном, трогательном и прельщающем образе: в этом есть особое состояние нашего времени, которое прежде было и неосуществимо» («Седьмой человек»).

Сходные раздумья о добре и зле в годы войны сохранились и в романе «За правое дело» Гроссмана. Академик Чепыжин, в известной мере авторское эхо, жестко и прямо формулирует «закон квашни», согласно которому в кризисные моменты могут подниматься со дна души человека или нации таившиеся там злые силы, злые начала.

И здесь важно не столько «словесное облачение» этих мыслей, сколько само осознание войны как катализатора нестабильного соотношения добра и зла в человеке и человечестве.

Настоящие гуманисты, они оба были требовательны к человеку, а применительно к Гроссману мы вправе даже говорить о своеобразном этическом максимализме. Но эта нравственная требовательность всегда сочеталась у них с добротой к тем простым людям, которые самими условиями своего существования не подготовлены еще к развитому этическому сознанию.

В «Жизни и судьбе» Гроссман устами Иконникова возвестил: «...кроме грозного большого добра, существует житейская человеческая доброта... Это частная доброта отдельного человека к отдельному человеку, доброта без свидетелей, малая, без мысли. Ее можно назвать бессмысленной добротой. Доброта людей вне религиозного и общественного добра. Но задумаемся и увидим: бессмысленная, частная, случайная доброта вечна». Эти идеи станут затем и основой размышлений Гроссмана о дружбе людей разных национальностей, складывающейся в отношениях отдельного человека с отдельным человеком. Только такая дружба действительно прочна и надежна. Не эту ли идею исповедовал А. Платонов в «Джан»?

В свою очередь, для воззрений обоих писателей характерны слова о том, почему некоторые люди из племени джан, спасенного Чагатаевым от голодной смерти в пу-

стыне, снова разбрелись из благословенного оазиса: Чагатаев «хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать впервые истинную жизнь... но самим людям виднее, как им лучше быть».

Эта существеннейшая и для позднего Гроссмана идея — особенно отчетливо выраженная в «Добро вам!», где он размышляет о глубинных национальных взаимосвязях, — определила многие качества его художественной манеры: поскольку самим людям виднее, как им лучше быть, то дело писателя — не навязать, а подсказать, не расставить образцы, а представить причины и следствия, не звать к подражанию, а помочь уловить логику сцепления большого и малого.

Своеобразное сочетание непрременной требовательности к *главному* в человеке и мудрого, сердечного сочувствия к несовершенным пока условиям жизни людей определяет характер их человечности и манеру их письма.

Нет у обоих писателей праздничных сюжетов, и это связано не только с обстоятельствами их личной жизни, но и с тем очевидным фактом, что горе больше обнажает душу, ее скрытые силы, ее неутоленные желания. Но оба верят в простого человека, в конечную победу человеческого, никогда не замыкаются в отчаянии, столь заманчивом для страждущей души, но столь противоестественном для жизни.

Очень редко повышали они голос — оба были мудрыми, многое претерпевшими сами — и потому говорили «с терпеливой грустью», по словам А. Платонова, стремясь растревожить, пронять читателя именно этой душевной проникновенностью.

И не случайно привлек Гроссман в заметках «Добро вам!» образ старика молоканина, который, «говоря о плохих людях, о неправде, о клевете, о злобе людской, никого не осуждая, а лишь хмурясь, негромко произносил: «Это уж напрасно, это уж лишнее». Такое настроение во многом сходно с настроением самого Гроссмана: его поздние рассказы «Обвал», «Лось» не прямо осуждают, а вот так же «хмурясь» рассказывают об эгоизме и бездуховности.

И не так уж странно, что оба они, и Платонов и Гроссман, не приняли Хемингуэя, причем не приняли с некоторым вызовом, в годы массового увлечения его творчеством, — Платонов в 1938 году, Гроссман в 1960, когда во всех «интеллигентных» квартирах висел портрет бородатого Хэма.

Платонов писал: «Вот почему этику так часто Хемингуэй превращает в эстетику; ему кажется, что непосредственное, прямое, открытое изображение торжества

доброто или героического начала в людях и в их отношениях отдаёт сентиментализмом, некоторой вульгарностью, дурным вкусом, немужественной слабостью... Это хороший способ, но у него есть плохое качество: эстетика несёт в данном случае служебную, транспортную роль, забирает много художественных сил автора на самое себя, не превращая их обратно в этику»¹.

Гроссман вторил ему в рецензии на сборник платоновских рассказов: «Один из лучших современных писателей, Хемингуэй не сумел стать выше им же самим созданной манеры — изящной, чарующей, простой, но ограничивающей щедрость, плодородную силу его души, а значит, и силу его превосходного пера. Ведь случается, что сама простота становится манерой, средством, приемом, лампой театрального осветителя, а не дневным светом»².

Я высоко ценю сделанное Хемингуэем, не согласен с такими оценками его творчества, но не могу умолчать о них, поскольку они проливают свет на характер литературных пристрастий, литературных ориентиров двух крупных наших писателей-единомышленников.

Столь сильная во всей литературе XX века тенденция к субъективизации прозы обернулась у А. Платонова и В. Гроссмана насыщенным слиянием речи автора и персонажей — когда то ли авторская речь «настраивается» на манеру мышления и речи героя (даже если это анималистский рассказ «Дорога»), то ли речь героев приобретает черты авторской свободы и полноты выражения.

Близкие к своим героям, авторы часто передавали им свои мысли, не пугаясь даже «выходить из образа». «Любимые герои Платонова созданы по образу и подобию самого автора», — совсем неспроста заметил Гроссман в рецензии. Это повлекло, естественно, и изменение речевой характеристики героев: вместо «лексической» индивидуальности персонажа речь их героев определяется не столько оригинальной манерой высказывания, сколько оригинальным характером самой мысли. (Впрочем, об этом «секрете» платоновской манеры писали почти все его исследователи.)

Их вниманием к проблеме добра и зла и верой в то, что в каждом человеке можно пробудить человеческое, пусть оно еще и не развито в должной мере, обусловлено особое направление, которое Гроссман определил в своей рецензии, увидев в А. Платонове писателя «доброто, человеческого и, может быть, поэтому столь остросаркастическо-

¹ Платонов А. Размышления читателя. М., 1970, с. 165.

² «Литературная Россия», 1960, 6 июля.

го склада». И действительно, прочитав теперь «Котлован» и «Чевенгур», мы видим, насколько точно уловил Гроссман этот характер творческого дара — может быть, потому так точно, что ощущал его и в себе.

Саркастический склад — это совсем не сарказм как наиболее едкая, высшая форма сатиры (и Гроссман не имел в виду сатирическую прозу раннего Платонова); это особый художнический дар, усматривающий те болезненные зоны, которые мешают утверждению человеческого в человеке, не в свойствах или кознях отдельной «нетипичной» личности, а в самом жизнеустройстве, и потому дар свободный от лукавого утешения в разумности и легком совершенствовании всего сущего.

Но даже в самых горьких произведениях последнего периода жизни и Платонова и Гроссмана саркастичность возникала у них во имя человечности, а не от безвыходного пессимизма, да и рецензию о писателе «саркастического склада» Гроссман совсем не случайно назвал «Добрый талант».

При всей близости многих идей, образов, художнических тенденций перед нами конечно же не литературные близнецы. В их творчестве многое различно.

Легко увидеть различия и в литературных традициях, от которых они отправлялись, особенно в тридцатые годы. И в стилевой ткани: у Платонова слово богаче любого смысла, вложенного в него писателем, у Гроссмана оно, можно сказать, равновелико авторской задаче. И во времени наивысшего подъема творчества: если «пик» прозы Платонова приходится на рубеж 30-х годов, а затем писатель, не сломленный духовно, но столь решительно — и не раз! — подсеченный творчески, уже не смог, при всех частных успехах, поднимать те глыбы, которые поддавались ему ранее, то Гроссман обрел истинную мощь в конце пятидесятых — начале шестидесятых, уже после смерти Платонова.

Но, может быть, именно это хронологическое «несовпадение» и является наиболее примечательным, ибо знаменует собой истинное продолжение духовной традиции, когда главнейшую роль играет не прямое стилевое продолжение — да и не было у неповторимо самобытного Платонова прямого последователя, — а такое единство миросоздания, которое обуславливает пересечение кругов творчества в каких-то точках и тем сигнализирует о творческой общности. В таком истинном единении и заключена связь творчества Платонова и Гроссмана: не отношения учителя и ученика, первооткрывателя и последователя, а «локтевая» связь двух мастеров, укреплявших народную основу нашей литературы.

Не сразу пришел Гроссман к ясному осознанию того, что любые жизненные события и самые заманчивые философские умозаключения поверяются судьбой народа. Но, придя к этому, он уже как свой внутренний императив принял ту формулу писательского предназначения, которую он выразил в рецензии: «Платонов — писатель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, самых простых основах человеческого бытия».

Обоих писателей объединила вера в истинность идеалов революции, поиск смысла человеческого существования, мучительные раздумья над тем, что же произошло со страной и людьми, верившими в близкое торжество справедливости и свободы.

Взгляд

Из писательского архива

Взгляд

Мы предлагаем вниманию читателей страницы из дневников М. М. Пришвина 1930—1932 годов. Они по-новому открывают жизнь и творчество писателя, горячо, с гражданской страстностью переживавшего события в стране. Пришвин называл себя «комсомольцем XIX века»: студентом он участвовал в первых марксистских кружках, был арестован, сидел в тюрьме. Став писателем, еще до революции он отходит от политической борьбы.

408

Когда произошла революция, Пришвин встретил ее уже сложившимся писателем, вошедшим со своей философией в литературу начала века. Он не принимал того неизбежного разрушения, которое несла с собой революция. Но понимание исторической необходимости происшедшего дает писателю веру в правильность своего выбора — участвовать в созидании новой жизни.

Он пытается увидеть изнутри жизнь народа, проникнуться «народным сознанием», понять глубин-

ные истоки трагической судьбы Родины. Дневник мыслителя и художника слова стал летописью жизни России и размышлением о ней. Мысленно обращаясь к Блоку в 1918 году, он записывает: «Я обошел всю Русь, видел все страдания людей на Руси и разделил это страдание...» Это воистину житие интеллигента, пытавшегося связать свои гуманистические убеждения с реалиями новой жизни.

В советский период писатель продолжает разрабатывать те же темы, с которыми вошел в литературу еще до революции. Он записывает в дневнике: «Вы говорите — я поправел, там говорят — я полевел, а я, как верстовой столб, давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных и безумных, которым кажется, будто сама дорога, сама земля под ними бежит».

Пришвин не закрывал глаза на невозможную обстановку тех лет и на неразрешимые для честной мысли гражданские противоречия. Но для понимания его позиции как писателя чрезвычайно важна одна запись. Остро откликаясь на текущий политический момент, Пришвин вдруг останавливает себя: «Осторожно, Михаил, в тебе говорит борец, но не писатель». Своим призванием писатель считал помощь человеку в эти страшные годы испытаний и сохранение своей души. Среди классовой борьбы и ненависти он говорил о любви.

Вот почему главным героем в его творчестве был ребенок, рождающийся на свет, не ведающий зла, и тот «ребенок», который сохраняется, по слову Пришвина, в «неоскорбляемой части души человека». К нему обращены его горячее сердце и жалость.

Когда будет опубликован весь «социальный» дневник писателя, станет понятно его «безобидное» творчество, которое несло свет и радость людям: понимание же совершающейся трагедии, всю боль человека и художника он оставлял «для себя».

Наша задача в новом времени: с родственным вниманием подойти к творчеству писателя, снять ярлыки и штампы, рожденные недалеким, «элементарным», а подчас и враждебным взглядом критики. Увидеть значимость и единственность художника, призванного творить будущий мир в его разнообразии и неповторимости.

Текст дневников сверен по рукописному автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ.

Л. РЯЗАНОВА

Из дневников 1930—1932 годов

1930 год

6 января. Сочельник. Со вчерашнего дня оттепель после метели. Верующим к Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. Набралось множество мальчишек. Вышел дефективный человек и сказал речь против Христа. Уличные мальчишки радовались, смеялись, верующие молчали: им было страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь их зависит от кооперативов, перестанут хлеб выдавать — и крышка! После речи своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. Верующие и кое-какие старинные: Тарасиха¹ и другие, — молчали. И так вышло, что верующие люди оставили себя сами без Рождества и церковь закрыли. Сердца больные, животы голодные, и постоянная мысль в голове: рано или поздно погонят в коллектив.

16 января. Сколько лучших сил было истрачено

¹ Евдокия Тарасовна — жена бывшего преподавателя Московского университета, литератора и издателя до революции А. А. Александрова (1861—1930).

за 12 лет борьбы по охране исторических памятников, и вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых организованных личностей.

24 января. Иной совестливый человек ныне содрогается от мысли, которая навязывается ему теперь повседневно: что самое невероятное преступление, ложь, обманы самые наглые, систематическое насилие над личностью человека, — все это может не только оставаться безнаказанным, но даже быть неплохим рычагом истории, будущего.

Если принять, что в мире людям в среднем живется во все времена ни лучше ни хуже, то спрашивается: что же хорошее, какая связь ставится у людей на место родственной?

У нас это была «идея» (идейные люди всегда были против родства, оттого и забыла интеллигенция слова, означающие родство). «Идея» — 1) «хочу все знать» (то есть вместо религии — наука), 2) социализм.

Вот теперь только «идея» наконец-то стала острием к острию, к тому скрытому для большинства чисто родовому строю крестьян (Род и Коллектив).

6 февраля (...) Долго не понимал значения ожесточенной травли «кулаков» и ненависти к ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их достояние. Теперь только ясно понял причину злости: все они даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которыми до сих пор, через 12 лет, мы живем в значительной степени. Все эти люди, достигая своего, не знали счета рабочим часам своего дня. И так работают все организаторы производства в стране. Ныне работают все по часам, а без часов, не помня живота своего, не за страх, а за совесть, только очень немногие.

В деревне настоящая всеобщая отравка, последнее разложение...

18 февраля. В среду из Москвы в Питер, в понедельник в Москву.

Воронскому¹ снова хорошо, потому что он ограничивает себя литературой. «А как вам было, — спросил я, — когда вы служили?» — «Там очень отвлеченно, — ответил он, — не по мне...» А может быть, это у него при-

¹ Воронский А. К. (1884—1943) — литературный критик, публицист и писатель, редактор первого советского литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь». В нем Пришвин публиковал свои первые произведения советского периода.

родный семинарский оптимизм, культивированный литературно-политической богемой? Интересно его замечание, что ГПУ собрало в себя все талантливое, причина этому, во-первых, что оно бесконтрольное.

Алеша Толстой¹, предвидя события, устраивается: собирается ехать в колхозы, берет квартиру в коллективе и т. п. вслед за ним и Шишков. Замятин дергается... Петров-Водкин болеет... Чтение «Погорельщины»².

24 февраля (...) На Неглинном у черного входа в Мосторг всегда стоят ломовики: одни привозят, другие увозят товары. В одной фуре малый, чем-то расстроенный, взлезал по каким-то невидимым мне товарам, вероятно очень неустойчивым: то взлезет, то провалится, грозитя кому-то кулаком и ругается матерным словом. Я заглянул в сучок боковой доски огромной фуры, чтобы увидеть, какие же это были неустойчивые товары, и увидел множество бронзовых голов Ленина, по которым рабочий взбирался наверх и проваливался. Это были те самые головы, которые стоят в каждом волисполкоме, их отливают в Москве и тысячами рассылают по стране.

Выйдя на Кузнецкий, сжатый плотно толпой, я думал про себя: «В каком отношении живая голова Ленина находится к этим медно-болванным, что бы он подумал, если бы при жизни его пророческим видением предстала подвода с сотней медно-болванных его голов, по которым ходит рабочий и ругается на кого-то матерным словом?»

3 марта. Шалуны государственные постановили обработать общество перед раскулачиванием: эффекты сбрасывания колоколов, разгрома церквей, музеев³. В ответ на эти шалости некоторые люди молились Богу!

Поражает наглая ложь. (Умные лгут, глупые верят.) Пишут, будто как коллективизация, так и раскулачивание происходили сами. Это совершенно то же самое, что в 18 г. «грабь награбленное»: кто-то разрешил грабить, а потом грабеж сам пошел и стал народным. Такого рода «успехи» кружат голову. Кончается тем, что центральная власть отнимает «самость» у движения и винит во всем разгулявшихся товарищей (легкую кавалерию).

¹ Имеется в виду А. Н. Толстой.

² Речь идет о поэме Клюева Н. А. (1887—1937), которая была написана в 1928 году. Первые опубликована полностью в журнале «Новый мир» (1987, № 7).

³ В это время в Троице-Сергиевой лавре были сброшены, разбиты и отправлены на переплавку несколько древнейших колоколов гоудуновской эпохи. Пришвин вел ежедневные записи и фотосъемку всего, что происходило вокруг в момент гибели колоколов. Эти материалы готовятся к публикации.

5 марта. В деревне сталинская статья «Головокружение» как бомба разорвалась. Оказалось, что принуждения нет, — вот что! Дом, корова, птица, огород не подлежат коллективизации! Гнули в три дуги. Председатель Кузнецов прямо говорил: «Вас надо стричь» (в Соловки высылать). Грозили прямо: «Не пойдете в коллектив — заморим: корки не дадим!» И вдруг нате: «У нас не полагается принуждения, изба, корова, огород не подлежат...»

7 марта. Манифест Сталина вызвал бурю радости у мужиков, но интеллигенция расценила его как искусный прием, сдерживающий прорыв гнилого нарыва. Черноотенцы недовольны, либералы равнодушны.

Теперь вслед за большевиками все понимают, думаю, что кончиться должно непременно войной: в течение 12 лет большевики заставляли этому поверить. Весь вопрос, когда мы хлебнем эту, верно уж, и последнюю для нас чашу горя...

16 марта. А. Н. Тихонов¹ (я говорю о нем, потому что он Базаров² — имя им легион) все неразумное в политике презрительно называет «головотяпством». Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой», — ответил Каменев.

Теперь то же самое, все ужасающие преступления этой зимы относят не к руководителям политики, а к «головотяпам». А такие люди, как Тихонов, Базаров, Горький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей... Для них, высших бар марксизма, головотяпами являются уже и Сталины... Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства».

Они презирают правительство, но сидят около него и другого ничего не желают. Вот Есенин повесился

¹ Тихонов А. Н. (псевдоним — Серебров; 1880—1956) — литературный деятель, сотрудничал с М. Горьким, заведовал издательством «Всемирная литература».

² Базаров (псевдоним Руднева В. А.; 1874—1936) — философ и экономист, социал-демократ, во время революции 1905 г. примыкал к большевикам; после 1907 г. отошел от большевизма, пропагандировал богостроительство, эмпириокритицизм.

и тем спас многих поэтов: стали бояться их трогать. Предложи этим разумникам вместе сгореть, как в старину за веру горели русские люди. «За что же гореть? — спросят они. — Все принципы у нас очень хорошие, желать больше нечего: разве сам по себе коллективизм плох или не нужна стране индустриализация? Защита материнства, детства, бедности — разве все это плохо? За что гореть?»

Вероятно, так было и в эпоху Никона: исправление богослужебных книг было вполне разумно, но в то же время под предлогом общего лика разумности происходила подмена внутреннего существа. Принципа, за который стоять, как и в наше время, не было — схватились за двуперстие и за это горели. Значит, не в принципе дело, а в том, что веры нет: интеллигенция уже погорела.

30 марта. Враги большевиков при «левом загибе» страшно радовались. Теперь большевики отступили, и у них уныние. Так крыло левое и крыло правое касаются друг друга: (франц.: противоположности сходятся), очень яркий пример. А я? Нет, я не с правыми... И ненавижу левых. На одной стороне мундир и полиция, на другой — хамская наглость. <...>

2 апреля. Снегу навалило больше, чем зимой. Читаю Робинзона и чувствую себя в СССР как Робинзон. Это свойство всех крупных произведений — передавать мысль на себя. Так что бывает недоумение: что это, автор открыл твои глаза на твою вечную, присущую всем черту, или же так пришлось, что избранные автором черты жизни как раз были твоей особенностью?

Думаю, что очень много людей в СССР живут Робинзонами, что только тому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов.

[На полях:] Сталину:

«Среди ограбленной России
Живу, бессильный властелин».

414

И вот размышляешь в своей пещере, задавая главный вопрос: есть ли наша революция звено мировой культуры или же это наша болезнь?

Если это наша болезнь, то болезнь, как, например, сифилис, полученная извне случайно, или же болезнь как следствие своей похоти. Или это болезнь роста, вроде юношеской неврастении.

— Я хочу думать, что это у нас болезнь роста, и, значит, например, явление Сталина с его «левым загибом» — неизбежно было: что-то вроде возвратного тифа.

Пойму (хотя не разделяю), если поставят вопрос: «Идея или народ?», но, конечно, это болезнь, если ставят, как у нас, — «Машины или народ?».

Теперь, когда на базарах опять яйца и масло, пасмурен ходит творец великой формулы «машины вместо народа», он понимает этот поток яиц и масла в сторону потребления граждан как огромный убыток государству, ведь все это должно бы уйти за границу на уплату долга за машины. <...>

9 апреля. <...> Может быть, Сталин и гениальный человек и ломает страну не плоше Петра, но я понимаю людей лично: бить их массами, не разбирая правых от виноватых, — как это можно!

А впрочем, тут есть еще вот что: я, как многие, вероятно, переживаю и думаю: «Я погожу в стороне, а оно само собой перейдет как-нибудь к лучшему». Между тем без меня оно к лучшему не переходит, и вот почему боль, и так хочется кого-то обвинить. С другой стороны, это уже последнее разложение воли, когда человек доходит до самообвинения...

3 мая. Читаю К. Леонтьева¹. Самое худшее его предчувствие сбылось, и мрачные пророчества осуществились. Настоящая действительность: «Не хотели чтить царя, чтите... Сталина. Сброшена царская мантия, и трон и сам царь расстреляны, но необходимость царя осталась: в дыру клеп забили, и корабль хотя и плохо идет, но все-таки на воде держится».

К. Леонтьев — смелая, героическая натура, но... можно было предвидеть и сам он предвидел, что из всего его дела выйдет лишь жест.

В наше время правительство обладает теми кадрами, которых не было при царе: фанатически преданной ему молодежи. Вот почему троцкизм, воронизм, перевальцы должны сойти на нет: это прежние либералы.

6 мая. Продолжаются майские холода. Был в Москве. Дело с налогом фукнуло. Виделся с Лидиным² — это мой термометр. Жена у него ослепла (вот бедный! первая жена умерла в родах, вторая, сестра ее, — ослепла). В пессимизме он ужасном, но едва ли от семейного горя. Булгаков пришел — в таком же состоянии. Казин³ — тоже. Предказывают, что писателям будет предложено своими книгами (написанными) доказать свою полезность Советской власти. Очень уж глупо! Но как характерно для времени: о чем думает писатель!

Купил «Записки писателя» Лундберга⁴. Вот писа-

¹ Леонтьев К. Н. (1831—1891) — русский писатель и критик, представитель позднего славянофильства.

² Лидин В. Г. (1894—1979) — писатель.

³ Казин В. В. (1898—1981) — поэт, писал стихи, воспевавшие поэзию труда, строительство новой жизни.

⁴ Речь идет о книге советского писателя и критика Е. Г. Лундберга (1887—1965) «Записки писателя» (т. 1—2, 1930).

тель: умный, образованный, честный и не безвкусный, но... по-видимому, претензия на ум все убивает. Книги его, однако, наводят на мысли начать свои мемуары.

Не было еще случая, чтобы мне отказывали в журналах, но больше уже и не просят. Самое же главное, что сам чувствуешь: ненужный это товар, всякая инициатива глохнет. И так, или мемуары, или экзотика. (...)

15 мая. Дождливый день и прошел бестолково, если не считать разговор с Н., в некотором отношении интересным. Первое: выяснилось, что от рабочих масс к правительству исходит некая сила, все обезличивающая на своем пути, вплоть до главы правительства, который всегда может быть заменен другим, совершенно равным ему.

Второе: существуют лица у нас везде и всюду, столь убежденные, что никакая сила не может остановить их. Мой собеседник, думая о них, сказал: «А социализм у нас растет». После он оговорился: «Я не знаю, впрочем, социализм ли из этого выйдет». — «Может быть, фашизм?» — спросил я. «Может быть».

К этому еще одно о Н. Силясь вдуматься и понять события, он не понял их за все 12 лет только потому, что втайне, как высоко поставивший себя, презирал большевиков.

Н. считал их просто случайностью и потому временным затмением невежественного народа. Никогда он не мог про себя ставить народных комиссаров в уровень с императорскими министрами. Короче сказать, события не были для него универсальными, а мелкими, временными, вроде китайских бунтов и замираний. После 12 лет у него наконец открылись глаза: события были универсальными, стоящими как огромный и страшный «русский вопрос» перед всем миром.

30—31 мая провел в зооферме.

1 июня утром вернулся домой, приехал Разумник¹. И был у меня до 4 июня.

4 июня. Проводил Раз-ка. В 4 еду в Москву на диспут о «Калаяевке».

«Сахар на базаре 3 руб. кило, и в киле фунт».

Расстались с Разумником с такой резолюцией: какая-то слабая надежда, что пересидишь, все еще есть, и сдаваться нельзя: будем работать над «собоями». Но не мешает также начинать собираться в последний путь, укладываться, чтобы не кончить жизнь подзаборной собакой. Разумник говорил, что слышал от человека, кото-

¹ Речь идет об известном до революции литературоведе и критике Р. В. Иванове-Разумнике (1878—1946), с которым у писателя сохранились долгие годы дружественные отношения.

рый слышал речь Семашко выпуску врачей: «Врачи должны держаться классовой морали и не лечить кулаков!»

«А что, если больной страдает заразной болезнью?» — «Изолировать». Значит, если не лечить и изолировать...

5 июня. Написал о диспуте.

Отец отечества, Семашко, снова на склоне лет вмешался в мою жизнь. Люди искусства могут жить, не занимаясь политикой: она им не нужна. Но политика только во время войны обходится без искусства: им необходимо оно для славы (после войны). Художник не судит политиков, он испытывает на себе их действие, кричит от боли, редко радуется. Но политик непременно считает себя понимающим в искусстве и судит. Художник часто в несчастном положении от политики, политика — в глупом от художника.

Семашко закончил:

— А насчет аполитичности художника, то об этом мы поговорим (1 нрзб.)¹ с глазу на глаз. Товарищи! Не может быть художника без политики.

3 июля. Возможно, и, вероятно, нельзя отрицать этого, что классы в нашем обществе существуют и что классовая борьба неизбежна. И еще больше допускаю: надо не отказываться и самому от этой борьбы и, если тронет за жилу, хватать что есть под рукой и швыряться. Но жизнь в интимном мире, в творчестве, в семье, среди друзей и просто частных людей, вступающих с тобой в бескорыстные, скажем, праздничные отношения, — в этом мире всего мира надо жить так, будто никаких классов нет в обществе, люди все равны, все достойны беседы с тобой, открывая для всех двери своей хижины — и тоже сам смело иди к мудрецу и простецу за советом и радостно, не обращая ни малейшего внимания на его происхождение и его классовое самосознание.

Скажи я эти слова до революции, они бы казались обращенными к гимназистам 3-го или 4-го класса — до того уж мораль эта была общепринята. Теперь же мои слова нигде не напечатают и ожесточенно будут ругать как отрыжку мещанской морали.

Слезы и кровь в наше время, как две большие реки, бегут и почему-то, видимо, так надо, до конца должны бежать, и если родники слез и крови станут иссякать, то ты стань коленкой на живое — и еще много выжметя.

Почти прямо так и говорят и сестер милосердия наставляют классовых врагов лечить во вторую очередь, и

¹ Одно слово разобрать не удалось. Здесь и далее так отмечены те места в тексте, которые мы не смогли прочитать.

маленьких детей ненавидеть родителей и предавать их как классовых врагов. Воевать хорошо и нажимать коленкой на павших, но выстроить что-нибудь с такой моралью нельзя и, я думаю, продолжать жизнь людей на земле невозможно. (В твою комнату входит этот человек, будто бы новый, как друг, удивляется твоим словам, восхищается, а потом предаёт тебя, заявляя с поднятой вверх головой, что для партии нет ничего частного, все частное есть общее.)

Все стало по-разумному, и даже простые рабочие стали говорить не «грецкий орех», как раньше, а «греческий».

Заключительное слово Сталина: «И ничего — живем».

4 июля. Заключительная речь Сталина очень верная: и что Рыков и др., как и все мы, «обыватели», ждем весну и осень из года в год в надежде, что вот эта весна, эта осень наконец-то освободят нас от Маркса. И то верно, что правый уклон — это возвращение к капитализму. И верно, что узкий путь «генеральной линии» — единственный, по которому революция может двигаться вперед: это путь личной диктатуры и войны. Можно думать, что личная диктатура должна завершить революцию неизбежно, потому что как из множеств партий у нас после падения царизма в конце концов взяла верх одна и уничтожила все другие — так точно и внутри партии происходит отбор личностей, исключаяющий одного, другого до тех пор, пока не останется личность одна. Теперь это Сталин, человек действительно стальной. Весь ужас этой зимы, реки крови и слез, он представил на съезде как появление некого таракана, которого испугался человек в футляре. Таракан был раздавлен. «И ничего — живем!» (Оглушительные, не-смолкаемые аплодисменты.)

Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе. Мистика погубила царя Николая II, словесность погубила Керенского, литературность — Троцкого. Этот гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. И так нужно, потому что наступает время военного действия. Надо и самому еще упроститься, сбросить с себя последние, без проверки живущие во мне или, вернее, висящие, как одежда, наследственные убеждения. Один из таких *idola*, конечно, война. Что может быть фальшивее и противоречивее того, что давали нам под этим понятием:

священник в гимназии доказывал, что в жизни людей убивать нельзя, а на войне можно; дома в семье над этим все старшие издевались; Толстой войну запрещал; социалисты шли войной против войны...

Вот теперь только чуть мерещится истинное значение войны как испытания групповой мощи...

При чтении фельетона Радека.

У этих очень развязных людей все строится исходящим от абсолютной истины, что последний шаг истории мира находится в СССР, что, например, Америка, Англия — все это очень отсталые государства в сравнении с нами. Так мыслит «парт-человек», в то время как обыкновенный трудящийся, «спец-человек», никак это не может понять: столяр ищет и (2 нрзб.) стали для рубанка, фотограф (1 нрзб.), писатель — бумаги, мать — ситца на рубашку ребенку, ребенок — конфетку, ведь ничего-ничего нет!

8 июля. Вчера меня задела статья в «Новом мире», где автор осуждает «Перевал»¹ и меня упоминает, переминая с мальчишками, притом еще так, что мальчишку поставит на первое место, а меня на десятое. Но самое главное, что статья бьет в «биологизм», в «детство», — ничего этого, мол, не надо, все это отсталость, реакция, а нужен «антропологизм».

Сама по себе статья, конечно, ничего не сделает, но «ахиллесову пяту» обнажает, следующий ударит в пяту, и связь моя с обществом прекратится. До сих пор я относился к непризнанию себя так, что «наплевать», но это «наплевать», оказывается, было при наличии фактического признания: печатают, заывают и проч. Открывается перспектива очутиться за бортом и таким образом утратить всякую связь с действительностью, быть действительно непризнанным...

Трудно представить себе что-нибудь более гнусное, чем речь прол. писателя Киришона² на съезде, но тем хорошо, что заставляет задуматься о других крайностях: почему, например, издевается автор статьи «социалист. города» над материнским чувством? Почему «детство», «любовь» и т. п., например, почитание стариков, отца и матери —

¹ Одна из многих существовавших тогда литературных групп, основанная в 1924 г. А. Воронским при журнале «Красная новь», «Перевал» отстаивал преемственность с русской и мировой классической литературой, выступал против схематизма и «бескрылого бытовизма» в литературе, против грубого и бестактного отношения критики к писателям. Имеется в виду статья Арк. Глаголева «О художественном лице «Перевала» («Новый мир», 1930, № 5).

² Киришон В. М. (1902—1938) — драматург, один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП).

все это запрещено у нас. Не остается больше никакого сомнения, что невежды, негодяи и т. п. не сами по себе это делают, а в соподчиненности духу социальной революции, что все люди, Сталин даже, не знают, что делают, и их сознание является действительно не знанием, а одержимостью.

Так создается пчелиное государство, в котором любовь, материнство и т. п. питомники индивидуальности мешают коммунистическому труду. Стоит только стать на эту точку зрения, и тогда все «изуверства» партии становятся целесообразными и необходимыми действиями.

10 июля. Совершенно ничего не делаю. Становится явным невозможность дальше писать о своем: только производственный очерк, только наблюдение, а мне все это надоело... И еще не хватает сил, чтобы перестроиться на писание не печатаемого в настоящем.

К. Леонтьев где-то говорит, что пессимизм или неверие в будущее благополучие человечества обыкновенно сопровождается оптимизмом в частных делах, в личных отношениях вообще, в повседневной жизни, наоборот, люди, воодушевленные идеей спасения человечества, жестоки (я бы сказал: по невниманию) к текущей жизни, часто бывают истинными мучителями своего ближнего. Это очень верно и близко мне: в свое время я был именно таким спасителем человечества, оптимистом извне и пессимистом, бессильным и ненужным человеком внутри слов и внешних действий.

Наоборот, не только разуверившись, но даже просто отстранив от себя как невозможность и ненужность спасение человечества, я стал счастливым обладателем жизни самой по себе и для других ценным человеком как писатель. Воистину на своей шкуре все испытал! К сожалению, только это обретение счастья, через находку самого себя, не повлияло на спасителей человечества, не умолило, не остановило их. Напротив, вот теперь от их действий спасения я теряю себя и не могу больше писать. И так должно быть, потому что «я сам» и мой талант жизненны, биологичны и от спасения человечества («антропологизм»), как всякая жизнь, должны погибнуть рано или поздно.

Внешний пессимизм и внутренний, повседневный оптимизм характерны для женщины, тогда как спасение человечества, идейная, общественная жизнь — это мужское «дело». И вот характерно, что теперь при победе мужского начала, «идеи», «дела» с особенной ненавистью революция устремила в дело разрушения женственного мира, любви, материнства.

Революция наша как-то без посредства теорий нащупала в этом женственном мире истоки различимости

людей между собой и вместе с тем, конечно, и собственности, и таланта. Революция создает женщину колхоза, которая отличается от рабочего-мужчины только тем, что имеет свободных четыре месяца: два перед родами и два после родов. И нет никакого сомнения в том, что в дальнейшем рационализация половых отношений доберется до полного регулирования процесса зачатия и рождения рабочего человека, как это происходит у пчел. Мы себе это не можем представить, потому что мы выросли в «буржуазном обществе» и думаем, что вавилонская башня рухнет непременно.

Говорят, однако, будто европейцы сговорились не трогать нас и дать возможность продолжить свой опыт для примера социалистам всего мира. Допустим же, что мы так и будем долго-долго с ворчанием и злобой идти по генеральной линии: так мало-помалу мы, все ворчуны, перемрем и вырастут настоящие пролетарии, у которых будет новое против нас чувство... Это, конечно, матери воспитывали у нас чувство собственности, которое и было краеугольным камнем всей общественности; с утратой матери новый человек трансформирует это чувство в иное: это будет чувство генеральности линии руководящей партии, из которого будет вытекать следствие — способность к неслыханному для нас рабочему повиновению — и которое, как прямое следствие из первого, — неслыханная, безропотная рабочеспособность. В зачаточном состоянии мы и сейчас можем наблюдать проявление этих чувств, именно это и входит в состав той веры, которая окрашивала слова и поступки пролетарских деятелей. <...>

К. Леонтьев: «Только созданное для себя и по-своему может послужить и другим».

Вот образец прежнего мироощущения!

У него же можно найти бесчисленные издевательства над «религией человечества». К сожалению, он не допускает осуществления. Несерьезно. Надо отгнестись без раздражения... с уважением...

11 июля. Из Москвы приехал измученным и голодным. Самое ужасное для меня — это очереди. С утра часа за два до открытия магазинов стоят перед закрытыми дверями очереди «охотников». Эти кадры, вероятно, состоят из тех служащих, которые пользуются своим выходным днем для покупки чего-нибудь, все равно чего, всякий товар в отношении наших падающих в ценности денег — валюта. <...>

18 июля. Вернулась во всей красе пора военного коммунизма. В борьбе с кулаками встает не социалистический, а казенный против частной организации произвол. <...>

Политпросвет.

В нашем большевистском социализме не то страшно, что голодно и дают делать не свое дело, а что нет человеку сокровенного мира, куда он может уходить, сделав то, что требуется обществом. На этом и попадались те усердные старатели из интеллигенции, истинные «попутчики», которые легкомысленно пользовались давно пережитым (1 нрзб.) тех рабов, которые в прежнее время выслуживались и получали грамоту вольности. Они того не разумели, что против того темного времени рабства социализм далеко ушел вперед и обладает какой-то малопонятной способностью видеть раба насквозь.

Попутчики этого не учли и, после того как отдали свои силы, были просвечены и грамоту вольности не получили.

Политпросвет.

О просвечивании. Этот ничтожнейший человек — политвошь, наполнявший всю страну в своей совокупности, и представляет тот аппарат, которым просвечивают всякую личность.

Б., в сущности, стоит на старой психологии раба, конечно утонченнейшего: он очень искусно закрывается усердной работой, притом без всякой затраты своей личности: это не выслуга. Конечно, он в постоянной тревоге, чтобы его не просветили, и в этой тревоге заключается трата себя, расход: легко дойти до мании преследования, тут весь расчет в отсрочке с надеждой, что когда-нибудь кончится «господство зла».

Я спасаюсь иначе. Мне хочется добраться до таких ценностей, которые стоят вне фашизма и коммунизма, с высоты этих ценностей, из которых складывается творческая жизнь, я стараюсь разглядеть путь коммунизма и, где только возможно, указать на творчество, потому что если даже коммунизм есть организация зла, то есть же где-то, наверно, в этом зле проток и к добру: непременно же в процессе творчества зло переходит в добро. Дело в том, что у меня есть общие корни с революцией, я понимаю всю шпану, потому что я сам был шпаной... И я потому смотрю на их движение по меньшей мере снисходительно... Иногда мне даже кажется, что, по существу, бояться мне нечего и если бы пришлось в открытую биться за революцию, то враги бы мои отступили.

27 июля. На днях приходил Якут¹, говорил, что в эти дни чуть-чуть не лег под поезд. «Мне что,— говорил он,— ведь я в Бога совершенно не верую». — «Семина-

¹ Лицо не установлено.

рист, — ответил я, — семинария поставляла кадры безбожников». — «А разве вы-то веруете?» — спросил он. «Верую или не верую? — сказал я. — К сожалению, не могу ответить на постоянное: то верую, то не верую; в прежнее время, когда все носились с богоискательством, я сказал бы, пожалуй, не верую, а теперь, во время гонений, отвечу: «Верую, Господи, помоги моему неверию».

30 июля. <...> В вагоне старуха из благородных в старомодной шляпке отодвинула мешки и села к окну. Пришел рабочий, хозяин места, принялся ее ругать, да как! Вступилась одна женщина: «Ну, раз сказал, не ругаться же час!» Так на эту женщину весь вагон накинулся за то, что она до сих пор находится в «их» услужении. Вот! Конечно, каждый из них ругает современную голодную жизнь, а когда основного коснется, социального самолюбия, все за революцию. Этим и держится власть: массы не идут против, чтобы не упустить революцию.

28 августа. Те сравнительно редкие дни, когда тоска моя так мало отличается от головной боли, что подумываешь — не принять ли пирамидон, — я знаю одно средство: выпить. Боюсь одного — привыкнуть, попасть в самое омерзительное рабство — и не держу вина.

2 сентября. ...Думал об удивительном идеализме всего русского народа до революции, идеализм высших и готовность простых (что тоже, по существу, идеализм). Просто, как сон! И правда, то был сон...

...Психология человека, который верен революции и побеждает всех ее явных и тайных врагов: массы — это пасть, в которую нужно бросать векселя на «хорошую жизнь»; надо сбрасывать этот балласт, чтобы дальше лететь в будущее; часто в угоду спасению приходится жертвовать лучшим из настоящего — гибель интеллигенции (рабочим выдать конфеты в буквальном смысле).

4 сентября. Вычитал у Арсеньева¹, что староверы называют переселенческую мелочь с ее слабостью и развратом «шуга». У нас в деревне только один не «шуга» — Качалов. По случаю дождя все сидят, не работают, а у него гумно крыто, и он молотит, а когда начнутся ясные дни, он будет картошку копать, а «шуга» овес дожинать; и так он всегда впереди и ежедневно, он даже на работу выходит первый. (Я сказал сегодня дома: «Представьте себе, что в Германии все такие в деревне, как наш Качалов».) Между тем человек он немудрящий, когда начнешь с ним говорить, то стыдно за него становится: до того он, такой значительный в труде, такой рослый и крепкий, начинает вывер-

¹ Арсеньев В. К. (1872—1936) — этнограф и писатель, автор книги «По Уссурийскому краю».

тивать неприятно по-городскому свое слово и мысль. В общественной жизни он мало годится руководителем: «уедчив» — говорят о нем. Но все прощается ему за его красивый труд, и (хотя он считается кулаком) чувствуешь, что такой человек все-таки гораздо ближе к социализму, чем «шуга» (социализм — в смысле поэзии — может быть религией творческого труда).

А литературная «шуга»?

5 сентября. Вот еще одни сутки сплошного дождя. Говорят, что в Зимняке вода Дубка идет через шоссе и что вообще настоящее наводнение. Притом еще холодное...

На днях приступят к рубке Власовской дачи (45 гект.) Лес не доспел, еще бы 25 лет — и ценность его, вероятно, удвоилась бы, а может быть, и утроилась. В прежнее время за такую рубку лесника отдали бы под суд. На это есть возражение — что машина ценится у нас, как создательница валюты, и за это можно отдавать неспелый лес. Следующее возражение гораздо труднее опровергнуть: население нищает, морально разлагается.

«Новый мир» представленную в июле «Зооферму» предлагает напечатать в январе.

Хлебнул чувство своей ненужности и в «Новом мире», и вообще в мире современной литературы: видимо, все идет против меня и моего «биологизма». Надо временно отступить в детскую, вообще в спецлитературу, потому что оно и правда: или все на ликвидацию «прорывов», или художественная литература.

На почве распада и неверия в Европе создалась наивная большевистская вера в России — в индустриализацию.

Меня оттирают из «Нового мира», как оттерли из охотничьей газеты, расчихали окуня. И вот оказывается, что мне это очень неприятно — остаться без почета, вот уже не знал-то! И как же я мал еще... Не городские маски и пустынька деревенская спасут меня от болезненного чувства, похожего на магнит преследования, а увлечение какой-нибудь новой работой.

6 сентября. О литературной «шуге».

Мое самоопределение начинается стыдом за их самоуверенность.

Самостыд начинает мое самоопределение, после чего чрезвычайно робко, с постоянным дрожанием и колебанием всего себя, начинаю действовать, опираясь не то на свое счастье, не то на судьбу, провидение и, может быть, прямо на волю Божию. Их, напротив, жизнь прямо в сыром виде берет в лапы, по молодости им даже в голову не приходит, вероятно, «быть или не быть», конечно, быть, а если

быть, то надо решить и действовать немедленно в том образе, в коем застало требование жизни. Им некогда стыдиться себя, колебаться и дрожать; свой естественный самостыд они закрывают самоуверенностью и неслыханной в наше время претензией. И нам кажется, что в литературу надвинулась ветром как бы «шуга»...

Если пятилетка удастся, то ценою окончательного расстройтва жизни миллионов. Таким образом, мы все как бы в атаке, и нет возможности никакой думать, что уцелеешь: как случай может быть, что уцелеешь... Так опять получается «слепая Голгофа», о которой писал я во время великой войны.

10 сентября. Последние дни мне возвращается такая мысль: будто бы жил я на планете Земля, и мне казалось, что я жил сам собой, от себя, пусть выходило — для других, но это «для других», мне казалось, я беру только от себя. И вот я на другой планете какой-то, где все чужие мне, и вдруг оказывается, что и от себя, и для себя — все исчезло, оказывается, я не сам собой питался, а нечувствительно для себя получал побуждение и веру в себя от других...

Становлюсь на «их» точку зрения и тогда начинаю понимать, что «биологизм» в литературе действительно вреден, хотя бы по тому одному, что ведь это «я и мир», а надо «я и человек», и даже не это, а прямо мы — масса.

С другой стороны, этот «человек» есть только высший хищник, и «мы», значит, — организация хищников. Истинный человек характеризуется личностью, в которой определено отношение и к миру, и к человеку. Такая личность в мире («биологии») является проводником высшего порядка, который предусматривает такую же личность и во всей природе. Это понимание мое противоположно нынешнему и близко к христианскому, уже церковному.

18 октября. Вчера в «Новом мире» был объявлен рекламный список напечатанных в прошлом году авторов, и вот что меня забыли упомянуть или нарочно пропустили — этот величайший пустяк! — меня расстроило. На ночь я прочитал потрясающий, ужасный рассказ Новикова-Прибоя «Цусима», и всю ночь в кошмарном сне преследовал меня убийца, и я всю ночь держал наготове в кармане револьвер, все время опасаясь, что он сам выстрелит в кармане.

И это расстройство, и сон есть индивидуальное проявление господствующей ныне среди интеллигенции мании преследования. У меня доходит до того, что боюсь разворачивать новый журнал, все кажется, что меня чем-то

заденут и расстроят. Острой формы при общем заболевании боятся.

Спасение, конечно, одно — надо решительно отдаться работе, для чего надо создать хорошие условия.

19 октября. Я купил детский журнал «Еж», где помещены «Одуванчики», и в ужас пришел от пошлости и политической злобы, которую проповедают маленьким детям, от юмора Шкловского и прочего. Так вот, выходит мерзость, а ведь задумано отличное дело. И так решительно все прекрасно, если подходить «принципиально», и мерзко, если дать видеть факт.

Автоматизм огромного государства, требующего жестокой единой центральной власти, охотно присоединяет себе на помощь пафос индустриализации (бюрократизации) страны, жестоко расправляясь с проявлением той свободы, из-за которой написан «Капитал».

28 октября. Надо позондировать «Огонек», может быть, хоть там напечатают, а то в Сибирь пошлю, в «Охотник». Вот до чего дошло! Но, конечно, литературе-то уж нечего бояться, запретить вовсе литературу — значит запретить половой акт. Долго не протерпишь...

30 октября. Серые дни с дождями в природе, и в обществе тоже открытая могила, и такая очередь к ней. Уныние и отчаяние. Торжество частностей («а я — ничего»). Занялся бы поэзией управления государством (вероятно, разлагается на утопизм, авантюризм и халтуру).

Полная бессмысленность истории! Нет, надо просто оставить положение классического гуманизма и посмотреть на все со стороны сил, диктующих историю... Но как долезешь туда, к этим силам-то? Ведь там для писателя воздуха нет, наверно, и холод, как на Луне. Поэзия Луны опять-таки ведь предполагает тоже наличие земного клиента Луны. И поэзия государственного строительства тоже предполагает человека общественного и среди них поэта.

Сиротой живу.

Гуманизм — это отстой жизни, сливки, на которых, как на желатине бактерий, культивировали интеллигенцию. Эта питательная среда теперь совершенно исчезла, и переход в новую среду, конечно, должен сопровождаться чувством сиротства и отчаяния. Новая среда самого сурового, беспощадного эгоизма, где поддержку, дружбу и вообще состояние как бы родства среди людей добывают не стихами и рассказами, а борьбой за грубую жизнь плечо с плечом.

31 октября. <...> Попался Дудышкин, автор предисловия к старинному изданию Лермонтова. Какая же это цепкая традиция у критиков — объяснять творения личности той или другой социальной средой, в то время как именно в том и состоит творчество, чтобы уйти и увести с собой читателей в мир иной, совершенно свободный не только от социальной и родовой тяготы, с их первородными и производными грехами. В этом мире творчества качество всех вещей так же свободно, как на базаре цены, и всякий прохожий может сказать: это мне нравится, это нет.

1 ноября. Вчера Сталин в «Известиях» назвал Троцкого: «трагический герой кинофильма мистер Троцкий», — и сильно погрозил Бухарину («двурушнику»). Трагизм Троцкого состоит в том, что он выдумал «левый курс» и сам первый от своей выдумки пострадал: Сталин взял его идею, осуществил, а самого автора выкинул вон. Да, пожалуй, тут пахнет просто комедией, а если трагедия, то, конечно, только в кино. Сталин прав, но в этом и трагедия всей революционной интеллигенции.

Характерная черта революции, что факт победы того или другого претендента на власть сейчас же устанавливает обязательность для всех и даже непогрешимость его идей. Победил — и кончено, а животы наши — на! Вот наши животы, и головы, и все. В этом отношении очень поучительна борьба Сталина с Троцким, которую можно выразить так: «Мало ли что можно выдумать, ты вот сделай-ка!»

Мы, славяне, для Европы не больше как кролики, которым они для опыта привили свое бешенство, и наблюдают теперь болезнь, и готовят фашизм, чтобы обрушиться на нас, в случае если болезнь станет опасной. Впрочем, рассчитывают больше на действие самой болезни, что мы погибнем, как кролики от привитого бешенства.

Когдаходишь в мировую политику и в свете большевизма расцениваешь все эти робкие и лживые попытки разоружения и открываются перспективы на хищнический расхват нашей страны, то без колебания становишься на сторону большевиков. Но когда оглянешься на внутреннюю сторону дела нашего, на те достижения социалистического строительства, которые свидетельствуют об изменении отношений людей между собой в лучшую сторону, то видишь громадное ухудшение в сравнении с отношением людей в буржуазных странах. Суждения о наших достижениях всегда есть танец от печки: что раз мы правы извне, то должны быть правы и внутри. Нет, если пристально взглядеться в наш социализм, то люди в нем, оказы-

ваются, спаяны чисто внешне, или посредством страха слезки, или страхом голода, в самой же внутренней сущности все представляется как распад на жаждущих жизни индивидуумов. Особенно резко это бросается в глаза, когда вглядываешься в отношения детей к отцам: мотивы презрения к родителям в огромном большинстве случаев у детей только грубо личные. Отвращение возбуждает также циничное отношение к побежденным: детей лишенцев выгоняют из школ и т. п. И вот, когда в упор смотришь на это, а сверху присылают анкету, в которой ты должен засвидетельствовать свою верность генеральной линии партии, то попадаешь в очень трудное положение. Совсем бы по-другому можно жить, если бы переехать, например, в Италию, оттуда мелочь не видна. Даже неплохо жить в Москве, но только заниматься не искусством, несущим ответственность за частность жизни (мелочь), а, например, наукой или большой политикой.

Все происходит, вы скажете, от интеллигентщины, включающей в себя излишнюю долю гуманности и культа личности, вы укажете еще, и справедливо, на картонный меч трагического актера, в то время как играя, радуя (2 нрзб.), а между тем найдется ли в толпе один и т. д. Но я, например, сделал все, чтобы меч мой не был картонным, вернее даже, я принял положение трагического актера, но с необходимостью, то есть что актер такой же работник, как и вся эта толпа. Одного я не могу принять, это «если ты актер, так будь же слесарем». И я отстаиваю право, долг и необходимость каждого быть на своем месте. Вот отсюда как-то и расходятся все лучи моей «контрреволюционности»: стоя на своем месте, я все вижу изнутри, а не сверху, как если бы я был Радек или жил в Италии. И потому, если мне дадут анкету с требованием подтверждения своего умереть на войне с буржуазией, я это подпишу и умру, но если в анкете будет еще требование написать поэму о наших достижениях, я откажусь, потому что поэмы делаются той сущностью личности, которая прорастает в будущее и тем самым ускользает от диктатуры данного момента. Все эти достижения чисто внешние и, на мой взгляд, ничего не стоят, как с точки зрения большевиков тоже ничего не стоят, например, эксплуататорские, капиталистические достижения.

— Чего же вы хотите? — спросят меня.

Отвечаю:

— Хочу, чтобы в стране было объявлено на первом плане строительство лучших отношений между людьми и господство человека над машиной, а не наоборот, как теперь. Хочу раскрыть всем, что «Капитал» был написан Марксом именно для того, чтобы дать страшную картину

фетишизма золотой куколки, господствующей над человеком, а не для того, чтобы куколку эту заменить господством государства с его кооперативами.

— Чего же вы хотите практически?

— Ничего. Складываю руки, преклоняюсь перед необходимостью и делаю все, что мне прикажут, за исключением творчества положительной качественной оценки «наших достижений».

...Откуда явилось это чувство ответственности за мелкоту, за слезу ребенка, которую нельзя переступить и после начать хорошую жизнь? Это ведь христианство, привитое нам отчасти Достоевским, отчасти церковью, но в большой степени и социалистами. Разрыв традиции делает большевизм, и вот именно когда он захватывает государственную власть. И тогда с особенной ненавистью обрушивается он именно на «мещанство» (христианство плюс весь социализм с анархизмом), как опирающееся именно на «мелкоту», народ и т. п. Троцкий удивительным образом сочетал левизну большевизма в программе с «мелкотой» своей натуры, он дошел до полного абсурда и вдруг развалился, как у По человек, переживший на целое столетие срок своей смерти.

Трудно теперь оценить это действие большевиков, когда они брали власть, подвиг это или преступление, но все равно: важно только, что в этом действии было наличие какой-то гениальной невменяемости. И вот именно потому-то и нельзя теперь нам в большевики, что прошло время, и раз тогда мы из-за «мелочи» не стали в ряды (мы с большевиками ведь только в мелочах разошлись), то теперь нельзя из-за утраты самости.

Была иллюзия счастливой жизни, если не будет царя. Тоже иллюзия теперь у тех, кто мечтает о счастье без большевиков.

Счастье на свете одно — это быть самим собой. (Ницше, например, хочет быть сам собой и не достигает: он самый несчастный.) Ленин, вероятно, был не совсем счастлив. Вот, кажется, Сталин счастлив: он сам со всем своим грузинством. Быть самим собой — значит и быть победителем. Но ведь есть и сладость, и счастье быть жертвой, побеждать страданием. Так или иначе, счастье в победе и своем становлении.

Бывает усталость, которая вызывает ссылку на внешние обстоятельства. Да, бывают несчастные случаи давления внешнего на личность (громом убьет), но никогда не надо персонифицировать судьбу и жаловаться на нее, то есть опускать руки в борьбе.

2 ноября. В газетах о съезде (1 нрзб.) пролетарских писателей. Нет, кажется, ничего мне горше, как групповое вовлечение писателей в политику. Собственно говоря, «писателем» тут и не пахнет, но у нас это задевает писателя... Представляю себе возможный ответ, если бы приступили с ножом к горлу, вот он:

— Если будет война, я, как гражданин, готов защищать СССР и, если придется, умру с чистою совестью; мое слово верное: как сказал, так и будет. Но если меня обяжут написать поэму о войне или даже просто о наших достижениях, то я этого сделать не властен. Напротив, чем больше будут понуждать меня, тем на дольше будет отодвигаться срок создания этой чрезвычайно желанной поэмы.

14 ноября. ...Есть же, значит, во мне нечто «перевальское», если юноши избрали меня своим шефом. Да, конечно. Я шесть лет писал «Кашцеву цепь» в чайнии, что наша страна находится накануне возрождения, мной понимаемого как согласное общее творчество хорошей жизни. Предчувствие меня обмануло, оказалось, что до «хорошей» жизни в свободном творчестве еще очень далеко, и, может быть, среди перевальских юношей я был самым юным. Ошибка эта произошла от наследственной привычки подчеркивать в своем сознании важность словесного творчества относительно общего творчества жизни. И этой ошибке, по-видимому, подвержен и «Перевал». В самом деле, раз Галатея или Прекрасная Дама, то это уже литература, а не жизнь: все эти дамы бумажные, и их рыцари вооружены бумажными мечами. Если бы юноши из «На посту» отказались бы от некоторых своих приемов убеждения, я сейчас был бы ближе к их организации, чем к «Перевалу», потому что из двух дам мне ближе теперь «Необходимость» с ее реализмом, чем «Свобода» с ее иллюзией и романтикой.

16 ноября. Книгу мою в Акад. не приняли. Письмо в «Лит. газету», оказалось, напечатать нельзя: «Заедят», — сказал Замошкин¹. Любопытно бы разобрать, из каких элементов состоит эта сила, обращенная против «своего мнения». Вот я уступаю все им, даже то, чем всю жизнь жил: «искусство слова» ставлю в одну плоскость со всем творчеством жизни, а не каким-то особенным высшим творчеством. И то нет! Давай, скажут, дело...

Остается два выхода: возвратить профбилет и взять кустарный патент на работу с фото или же, как цехо-

¹ Замошкин Н. И. (1896—1960) — литературный критик, автор статей о творчестве А. М. Горького, А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, М. М. Пришвина.

вой художник, променять свое мастерство на портреты вождей (описывать, например, электрозавод).

20 ноября. <...> ...Между литературой моей до революции и последующей меньше разницы, чем между всем, что было и должно быть теперь. Те книги диктовали Свобода и возрождение. Теперь диктуют Необходимость и война, которые обязывают собраться и быть готовым к концу, а вместе с тем быть особенно бодрым и деятельным по завету берендеев: «Помирать собирайся — рожь сей».

7 декабря. За последнее время почти во всех журналах о моих сочинениях одна за другой появились статьи... которые вплоть до последней статьи т. Григорьева¹ упрекают меня в замкнутости и сознательной отчужденности от генерального фронта. Во всех этих статьях, между прочим, инкриминируется моя принадлежность к организации «Перевал», судят меня и как перевальца. Последнее обстоятельство раскрывает мне глаза на существо этих статей: это «чистка».

23 декабря. Нельзя открывать своего лица — вот это первое условие нашей жизни.

Требуется обязательно мина и маска, построенная согласно счетному разуму.

Самосохранение в таких условиях осуществляется посредством особого «живчика». Это я представляю себе чем-то вроде семенного быстрого жгутика с мерцательными волосками. Как только дело доходит до гибели, живчик вдруг улыбается и, глубоко запрятав великую трагедию, сам отправляется депутатом. Он состоит весь из улыбки и возвращается с проектами. Возможно, он никого и не предал и достиг исключительно только улыбки. Без этого маленького ходатая теперь никак не проживешь.

Слышал анекдот:

— У меня один сын сидит в Бутырках, а другой тоже инженер.

Преимущество высшего класса рабочих от всех нас чуть ли не в калошах только: им дают калоши, а нам

¹ Григорьев М. С. — литературовед, окончил Петербургский университет, с 1922 г. — профессор Высшего литературно-художественного института, созданного В. Я. Брюсовым. Автор работ по вопросам теории литературы.

Пришвин подвергся массивированной «чистке»: одна за другой в печати появились статьи, обвинявшие писателя как члена «Перевала», ему инкриминировалось бегство от классовой борьбы, оправдание старины как «один из способов борьбы против нашей советской культуры», «преображение действительности в волшебную сказку».

Имеются в виду статьи: М. Григорьева «Бегство в Берендеево царство» (журнал «На литературном посту», 1930, № 8); А. Ефремина «Михаил Пришвин» («Красная новь», 1930, № 9—10); М. Григорьева «Пришвин, алпатовщина и «Перевал» («Литературная газета», 1930, № 57, 4 декабря).

нет, и вот те довольны, а мы все завидуем и готовы на все, чтобы получить тоже калоши.

29 декабря. <...> Литература теперь — это низменное занятие и существует еще как предрассудок, как, например, при Советской же власти некоторое время существовали еще рождественские елки. Правда, наша литература до сих пор еще господствует над разными маленькими литературами СССР. Она будет свергнута с этого положения как литература просто великорусская. Второе. Наша литература, как и вся мировая литература, кроме подлинного происхождения, еще имеет происхождение семейное — это *Muttersprache*¹. Семья теперь осуждена как пережиток. Следовательно, и литература — как пережиток. Во всяком случае, моя литература... И разобрать хорошенько, я — совершенный кулак от литературы.

1931 год

21 января. «Крестьянский писатель» Каманин² рассказывал о тех чудовищных антихудожественных требованиях, которые применяются к крестьянским писателям, — что, например, «аксаковщина» (вероятно, понимаемая как созерцание природы) является преступлением. С другой стороны, легко и дурачить «начальство»: против аксаковщины, например, довольно было сказать, что ведь Аксаков убивал дупелей и ел их, значит, не был только созерцателем. Вся эта эстетическая принудилка, верней всего, происходит по традиции от Чернышевского и других революционеров-марксистов вплоть до Ленина. Что-то вроде Спарты...

23 января выехали в Свердловск и вернулись 23 февраля. Целую неделю по возвращении хворал и отпечатал всю фотоработу.

6 марта. Ах, Толстой Алеша!³ Зачем он написал американским рабочим, что у нас нет принудительного труда? Надо бы написать, что есть такой и да, будет он, раз мы строим государство.

Процесс меньшевиков: воистину «и покори ему под ноzi всякого врага и супостата». <...>

12 марта. Оттепель. Метель.

Из деревни мужики исчезают, на производствах это уже не мужики. Где же эти миллионы? Кажется, верно

¹ Материнский язык (*нем.*).

² Каманин Ф. Г. (1897—1979) — писатель, круг его творческих тем был связан с жизнью послереволюционной деревни; загорский друг Пришвина.

³ Имеется в виду писатель А. Н. Толстой.

сказать — мужики теперь самые настоящие только в вагонах.

На этих позициях строительства, как на обыкновенной войне, люди мало и все меньше и меньше смеются. Но нельзя это назвать и трагедией, потому что не «иная» жизнь, которой разрешается трагедия, является целью этой борьбы, а та же самая наша материально-мещанская, чисто земная, только с производством и распределением.

При чем тут искусство? Да, было время, когда нужно было искусство, и — мало художников! Была потребность в блаженных всякого рода (людях), как бы абсолютно лично бескорыстных. В Доме ветеранов революции до сих пор жива милая старушка, которая 40 лет учила в деревне ребят!... <...> Это очень яркий пример, а менее ярких сколько угодно, все они сейчас, глубоко смущенные, кое-как существуют, встречаясь друг с другом, иронизируют над своим положением, говорят не «как поживаете?», а «как доживаете?».

Мне думается, что эти обломки большого интеллигентского фронта против царизма должны чувствовать себя несколько обманутыми: кто-то что-то получил, они — ничего совсем тогда, при царизме, в этом царстве земном, ни в будущем, достигаемом небесном царстве, которое теперь достигнуто и стало тоже земным. Да, конечно, они обмануты. Когда-то был спрос на них, теперь нет.

То же самое с искусством. Не только Толстой, Достоевский, но ведь я, можно сказать, вчера написал «Кашцеву цепь», а если бы не вчера, а сегодня подал ее, — никто бы печатать не стал. Та чудовищная пропасть, которую почувствовал я на Урале между собой и рабочими, была не в существе человеческом, а в преданности моей художественно-словесному делу, рабочим теперь совершенно не нужному... <...>

31 марта. Со мной что-то нехорошее делается. Если я встречаюсь с предметом, напоминающим мне всякое мое прошлое, от отдаленного времени до прошлого года, непременно он вызывает во мне что-то вроде психической тошноты, которую на слова перевести будет приблизительно так: «Все это напрасно ты делал». Мне думается, что это — совсем личное чувство. Напр., пень от срезанного мной на огороде дерева, и мне неприятно, конечно, потому, что я резал когда-то дерево, имея в виду сад развести... Пень в огороде является мне как бы памятником разбитой

¹ Речь идет о двоюродной сестре Пришвина Е. Н. Игнатовой, народолюбке, открывшей в конце XIX века на свои средства деревенскую школу под Ельцом, где проработала всю жизнь учительницей. Оказала большое влияние на формирование личности будущего писателя.

надежды. Тоже на корову неприятно смотреть и думать, что миллионы женщин и детей у крестьян, где корова как близкое человеческое существо, плачут теперь. Написанное мной я не только не перечитываю, но стараюсь вовсе не думать о нем и действительно не думаю. Я читал недавно детям с таким большим успехом, но внутри и даже от этого радости не было. Что это такое?..

Принципиальной милости у нас слишком много, и я как писатель (один из 150) очень даже обласкан, но я хотел бы милости, исходящей ко мне в силу родственного внимания. Точно так же, как для устройства детского дома вовсе не надо быть милостивым к детям, жалеть их или любить. Ты пожалей того ребенка, одного из миллионов, который плачет вместе с родителями, расставаясь со своей коровой. Кстати, и корову пожалей, видя, как она, уводимая чужими, оглядывается на своих дорогих хозяев. Вот нам этого лично-встречного промфинплана не хватает как воздуха. Я могу быть принципиальным последователем большевиков и отличным активным деятелем, но если я естественное, живое чувство жалости к ребенку, от которого уводят корову, буду заглушать радостью от соображения, что молоко этой коровы пойдет в детский дом, то я или обманываю себя, или совершаю подлог. Мы даже миримся с этим постоянным явлением, полагая, что поступающие так политики — люди нравственно бессознательные, что они просто не знают, что творят (и, может быть, не должны знать). Но если Максим Горький развивает теорию своего принципиального оптимизма, то, конечно же, он хитрит и унижает себя. <...>

14 апреля. Последние конвульсии убитой деревни. Как ни больно за людей, но мало-помалу сам приходишь к убеждению в необходимости колхозного горнила. Единственный выход для трудящегося человека разделаться с развращенной беднотой, единственный способ честного отца унять своего бездельника сына, проигрывающего в карты его трудовую копейку.

1 мая. Как я живу? Живу, укрываясь делом, которое понять и разобрать до сих пор не могли; пожалуй, я даже и не укрывался. Я просто жил за счет своего таланта, меня талант выносил. Но теперь слышатся голоса: нам не нужно индивидуальных талантов и личных качеств, ведь таланты — как грибы — растут при дожде, будет дождь — будут грибы; так и нам нужен социальный дождь, а не заботы об отдельных писателях, будут созданы условия, а таланты вырастут сами.

Разве это не правда? Конечно, правда. Но я, занятый обязанностями в отношении своего таланта, не имею

большой возможности определять социальную погоду; если я займусь погодой, а не романом своим — то что же это будет?

2 мая — провел в Дерюзине, где только что организован колхоз; церковь закрыта; в 1-й день Пасхи в деревне шли «раскулачки» — одних раскулачили, другие от страха быть раскулаченными бросились в колхозы, беднота не пошла (ей нечего бояться).

Так совершается пролетаризация деревни. Саня¹ говорил: «Вот вы шли сюда по своему желанию, а у меня теперь своего желания ни к чему нету, мне самому жить нельзя». А раскулачивают 18-летние мальчишки, которые ничего в человеческом деле не понимают. <...>

6 мая. Мания или реальность Кащеевой силы? Ну, как же не реальность. Вот, напр.: «Г.² на волоске». — «Как?» — «А разве не читали на «Лит. посту»?»³ Почти совсем разъяснен». Что значит «разъяснить» писателя? Значит это — прекратить его деятельность. Вроде как бы подкоп ведется под тебя, — разве это не страшно? Пора покончить с этой зависимостью от лит. заработка (кстати, ведь и бумаги нет). Буду переключаться на фотоработу и пенсию; буду иметь в виду поехать в экспедицию фотографом, а также изредка и печататься. Так стушевываются и замирают последние из могикан...

10 мая. Глупо и смешно обижаться на революцию, и это ведь не легко: обижен, а обижаться нельзя. Но в конце концов тебе-то после обиды хотя сознание остается, расширяемое все больше и больше в опыте. А тем, кто обижает, ничего не достается, действуют и проходят, совершенно не понимая, что творят.

14 мая. Получается теперь так, что все, кто когда-то словом или делом стоял за революцию, теперь как бы получают возмездие: Ленин был наказан безумием и потом мавзолеем, Троцкий сослан, и так все — вплоть до нас. Новая жизнь начнется, вероятно, когда все имущие память о прошлом вымрут, — вот уж воистину «жизнь за царя».

Сегодня Горький приехал, встречают, как царя. В «Правде» поместили этот портрет под Сталина — вот до чего!⁴

16 мая. Горький до того теперь высоко поставлен

¹ Лицо не установлено.

² Лицо не установлено.

³ «На литературном посту» — теоретический и критический журнал, орган РАПП — Российской ассоциации пролетарских писателей.

⁴ Имеется в виду возвращение А. М. Горького на родину после десятилетнего пребывания за границей.

в государстве, что далеко выходит за пределы писательской славы, и к нему теперь относятся прямо как к победителю, которого не судят.

Дорога к власти — это именно и есть тот самый путь в ад, устланный благими намерениями. Надо понимать еще так это, что благие намерения лежат лишь в начале пути, а дальше никакие приманки не нужны: дальше движет взвинченное достоинство и постоянно возбуждаемое самолюбие; до того доходит, что самолюбие носителя власти материализуется, и, напр., офицер старой императорской армии чувствовал себя смертельно оскорбленным, если кто-либо касался его эполет. Почему так и противно теперь жить, что это самовластолюбие есть движущая пружина, и весьма откровенная, тогда как сам истратил жизнь на то, чтобы спрятать самолюбие и дать сверх него...

Нынешняя литература похожа на бумажку, привязанную детьми к хвосту кота: государственный наш кот бежит, а на хвосте у него бумажка болтается — эта бумажка, в которой восхваляются подвиги кота, и есть наша литература.

Во власти человек прячется от самого себя, во власти он живет как бы вне себя, власть дает возможность быть вне себя, посредством власти можно убежать от себя самого («погубить свою душу»). И есть момент в жизни, когда следует погубить свою душу («за други») — в этом и есть вся правда революции.

18 мая. Творчество — единственное лекарство против «обиды», и вся энергия должна быть направлена в сторону сохранения творчества. Творческий светильник, с которым выходит поэт в то время, когда кончается действие разрушительной силы и революция вступает в период созидания.

Мне кажется теперь, что десять лет я писал в чайнии, что разрушение кончено и начинается созидание. Тяжело, упав, подниматься на новую волну.

20 ноября. Лева¹ поехал определяться на службу. Сам подумываю поступить корреспондентом в ВСНХ². Есть много оснований для этого. Первое — что я «разъяснен» и писать можно, лишь до того приспособляясь, что самое писательство становится неудовлетворяющим занятием в своем существе. Второе — что теперь действительно уже сложился новый быт и хорошо быть к нему ближе.

23 ноября. По-настоящему бы очень обидно, а так выходит, что обижаться нельзя: так выходит, что не на

¹ Лева — старший сын М. М. Пришвина.

² ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства.

кого обижаться, лица такого нет, чтобы можно было обидеться. Вот именно обида невозможна при безличности среды, все равно что обижаться на землетрясение. Евреи, впрочем, всегда из своей деловой практики устраняют чувство обиды, и понятно: обида — пассивное состояние. Но если мы стали так грубы, что обижаться нельзя, то сердиться допустимо, и даже в двух стилиях: или в матерном, или в подкопном, с доносом и т. п.

Теперь каждый домогатель считает необходимым столкнуться с пути своего авторитетное лицо.

24 ноября. Что только не придумывалось для постройки моста, соединяющего в одно свое стремление к мирному творческому труду и современное строительство, какими только не соблазняешься скрепами, — нет! Как ни бейся, рано или поздно вся постройка разламывается и становится невозможным делом соединить пот труда и кровь.

4 декабря. Раньше я писал, понимая читателя как друга, может быть, в далеком будущем, и дивился, когда находил современников, до которых доходило мое писание. Теперь современники представляют собой властную организацию цензоров, не пропускающих мое писание к будущему другу.

Литература, вероятно, начнется опять, когда заниматься ею будет совершенно невыгодно... (<...>)

Приезжал Федор Кузьмич, крестьянин-колхозник моих лет, которого я 30 лет тому назад обучал агрономии.

По его словам, у них в колхозной деревне нет ни одного коммуниста и все, скрывая друг от друга, ненавидят колхоз, считая его крепостным правом. (<...>)

Читал дискуссию РАПП¹ попутчиков с Леоновым² и Полонским³ «Люди перестраиваются» (Леонов, Полонский), другие робко заискивают. Значит, все решено свыше и правильно: писатель даровитый (попутчик) есть собственник своего таланта и находится в отношении к членам РАППа, как кулак к бедноте. И немедленно он должен быть раскулачен, а вся литература должна обратиться в литколхоз с учтенной продукцией и готовностью при слу-

¹ РАПП — ведущая литературная группа пролетарских писателей, существовавшая с 1925 года. Боролась против других литературных группировок («напостовцы», «Перевал» и др.), используя грубые приемы полемики, наклеивание политических ярлыков и т. д. Ошибочным был выдвинутый ими «призыв ударников в литературу», лозунги: «Ударник — центральная фигура литературного движения», «Союзник или враг», отталкивавшие писателей старого поколения, получивших название «попутчиков». К «попутчикам» был причислен и Пришвин.

² Имеется в виду писатель Л. М. Леонов.

³ Полонский В. П. (1886—1932) — литературный критик и публицист, в эти годы редактировал журнал «Новый мир».

чае войны дать то, что потребуется, а не то, что захочет дать отдельный производитель.

РАПП или воинствующие пролетарские писатели.

У попутчиков есть вера в культуру в том смысле, что литература создавалась народами всего мира и с самых давних времен, что за эти времена человечество нащупало законы лит. творчества, которые каждому писателю необходимо понять, изучить, и что без этого прошлого не войдешь в литературу современную.

У воинствующих вера такая, что настоящее вовсе не вытекает из прошлого, а есть факт небывалый, и чтобы войти в него, скорей надо забыть прошлое, чем из него исходить. В этом и состоит спор пролетарских писателей с попутчиками.

10 декабря. Если в математике для исчислений допускаются, напр., бесконечно малые величины и посредством этого допущения достигается в конце концов сооружение мостов и других плотных для всех «реальных» предметов, то почему вы не можете себе представить, что художник в искусстве при создании реальных вещей не может руководствоваться тоже каким-нибудь допущением невидимого, напр., свободы как условия для творчества. И пусть эта свобода сама по себе не существует и недопустима в обществе, но...

Очень важно, что за то и тянутся все к поэзии, что в ней допущена свобода личности и что только эта свобода отделяет «поэзию» от «жизни».

Я защищаю не иллюзорность искусства, а реализм, я только хочу сказать, что чувство свободы художника, точно такое, как мысль о бесконечно малых в математике, есть необходимое условие для творчества и что именно это допущение качественной величины самочувствия «свободы» и делает искусство искусством, а не государственным строительством.

Вот, положим, я дикий писатель (попутчиком никогда не был) и кое-что пишу полезное, но допустим, что я принят в РАПП. Вначале я ничего не буду писать, я буду привыкать, и когда освоюсь с предметами в «перестройке», то буду летать по-прежнему и между этими предметами, не задевая их. Но горе в том, что РАПП именно и создан для того, чтобы быть умнее писателя и направлять его полет в желательную сторону.

Отправил «Дауры»¹.

¹ «Дауры» — первоначальное название очерков о путешествии Пришвина летом 1931 года на Дальний Восток. Впоследствии очерки вошли в книгу «Золотой Рог».

13 декабря. С этим можно согласиться, что как мистический интуитивизм, так и рационализм должны быть преодолены чем-то третьим, что интуиция и разум должны сойтись в одно. Но я всегда об этом думал и соединял в творчестве, а не в марксизме. Марксисты-диалектики очень много дали доказательств своей связи с интеллектом, но ничего от интуиции.

Истинный ученый, все равно как и художник, в своем творчестве, между прочим, непременно обладает интуицией. Просто говоря, интуиция значит почти то же самое, что талант (милостью Божией).

15 декабря. За круглым столом читали «Даурию». Зворыкин¹ рассказывал, что Храм Христа Спасителя взорвали и остались груды камней, а на прежней высоте креста в воздухе вьется много птиц, бывших жителей храма, и как будто все надеются, что явится опять их насиженное место. На этом месте должно возникнуть величайшее по красоте здание Совета.

17 декабря. Итак, исчезла вся троица: личность, общество и Бог, и поэтому остается быть лишь сочувствующим очеркистом производственного быта.

19 декабря. Меня расстроило, что отказались печатать «Кашееву цепь», и на это чувство обиды надела картина московской трамвайной давки, злобы, потом бой за место по железной дороге, серые лица и такое множество людей с мешками провизии, зло, усталость... истинный ад! И на это навернулась дальше совр. литература. Началась тоска, самая острая, со сладостной мыслью о смерти... И в то же время о том, что находится по другую сторону смерти: пристройство, подобное уверованию с наглым тире вместо всяких сомнений, вопросов и колебаний,— в этом царстве Максима Горького ведь еще много хуже, чем смерть. Я теперь живо представляю себе состояние духа Л. Толстого, когда он желал, чтобы его тоже вместе с другими мучениками отправили в тюрьму и на каторгу. И мне теперь тоже жизнь в ссылке, где-нибудь на Соловках, начинает мерещиться как нечто лучшее. Я накануне решения бежать из литературы в какой-нибудь картофельный трест или же проситься у военного начальства за границу.

1932 год

1 января. <...> Вот дадут в Москве комнату, пойду я к вождам РАППа и всякого рода МАППа и прямо и раскрою тайники их души, вникну в те родники их тайных луч-

¹ Зворыкин Н. А. (1873—1937) — писатель, ученый, автор монографий, очерков и рассказов о животных.

ших желаний, из которых потом что-нибудь хорошее, новое сложится. Я искренно отрешусь от себя, выброшу весь балласт свой, чтобы подняться до них и почувствовать ту великую сущность, ради которой теперь родной сын колет своего родного отца. Я переживу там, в Москве, эту тему жизни, столь непонятную и странную всему христианскому и дохристианскому, всему культурному миру...

Люди с толку сбиты, но, конечно, постоянно стремятся возвратиться к этому же толку, и оттуда опять их сшибают, отчего являются страх и раздвоенность: рад бы туда, а нельзя...

2 января. Ни на какой стройке, будь они самые грандиозные, ни от какой цифры нельзя получить уверенность в правоте большевистского дела и даже вовсе понять значительность самого факта (из-за легиона мелочей, вихря пыли танцующей мелкоты, если только не чувствовать универсальный ход времени).

Мало-помалу легенда о нашей революции за границей на почве их кризиса растет и крепнет, чтобы в конце концов слиться с нашей государственной легендой и ликвидировать то, что мы считали «жизнью» с ее почти что вечными биологическими и культурными устоями. <...>

7 января. Ежедневно пишу прошения о комнате в Москве и мало-помалу сам в это вверился, что без комнаты — пропадешь. Мучительно и воистину «смертельно» тоскую. Думаю о лошади, которую мы купили за 15 р. на зарез для корма собак, лошадь молодую, здоровую, всего ей 6 лет. Вот явление, кажется, одно, а если взять меня и Максима Горького, то получится два разных толкования, его — оптимистическое, мое — пессимистическое. Он скажет, что это индустриальный прогресс, что это трактор выбросил лошадь на съедение собакам и социальный прогресс: ведь это разоренные единоличники бросают хозяйство, лошадь и бегут в производство. Мне же думается по-иному: пусть прогресс, но... прогресс бывает разный, хороший хозяйственный прогресс не допустит такого безобразия, лошадь хоть есть можно, а чугун не лизнешь. Впрочем, если смотреть, что все это война, то, конечно, лошадям — мор.

У Горького.

N¹ написал книжку и получил приглашение к Горькому. В приемной человек 20 народу. У секретаря Крючкова три телефона. Бесперывно звонят, и секретарь с разным лицом отвечает, как будто на три телефона,—

¹ Лицо не установлено.

в нем три лица. Бесперервно приходят пакеты с надписью: «секретно», «секретно-спешно».

Получаю повестку — на клочке хлопчатой бумаги плохая машинопись: «Творческое бюро» делает смотр очеркистам Союза. Что вы написали в 31-м году? Явка обязательна.

А ведь очень возможно, что это «творческое бюро» явилось следствием книги моей о творчестве «Журавлиная родина».

Революция движется линейно, события и лица проходят в это время без ритма, а время общей жизни мира (солнце всходит и заходит) идет ритмически: сколько раз солнце взойдет и закатится, пока вырастет и кончится человек. Поэзия есть светлая атмосфера, заря сознания человека. Пусть рушится быт, но ритм жизни и без быта может питать поэзию, конечно опираясь на то же солнце (всходит и заходит). Но это понимание (мое) не «революционно», это биологизм, революционное движется по линии, не по кругу. Ритм движения по кругу с уходом и возвращением... восходом и закатом — здравствуй и прощай, дедушка внуку сказку рассказывал про Ивана-царевича. А то вот предполагается линейный ритм, положим, едем в поезде, и колеса мерно отщелкивают: «Погуляй-погуляй!» Солнышко увижу — скажу «здравствуй», увижу закат — говорю «прощай!».

Вот именно, что все является и проходит без возвращения: усвоил и бросил, как выжатый лимон, и дедушки нет. Движение по линии, умерших и больных выбрасывают без слез. Личность за шиворот — и в чан. Родину, мать, отца, друга — все ради движения вперед без возвращения. ...

10 января. <...>

Читаю Белого «Памяти Блока»¹. Не согласен с эпитетом «национальный» поэт. В нем есть нечто подчеркнуто личное для этого эпитета и даже задорно выпирающее против черни... (Вообще) самое опасное для поэта и художника — попытка перехода от личных мотивов к гражданским.

Вольфила² о Блоке. Я так думаю по-старому об этом, что вода и берег — вот все (а у Блока вода — стихия, берег — государство). Вот именно как вода подтачивает

¹ Воспоминания А. Белого были опубликованы в сборнике «Памяти Блока». П., 1922.

² Вольфила — Вольная философская ассоциация — существовала с ноября 1919 г. по май 1924 г. Среди учредителей ассоциации был А. Блок.

берег — есть в этом отличие: вода ударяется в бурю, и ей ничего, но люди, поэты — и о скалу государственности. Выступай, как лодка, как «человек»-гражданин, но поэзия — бороться... в поэзии ничего нет против свинца. Чудесно, что Пушкин пустил свинец во врага и уже попал.

12 января. Просто «ни х...!» (нет ничего и никаких) — ничто, nihil¹. То философское nihil есть в свою очередь богатство перед бытовым «ни х...!». Нигилизм выдумал барин, nihil в этом понимании являет собой скорее фокус аскетизма, чем действительное ничто.

Истинное же, воплощенное в быт ничто, страшное и последнее «ни х...» (или «нет ничего и никаких») живет в улыбающемся оскале русского народа. Вот это разделяет барина, интеллигента и всякого культурного человека от нашего... Иногда это бывает в улыбке Максима Горького, на каком-то снимке видел где-то я, Ленин и Сталин так улыбаются («ни х...!»). Откуда это? Есть нигилизм цинический еврейского мещанства, где фетишируется вещь; так вот наш нигилизм относится к этому вещественному и разрушает его вконец: тут происходит какой-то пир, пляс на границе материального и духовного (ни х...!).

Интеллигент и барин, играя в нигилизм, как бы с жиру бесятся (и тут тоже и Блок) — вот откуда и пропасть между «народом» и интеллигенцией... На этом плясе голытьбы «скифы» и построили свою идеальную Скифию (нет ничего, а они сочинили: барство).

Надо анализировать это «ни х...» до конца, чтобы понять, почему же из него выходит не скифия анархическая, а военный социализм... не Блок, а Сталин. Надо, я думаю, разобрать в отдельности каждого автора формулы «ни х...»: он ненавидит мещанскую вещь, интеллигентскую «идею» барского бога, потому что все это не его, и то время, когда он мог бы в этом принять участие, давно прошло, и самая родина вне этого «святого» для него вконец испоганена. Он живет на людях и с людьми и с виду как будто он групповой человек, но этого нет: он индивидуалист и только терпит товарища по несчастью. В этом кишашем ничто действительно нет «ни х...», и все это надо прибрать к рукам и направить по линии казарменной государственности, а не вольной Скифии. Между тем среди этого кишашего ничто ждет не дождется своего освобождения честолюбивый Легкобытов² (казначей ушел за Богом, подселел мудреца и взял власть: тот мудрец, имея

¹ nihil — ничто, ничего (лат.).

² Легкобытов П. М. — один из руководителей существовавшей в Петербурге в начале 1900-х годов секты хлыстов «Новый Израиль».

«ключ к царству Божию», господствует над ним, рабом, а раб, уничтожив Бога, оголил от Бога силу, и она стала его государственная власть — сила, оголенная от Бога, стала властью, и всякая такая власть есть власть над человеком), но ведь это же путь и Горького, и Сталина, и всех властолюбцев. Вот что означают хохот Легкобытова и улыбки Горького, Ленина, Сталина. Скифы пали, потому что (бессознательно) протянули руки к власти (выбрав товарищем того, кому вся культура — «ни х...»). Собственно говоря, все революционеры пали. И совершается совсем не то, о чем думали. Но тем фактичнее должно доказываться, что именно это есть революция и коммунизм...

Итак, Легкобытов, Горький, Ленин, Сталин... <...>

18 января. Птицы прилетели к тому месту, где был храм, чтобы рассесться в высоте под куполом. Но в высоте не было точки опоры: храм весь сверху донизу рассыпался. Так, наверно, и люди приходили, которые тут молились, и теперь, как птицы, не видя опоры, не могли молиться. Некуда было сесть, и птицы с криком полетели куда-то. Из людей многие были такие, что даже облегченно вздохнули: значит, Бога действительно нет, раз он допустил разрушение храма. Другие пошли смущенные и озлобленные, и только очень немногие приняли разрушение храма к самому сердцу, понимая, как же трудно будет теперь держаться Бога без храма: ведь это почти то же самое, что птице держаться в воздухе без надежды присесть и отдохнуть на кресте.

А может быть, и так, думали они, что все это отрицание приводит каждого к пересмотру того, что считалось и действительно было положительным, но износилось и требует капитальной очистки и возобновления.

После революции все имена должны приблизиться к своим телам; и так, что если назовешь чье-нибудь имя, положим: Бог, то это и будет сам Бог существом своим, а не просто имя — звук, как было допрежь. Вот именно потому так и тревожно теперь жить, что каждому нужно установить существо того, что он просто лишь называл. Революция идет за сущность против имени пустого.

20 января. Сиротская зима продолжается. Время как бы остановилось. В предрассветный час жутко... оттепельное небо, и слышу я: проснись, писатель, друг мой, и больше не жди к себе нечаянной радости, подарка и желанного гостя, закрой калитку и ложись спать прямо в заплаченных штанах и дырявых валенках.

Все эти мысли пришли мне в голову от ужасной обиды в моей безотрадной жизни: обидно, что они обогнали: они узнали какой-то секрет, раскрывающий им тайный

замысел всякого художника. Теперь больше не укрыться. Раньше не смели, но пятилетка им помогла, осмелились — и перешли черту. Теперь храм искусства подорван пироксилиновыми шашками, и это больше не храм, а груда камней. Но мы, художники, как птицы, вьемся на том, месте, где был крест, и все пытаемся сесть...

То совершенно отрицательное, чему мещанство противопоставляет свое бытие: «Бей отца!» и «Чти отца». Последнее, конечно, сильней, потому что сын же сам делается отцом... Трагизм карательного бытия сына, идущего против отца... <...>

29 января. Возвратился к себе. (Уехал 20-го и по 28-е пробыл в Детском Селе.)

Замятин подал через Горького письмо Сталину: «Высшей мерой наказания для писателя является запрещение печататься». Следуют примеры. Заключение: «Обещаю вернуться тотчас после разрешения печататься». Говорят, что Сталин не дочитал письма, сказал «черт с ним!», разрешил. Микитов говорит, что Замятин по гордости своей должен вернуться.

...Совершилось падение Демьяна¹. Вот слава-то Богу! Редко ведь сукины дети достигают такого высокого положения. Говорят, из Кремля чуть-чуть не выперли... В конце концов становится забавно глядеть, как все непременно падают. Интересно, как кончится Горький, успеет умереть до падения или тоже рухнет. Вот острие: на Красную площадь героем или... и все оттого, сумеет ли человек умереть вовремя. Сила его в добрых делах...

1 февраля. Было это или не было? Самая возможность предчувствовать и предсказывать, быть новым через 50 лет дает ручательство за то, что в какой-то мере тогда было то же положение для совестливого человека, что и теперь.

У нынешнего пролетария есть неприязненное «классовое» чувство к интеллигенту. Эта неприязнь получила теоретическое, государственное и прямо боевое утверждение под именем «классовой борьбы». Рассказывали мне, что некто во время чистки принес кипу фотографических снимков, на которых в группах везде был он: группа лиц — это им расстрелянные. Разумеется, чистка сразу прекратилась, человек оказался потрясающе «чист».

4 февраля. Один день вчера был спокойный мороз, и сегодня опять мягко метет. Вспоминаю: кто-то серьезно

¹ Речь идет о Демьяне Бедном.

сказал: «Не верьте, это клевета: Ольгу Форш не хотели добивать, пусть работает». Значит, относительно какого-нибудь другого писателя возможно и такое решение: добить, чтоб не мог больше работать.

7 февраля. Если бы я, напр., пришел в РАПП, повинился и сказал, что все свое пересмотрел, раскаялся и готов работать только на РАПП, то меня бы в клочки разорвали (так было, например, с Полонским и со многими другими). Причина этому та, что весь РАПП держится войной и существует врагом (разоблачает и тем самоутверждается); свое ни что, если оно кого-нибудь уничтожает, превращается в не что. И вот, конечно, это должно возбудить гнев, если некто из вражеского стана сдается и сам себя без боя превращает в ничто (прямой убыток).

8 февраля. Сел за «Даурию» и перестал заниматься фотографией.

Писатель яркий, вроде Белого, главным образом не тем нетерпим, что у него иная идеология, а тем, что он как «известный» имеет индивидуальность кричащую — выросшую за пределами революции. Отсюда ясно, что чем больше показываться на людях, тем, значит, больше навлекать на себя вражду.

10 февраля. «Классовую борьбу» теперь, при подавлении враждебных классов, надо понимать как борьбу за государство. Весь наш писательский разлом и состоит в том, что принудительная сила государства распространилась теперь и на искусство, и его работников. До сих пор все художники были как бы вольноотпущенниками государства, и им предоставилось свободное самоопределение, иллюзия, по-видимому необходимая для художественного творчества. И, поскольку государство теперь лишает его грамоты вольности, он является естественным врагом государства. Путь политического деятеля становится прямо противоположным пути художника, и требовать от художника политической деятельности и наоборот — от политика искусства — все равно что устроить заворот в кишках. <...>

23 февраля. Если писатель должен сделаться политиком, то он войдет в политику как частное лицо, потому что писатель должен быть прежде всего самим собой, но малейшее отклонение его от общей линии будет замечено, разъяснено. При такой неуверенности и отсутствии права высказываться за себя лично ведь невозможно же писать, но я хочу написать все-таки целую книгу «Даурию».

Реализация себя в богатстве или во власти — это все равно, тут разрастается личность паразитивно: власть делает то, что человек и глуп, а не чувствует этого, ум других приливает к нему рекой, этот рост сил изнутри кажется

свободой (что хочу, то делаю) извне, объективно, это самый верный плен (цари — это пленники). Художник часто, отказываясь от власти, удовлетворяет себя свободой, которая является как потребность и уже условие жизни личности. Есть, конечно, и высшее состояние, когда человек жертвует властью, богатством, личностью своей (душой: «за други моя» «душу погубит»).

24 февраля. Эсеры исходили из данного (земля, народ), большевики — из того идеального, что надо создать. Те и другие идеализировали, народники — прошлую жизнь, большевики — будущую.

Когда-то (при Мережковском) поднялся вопль о распыленности человека, теперь явилась (с их точки зрения) худшая в тысячи раз: это организованная пыль.

Свобода относительна, и если взять ее просто как либертэ, то это баловство...

25 февраля. Приезжал на собственном автомобиле Пильняк с французами. «Как живете?» Я помолчал. «Значит, плохо». — «А вы?» — «С меня как с гуся вода». — «Какой гусь, вот у нас вчера и гусь подох».

26 февраля. В царство небесное принимают каждого л и ч н о, а в это царство земное принимают непременно с условием безличия «наравне с другими». «Личность» признают лишь в процессе сделщины (ударники). Так вот почему, когда интеллигент идет с повинной, то его стараются бить: это хотят добить в нем последние источники личного.

1 марта. Лева рассказывал о последнем свидании с Полонским, и мне вспомнился Воронский, когда он был исключен из партии, меня поразило, что Воронский вдруг поседел. Точно так же и Полонский — за неделю до смерти вошел в редакцию «Известий», и Лева изумился: Полонский был седой. Он не пережил, как Воронский, своего падения. (Сыпняк бьет именно таких людей.) Вот надо куда смотреть, а не в свое писательское положение. Теперь интересны события внутри партии, этого современного рыцарско-монашеского ордена.

Вот, напр., Воронский растет и вырастает в такую величину, о какой никогда не смел и думать. В это время он уверен, что растет он согласованно с партией, что он и партия — единство. И вдруг росстань, в одну сторону идет партия, а я, Воронский, в противоположную, и если я пойду в сторону партии, я откажусь от себя, пойду по себе — вся прошлая жизнь, партия, революция — заблуждение. Вот в это время видные люди и пишут в газетах отречение от себя. <...>

12 марта. <...> О классовой борьбе надо судить

параллельно с биологической борьбой, первая есть борьба по воле человека, вторая есть борьба «на волю Божию» (за существование).

Классовая борьба нам кажется чудовищно-жесточкой сравнительно с биологической только потому, что там ведь, в деле природы, и спора нет. Мы привыкли противопоставлять биоборьбе гуманизм. Теперь же с вырождением гуманизма, с необходимостью прибегнуть к грубой силе, мы создаем какой-то биогуманизм, т. е. принципы (слов) человеческие, а сила (дело) звериная.

Классовая борьба (слова человеческие, а дело звериное) наживает себе двух врагов и зажигает против себя две силы: в защиту человека зажигает религию, в защиту зверя (зверь ведь тоже обижен) она поднимает против себя животность, или силу земли, и то, и другое существуют и, возможно, растут в реальности своей силы, но гуманизм (либерализм) абсолютно разбит, это у нас понимают, а в Европе мало (пример Роллана).

Животность и религия или красные яйца.

Религия — это вопрос, но от силы животности кумачовым платком не отделаешься. С этой силой рано или поздно (даже и скоро: голод и тиф заставят) придется посчитаться.

Христианство относительно зооборьбы очень точно было против (смертью смерть), но именно полуразложенное биоборьбой, вошедшей в человеческое дело в форме гуманизма, либерализма; во время богоискательства считалось, что религию разложили гуманизм, либерализм, которые создали индивидуализм. И все были против индивидуализма. Ошибка их была в том, что для борьбы с индивидуализмом они хватались за прошлое. Мережковский делал слабые попытки считаться с материал. революцией.

14 марта. Не удивительно ли, что с водворением нэпа, т. е. разрешения торговли, одновременно возродилось искусство и существовало весьма благоприятно для сов. власти около десяти лет с тем, чтобы с запрещением торговли совершенно исчезнуть. Вместе с искусством исчезли из жизни игра, праздники, подарки. Сов. игра (физкультура), сов. праздники, сов. подарки («премии»).

15—18 марта. Деревенская девочка сидит за столом и бессмысленно заучивает стихи о множестве тракторов, преобразующих деревенскую жизнь. Ее отец, мужик-молчун, сидит, слушает с уважением и вдумывается. Каждая строфа оканчивается словами: «Ударник, скажи свое большевистское надо!» И молчун после каждого раза спрашивает вдумчиво девочку: «Что надо-то?» И девочка отвечает: «Не знаю» и «Отвяжись»...

30 марта. До чего все забиты! Вычитал в газете,

что Халатов¹, ссылаясь на Ленина, «объявил, что издавать надо только партийное». «А что если, — подумалось, — в этом собрании кто-нибудь спросил бы: «Cujusvis hominis est errare»²? Ленин был человек. Мог бы Ленин ошибиться?» Так вот, какое бы последствие было от такого вопроса? Мне ответили, что вообразить себе не могут такого вопроса... Отсюда совершенно ясно, что революцию движет сила, подобная религии, и скорее всего той религии, которая некогда двигала воинственные племена. (<...>)

24 апреля. Продолжается дождь в виде облачной сырости, все раздрызгло, везде шум воды, всюду от земли поднимается пар, тронулся березовый сок, почки надулись и пахнут. Самый центр, самая сила — весна воды. Постановление ЦК³ доставило столько же удовольствия, сколько успех борьбы за жилище в Москве. Наконец-то сломалась эта чека мысли и любви, всепроклятая организация мелкоты, пыли человеческой: какой ужас — организованная пыль! — «Погоди радоваться, они тебе еще покажут!» (<...>)

30 апреля. Приехал молодой человек (из молодых ранний) интернац. наружности, назвался очеркистом, сотрудником газеты «Стройка» (по фам. Аквилон — так назвался) и задал мне вопрос: «Сейчас искренно писать нельзя, но вы пишете искренно, и вам можно верить, — что нужно для того?» Я отвечал и много беседовал, имея, конечно, в виду, что он агент. Отвечал же я в том духе, что если бы и дана была свобода писать, — все равно сами бы писатели не решились, потому что все «против» было бы и против государства.

2 мая. Если принимать человека, то надо принимать его не таким, как хочется видеть через тысячу лет, а таким, как он есть. Всякая революция потому кончается реакцией, что не хочет признавать человека, как он есть.

«Даурия» вянет. Больше всего угнетает, что если бы и разрешили личную свободу в писании, то сам бы не стал писать: правда, как станешь писать, если самый процесс писания с его побуждающими мотивами является процессом, враждебным нынешним предпосылкам государственного строительства. Первое враждебное в нем — это что писатель непременно говорит от себя лично и о том, что он увидел, притом говорит, не обращая внимания на

¹ А. Халатов — в начале 30-х годов директор Госиздата.

² Cujusvis hominis est errare — каждому человеку свойственно заблуждаться (лат.).

³ Имеется в виду Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года, в котором отмечалась нецелесообразность в новых условиях существования особых пролетарских литературных организаций, РАПП была ликвидирована.

лай, потому что общество обыкновенно вначале и не может раскусить значение его слов (так было с Достоевским, Толстым). Второе — он говорит не всем вообще и не классу, а личностям, способным продолжить его личное творчество. Третье — писатель подписывает свое имя, в то время как революция стремится на грифельной доске класса стереть все имена, соединяя дело вождей приблизительно таким же порядком, как в Библии соединяется закон Ветхий и Новый. (Ленин с его нэпом теперь уже похож на Ветхий завет).

Закон революции: всякое имя, кроме имени вождя, есть обманное имя. Ученый, если ты хочешь сохранить свое имя, будь вождем масс, художник, писатель, музыкант и, бывает, даже все должны петь, играть лишь от имени революции. И, в частности, мой «искренний» тон обращения к родным существам всего мира, включая растения и животных... Хорошая сторона процесса в том, что в нем заключается совершенная гибель эстетизма, обыкновенно подменяющего собой этику и религию. Слово должно быть деловым и серьезным.

3 мая. В настоящее время неудачу с РАППом приписывают их невежеству, и Горький постоянно твердит: учитеесь, учитеесь! Но что значит это «учитеесь»? В понятие «учитеесь» нашего времени входило также понятие и «слушаться старших» (в смысле уважения культурной связи с людьми). Культура нашего времени — это своего рода универсальная семья, в которую я, учась, вхожу с трепетом и послушанием. Теперь писатель «учитеесь» больше нашего — чего стоит один Шкловский! <...>

12 мая. <...> Освобождение писателей от РАППа похоже на освобождение крестьян от крепостной зависимости и тоже без земли: свобода признана, а пахать негде, и ничего не напишешь при этой свободе. Но так не надо понимать, что нет бумаги или не печатают. Земля писателя не в бумаге и не в праве писать о том или другом. Земля писателя и всего художника в твердой уверенности... его собственной личности. <...>

20 мая. Не искусство пало, а этика. Сила русского искусства была в этике.

Раппы были ужасны тем, что ограничивали поле художественных исканий почти до запрещения. Они прекращали художественные искания, заранее предрешая их результаты.

22 мая. Был вечером у Реформатских (Надежда Вас., Алексей Александр.)¹. Читал начало «Даурии». И вот

¹ Известный лингвист Реформатский А. А. (1900—1978) и его жена Реформатская Н. В. (1901—1985), литературовед и критик, — многолетние друзья М. М. Пришвина.

тут было мне что-то вроде упрека за те места, которые открывали критикам удар в малосоветские места. Вообще задача писателя теперь такая, чтобы стоять для всей видимости на советской позиции, в то же время не расходиться с собой и не заключать компромиссы с мерзавцами. На этом пути создается абсолютно корректный чиновник. Глубокий же спрос времени — это на искренне исповедующего революционную веру человека, побивающего марателей революции их же оружием. Нет, вероятней всего, они просто хотят игры...

31 мая. В «Новом мире» помещен рассказ Сергеева-Ценского и статья к 30-летию его литературной деятельности. Статья эта шельмующая¹. Н. заметил редактору, удобно ли по поводу 30-летия помещать такую статью, а редактор на это ответил, что Горький считает его за вредного нам человека. Давно ли тот же Горький писал Р. Роллану, что во главе современной литературы идут Ценский и Пришвин.

Слышал, что Ценский целую неделю добивался свиданья с Горьким, и когда обозленный (платил за номер в день по 20 р.) наконец сошелся с ним, то разговор был такой: Горький: «Вы пессимист». Ценский: «Вы оптимист».

Интеллигенция, как сила антигосударственная, кончилась совершенно, сохранилась некоторая степень протеста, но не принудительного характера, и постановление ЦК о едином союзе (верноподданных) писателей уничижает и этот протест. Теперь еще нужно некоторое время для забвения...

Постановление ЦК рассчитано не на подъем интеллигенции, а на ее бессилие.

3 июня. Маскировка социальным заказом — это обычное явление современности, и, что самое страшное, маскируется в социальный заказ и действует подобно категорическому императиву стадность человеческая, та самая стадность, которая создает кошмарные, давящие веками человечество легенды... Вот на Ценского теперь, несомненно, наваливается этот кошмар, которому он противопоставлял всегда через свою трепещущую индивидуальность личность человека. Так часто бывает: то, чего боишься, к тому в лапы и попадаешь.

¹ В журнале «Новый мир» (1932, № 3) был опубликован рассказ Сергеева-Ценского (1875—1958) «Устный счет» и здесь же напечатана статья А. Ефремина «С. Сергеев-Ценский» с подзаголовком «К 30-летию литературной деятельности», в которой творчество писателя подверглось резкой критике.

23 июня. Когда теперь услышишь, что вот такого ученого или писателя «разъяснили» и он через это вдруг потерял свой авторитет, то замечательно равнодушие его друзей, и часто сам бываешь недоволен собой: знаешь, что это «разъяснение» просто разбой, а между тем чувствуешь себя даже под влиянием. Это происходит от стадности нашей, мы рады примкнуть, когда превозносят кого-нибудь, и кажется в то время, будто мы тоже имеем в этом свое убеждение, но, когда вдруг «разъяснят», мы изменяем авторитету именно потому, что примыкали по стадности.

25 июня. Наконец-то встреча с Ценским — прямо пират! А во мне он Николая Угодника увидел. Замошкин предсказывает, что неопределенное бытие в литературе будет не менее года. Гронский¹, заняв пост вождя литературы, будучи необразованным человеком, должен скоро погибнуть, во всяком случае, наживет себе много неприятностей. И сейчас уже везде говорят, будто он где-то в собрании высказался о необходимости в литературе «социалистического реализма» (!). Горький будто бы сторонится.

26 июня. Завтра закончат переписку «Даурии», и завтра же я поправлю; 28-го отдам Смирнову², 29-го пишу на оформление, и вечером можно уехать.

1 июля. <...> В «Новом мире» Смирнов сказал, что «Даурию» не прочел, а прямо Гронскому передал (скорее всего, читал, но не понравилось). И я теперь завишу исключительно от каприза этого ничего не понимающего в литературе человека (он требует от писателей «социалистического реализма»).

В МВО³ 4000 членов. Пользуется, конечно, шайка. Это просто — в члены, а вот в шайку попасть! Сегодня опять правление будет обсуждать, разрешать мне натаску собаки или нет. Учреждение бюрократическое на потеху высшего комсостава.

4 июля. В дом печати членов привлекали хорошими обедами, а когда теперь членов стало довольно (4000), а всех кормить нечем, то назначили перерегистрацию с тем, чтобы к обеду допустить только активных. «А кто будет допускать?» — спросил я. «Все блат, — ответили мне, — чистый блат».

Так некоторые думают теперь про всякое большое общество, что во главе его всегда есть банда, которая и

¹ Гронский И. М. (1894—1985) — журналист, литературный критик, в 1928—1934 гг. — отв. редактор газеты «Известия».

² Сотрудник журнала «Новый мир».

³ Окружной Совет Всесоюзного Военно-охотничьего общества Московского военного округа.

пользуется всеми благами общества, а члены питаются крохами, падающими с их стола.

15 июля. Сегодня в трамвае в давке и грохоте вдруг понял мертвую тишину улицы большого города, мне представилось, что гремит это так себе и оно неважно и что вот живет и действительно заполняет собой пустоту и тишину, делает живой, того нет здесь совсем. Мне были отчетливо понятны уличные грохоты в мертвой тишине, как нечто постороннее ей самой, не имеющее с ней ничего общего.

Так, значит, собственно мертвую тишину я раньше не слышал и понимал в этом ходячем выражении совсем другое, вроде того, что на море называется «мертвой зыбью». И очень возможно, что это понимание далось мне, потому что я вышел на улицу в такую тишину из редакции «Нового мира», где познакомили меня с поэтом Безыменским: какое-то было мое «все равно» по отношению к нему и его «все равно» в отношении меня, и тоже «все равно» Гронского в отношении моей рукописи и мое «все равно» к Гронскому, который решает в литературе все и ничего в ней не понимает.

Дом радиофицирован, сегодня в 1/2 7-го я уже слышал 6 условий т. Сталина, «Кармен», а потом начали урок танцев. Радио меня выгоняет на улицу, потому что я не могу уходить в себя. Да, я выхожу из себя и делаю, чтобы не быть с собой.

9 сентября. Сегодня из расчески вылетел еще один зуб, и явился вопрос, можно ли где-нибудь теперь достать расческу. Итак, почти по всем предметам «ширпотреб» и во всей стране. А сколько выщербляется из нравственного мира людей и ничем не заменяется необходимым для уверенности в завтрашнем дне. И ты, гражданин советский, разве не чувствуешь, что, живя в случайном и хватая случайное (сегодня что-то дают, спешите!), ты сам превращаешься в случай и выходишь за пределы закономерности.

Вожди и передовые бойцы живут верою в светлое будущее. Так было, когда Керенский сулил светлое будущее, а рядовой ему ответил, что его будущее — могила. Но то был момент гибели вождя: да, могила солдата была могилой вождя. Это теперь учитывают и спешат восстанавить ширпотреб, т. е. удовлетворить, заглушить... Впрочем, сам человек, социально разделенный и обессиленный, не страшен, — строить без человека нельзя — вот где источник тревоги.

Вопрос в том — существует прямое вредительство или оно само собой выходит как следствие неверных

посылок? Например, как можно предположить, что при обсуждении плана пятилетки вовсе забыли о человеке-потребителе и нынешняя нехватка в «ширпотребе» не есть ли то же самое, что в царской войне явилось в решительный момент как нехватка снарядов? Был ли Сухомлинов прямым вредителем? Нет, все вытекало из системы, и я лично думаю... Корень плохого вот в чем: раньше казалось, что вот если я целиком поднимусь и стану грудью за Советы, то Совет победит весь мир. А теперь вследствие моего подъема кем-то уже предусмотрено, теперь, герой ты, никого не обманешь, тебя отметят, наградят, обласкают, а потом изучат, разберут, разъяснят и отправят на склад к Бухарину и другим почетным реликвиям.

Большевизм по началу своему и был голосом предельного рядового, но дальше игра началась снова.

Итак, вот тема: вождь и предельный рядовой.

Много рядовых должны были безвестно погибнуть, пока не дошло до того предельного, благополучие которого является победой вождя, а его упадок и смерть определяют плен народа и гибель вождя. Об этом предельном рядовом я хочу написать свою повесть, потому что мне это ближе всего, я сам всегда хотел быть предельным, — не герой, не вождь, не тот, кто обещает будущее, а тот, кто заключает в себе совесть события, рядовой человек, чающий во тьме света и совершенно необходимый для события, но незнаемый, вот кому я сочувствовал в своем русском социализме и в русском искусстве.

11 сентября. Сколько рядовых должно безвестно погибнуть, пока не дойдет до предельного, смерть которого непременно влечет за собой гибель вождя. Раздумывая о нынешнем циничном отношении народа к вождям, я прихожу к мысли, что эта деревенская этика перекинулась в государственную, в русском деревенском народе на всякое свое близкое начало смотрят как на необходимое зло, и в начальники идет последний человек. С другой стороны, есть какой-то неназываемый начальник, вмещающий в себя всю совесть и правду всякого дела, он, этот предельный рядовой, пожалуй, даже не выражается персонально, а все-таки он есть и без него все бессовестно и победы никакой быть не может. Вот почему теперь берутся за писателей, — что без этого предельного рядового писателя никакой победы быть не может. Но, с другой стороны, вызов предельного рядового, быть может, есть дело вредителя, который хочет покончить с ним и сделать все совершенно бессовестным, погубить весь исторический опыт и все распустить в грязь. <...>

Тем не менее вредитель, конечно, есть, как существо с бесчисленными именами и лицами... — общее имя

ему Кащей Бессмертный. Но это же старый знакомый; встречаясь с ним, я выпрямляюсь, я чувствую себя в сфере того предельного рядового, для которого вожди и начальники лишь маленькие люди...

13 сентября. Я лично представляю вредительство как процесс насилия человека над другим человеком с разрушением в нем лично-творческого начала процесса жизни. (Капитализм — мне этого мало.)

25 сентября. Установилась тактика: разрешать все острые вопросы в личном порядке: «На тебе, отвяжись!» В этой линии каждому ловкачу можно жить очень хорошо. Вот был назначен паек 80-ти лучшим писателям, а получают его 280, причем писатели, вроде Григорьева, сидят без пайка, а машинистки получают. По этой линии идут разные советские мещане. Хорошо бы поднять Герцена! Вот это идея: перечитать, поднять всех старых писателей — с одной стороны, и их глазами взглянуться в наше время, с другой — глазами советского раба на них посмотреть, и так поразмыслить о материалах собственной жизни с окончательной целью написать Кащея.

Кащей прошлого — буква ять и Кащей будущего. Первое — это когда движение жизни задерживается от привязанности к пережитому (буква ять), второе — ради одного движения губится жизнь (а «жизнь» — это есть настоящее, есть радость).

Кащей — это вот еще что: взять наших мужиков, ведь они все индивидуалисты и всякую общественную работу делают нехотя. Система колхозных трудодней — это единственное средство принудить их работать для общества, но, конечно, отдельные крестьяне есть отличные общественники. И вот то, что они со всей радостью делали бы от себя, теперь им из-за ленивых анархических масс приходится делать под палкой. Для них-то именно государственное принуждение и является Кащеем. Горький — это типичный анархист. Как же вышло, что он стал ярым государственнымником? Вот как вышло: большевики взяли власть, из этого все и вышло. Взяли... «Надо было», «Не надо было» — вот в чем разошлась интеллигенция. Власть была взята для того, чтобы этой силой уничтожить капитализм и устроить трудовое государство. Антибольшевики считали, что государственную власть брать нельзя, потому что людей переделывать надо не принудительно-материальным путем, а путем духовного воспитания. Большевики оказались правыми. Власть надо было брать, иначе все вернулось бы к старому. Монархия держалась традицией, привычка заменяла принуждение. В новом государстве новый план потребовал для своего выполнения принуждение во много раз большее, а люди те же и еще

хуже. В конце концов рост государственного принуждения привел к столкновению коллективного сознания и личного и в творчестве — к торжеству количества над качеством, «сознания» (идеи) над бытием.

10 октября. Мы должны теперь работать в молчании и за великое и единственное счастье считать, если из этой работы что-нибудь выходит. Придет время — и мы вдруг все увидим сделанное, обрадуемся и будем жить без таких вопросов, как живут вообще люди в здоровом обществе. Возможно, к этому не мы, а наши внуки придут (те), кто в своей жизни знал только нищету.

12 октября. Два хитреца: Толстой и Пильняк. Толстой открыто полез к меценатам и даже из Детского Села переезжает в Москву. Он даже прямо и сказал, что он пришел теперь к убеждению — он за советскую власть. Это надо понимать так, что Толстой признал полное отсутствие силы и какого-нибудь значения в том, что мы старому называли «общественным мнением», и, установив этот факт, признал «за советскую» советскую власть. «Вот Пильняк, — сказал я Григорьеву, — хитрее, он берет также все от власти и живет у нас как иностранец, но притом считается с «общественным мнением».

20 октября. Увидел своими глазами на Тверской, что она не Тверская, а Горькая, и потом услышал, что и дело Станиславского (Худ. театр) тоже стало «им. Горького» и город Нижний — теперь Горький. Все кругом острят, что памятник Пушкина есть имени Горького и каждый из нас, напр. я, Пришвин, нахожу себя прикрепленным к имени Горького: «Обнимаю Вас, дорогая, Ваш М. Пришвин им. Горького».

Вот еще из Москвы темы: существует ли общественное мнение? Оно в молчании и анекдотах; во всяком случае, это не сила, на которую можно опираться, пользоваться, рассчитывать; это сила, подобная сну: видел сон и забыл, а день проводишь под его тонким влиянием; сон или влияние мертвых? Есть или нет?

23 октября. Художник должен иметь свободу, потому что он должен своими глазами видеть, и до тех пор, пока он не увидел, он ничего не может сказать.

Наше расхождение: я не могу, как нужно, и должен сначала сам увидеть: является промежуток. Художник должен иметь время освоить материал, и в этом состоит сущность «свободы» художника: эта свобода не есть абсолютная, отмечающая избранника от других граждан, эта свобода есть производственно-деловая величина, обусловленная необходимостью творчества.

29—30 октября. Пленум Оргбюро, 30-го моя речь

«Сорадование»¹. Победа. Воистину Бог дал! Самое удивительное, что это вынесло меня по ту сторону личного счета со злом и оба героя, бонапарты от литературы Горький и Авербах, получили в моей речи по улыбке. Может быть, повлияла моя молитва в заутренний час об избавлении себя от ненависти к злодеям. И, по-видимому, да, в этом году суждено мне было побороть и страх сначала, а потом, кажется, и овладеть своей болью от ненависти к злодеям.

4 ноября. Итак, на пленуме я провел — 6 дней. Увидел все, и это «все» оказалось ничто. Каждый из ораторов личную обиду от РАППа представлял обществу под углом своего личного зрения... и оттого волей или неволей, сам того не сознавая, вывертывался весь со всем своим существом. Не знаю, хватит ли пальцев на одной руке, чтобы сосчитать людей, искренно выступивших за пределы своей обиды (Белый, Пришвин, Серафимович, Фадеев, Вс. Иванов).

Цель бога (ЦК) — выявить силу веры людей своих, чтобы потом использовать как органы информации.

Через речь Пильняка понял о пустоте всех, кланущихся в верности партии.

5 ноября. В то время, как мы говорили о сорадовании, хлеб вскочил в 70 р. за пуд и масло — 18 р. фунт! И это осенью, что же будет весной? В Москве шутят: «Ну, как поживаете?» — «Слава Богу, в нынешнем году живем лучше, чем в будущем».

6 ноября. Вот я думал о чем: люди в нашей бедственной жизни варятся, но не свариваются в единство. Получается механическая смесь, но не соединение.

7 ноября. Пленум показал, что Союз писателей есть не что иное теперь, как колхоз, а раньше была деревня, различаемая по правилу: *divide et impera*². Все насквозь лживо, и едва ли найдется хоть один человек, кто вне себя стоит за сов. власть. Те же, кто стоит за нее, стоят, потому что связали себя с судьбой этой власти, ставшей условием их личного существования. В этом отношении молчаливо составила некоторая градация совести; одно — дело партизан с орденом Красного Знамени, другое дело — Пильняк, устроивший свои отношения с властью в целях личного бытия, как знаменитого советского писателя. Пильняка треплют в журналах не по смыслу, а именно по «совести», как трепали Полонского и др. подобных

¹ Имеется в виду выступление Пришвина на первом Пленуме Оргкомитета Союза советских писателей (29 окт. — 3 ноября 1932 г.)

² *Divide et impera* — разделяй и властвуй (лат.).

«счастливицев». Некоторые (Огнев)¹ пробуют каяться в своей интернациональной совести в надежде докаяться до пролетарской, но это им никогда не удастся, потому что в совести пролетарской нет ничего — пустота, в которую врывается иное историческое содержание, во всяком случае, не гуманитарного характера.

В наше время все переживается без остатка, и мы на вчерашний день смотрим хуже, чем на утильсырье.

Если только нашему Союзу предстоит жить, то рано или поздно непременно должна начать формироваться и утверждаться в своих правах личность.

9 ноября. Беседа с комсомольцами, ударниками в литературе, не освобожденными от производства. Связался черт с младенцами! И совсем не развиты, и не смелы. Мне прямо сказали: «Таких рабочих, чтобы открыто стали обсуждать вопросы револ. этики, в Москве не найдете». Надо смотреть, однако, что среди множества есть какой-то один будущий...

10 ноября. Гронский делает тем писателям, кто из них может около него торчать или имеет влиятельную руку в редакции; всем другим, имеющим доступ по записи у секретаря, чуть ли не через неделю после заявления невозможно бывает продвинуть свою вещь: при личном свидании он все обещает, а его аппарат отодвигает и в конце концов возвращает. Так все мои дальневосточные очерки были возвращены, причем два из них были совершенно исчерканы, и мне было предложено из двух сделать один. Моя «Даурия» лежит шесть месяцев и будет лежать без движения сколько угодно. Так развивается злость на Гронского, а между тем он сам и не подозревает своего вреда. Результат несогласованности частей аппарата вследствие незнания предмета самим редактором.

13 ноября. Чем дальше отходим от Пленума, тем гнуснее сознается положение писателя в СССР: ведь если мою сказанную речь и Белого исказили на свою пользу, то как же в невидимых и неслышимых делах! И далеко ли можно уехать на лжи!..

18 ноября. О победе страха и злобы: не победа, а просто проходит острота, проживешь и будешь умным.

И еще: это, собственно говоря, не страх и не мания преследования, напротив, это приспособление здорового организма и вполне естественное состояние.

¹ Огнев (псевд., наст. имя — Розанов М. Г.; 1889—1938) — писатель, педагог, автор рассказов и повестей о подростках.

Новая волна. Каждый раз, когда подходит волна, люди думают: «Но вот теперь уж большевикам конец!» И каждый раз уходит волна неприметно, а большевики остаются. Теперь наступает голод, цены безобразно растут, колхозы разваливаются, рост строительства приостанавливается... Эпоха коммунизма является на Руси школой индивидуализма. Это в особенности отчетливо видно у писателей.

Красный романтизм. Одна существенная черта, свойственная романтизму, — непрактичность.

Все забываю записать это, и вот наконец вспомнилось главное впечатление от XV годовщины Октября: 17 лет смотрел на портрет Ленина равнодушно, и вот теперь, когда к Ленину присоединили Сталина в огромном числе и самых крупных размерах, то почему-то стало обоим жалко. Да, сначала жалко стало, а потом и предположение явилось, почему это: вероятно, потому, что... трудно это выразить. Вот хотя бы Горький, — тут неприятно, а жалости и помину нет, напротив, хотя, конечно, и незavidно. Слава Горького пуста, и только досадно за человека: ведь он мог бы человеком быть, а не чучелом. Но слава Ленина и Сталина не пуста, тут совсем другое, тут как бы приговор быть всегда у всех на виду: мы, мол, будем петь «славься да славься», а ты будь тут, быть может, тебе и не хочется, и понимаешь ты хорошо, какой это вздор, но нам непременно надо петь «славься», и ты будь. О, тяжела ты, шапка Мономаха! <...>

26 ноября. 23-го поехал в Москву и вечером слушал Белого, 25-го вечером вернулся в Сергиев севой.

Лева, прослушав Белого, сказал мне: «Раньше я думал, что ты, папа, одинокий чужак, а теперь по Белому и по тебе вижу, что то была особая порода людей, и ты не один, было такое общество необыкновенных людей». «А мне удивительно, — ответил я, — в нынешнем обществе литераторов до какой степени подлости может дойти человек и еще писатель!»

28 ноября. В речи Белого (краеведч. секция) было советское же дело представлено с лицевой, недоступной самим коммунистам стороны. Выходило из слов Белого так, что царящее зло при посредстве творческой личности превращается в свою противоположность. Сам он своим личным примером показывает, как плодотворно может работать и при этих условиях. Да, это верно: вот именно-то при этих условиях и надо напрягать свои силы и дать лучшее. <...>

*Подготовка текста и примечания
Л. РЯЗАНОВОЙ.*

Публикация В. КРУГЛЕЕВСКОЙ И Л. РЯЗАНОВОЙ.

Взгляд

Литературные кулуары

Взгляд

Масоны

В пятницу Веденяпин проснулся в отвратительном расположении духа. Долго лежал на тахте, не двигаясь, скрестив на груди по-покойнически руки, потом заставил себя подняться, подошел к зеркалу и с тайной жалостью стал всматриваться в свое лицо устойчиво фекального цвета.

Здесь необходимо сказать, что Веденяпин был мастером художественного слова, как принято называть не писателей, а чтецов, выступающих на эстраде. По мнению нелюбимых друзей, Веденяпин был наделен незаурядным темпераментом. Рассказывали, что на одном концерте, читая «Клеветникам России» незабвенного Александра Сергеевича, он с такой яростью произнес: «Оставьте! Это спор славян между собою», что наиболее слабые духом, из разместившихся в первых рядах, в панике бежали из зала. Веденяпин справедливо гордился этим эпизодом своей жизни в искусстве.

Тем горше было воспоминание о том, что произошло вчера. Так называемый художественный совет закрыл потрясенному Веденяпину программу, рассчитанную на самостоятельный вечер.

Доводы беспардонных гонителей не хотелось и повторять — ничем не угодил Веденяпин. Наиболее откровенный зоил даже позволил себе скаламбурить — мол, связи не отменяют связности. И подчеркнул, что имел в виду голосовые связи артиста. Все прочее было в том же духе.

Веденяпин не мог оставаться дома наедине с обидой и болью — супруга его в счет не шла, ей не хватало душевной тонкости. Вот и нынче, увидев, что Веденяпин уходит, она мгновенно дала ему список разнообразных поручений. Он взял список, дивясь ее толстокожести.

Но прежде всего Веденяпин направился к человеку, которого он почитал и который в определенном смысле был его духовным наставником. То был славный публицист Немерзяев, отличавшийся ясными, твердыми взглядами и бесспорно оказавший влияние на становление Веденяпина.

У Немерзяева была яркая внешность, но особенно выделялась лысина, от нее исходило не сиянье, а пламя, что отвечало натуре хозяина. Над выпуклым лбом, почти сепаратно, воинственно торчал черный клок, отдаленно напоминавший оселедец запорожца из Сечи. В самые первые дни знакомства Веденяпин ловил себя на желании состричь его, но потом привык и стал находить в нем некий символ.

Немерзяев выслушал Веденяпина, вздохнул, поставил на стол графин (он его называл лафитничком) с жидкостью темно-желтого цвета и любовно сказал:

— Духмяночка.

Наполнил ею граненые штофы, торжественно произнес:

— Ну, с богом.

Выпили, утерли уста, съели по куску кулебяки, после чего Немерзяев промолвил:

— Иначе не могло и быть.

— Что? — тревожно спросил артист.

— То, что с тобою произошло.

— Почему же? — простонал Веденяпин.

Сделав паузу, Немерзяев сказал:

— А потому что — масонский заговор.

Веденяпин вспомнил, что Немерзяев, бывало, рассказывал о масонах, но он не мог и предположить,

что сам однажды станет их жертвой. Немерзяев взглянул на него с состраданием и терпеливо стал объяснять:

— Да, брат, можешь не сомневаться, твои мучители — сплошь масоны. Я за версту их чую по запаху, — публицист брезгливо втянул ноздрю. — Они везде, они там и сям, роют, как кроты, нашу землю, они поклялись ее извести, чтобы памяти о ней не осталось. У них все продумано, все рассчитано. Вот мы, например, сидим за духмяночкой, но мы же с тобой никого не спаиваем. Ведь нет же?

— Нет, — подтвердил Веденяпин.

— Единственно для сугрева души, — проникновенно сказал Немерзяев. — А они спаивают наших людей. У них, Веденяпин, особая цель: только бы богатырь не поднялся, только бы не расправил плечи.

Немерзяев снова наполнил штофы, отхлебнул волшебную желтую влагу и, пригорюнившись, проговорил:

— Бедная ты наша земля! Половцы тебя истоптали, печенеги, Золотая Орда, но хуже всех оказались масоны. Без милосердия и без жалости, пользуясь нашим великодушием, нашей открытостью и легковерием, они осуществляют свой план. Только встанет на их пути человек с чистой душой и божьим даром, они тут же впиваются и сосут его кровь, как вурдалаки, как вампиры! Все делают, чтобы страна обезлюдела! А послушай их — все так благородно. Ну вот, заклевали они Веденяпина. Это, видите ли, борьба за качество! И тот, кто не знает Веденяпина, еще им поверит и в ножки поклонится: спасибо вам, вступились за публику. А тот, кто Веденяпина знает, но не любит заглядывать в суть, тот отмахнется: при чем здесь умысел, просто у них неважный вкус. Да нет — вкус у них вовсе не плох, они видят, что Веденяпин — талант. И именно оттого-то им нужно уничтожить, оплевать Веденяпина, лишить отчизну такого сына!

— Боже мой, я ничего не знал... — сокрушенно прошептал Веденяпин.

Немерзяев горестно усмехнулся:

— Разумеется, ты не знал. Ты человек не от мира сего. Ты каждый день беседуешь с богом. Вот этим-то они и воспользовались.

Слушать все это Веденяпину было необыкновенно приятно, не говоря уже о том, что все услышанное было правдой. Веденяпин не первый год ощущал свое безусловное избранничество. Теперь, когда его засвидетельство-

вал такой уважаемый человек, сомнений уже не оставалось.

— Да, — вымолвил он, — сейчас я понял. Заговор. Настоящий заговор.

— Будь уверен, — сказал Немерзяев — эти бесстыдники и мерзавцы, посягнувшие на твою добродетель, отлично знают, что они делают.

— Но почему же им все удается? Сходит с рук? Как у них все получается?

В ответ Немерзяев тоскливо вздохнул:

— Очень хитрые. Даже не представляешь.

Веденяпин немедленно вызвал в памяти лица членов художественного совета и поразился — все так и есть.

— За что, за что они нас пытаются? — спросил он с некоторым надрывом. — Чего хотят? Ну, чего им надо?

Немерзяев только рукой махнул:

— Вцепились как клещи — нет спасения. — И пожаловался: — А какие противные! Век бы не видел, с души воротит...

Учитель и преданный ученик два часа провели за столом, осушая лафитничек с духмяночкой. Веденяпин умнел с каждым штофом все больше. Господи боже, прожить на свете сорок три года слепым котенком! И дело было не только в нем, не только в его личной трагедии. Если б терзали его одного! Он был бы рад принести себя в жертву. Но масоны одолевали страну.

На улицу Веденяпин вышел пусть перегруженным, но прозревшим. Другой вопрос, послужила ли во благо внезапно открывшаяся ему истина. Поневоле вздохнешь о счастье неведенья. Страшный мир во всей его наготе предстал прояснившимся очам Веденяпина.

Везде и всюду были масоны. Они не прятались, не таились, не забивались куда-нибудь в щель. Открыто, ничего не скрывая, с редким цинизмом, с каким-то вызовом творили свое черное дело. На каждом шагу, нахально и нагло, они вставали на пути Веденяпина.

Столкнулся он с ними в ту же минуту, как отправился выполнять поручения, навязанные ему женой. Сапожник вернул ему туфли с отказом, сославшись на то, что нет кожемыта. На веденяпинское возмущение он реагировал лишь пожатием плеч и омерзительной масонской ухмылкой. В химчистке двух сорочек не выдали, а третья была со свежей дырой, зато с невыведенными пятнами. Ве-

деняпин вопил, угрожал санкциями и приемщице и заведующей, но масонка масонке глаз не выключет, их было двое, а он — один. В гастрономе и в парфюмерии тускло мерцали пустые полки, но это нисколько не волновало масонов, позевывавших за прилавками.

Орлиным всепроникающим взором постиг Веденяпин масштабы бедствия — разрушенные масонами фабрики упрямо не выдавали продукции, опустошенная ими земля была не способна к плодоношению.

Транспорт, отданный им во власть, бездействовал — около получаса Веденяпин дожидался автобуса. Когда же дождался, едва в него втиснулся — слева и справа лезли масоны. Они пинали его по ногам, отталкивали его локтями, сжимали его со всех сторон, дыша ему в лицо и затылок.

Само собой, они захватили самые лучшие места, не предложив Веденяпину сесть. Пока мастер художественного слова маялся, у окна удобно расположился крепкий высокомерный негр. Веденяпин смотрел на его профиль и превосходно понимал, что он лишь притворяется негром, на самом же деле он — масон.

На неизвестной остановке Веденяпина выпихнули наружу, не спросив его, хочет ли он или нет. Глядя вслед удалявшемуся автобусу, Веденяпин только сжимал кулаки и шептал непечатные пожелания.

Он шел по совсем незнакомым улицам, и казалось ему, что родной его город захвачен подлыми завоевателями, изменившими его облик и стать, чужие дома, чужие улицы... Прав, во всем был прав Немерзев!

И вдруг будто ветер с далеких полей коснулся дружественной ладонью его изболевшейся души. Два человека примостились на скамейке, поставленной рядом с подъездом. Оба сразу внушили ему симпатию и долгожданное чувство близости. Но тут же родилась и тревога. В расплывчатом сумеречном свете он различил стоявший меж ними стеклянный сосуд с узким горлышком. Было ясно, каковы их намерения.

— Братики, — нежно воззвал Веденяпин, — неужто же вы станете пить?

— Станем, — сказал щербатый парень. — Обязательно. И тебе советуем.

— Знаете ли вы, — спросил Веденяпин, — что это и есть масонский план: не дать подняться богатырю. Они для того и шинков настроили.

— Хорошие люди, — сказал щербатый, — а ты, отец, с утра на работе?

— Вот оно что, вот вы как думаете,— печально произнес Веденяпин.— По-вашему, я просто нетрезв и слова мои следует игнорировать? О господи, вот так мы и гибнем.

— В долю войдешь? — спросил второй, коренастый, с лицом в медных веснушках.— Для опохмелу? Уговорили?

— Войду,—отважно сказал Веденяпин,— но все не оттого, что подвержен, а чтоб не бросить братьев в беде. Чтоб быть с ними рядом в недобрый час. А еще, чтобы открыть им глаза на этих вот «хороших людей».

Он сделал свой взнос. Щербатый парень приблизил к его губам бутылку и пояснил:

— Стаканов нет.

Хотя это было и очевидно.

— Ну много ли, мало, было б начало,— благословил коренастый с веснушками.

Преодолев физиологический комплекс и потому гордясь собой, Веденяпин отхлебнул из бутылки, греясь ощущением общности. Прозрение, счастливо пришедшее в доме радушного Немерзяева, стало еще острее и резче. Страстно хотелось им одарить этих родных и милых людей, не то незрячих, не то беспечных.

Он вновь заговорил о масонах, смело сорвал личины с их лиц, явил их сущность, их тайные замыслы. Голос его переливался всеми красками и оттенками, в нем неожиданно зазвучали пророческие трубные ноты. Веденяпин чувствовал — будь он на сцене, зал бы ответил ему овацией и дружно последовал бы за ним разворошить масонские гнезда. Никогда еще не был он так убедителен!

С интересом выслушав монолог, конопатый задумчиво произнес:

— Первая — колóm, вторая — соколóm.

И протянул бутылку оратору.

Ядреная мудрость этой реплики обворожила Веденяпина. К тому же он ощутил, что понят, что так ему выразили благодарность. Он продолжал еще увлеченней и видел, что правдивое слово явственно обретает плоть. Жаль, что не слышит его Немерзяев, порадовалось бы его честное сердце.

— Ну, без троицы дом не строится,— озабоченно вздохнул конопатый.

Веденяпин должен был с ним согласиться. Это короткое наблюдение дивным образом вместило в себя тысячелетний народный опыт.

Дошли до двенадцати апостолов.

...Веденяпин вернулся домой на заре. Без пиджака, с разбитым лицом. Он худо помнил события ночи, где он скитался, кого повстречал, как потерял новых друзей.

Возвращение его было ужасным. И не то его жгло, что он бит и ограблен, не то, что его поносит жена, — чем он больше трезвел, тем было гаже. Немыслимо было перенести, что те, к кому он так потянулся, кого отличил среди чужаков, принял в душу, призвал в собеседники сердца, тоже оказались масонами.

В собрании пророков

* * *

Однажды в Центральном доме литераторов на затянувшемся собрании московских поэтов я после очередного, крайне приземленного выступления набросал такие строки:

С трибуны ЦДЛ вещал поэт
В докладе,
 так сказать, в отчетных строках:
«Поэт — пророк. Призванья выше — нет...»
Смешно звучит: собрание пророков.

В этом собрании случается много любопытного — и возвышенного, и курьезного, вызывающего улыбку, а то и резкое неприятие. Помните у Блока: «Там жили поэты, — и каждый встречал другого надменной улыбкой». Не одобряющий надменность, я сочинил иронический цикл «Как живут поэты» и продолжаю писать его в стихах и в

* * *

Хаотичных вопросов мозаика
Проясняется сутью ответов:

Чем отличен поэт от прозаика,
Кроме ритмики, форм и сюжетов?

Я иду от теории к практике
И скажу хоть Литфонду, хоть другу:
Лирик
любит всех женщин Галактики,
А прозаик — одну лишь супругу.

Неизвестный поэт

Жаловаться на судьбу, на непонимание окружающих, на произвол издателей и критиков всегда было излюбленным занятием в поэтическом кругу. В наше время добавилось еще одно сетование — на невнимание средств массовой информации. В принципе, многие вековечные и новейшие жалобы не лишены оснований.

Помню, как на литературном празднике, в дальней поездке, совершенно неизвестный мне поэт фанфаронствовал, навязывал всем читать стихи по кругу и начинал читать первым, сердился на недооцененность, ругал все на свете, но одну фразу сказал замечательную.

Вот она:

— Приехал в отпуск к родным, в Саратовскую область. Они меня спрашивают: «Ты чем занимаешься?» — «Я — поэт!» — «Какой же ты поэт?» — «Настоящий!» — «Ну-у, настоящий... Почему же тебя по телевизору не показывают? Значит, не поэт!» Я аж заплакал от обиды...

Железная логика века потребления: если «не показывают» — ты не писатель, не артист, не композитор. И правда, чем еще докажешь? — не произведениями же...

А все ли из показываемых — художники? Вот вопрос вопросов.

Ночь у телевизора

На Новогоднем представленье
Слегка спасает опьяненье,
А так попробуй заглотнуть
В таком объеме эту муть!

Глядишь на страшных, на красивых,
Ворчишь, а выключить не в силах.
Но вот последняя лахудра
Выходит...
Слава богу, утро!

Нравственный слух

Все должно быть развито в поэте — чувство слова, поэтический слух и такой же чувствительный слух нравственный. А то ведь кощунственные строки встречаешь, хотя понимаешь, что не от черствости пишущего это идет.

Был хороший полдень
На краю недели:
Хоронили маму —
Жаворонки пели.

Наверное, Иван Минтяк хотел написать, что полдень был погожий, хороший для всех живущих, красивый. Но одна неточность — и сразу рождается естественный у нормального человека вопрос-крик: что же в этом полдне хорошего; — ведь маму хоронили! Вот где нужен редактор — тактичный подсказчик со стороны, помощник в работе над точностью текста, а не редактор — строгий цензор, редактор — грубый правщик текста, каких мы и воспитывали много десятилетий.

Этот редактор, к примеру, может пропустить такие невероятные строчки о Пастернаке:

А он писал и в стол свой клал
Не год, а много лет!

Если сотворивший это Михаил Аксенов, те, кто подписывал вирши в печать, и, наконец, читающие эти строки не понимают всей их двусмысленности, убийственной неуклюжести по написанию и фразеологическому сочетанию, то и объяснять бесполезно — только усугубишь пошлость ситуации.

О спорах

Не стоит принимать
Обиженную позу.
Не лучше ль сочинять
Стихи, заметки, прозу.

градников Сиена и Флоренции порешили так: с первым пением петухов гонцы из двух городов направятся навстречу друг другу, и преодоленное расстояние определит границы владений. Хитрые флорентийцы нашли черного петуха, готового на все, и так его надрессировали, что он научился петь при свете поднесенной свечки, а не с первыми лучами солнца. В ночь разрешения спора эта свечка была поднесена, флорентийские петухи запели раньше сиенских, а гонец сумел покрыть большее расстояние и отхватить лучшие виноградники.

Я думаю, что в нашем политизированном, бурлящем и взрывоопасном обществе мало кто, включая поэтов, хочет ждать рассвета, приветствовать его естественной песней — вестницей радостного дня. Многие уже и не ждут, что он наступит, а потому и рассвет им — до лампы. И сколько искусственных раздражителей в отличие от выбора черного петуха! Тут и неоновые сполохи заграничных городов, и слепящий свет непрезренного металла, и мерцание голубого экрана. Уж так все это притягательно, что поэты когда угодно и о чем хочешь готовы пропеть, а публика на этот крик — откликнуться. Вот в чем трагедия...

А если говорить о нормальной человеческой жизни и подлинной поэзии — Федоров, наверное, прав.

* * *

Нелегко успех снискать поэту
Обличеньем вздора и грехов:
Раскрываешь по утрам газеты —
Факты поразительней стихов.

Самое главное

Увидел заметку в «Московском комсомольце» под названием «Любовь и аппетит». Думал — юмореска. Оказывается, нет. Но смешно: «Будучи многим, если не всем в жизни, секс требует и особого к себе отношения». Можно ли себе представить нормального человека, который скажет, как отрежет: «Секс — это все в жизни!» Особенно странно читать такие пассажи на страницах газеты, где когда-то утверждалось, что главное в жизни найти свое место, быть полезным людям, стать духовно богатой личностью и прочее. Но мы уже привыкли: то у нас одно са-

мое главное, то — другое. Это все от нищеты и бескультурья — все наши главные или, как выражаются нынче, приоритетные направления.

Граница эпатажа

Одна из привержениц эпатирующего авангарда (Татьяна Щербина) пишет не столько вызывающе, сколько рассудочно:

Теперь мне впору зарыдать
и солью слез эякулировать:
любовь есть только повод дать,
поэзия — артикулировать.

Ну что ж, артикуляция — достаточно четкая, цель — ясна: сработать на публику, эпатировать. Теперь такие строки и осуждать несовременно. Но парадокс в том, что сгущенный эпатаж превращается в приторный штамп, в скучную банальность. Вспоминается известная американская шутка. Один обыватель читает объявление в газете: «Сегодня по центру городка на лошади проедет голая женщина». Он оживился и пробормотал: «Надо сходить посмотреть... Давно живой лошади не видал».

Ох, как не хватает в нынешней поэзии живой лошади!

О любви

Английский врач, мыслитель и поэт
Уильям Моррис,

чувствами согрет,

В своих стихах воскликнул простодушно:

«Кроме любви — нам ничего не нужно!»

Но кто-то отозвался кратко: «Нужно».

Воистину

точней рецензий — нет.

Кому платить

Лермонтову еще не исполнилось шестнадцати, когда он отправился пешком на богомолье в Лавру. На четвертый день придя в Троице-Сергиев монастырь, он услышал рассказ слепого, дряхлого нищего о том, как ему

в чашечку накидали камушков вместо монет. В насмешку, должно быть... Потрясенный поэт на одном дыхании пишет свой первый безусловный шедевр, где есть строки:

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Особо далеко не ходя и никому не молясь, современный преуспевающий стихотворец (А. Еременко) беззаботно сочиняет:

И я там был, мед-пиво пил,
изображая смерть, не муку,
но кто-то камень положил
в мою протянутую руку.

Кто же против реминисценции — этого излюбленного приема русской поэзии? Да сам Лермонтов зачин знаменитого стихотворения «Белеет парус одинокий...» заимствовал у Бестужева-Марлинского, но наполнил этот парус дыханием своего гения. Справедливо писала Цветаева: «Стихи от стихов рождаются». Но — рождаются, а не умерщвляются походя, не низводятся до убийственного уровня. Каков он — можно судить по тому, что в том же стихотворении Еременко спокойно использует строфу из расхожей одесской песенки из фильма. Слово в слово:

Рыбачка Соня как-то в мае,
Причалив к берегу баркас...

Далее — по известному тексту. «Легко так сочинять, — подумает неискушенный читатель, — да еще гонорар построчный получать за чужие стихи». Не так все просто. По моему, нравственная бездна должна разверзнуться в душе, чтобы не чувствовать кощунственности таких переделок, сочетаний, использований. Это все так просто не дается и не обходится.

А на поверхностный взгляд — нетактично и попросту — непонятно. Непонятней всего эти стихи оказались для издательского работника-финансиста. Он растерянно спросил: а как же гонорар платить? Кому строчки засчитывать? Не знаю... Лермонтову, во всяком случае, уже не заплатишь, хотя стихи не только национальное достоинство, но и частная собственность автора. Надо бы судить за посягательства на них. Хотя бы судом общественности и литературской чести.

Портрет критика

...Все стены были увешаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные живые глаза.

Гоголь
«Портрет» (1-я редакция)

Захожу в кабинет редактора — над его головой висит портрет Белинского. Трудно понять, что же общего между «неистовым» Виссарионом и этим осторожным чиновником. Почему вся эта канцелярская рать, орудующая ножницами, как гильотиной мыслей и слов, прикрывается, точно иконой, бледным ликом святого подвижника и мученика идеи?

Правда, Иосиф Виссарионович как литературный критик считался по этой линии прямым наследником Виссариона Григорьевича. Но ведь это было давно, да и завещание оказалось подложным. Разве мог Белинский завещать нашим критикам такую волшебную дубинку, которая сшибала бы писателям головы с плеч и сажала бы на их

место головы самих критиков? Чтобы, например, у Маяковского вырастала вдруг голова Владимира Ермилова, а у Пушкина — голова Дмитрия Благого, и чтобы ноги двигались туда, куда голова захочет; а голова, конечно, гордилась бы своими талантливыми ногами, своим горячо бьющимся сердцем и глубоко дышащей грудью.

Попробуем только представить себе... Если наш редактор или критик говорит как бы от имени Белинского, то пусть к нему придет писатель как бы от имени Гоголя. Приходит такой Гоголь к такому Белинскому и хочет узнать, что же уважаемый критик думает о его повести «Портрет». Выношенной, выстраданной, программной, над которой писатель «мучил себя, терзал всякий день». И очень старался, чтобы его повесть, предназначенная для журнала «Современник», оказалась бы «во многих отношениях современной» и была бы заслуженно напечатана в этом прославленном у потомков журнале.

И вот наш как бы Белинский, от имени журнала «Современник» и с точки зрения высоко понятой современности, стал бы с пристрастием разбирать эту вещь, уже истерзавшую писателя и теперь достойную всяческого возмездия. Он продумал бы свой ответ и, вооружившись гегелевской триадой, изложил бы его в трех пунктах.

Сначала, прощупав произведение по косточкам, особенно повозившись в области шейных позвонков, он извлек бы из него мысль писателя, которая была бы вполне достойна помещаться в голове самого критика, и назвал бы эту мысль «прекрасною», отчего наш Гоголь зарделся бы и потупился. Вспомнив изящную манеру выражаться своего великого предшественника, наш Белинский сказал бы примерно так:

«Мысль повести была бы прекрасна, если бы вы поняли ее в современном духе: в Чарткове вы хотели изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности».

Таков первый пункт: наш критик отделяет мысль от произведения и высказывает ей лестную похвалу, но уже с предостерегающей оговоркой, в условном наклонении: «если бы вы поняли ее в современном духе». Тут начинается мистика: как мысль могла бы быть прекрасной, если она уже есть в этой повести? Если же она безобразна, то почему бы так прямо и не сказать? Главное же, наш бедный Гоголь не понял своей собственной мысли, той прекрасной мысли, которая могла бы заключаться в его творении, если бы он понял ее в современном духе. Предполагается некое раздвоение в голове писателя, позволяющее нашему критику постепенно насадить ему свою голову,

в которой мысль писателя, не понятая им самим, понимается уже вполне современно. И дальше критик, уже из своей головы, приставленной к безмозглому телу стихийного дарования, объясняет писателю, что же, собственно, он хотел сказать, хотя и не сумел: «в Чарткове вы хотели изобразить...» В общем, писатель мысли своей не понял и сказал не то, что хотел, — зато критик мысль его понял прекрасно и скажет теперь именно то, что хотел, но не смог сказать писателю.

Теперь, посадив писателю свою умную голову, но оставив ему живописный талант, наш критик переходит ко второму пункту: как нужно было бы написать это неудавшееся произведение, чтобы оно было достойно столь большого таланта и вместе с тем выражало прекрасную мысль самого критика. Наш Белинский, следуя реалистическим заветам своего великого предшественника, сказал бы примерно так:

«Выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда вы со своим талантом создали бы нечто великое».

Оказывается, что для воплощения той мысли, которая помещалась в голове писателя (уже насаженной и подмененной), нужно было бы подыскать и другую форму, без всяких фантастических затей. Раз Чартков погубил свой талант жадностью к деньгам, то писатель и должен был развернуть этот сюжет во всей прозе пошлой действительности, иначе он, уже автор, а не герой, губит свой талант погоней за фантазиями и обаянием мелкой вычурности. Чтобы разоблачить художника чересчур прозаического и меркантильного, никак нельзя быть художником чересчур мечтательным и романтическим, а нужно быть поближе к тому, что изображаешь. Передав нашему Гоголю свою мысль, наш Белинский затем потребовал бы от него соблюдать эту мысль во всей строгости: раз вы хотели изобразить художника, погубившего свой талант жадностью к деньгам, то уж извольте обойтись без всякой мистики и фатализма, а покажите нам, на почве ежедневной действительности, как он продает свою кисть. Вот почему сцена с квартальным, его пошло-скучные рассуждения об искусстве — вполне уместны в повести, а страшный ростовщик и его таинственный портрет — это все, как сказал бы наш критик, детские фантазмагии, которые могли пленять и ужасать людей только в невежественные средние века, а для нас они не занимательны и не страшны, просто — смешны и скучны...

И тут наш редактор перешел бы к третьему пункту, уже прямо оценивая предложенное произведение. По

правде сказать, немного от него осталось бы. Раз мысль уже извлечена во всем своем современном значении (1 пункт) и далее показан верный путь ее воплощения (2 пункт), то само произведение оказывается поучительным образчиком того, как не следовало бы воплощать эту прекрасную мысль:

«Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета с страшно смотрящими живыми глазами, не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что вы почли столь нужным, именно оттого, что отделились от современного взгляда на жизнь и искусство».

Вот так наш новоявленный Белинский разделался бы с повестью несчастного Гоголя и потребовал бы создать новую, третью редакцию, потому что повесть уже и раньше переделывалась по его совету, освобождаясь автором от чересчур мистического колорита. В первой редакции портрет сам собой таинственно возникал на стене, а во второй художник покупал его в прозаической лавке и под мышкой приносил домой. Но теперь понадобилось бы и во все исключить этот фантастический предмет из современного обихода как не соответствующий программным установкам журнала «Современник».

В общем, чтобы «Портрет» оказался достойным своего замысла и таланта автора, в нем не должно быть самого портрета, а также ростовщика, изображенного на портрете, а также аукциона, на котором продается портрет и разъясняется его тайна, а сам он пропадает неведомо куда, чтобы дальше разносить свои чары по миру,— всего этого не нужно. А нужно, чтобы остался один художник, продающий за деньги свой талант, и обличие общества, которое своим торгашеским духом губит прекрасные дарования. И тогда повесть можно было бы озаглавить как-нибудь иначе, например, «Дух наживы» или «Растление молодого таланта», чтобы мысль выразилась прекраснее и современнее. А впрочем, название можно было бы оставить, имея в виду правдивый литературный портрет художника, растратившего свой талант созданием заказных портретов,— портрет, написанный по заказу самого времени рукою другого художника, развившего свой талант живописанием духа наживы.

Вот к какому выводу подвел бы нас редактор, сидящий под портретом Белинского, и, конечно, от имени журнала «Современник» отверг бы эту повесть — или принял бы под условием, чтобы в этом «Портрете» не осталось бы ничего от самого портрета и его странной истории, столь чуждой трезвому духу современности. Так бы он перещупал все косточки и разложил их по полочкам, чтобы прекрасную мысль взять себе, правду жизни передать сов-

ременности, огромный талант оставить художнику, а повесть выбросить в мусорную корзину до очередной редакции. И все остались бы на своих местах: писатель при своем верном спутнике — жизнеподобии, а рукопись — при той бумаге, на которой была написана.

Или — страшно представить — Гоголь достал бы рукопись из корзины, разгладил, принес домой и написал бы третью редакцию, под которой уже смело мог бы подписаться и сам редактор. И живой дух покинул бы писателя в тот миг, как «Дух наживы» стал бы издаваться в тысячах экземпляров, неся современникам мысль, понятую «в современном духе». И портрет, исчезнувший по сюжету из гоголевской повести, вдруг нашелся бы и подмигнул нашему Гоголю из-за головы редактора: ты меня выбросил, а я вон где. И уже не червонцы по ночам считаю, а при ясном свете разума веду счет идейным победам и просчетам.

Гоголь так убедил нас во всемогуществе своего ростовщика, что кажется, и со многих других портретов, украшающих стены редакторских кабинетов, глядят все те же неотразимые, неподвижные глаза, «как бы готовясь сожрать» бедного одинокого автора — «на устах написано было грозное повеление молчать». Сколько тут этих грозных портретов — не одних только неистовых, но и железных, и стальных, и любивших добро, и евших грибы, и черненьких, которых надо любить, и беленьких, которых всякий полюбит, и горьких, с солеными слезами, и сладких от лунных чар, и некрасивых, и достойных, и успевающих, и щедрых, и вороватых, и бережных... Есть среди них и великие, святые люди — но художник, один раз избразивший ростовщика, уже не может ничьих других глаз показать на портрете. Помните, заказали ему картину для церкви, и всю душу вложил он в изображение святых лиц, да только потом духовная особа указала ему, и сам он с ужасом увидел, что «почти всем фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам вздрогнул». Вот и автор, ждущий решения своей участи в редакторском кабинете, вздрагивает от этих неподвижных живых глаз, устремленных на него отовсюду, как будто не рукопись пришел он сюда продать, а собственную душу.

Ростовщик ростовщику рознь. Один покупает душу за деньги, другой — за власть над людьми, третий — за власть над умами. Поглядишь на портрет такого блаженной памяти владельца дум — и вдруг видишь глаза ростовщика... Нет, не стоило бы вешать в комнату никаких портретов — неизвестно еще, кто с них глядит, какая сила незаметно прикипела к их зрачкам и ворожит слабые че-

ловеческие души. «...С тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого зарезать... Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова: точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь». Не оттого ли редакторы так часто режут рукописи, что за их спинами висят эти важные портреты, глазами обращенные на автора и повелевающие ему молчать. Вот он и молчит; а редактор, сидя к портрету спиной и глаз его не видя, чувствует такую необъяснимую тоску, что режет подряд одного автора за другим или же, чтобы не кромсать рукопись, прямо предлагает продать душу. При каждом редакторе висят на стенах шпионы, стерегущие каждое его слово, и оттого редко удастся услышать в этих уютных кабинетах хоть что-нибудь искреннее и веселое. Только бедному молчаливому автору прямо в душу глядят значительные глаза, когда редактор сидит, отвернувшись от них, и режет рукопись; и автор вздрагивает от ужаса, а редактор только чувствует беспричинную тоску, и режет, и режет. Чистые, святые люди — а глаза у всех одинаковые: такими их изобразил художник, раз поймавший самого дьявола.

Страшно, страшно делается за Гоголя. Как бы и сам он, вслед Чарткову, не погубил свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к прекрасным мыслям и обаянием современного взгляда. И разве идеи в голове умного редактора менее разрушительны для дарования художника, чем деньги в руках богатого клиента? О, ростовщик знает, на какие единицы измерения лучше вести счет: на жаркие отблески презренного металла или яркие отсветы исторических зорь в картине художника. Никто заранее не знает, что спрятано за рамкой портрета: стопка золотых червонцев или стопка наградных бумаг, золотых орденов, кавалерских планок. Идея — такая же абстракция власти над миром и всеобщий эквивалент размеренных ценностей, как и монета, ассигнация.

Кажется, что и сам Гоголь не скрывает своего таинственного родства с художником, портрет которого нарисовал в своей повести, вставив туда маленькое зеркальце, чтобы оно отсвечивало хоть одной черточкой самого автора. «...Он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем...» Как нарочно, здесь сошлись самые приметные слова из знаменитой лирической сцены «Мертвых душ», где выжилась вся душа писателя, все, что он любит, и слова «живой», «бойкий», «русский», «черт» служат как бы опознавательным знаком родства автора поэмы с героем повести. «И какой же русский... черт побери все... у бойкого народа... наскоро живьем...» Да и «гоголь» не ос-

тался без отзвука в «птице-тройке» и ее неудержимом полете: «сам летишь, и все летит...» Гоголь даром имен не употреблял, тем более собственного, и ввел эту лирическую подробность только во вторую редакцию повести, писавшуюся тогда же (1841—1842) и там же (Рим), где лирически завершался первый том «Мертвых душ». Так что совпадение словаря далеко не случайно и выражает волну лирического мироощущения, словно бы перенесшуюся в это место повести из окончания поэмы.

К тому же Гоголь работал над второй редакцией повести отчасти по социальному заказу Белинского, разбранившего первую как «неудачную попытку Гоголя в фантастическом роде». Поэтому автор, переправляющий свою картину современной жизни по указанию критика, хотя и обратно тому, что требовали от Чарткова его клиенты (Чартков должен был приукрасить, а Гоголь, напротив, прибеднить, выскоблить всякие украшения), вполне мог в нечаянный лирический миг почувствовать себя Чартковым, точнее, Чарткова — собой. Вот отчего герой так лихо, в предчувствии публичного одобрения и успеха, «гоголем» проходит по тротуару, ощущая удачу и бойкость «по русскому выражению черту не брат». А ведь только что художник и стал братом черту, скрепив с ним червонцами пожизненный и посмертный союз.

Кажется, что поговорка «черту не брат» как раз и означает братание с чертом,— таков обратный смысл многих выражений на нашем языке. И этот братский союз, как и положено между членами одного семейства, скреплен фамильно, прикрываясь для скромности только подложной «а» и уменьшительной «к»: Чертов получилось бы слишком зловеще, к тому же художник — братик меньшей, пусть будет с буквой «к». Так и именовался он в первой редакции: Чертков — пока Гоголь, снимая по требованию критика «налет чертовщины», не заменил одну букву для торжества реализма и не получил более бледноватый оттиск того же оригинала — Чартков.

Значит, Чартков в манере «гоголя» проходит по тротуару в тот самый момент, когда сам Гоголь, на манер Чарткова, переправляет свой «портрет» по требованию заказчика... Неужели автор, представший сейчас перед редактором, и дальше повторит судьбу своего персонажа? Все так же сидит он в просторном кабинете, и со стены смотрит на него все тот же помолодевший портрет... «Черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать...»

Нет, хотя и вторая редакция была в том же современном духе забракована общественным контролером, Гоголь не стал создавать третью. Более того, не пропала в

редакторской корзине первая, в которой мысль выразилась яснее, чем во второй, хотя и не так прекрасно, как могла бы выразиться в третьей. И поскольку мысль эта относится ко всем портретам, наводящим тоску на душу и желание кого-нибудь зарезать, — стоит воспроизвести это место из первой редакции, начисто выброшенное во второй как слишком фантастическое:

«В этих отвратительных живых глазах удержалось бесовское чувство. Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидно, без образа, на земле».

Не потому ли этому духу, живущему без образа, так хочется, чтобы с него писали портреты и расставляли повсюду, где уже не будет говориться ни одного искреннего слова. И по той же причине портретам не нравится, когда угадывают тот дух, который в них изображен. Им хотелось бы скрыть исток и тайну своего изображения, чтобы жить на полотнах настоящей, подвижной жизнью, выпрыгивать по ночам из рамы, забираться в глубь сновидений, чтобы днем, сталкиваясь с портретом, люди, как сомнамбулы, повторяли нащептанные им речи, чтобы повсюду сопровождали их и отовсюду встречали живые неподвижные глаза, «современным взглядом» впиваясь в душу художника. Не потому ли из вторых и третьих редакций «Портрета» начинает исчезать сам портрет — чтобы остаться над головой редактора и вечно смотреть оттуда все тем же пристальным, немигающим взглядом, выражая прекрасные мысли о современности и грозно повелевая молчать о своем древнем могуществе и бесчисленных жертвах?

Впрочем, не слишком ли далеко мы зашли в своих предположениях, не слишком ли много фантастических затей в этом нашем литературном опыте — и не косится ли из-за спины редактора на нас все тот же портрет? Вот сейчас подрежут одно, вырежут другое — я физически чувствую тоску, которую нагнало на редактора мое сочинение. Поэтому прочь домыслы — вернемся к почве исторической действительности.

Нет, слава Богу, что есть у нас настоящий, неподдельный Белинский, не портрет над головой редактора, а пламенные его статьи, автопортрет, где о том же самом «Портрете» написано, должно быть, совсем, совсем иначе, чем у нашего лже-Белинского. Тот Белинский не стал бы отделять мысль от произведения, не стал бы хвалить писателя за то, чего нет в его произведении, не стал бы требовать для выражения той же мысли совсем другого про-

изведения. Отбросим все «как бы» и «если бы» — вот что писал великий критик о великом писателе:

«А мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в *современном* духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда Гоголь с своим талантом создал бы нечто великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета с страшно смотрящими живыми глазами...; не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что поэт почел столь нужным, именно оттого, что отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство»¹.

Захожу в кабинет Белинского — над головой великого критика висит портрет редактора.

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I—XIII. Т. VI. М., 1953—1956, с. 426—427.

О месте, которого нет

* * *

Я помню: бедность не порок. Она,
ютясь в развалинах, не враг хоромам.
Конечно, если не уязвлена
разгоряченным классовым синдромом.

Конечно, грустно заработать шиш
за опусы, которыми гретишь.
И пребывать в завистниках отпетых,
когда ты с тайной горечью глядишь
на господина в лаковых штиблетах:

Конечно, грустно, что ни говори,
не получить заслуженный гран-при.
И детям и жене не из Пальмиры
златой, а из какой-нибудь Твери
привезть копеечные сувениры.

Позорно забываюсь и ропщу:
по силам ли нескладный воз тащу!

Давно пора бы собственной-то песне
на горло наступить! И соцзаказ
отмолотить без всяких выкрутас...

Ведь пишут же...
И мы бы с мели слезли...

Но — ремесло не только инструмент.
И не видать мне лакомый патент
на жительство безбедное. Призвание
определяет каждый шаг. Нужда
кому — награда, а кому — беда.
А мне, беспамятному, испытанье.

* * *

Поэт работает дворником.
А дворник служит поэтом.
Он занят собственным сборником,
а поэт — общественным туалетом.

Тот и другой стараются,
упираются честь по чести.
И как это называется,
когда всяк не на своем месте?..

Когда не своим приходится
делом добывать монету?..
Называется безработица,
которой у нас нету...

Реальность тире утопия.
Поэт права не качает.
Два раза в месяц пособие
по «безработице» получает

за то, что, асфальт отскребывая,
встает каждый день до свету...
У него здесь место особое:
место, которого нету.

* * *

Вертлявый юноша боготворит театр.
Ведет подругу в дорогой партер.
Довольно перспективный кавалер,
ей мысли бередит, как секс-вibrator.

Он независим, но до славы лют.
Он искренне играет в либералы.
И пишет прозу, ту, что издают
охотно комсомольские журналы.

Увы, запомнить взгляд его нельзя.
Плывут в философическом тумане
защитые ресницами глаза,
как будто на портретах Модильяни.

Как я хочу
жить на земле, землей!..
Преображая вечной новизной
ушедший день — и радостный, и хмурый.
Как не хочу я жить литературой —
встречаться с ним у кассы выплатной.

* * *

Кнопку нажал, и мешок на спине.
Эта работа, пожалуй, по мне.

Перетаскал, не гимнастики ради,
в жизни я множество всяческой клади.

Дул против ветра, писал не в струю.
И по сию пору на этом стою.

Грузчики — твердый народ, между прочим...
Нет ли, узнаю, вакансий в «Молочном»,

или в «Продмаге», или в «Вине»?..
Кнопку нажал, и мешок на спине.

День литературы

С. Чупринин. Ситуация	10
В. Курбатов. Старая тяжба, или Окно в Россию	44
Л. Аннинский. Черт шутит	60
А. Василевский. Страдание памяти	75

На перекрестке мнений

В. Бондаренко. Стержневая словесность	96
А. Латынина. Кто с Солженицыным?	106

И. Шайтанов. «Теперь тебе не до стихов...»	127
И. Ростовцева. Несрочная весна	141

На перекрестке мнений

Ю. Карабчиевский. Возвращение смысла	160
В. Воздвиженский. Метаморфозы культуры	180
А. Казинцев. Новая мифология	194
А. Немзер. В поисках утраченной человечности	215

Я думаю, что...

В. Камянов. Топор под компасом, или Насколько полезны литературе уроки «гениальных тактиков»?	238
Ал. Михайлов. Маяковский: кто он?	256
М. Золотоносов. ЯИЦАТУПЕР как феномен советской культуры	274

На перекрестке мнений

В. Ерофеев. Заметки о биологии стиля	292
В. Турбин. А если об антропологии стиля?	314

Возвращение к читателю

Л. Шубин. Человек и его дело, или Как быть писателем	340
О. Михайлов. Это общее русское небо	360
С. Липкин. Беседы с Ахматовой	377
А. Бочаров. Справедливость и свобода (О творческой близости Андрея Платонова и Василия Гроссмана)	386

Из писательского архива

М. Пришвин. Из дневников 1930—1932 годов	410
---	-----

Литературные кулуары

Л. Зорин. Масоны	460
А. Бобров. В собрании пророков	467
М. Эпштейн. Портрет критика	477
А. Зорин. О месте, которого нет	486

Составители:

Валентин Дмитриевич Оскоцкий
и
Евгений Александрович Шкловский

Взгляд

Сборник 3

Редактор

А. Г. П а н о в а

Художественный редактор

Ф. С. М е р к у р о в

Технический редактор

Н. В. С и д о р о в а

Корректор

Г. И. И в а н о в а

ИБ № 7754

Сдано в набор 26.07.90. Подписано к печати 13.03.91. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офс. № 1. Школьная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л.
31. Уч.-изд. л. 28,62. Тираж 25 000 экз. Заказ № 523. Цена 2 руб.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069,
Москва, ул. Воровского, 11
Тульская типография Государственного комитета СССР по печати,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

В 40 ВЗГЛЯД: Сборник. Критика. Полемика. Публикации. Вып. 3.— М.: Советский писатель, 1991.— 496 с.

ISBN 5—265—01495—0

В новом, третьем выпуске «Взгляда» сталкиваются разные точки зрения на сегодняшние общественные и литературные события, на романы, повести, стихи, очерки, оказавшиеся в центре читательских интересов и острых дискуссий. Особый раздел «Взгляда» — о произведениях, вводимых ныне в читательский обиход. Представлены материалы из литературного наследия, сатирические и юмористические заметки из «литературных кулуаров».

4603020101—130

В **433—90**
083(02) — 91

ББК 83 ЗР7

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ:

«Кануны» В. Белова

Полемика.— М.: Советский писатель,
1990 (II кв.).— 10 л.

ISBN 5—265—01510—8: 70 к., 20 000 экз.

Роман Василия Белова «Кануны», обращенный к судьбам нашей деревни, годам коллективизации, лишь недавно предстал перед читателями в «неурезанном» виде. Это стало возможным лишь тогда, когда мы в полный голос, без недомолвок и умолчания, заговорили о сложнейших периодах нашей истории. Авторы сборника — прозаики, критики, публицисты — спорят не только о художественном своеобразии романа В. Белова, но и о поднятых в нем острополемических вопросах: кто виноват в трагических событиях, происшедших в деревне? В чем причины крестьянских бедствий на рубеже 20 — 30-х годов?

С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ:
«Жизнь и судьба» В. Гроссмана

М.: Советский писатель, 1991 (II кв.).— 16 л.
ISBN 5—265—02133—7: 1 р. 50 к., 30 000 экз.

Роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» почти на три десятка лет выпала особо трагическая участь рукописи, не просто запрещенной, но арестованной. Теперь роман стал достоянием читателя.

Едва завершилась журнальная публикация «Жизни и судьбы», как вокруг нее развернулась острая дискуссия. В книге дается столкновение разных точек зрения на роман и отраженные в нем драматические коллизии времени. Среди авторов — известные писатели и критики, полемизирующие друг с другом. В сборник включены материалы «круглых столов», на которых обсуждался роман, а также документы из литературных архивов, возвращающие нас к трагедии, которую пережил Василий Гроссман.

БИТОВ А.

Предположение жить.—

М.: Советский писатель, 1991 (IV кв.).— 24 л.—
ISBN 5—265—02137—X (в пер.): 2 р., 50 000 экз.

Литературное произведение и сама доподлинная жизнь... Как они соотносятся друг с другом и где граница между ними? Автор тут исходит не только из личного опыта творчества. Сфера его интересов — от Ломоносова, Гоголя до сегодняшних писателей и их литературных героев.

Портреты художников даны в разнообразных ракурсах: в смелости (Абуладзе — «Покаяние»), из «красной книги» (О. Волков), в ясности бессмертия (В. Набоков), под куполом гласности (М. Жванецкий), в прорванном круге (Л. Гинзбург), в «грусти всего человека» (Саша Соколов)...

Завершает книгу раздел «Воспоминания о Пушкине». О том, что наша любовь к Пушкину больше говорит о нас, чем о нем. И что Пушкин не утрачивает тайны ни при каких приближениях к нему.

ХОДАСЕВИЧ В.

Колелемый треножник:

Избранное,— М.: Советский писатель, 1990 (IV кв.).—
50 л.— ISBN 5—265—01518—3 (в пер.): 2 р. 70 к.
100 000 экз.

Книга впервые знакомит читателя со всеми сторонами литературного наследия Владислава Фелициановича Ходасевича (1886—1939).

В раздел «Стихотворения» включено все, что сам поэт считал полноценным и достойным переиздания, здесь же наиболее интересные стихи из ранних книг, стихи, не оказавшиеся в распоряжении автора при подготовке последнего (парижского) прижизненного издания, и то немногое, что было написано им в последние годы жизни. В прозаической части книги — статьи о Державине и Гоголе, Толстом и Тютчеве, Дельвиге и Достоевском, несколько ярких публикаций о Пушкине. В разделе художественных мемуаров — очерки о Горьком и Сологубе, Гумилеве и Андрее Белом, Гершензоне и Блоке, заметки о книгах З. Гиппиус и В. Набокова, М. Алданова и И. Бунина, Д. Мережковского и М. Цветаевой. Завершает издание подборка избранных писем, наглядно опровергающая расхожее мнение о Ходасевиче как о человеке язвительном и желчном.

Книга снабжена обширными комментариями, богато иллюстрирована с использованием редких архивных материалов.

Взгляд

©